ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

5

1990

МАЙ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КОРМЕР

Наследство

РОМАН

О В. Ф. Кормере и его романе «Наследство»

Имя замечательного русского писателя Владимира Федоровича Кормера до сих пор известно куда больше за рубежом, нежели здесь, на родине. Такая судьба выпала не ему одному, и это, конечно, могло служить Кормеру некоторым утешением и поддерживать его в ожидании времени, когда справедливость получит наконец возможность восторжествовать. Но В. Ф. Кормер не дождался этого времени. Он умер три года назад от тяжелой болезни, не достигнув и сорока восьми лет, и никогда не достанется уже ему обрести еще при жизни ту любовь и то признание отечественного читателя, в которых так нуждается всякий художник,— ту любовь и то признание, которых он, безусловно, заслуживал и которых уже дождались и еще дождутся, надеюсь, иные его товарищи по писательской судьбе.

Рисунок этой судьбы достаточно отчетливо обозначился для меня в своих предвидимых будущих контурах уже в первой вещи В. Кормера, которую я прочел, когда в конце шестидесятых годов друзья молодого литератора передали ее в «Новый мир», где я тогда работал. Это была повесть «Предания случайного семейства», и гармонической простотой и ясностью своей чуть стилизованной, чуть как бы старомодной русской прозы, очевидной незаурядностью художнического дарования ее автора — дарования яркого, тонкого и умного, способного улавливать сложнейшие движения и нюансы духовной и психологической жизни человеческой души,— всем этим повесть уже тогда обещала в В. Кормере возможность будущей крупной писательской судьбы. Но и судьбы нелегкой, скорее всего, драматической, если и не прямо трагической, ибо горькая история обычного — «случайного», по слову Достоевского,— русского семейства, расплющенного историческим катком послереволюционных десятилетий, была написана с той недемонстративной, но и неотклонимой неуступчивостью правды, которая делала почти невозможной публикацию повести даже в «Новом мире» Твардовского. Тем более что журнал был уже накануне своего разгрома. А на какую судьбу могла рассчитывать эта повесть в семидесятые годы? А роман «Наследство», законченный в 1975 году и горько и радостно подтвердивший читавшим его тогда и неслучайность ожиданий, возбужденных первой повестью, и оправданность внушенных уже ею опасений за писательскую участь В. Кормера в его отношениях с отечественным читателем?.. Тем не менее В. Кормер, имевший специальное образование математика-кибернетика (он окончил Московский инженерно-физический институт), твердо выбрал путь литератора, хотя бы и непечатающегося, и решился круто переломить ход своей жизни, отдав ее гуманитарным занятиям и интересам, русло которых давно уже стало главным руслом его духовного бытия. Уровень подготовленности его в этой области был таков, что он в течение ряда лет успешно вел зарубежный отдел журнала «Вопросы философии» — и все это время постоянно, упорно, много писал как прозаик, пробуя себя в разных жанрах. Один из таких опытов — сатирическая повесть «Крот истории» — принес наконец автору известность за рубежом: повесть, увезенная на Запад Александром Зиновьевым, выдержала престижный конкурс и получила парижскую премию Даля, вслед за чем сразу же была опубликована издательством YMCA-Press и переведена на итальянский и французский языки. Уже после смерти автора и, к сожалению, не без существенных усечений, был напечатан на Западе и тоже получил широкую известность и роман «Наследство» — самое значительное произведение В. Кормера, с полным, соответствующим последней авторской воле текстом которого могут теперь познакомиться читатели «Октября», и предварить его публикацию несколькими вводными страницами доставляет мне истинное удовольствие. Ибо перед нами, на мой взгляд, безусловно выдающееся явление нашей современной русской литературы, и только обще-

ственно-литературным порядкам тех лет, которые мы так деликатно именуем ныне «застойными», мы обязаны тем, что лишь теперь он становится достоянием широких читательских кругов нашей страны.

К счастью, как и некоторые другие произведения, только сегодня возвращающиеся к нам после десяти, двадцати и даже более долголетней «выдержки» в авторском столе или на полках спецхрана, где стоят запрещенные к свободному обращению заграничные издания, роман «Наследство» не утратил за это время для современного читателя остроактуального интереса и звучания даже со стороны того жизненного материала, который положен в его основу. Конечно, его истинное достоинство связано с более глубинными особенностями его художественно содержательной природы, которые, я уверен, способны будут обеспечить ему долгую жизнь даже и тогда, когда сам по себе жизненный материал, к которому он обращен, уже перестанет обладать для читателя непосредственной информативно-познавательной свежестью. Но для сегодняшней читающей публики, я думаю, и этот момент окажется тоже очень важным, потому что в отличие от многих других «задержавшихся» произведений, по-новому рассказывающих хотя и об острых, живо занимающих нас сегодня, но так или иначе хотя бы в превратном освещении уже знакомых нам все-таки по литературе процессах, явлениях, событиях и людях нашей недавней истории,— в отличие от этих книг в романе В. Кормера мы встречаемся с героями, знакомство с которыми будет для современного читателя уже и само по себе, в сущности, вновe — все еще внове.

Дело в том, что «Наследство» — это, что называется, «роман из жизни» тех кругов нашей интеллигенции конца шестидесятых — начала семидесятых годов, которые пока что еще не находили сколько-нибудь выразительного своего закрепления на страницах нашей современной прозы,— тех кругов, которые принято называть *диссидентскими*.

Этот термин, до сих пор еще служащий многим всего лишь ругательным ярлыком, давно уже приобрел у нас — через привычное наложение его преимущественно на тех, кто в конце концов оказался за рубежом,— какой-то странный смысл, почти сливающий его с представлением о политическом эмигранте — если не действительном, реально состоявшемся, то по крайней мере «внутреннем», «скрытом», всего лишь не успевшем еще реализовать свои эмигрантские потенции и отряхнуть со своих ног прах отечества. Между тем и по самому номинальному своему значению, и по реальному характеру нашего диссидентства шестидесятых — восьмидесятых годов этот термин обнимает собою людей очень широкого спектра, самых различных, порой почти даже противоположных позиций, настроений, духовных, политических и т. п. ориентаций, объединенных лишь общим неприятием тех порядков, которые были установлены еще во времена сталинского тоталитаризма, а затем в новом, смягченно-«застойном» варианте господствовали у нас и в семидесятых, и в первой половине восьмидесятых годов.

Но кто тогда этими порядками был доволен, кроме той аппаратно-бюрократической среды, которой порядки эти обеспечивали максимум возможного у нас легального процветаиия? «Диссиденты»,— во всяком случае, диссиденты, попавшие в тот очень широкий радиус захвата, который взят В. Кормером в его романе,— были с этой точки зрения такими «*диссидентами*», как и большинство населения нашей страны,— с той лишь разницей, что они довели свои настроения несогласия, недовольства, неприятия господствовавших в стране порядков до уровня достаточной осознанности, до выбора определенных жизненных позиций, соответствующих их взглядам. Но позиций, повторяю, очень разных, порой почти противоположных,— от позиций тех, кто действительно готов был и хотел уехать, чтобы за рубежом либо вообще «позабыть» о покинутой стране, либо вести оттуда прямую политическую борьбу с «режимом» — до позиций тех, для кого покинуть родину было вещью немыслимой и кто пытался реализовать соответствующий своим убеждениям способ жизни именно здесь,— либо участием в так называемом «демократическом движении», либо уходом в религиозную или творческую деятельность, либо даже демонстративной асоциальностью и антиобщественностью своей частной жизни.

Вот какую-то часть этого пестрого и разнообразного спектра «диссидентства» и представил нам в своем романе В. Кормер. Представил в ярких, колоритных, отчетливо вылепленных фигурах, каждая из которых и приобретает поэтому достаточно репрезентативный характер для того или иного течения в этом сложном и очень разнородном потоке диссидентской стихии. Здесь мы видим и Хазина, «лидера демократического движения» (как он сам себя воспринимает), и ушедшего в эпатирующие бездны сугубо «частного» сексуального гедонизма Льва Владимировича Нарежного, первого мужа Тани Манн, когда-то отсидевшего срок и вернувшегося в середине 50-х годов, и саму Таню Манн, экстатически экзальтированную в своей мистической вере современную интеллигентку-христианку. Мы видим здесь и знаменитого священника отца Владимира, вокруг которого собирается покоренная его религиозно-просветительской деятельностью и несомненным проповедническим талантом немалая духовная паства, и мечущегося в поисках истинной, крепкой веры Мелика, и Вирхова, начинающего писате-

ля, которого очень интересует вся эта среда, но в которой он скорее наблюдатель, даже как бы «соглядатай», чем участник, и «тамошнего» пастора-туриста Гри-Гри, исповедующего доктрину, которая доводит до логической буквальности известный тезис Ницше — «Бог умер», и многих других персонажей, дорисовывающих общую многофигурную композицию этого как бы «группового портрета» нашего диссидентства.

Почему, однако,— «как бы»?

Потому что если и можно говорить о какой-то портретной прицельности того многофигурного «группового» изображения, которое представлено в романе, то при всем том, что уже сказано как будто бы в пользу такого восприятия романа, говорить об этом можно все-таки лишь в каком-то особом, скорее переносном, чем прямом смысле.

Да, В. Кормеру интересны исходные жизненно-мировоззренческие позиции своих героев, их стержневые способы ориентации в окружающем мире, и он сводит их — по существу, а не формально — в напряженном духовном споре. Недаром так интересны в этом романе диалоги, представляющие собою нередко настоящие «драмы идей», причем в очень жизненном, ничуть не условном, не книжно-искусственном, а реальном, разговорном, живом воплощении. И вот это-то столкновение, это-то разнообразие мировоззренческих голосов, звучащих в романе и частично отражающих реальное многоголосье общественного сознания нашего времени, соединяет, несомненно, роман В. Кормера с великой традицией русского философского романа XIX века в той ее «полифонической» ипостаси, которая представлена романным творчеством Достоевского. До известной степени справедливо будет сказать, что роман В. Кормера едва ли даже не первая в нашей современной русской литературе вещь такой широкой философско-политической полифонии.

Но все-таки лишь до известной степени. Потому что полифония всегда предполагает наличие контрапункта (иначе это какофония, а не полифония), а таким контрапунктом — вопреки М. Бахтину и в полном соответствии с уроками Достоевского — никак не может быть в художественном произведении всего лишь композиционно-проблемное единство, достигаемое простым сопоставлением какого-то количества спорящих голосов. Таким контрапунктом может быть только какое-то *содержательно-смысловое* единство многоголосого текста, восходящее *к собственной* позиции автора, потому что всякое литературно-художественное произведение есть по структуре своей всегда своего рода *высказывание*, а высказывание только тогда именно *высказывание*, когда оно имеет характер определенного оценочно-смыслового *утверждения*, а не нейтральной, «беспозиционной» констатации.

Между тем в романе В. Кормера читатель вряд ли заметит какое-то желание автора так или иначе определить свою собственную позицию по отношению к позициям тех, кого он сводит в духовном споре. Он и здесь скорее «соглядатай», чем непосредственный участник этих споров, и поэтому его «полифония» — это полифония скорее именно в смысле Бахтина, чем Достоевского. А это значит, несомненно, что и не на этой линии — не на линии сопоставления спорящих в романе голосов — лежит центр той собственной авторской мысли — мысли понимающей, оценивающей, что-то утверждающей,— в которой можно было бы видеть художественную идею романа. И это, в свою очередь, значит, что по крайней мере уже с этой, очень важной стороны своего содержания роман никак не соответствует, стало быть, жанру «группового портрета»: если он задуман именно таким по отношению к некоему диссидентскому разноголосью, то куда же в таком случае делась та художественно-смысловая полифония в изображении этого разноголосья, которая одна только и могла бы лежать в структурной основе такого романа? Очевидно, что хотя вся эта сфера духовных противостояний и споров героев и важна автору, однако важна не самоценно, не сама по себе, а лишь в отношении к какому-то иному, главному центру его интереса и внимания в этом романе — к главному предмету его художнического «высказывания».

Это во-первых. Во-вторых же, нельзя не обратить внимания и на то, что среди героев романа совсем нет таких персонажей (и это тоже, конечно, не случайно), которые по своей общественной, духовной, человеческой значительности хотя бы отдаленно напоминали тех, кто действительно составлял цвет и славу нашего диссидентства,— людей типа Сахарова, Солженицына, Владимова, Буковского, Войновича и др. А без них какая же портретная репрезентативность при изображении диссидентской среды, если говорить хотя бы даже о некотором приближении к задаче «портретирования» диссидентского движения в *целом*? Если уж та картина, которая нарисована в романе, и обладает какой-то «групповой» портретной значимостью, то, конечно, скорее все-таки лишь в отношении некоей более массовой, более, так сказать, периферийной диссидентской среды. Да и то лишь в какой-то ее части, взятой к тому же не столько все-таки со стороны самой по себе «философии» героев, их «взглядов» (при всей важности и выразительности таких характеристик), сколько со стороны тех непосредственных, практических моделей жизненного поведения, в которых реально и материализуется эта духовная основа их существования.

С какой же в таком случае точки зрения рассматривается автором эта живая, непосредственная стихия реального, жизненно-бытового, личностно-психологического существования героев? Это вопрос тем более правомерный и важный, что, читая роман, нельзя не обратить внимания на то, с какой поразительной, поистине предельной реалистической трезвостью изображен в романе диссидентский мир — или, вернее, та часть диссидентского мира, которая взята В. Кормером. Здесь не только нет какого-либо сочувственного «подыгрывания» героям, но, напротив, почти все они изображены в романе с такой остротой критического проникновения в их психологическую сокровенность, которая вряд ли способна вызвать по отношению к ним какие-то повышенные читательские симпатии. И самовлюбленность, нравственная неопрятность Хазина, и экзальтированное кликушество Тани, и бесстыдство Льва Владимировича, и мутные метания и падения Мелика, и иронически акцентированная автором тщеславная суетность Вирхова (и это при несомненно автобиографической основе этого образа!), и не лишенная той же суетности «значительность» отца Владимира, и т. д. и т. п.,— все эти черты выписаны столь рельефно, крупно, ярко, что не раз заставляют вспомнить о традициях Достоевского в изображении «бесовства». Да и в самом романе, как увидит читатель, этот термин возникает тоже не однажды и как раз именно в контексте разгадывания нравственно-психологической «загадки» представленной в романе диссидентской среды.

Значит ли это, однако, что именно так — как на преемников былого российского «бесовства», изображенного Достоевским,— и смотрит в романе «Наследство» на своих героев его автор?

Не сомневаюсь, что если и не нашлось уже за границей, то найдутся сейчас у нас критики и читатели, которые в этом не усомнятся. А какой соблазн для доброхотов, озабоченных поведением «Октября», обвинить журнал в том, что он напечатал еще одно клеветническое произведение, злостно изобличающее на этот раз наших родных, отечественных, российских диссидентов!.. Неважно, что защищать диссидентов вроде бы несколько не с руки тем, кто только что призывал на страшный российский литературный суд В. Гроссмана с его пресловутой «русофобией»,— в хозяйстве все сгодится, вали пока в одну кучу, там разберемся!..

Увы, как это ни прискорбно будет тем, кто, может быть, настроится на очередной подвиг такого рода, но как нет в этом романе поэтизации, так нет и никакого тенденциозного «осуждения» автором его героев. Он вообще работает как писатель отнюдь не в такого рода поверхностных измерениях — прямолинейного морализма или социологизации. Он предстает перед нами в этом романе подлинным художником, внимательно вглядывающимся в этот когда-то открывшийся ему, а теперь открываемый им и нам *человеческий* мир с тем, чтобы прежде всего *понять* его. Он видит и в этом мире в целом и в каждом человеке, в него входящем, разное — и не спешит с оценочной инвентаризацией. Вот почему его герои так живы, объемны, убедительны, и вот почему вопрос — кто же они, эти люди? Герои или злодеи? Святые или грешники? — остается открытым и обращен к нам, читателям. Причем обращен так, что какой-либо однозначный ответ на него заранее предполагается невозможным, ибо люди эти — действительно прежде всего живые, реальные люди, не злодеи и не герои, не святые и не безнадежные грешники, хотя в то же время и то, и другое, и третье вместе, как это и бывает в жизни. И это вовсе не уход автора от какой-либо художнической определенности, от собственного художнического высказывания, не отказ занять сколько-нибудь четкую позицию во взгляде на изображенных им людей. Напротив, именно нежелание автора становиться в понимании этих людей на узко моралистические позиции, брать на себя ответственность какой-то окончательной их оценки, смотреть на их человеческое «я» как на что-то уже завершенное, «закрытое», а не вечно движущееся, изменяющееся, открытое в своих возможностях самостановления,— все это как раз и есть именно его *высказывание*, или, вернее, лежит в русле того стержневого «высказывания», которое и составляет самую суть этого сложного религиозно философского романа.

Да, религиозно-философского, и теперь настала пора сказать это, потому что без понимания этого качества романа просто невозможно было бы подвести какой-то итог всему тому, что уже сказано о нем выше. Ведь именно христианская мысль, именно христианский взгляд на человека, христианское понимание его и отношение к нему и есть действительный контрапункт этого романа — тот контрапункт, «присутствие» которого в романе будет, несомненно, ощущаться читателем тем сильнее и полнее, чем ближе он будет подходить к его завершающим главам. И именно в них, пожалуй, и откроется ему до конца то, что, в сущности, весь смысл обращения автора к людям столь близкой и дорогой ему человеческой среды и весь смысл столь зоркого критического вглядывания в «подноготную» своих героев и состоит именно в том, чтобы показать, как много даже в таких, отнюдь не худших людях, все-таки поднявшихся до мужества реального инакомыслия и инакоповедения, как много даже и в таких людях (как и в любом человеке) всяческой неподлинности, самовлюбленности, эгоизма, даже низости! И какой непреходяще первостепенной, самой главной, была и остается поэтому та задача, которую всегда ставило перед человеком христианство: начинать прежде всего с себя самого, с собственного очищения и преображения, а не с претензий на переделку человечества по тому или другому штату. Тем более когда речь идет о нас, на чьей жизни так давно уже лежит печать страшного, губительного несчастья, вечного надрыва, уродливой вечной изломанности чудовищностью нашего общественного бытия... Вот в чем, несомненно, истинный пафос романа — его высокий христианский, христиански просвещающий пафос.

Да, такое просвещение горестно и тяжко, ибо всем нам, диссидентам и недиссидентам, невыносимо больно, почти невозможно знать о себе то, что показывает в своих героях — а значит и не в нас ли? — В. Кормер. Но что же делать? Если вам нужны утешительные иллюзии, то вы обращаетесь не по адресу — он не из таких утешителей. Писатели его склада знают, что человек нуждается, в сущности, только в одном лекарстве — в духовном трезвении. И ради того, чтобы помочь нам в этом, он решается провести нас даже и через такие бездны прозрений, которые открываются Мелику в его проклятом бреде оправдания Иуды и в его постижении тайны ада как невозможности для человека самосильно вырваться из кольца своей греховности... И провести так, что нам и эти бездны не покажутся, пожалуй, такими уж потусторонними, не имеющими отношения к нашей скромной персоне и к нашей скромной жизни. Вглядитесь-ка и в самом деле в себя попристальнее! Ну, как?..

И вот тогда-то, пережив хотя бы некоторую сопричастность к отчаянию этого самого трагического героя кормеровского романа, вы до конца, может быть, почувствуете и оцените и то, что при всей жестокой горестности того взгляда, которым смотрит В. Кормер на человека, на всех нас, нет в этом взгляде ни мизантропии, а лишь любовь и милосердие, ни тем более безнадежности, но, напротив, неиссякающая надежда, упование и вера в безусловную возможность победы в человеке света и добра — в возможность человеческого *преображения*. Ведь разве не в этом и символический, и художественный, и реальный смысл той замечательной финальной сцены романа, где в праздничном сиянии торжественной пасхальной службы так светло двоятся даже возможные судьбы героев, только что, казалось бы, уже сорвавшиеся в бездну, в небытие, но вот, оказывается, утверждающие свое бытие через участие в торжестве Воскресения! А почему бы, действительно, и нет?..

Однако здесь уже, пожалуй, пора остановиться и не злоупотреблять терпением читателя, но предоставить ему, наконец, возможность самому, без поводыря, пройти по дорогам этого увлекательного и сложного романа, многих сторон которого я даже и не коснулся, равно как и некоторых его недостатков, проступающих там, где В. Кормер пишет не о том, что знает сам, а о том, что знает лишь по рассказам других и может лишь домыслить, вообразить. Это относится, конечно, прежде всего к сценам из жизни первой нашей эмиграции, очевидно уступающим по изобразительной яркости сценам из современной жизни. Но все это, я уверен, не помешает читателю почувствовать на себе ту глубинную духовно-художественную энергию, с которой мощно затягивает в себя этот роман и которая долго еще не выпустит вас из поля своего воздействия даже и после того, как вы закроете последнюю его страницу...

Игорь ВИНОГРАДОВ

I. AB OVO

Наталья Михайловна Вельде была урожденной Х-овской, последней из некогда славного княжеского рода, потом повсеместно обедневшего и иссякшего в побочных детях. Существовали, правда, еще одни Х-овские, не то в Америке, не то во Франции, но эти происходили из вовсе сомнительной ветви. Возможно также, что еще доживали свой век где-нибудь в Перми полузабытые троюродные сестры. Все это, конечно, не имело теперь никакого значения, тем более что в 1932 году при введении Советской властью паспортной системы отец Натальи Михайловны, Михаил Владимирович, благоразумно отбросил компрометирующее боярское окончание и стал скромно писаться Х-ов. Так писала про родителей в анкетах и Наталья Михайловна.

Отцу, впрочем, эта хитрость не помогла нимало: по пустячному поводу — при раздаче на службе так называемых «заборных книжек» — его разоблачили и, сперва ограничась репрессиями местного порядка, скоро привлекли за участие в контрреволюционном монархическом заговоре сотрудников Академии наук. Во время следствия он умер.

Еще прежде был арестован бывший муж Натальи Михайловны Анд-

рей Генрихович, какие-то отношения с которым продолжали у нее сохраняться. Ему дали по позднейшим меркам немного — три года — и через указанный срок действительно освободили. Он получил «минус двенадцать», то есть запрещение проживать в двенадцати крупнейших городах Союза, и предпочел, как ни хотелось ему быть ближе к ней (так он писал в письмах), не пробиваться сюда, к Центру, а остаться там, где и был, в Зауралье, на рудниках. По косвенно дошедшим сведениям Наталья Михайловна знала, однако, что там, на рудниках, он женился на тоже ссыльной. Через год примерно он признался ей, что женат, с чем Наталья Михайловна и поздравляла его от души, радуясь, что он наконец устроен. Ибо сама она к этому времени уже несколько лет как была замужем за прелестнейшим и добрейшим человеком, давно и верно влюбленным в нее — Александром Матвеевичем Леторослевым.

Этот брак был для нее удачней первого, они жили ровно, дружно; у них родился сын. Наталья Михайловна даже подумывала, не завести ли ей на старости лет еще ребенка, как тут началась история с отцом, а потом, когда все было кончено, нежданно-негаданно пришло письмо от одной знакомой, от такой знакомой, о которой Наталья Михайловна и не предполагала когда-нибудь еще услышать. Несчастная женщина тоже была в ссылке и, умирая от туберкулеза и боясь больше всего на свете не за себя, но за шестилетнюю свою девочку, которая теперь должна была сгинуть без отца и без матери, просила Наталью Михайловну взять малышку к себе.

Наталья Михайловна отправилась туда немедля вместе с Александром Матвеевичем, и из рук в руки они приняли от рыдавшей, обреченной женщины девочку, оказавшуюся милой, умненькой и с хорошими задатками.

Хотя жили они и не слишком обеспеченно и несколько опасались неприятностей из-за отца или бывшего мужа, но, в общем, благополучно, и благополучный этот период оборвался только в сорок первом году, с войной. Александр Матвеевич ушел на фронт в первые же дни, и сразу же прислана была на него похоронная. Он погиб при бомбежке под Полоцком. В блокаду умерла и тетка Натальи Михайловны с материнской стороны.

Окончив в 1912 году Бестужевские женские курсы, Наталья Михайловна работала юрисконсультом в одном торговом тресте, работала с тех самых пор, как ушла из университета в начале тридцатых годов, и, не гнушаясь однообразием и мелочностью торговых склок, которыми она занималась, полагала даже, что удачно устроилась.

На службе ее уважали, в судах и арбитражах нравились ее манеры. У нее не было обычной адвокатской развязности и самоуверенности, она никогда не носила ни мужеподобных пиджаков, ни галстуков, никогда не ступала крупно, широко, хотя росту была выше среднего, не возглашала, как некоторые дамы-юристы, трубным голосом, и речь ее была мягкой, словно чуть смущенной. Притом она обладала великолепной памятью, умом живым и насмешливым отчасти, была деловита, дотошна и, будучи человеком вне сомнения честным, но понимая относительность нашего бытия, не раздражала людей вздорным идеализмом или, более узко, непреклонностью в применении статей и санкций. С людьми ей не было трудно. Профессионально она умела выслушивать самые длинные и бестолковые рассказы, находя даже удовольствие в такой преувеличенной подробности и разветвленности (только, быть может, с годами она становилась от этого чересчур немногословной); умела спокойно выдерживать первые, часто хамские, наскоки обманутого ее скромной внешностью коллеги, могла в нужную минуту резко вдруг повернуть дело в свою сторону, не теряла терпения и в спорах, разве что, уставая, делалась холодней и презрительней.

Еще больше, чем на работе, ценили ее знакомые, ибо такой ясный нрав, каков был у нее, казался поистине редок среди господствующего раздражения. Но Наталья Михайловна не слишком сближалась с ними и, оставаясь неизменно благожелательной, любила всегда соблюсти некоторую дистанцию, немножко побаиваясь пылкой привязанности и настороженно принимая ее знаки. Поэтому при обилии знакомств подлинных

друзей у нее было мало, с летами их становилось все меньше и меньше, а новые как-то не приобретались.

Но если она говорила себе, что, сохранив близких друзей, не имеет права жаловаться на жизнь, то с детьми ей повезло меньше. Они — и ее собственный сын, и приемная дочь — были, без всякого сомнения, и умны, и талантливы, и добры, но тем не менее далеки от нее; не эгоисты, они были при этом достаточно трудны, и — Наталья Михайловна не могла в этом не признаться — к сожалению, не вполне нормальны. В чем-то они были удивительно похожи друг на друга: в том именно, что их обоих жизнь всегда выносила куда-то в сторону, они никак не могли устроиться, осесть, постоянно терпели поношения от людей недавно им близких и, пожалуй, не оправдывали надежд, которые на них возлагались. Наталье Михайловне было с ними все тяжелее. Некоторое время она еще пыталась найти с ними общий язык, найти и свою вину, свою ошибку — ведь она видела, как развивались эти трудные характеры, но в конце концов махнула рукой. Может быть, все это так получилось из-за Тани, может быть, все заключалось в том, что Таня была ей неродной дочерью, и Наталья Михайловна, боясь позволить ей это почувствовать, невольно не нашла верного тона с девочкой, которую — будь та ей родной дочерью — она бы не страшилась постоянно задеть: быть с ней бестактной, обидеть или даже оскорбить ее каким-то вопросом, где-то ограничить ее свободу, дать ей хоть в чем-то ощутить, что о н а н е т о, ч т о в с е.

Но все это было давно. К тому же в 46-м году Танина мать, которую все считали погибшей, сначала дала о себе знать откуда-то из-под Чимкента, а в октябре 1948 года вернулась в Москву, и Таня с тех пор жила уже с ней.

Убедившись, что с детьми ничего нельзя поделать (да и не такие уж они были теперь дети), Наталья Михайловна научилась крепче держаться за службу и твердо отказывалась уйти на пенсию, хотя в их системе не раз проводили политику «омоложения кадров», почти подряд всех, достигших пенсионного возраста, подталкивали к двери, и недруги ее из «отдела кадров» иногда намекали: «Пора б и вам, Наталья Михайловна, отдохнуть, поработали, надо и честь знать. Заслужили от государства пенсию, теперь пользуйтесь...» На это Наталья Михайловна высокомерно отвечала им: «Вы же без гроша останетесь, ежели я уйду. Проторгуетесь дочиста!» Она знала, как разговаривать с ними, и, точно сраженные таким доводом, они умолкали.

Кроме службы, она нашла тогда себе еще развлечение. В начале 60-х годов бестужевки, которых осталось по всей России, наверное, не меньше двухсот, создали свой специальный комитет «окончивших Бестужевские женские курсы», получили помещение во Дворце просвещения (в Ленинграде), в бывшем Юсуповском особняке; постановили быть ежегодным генеральным встречам всех окончивших и выпускать периодическое издание с мемуарами бестужевок, желательно приурочивая его к съездам. Наталью Михайловну включили и в организационную комиссию, и в редакцию сборника. Дел было очень много, особенно различных административно-хозяйственных, связанных с добычей бумаги, договорами с издательством, типографией, рассылкой сигнальных экземпляров, приглашений на съезды и тому подобной волокитой, к которой большинство участниц оргкомитета, проучительствовав всю жизнь в школе или проработав в тихих академических библиотеках и институтах, абсолютно не были приспособлены и которую потому брала на себя Наталья Михайловна. Это требовало частых поездок из Москвы в Ленинград, но ей сперва даже нравилось это, и путешествия ее не утомляли.

Съезды были удачны. Бросались в объятия, не видав друг друга лет пятьдесят, с трудом признавали прежних сокурсниц, ахали, втайне ужасались и спрашивали себя: «Неужели и я изменилась так страшно?» Затем выступали, ездили по городу в арендованных автобусах, устраивали общие чаепития, а Наталье Михайловне на одном из первых съездов, помимо всего прочего, досталось ублажать двух своенравных старух из Медыни, отъявленных графоманок, романы коих из предреволюционной жизни русского атеистического студенчества она должна была прочитать и дать на них рецензию.

Она читала вечерами, лежа в постели, эти романы; засыпая над ни-

ми, смеялась; утром бежала в Юсуповский особняк, отвечала на телефонные звонки, заказывала номера в гостиницах для опоздавших, принимала каких-то других женщин, окончивших, например, не Бестужевские курсы, а курсы Герье, но желавших тоже примкнуть к «Движению», как они говорили, вспомнив старину; снова и снова заседала в редакционной комиссии, корректируя резолюции, протоколы... и за всем за этим острее и острее с каждым днем чувствовала нелепость своих занятий. Интриги, разгоревшиеся среди старух, среди этих «монстров», как их называла Наталья Михайловна, выводили ее из себя. Известная часть этих деятельниц состояла в партии. Выяснилось, что уже неоднократно они жаловались в ЦК, что в «возникающем Движении всем заправляют бывшие баронессы и графини, забравшие себе много власти и дающие неверный акцент всему делу». Теперь они требовали издать сборник «Бестужевки на службе социализма» и яростно боролись за место в руководстве. В довершение всего Марья Васильевна Соколова, ближайшая приятельница Натальи Михайловны с детских лет, не выдержав, назвала одну из этих активисток «обыкновенной интриганкой». В свою очередь, те восстали и с садистическим удовольствием требовали «товарищеского суда». Суд, к счастью, не состоялся по причине гриппа, разразившегося в эту пору, свалившего половину участниц разбирательства и распугавшего другую, но на Наталью Михайловну это произвело отвратительное впечатление.

Все эти заседания, все восторженные или злобные крики, рукопожатия, вся эта активность были для нее не что иное, как в ы п а д е н и е и з о б р а з а. «Лучше сказать,— сейчас же поправилась она,— отпадение от самой себя. Да, да, именно так. Незачем было жить такой жизнью, незачем было терпеть мучения»,— подумала она, еще неясно понимая, что означает «т а к о й» и какие имеются в виду мучения. Несколько дней сряду она размышляла между делами все о том же, варьируя на разные лады «такую жизнь» и «незачем» и постепенно вводя в эту сферу все новые фигуры: то лица, то ситуации.

Она еще занималась какими-то комитетскими делами, еще вела длинную переписку со старухами-графоманками, встречалась с подругами-комитетчицами, ездила в Питер, но параллельно всему и почти независимо от нее самой в ней зрело какое-то решение, которое спустя два дня, в наступившей после всех забот благодатной разряженности, явилось, поразив ее саму своей неотвратимой жестокостью.

С ним она и вернулась в Москву из очередной поездки. Еще не вполне ему веря, она вышла на другой день с работы что-то около четырех, сославшись на головную боль, и долго кружила по городу, чувствуя свою и его болезнь. Некий надрыв или надлом чудился ей в этих холодных каменных переулках, знакомых ей с детства и прежде любимых ею. Сейчас они лишились для нее всякой прелести, она видела кругом только бездушный камень и если натыкалась взглядом на дерево в палисадничке или деревянный особнячок с осыпавшейся штукатуркой, то думала: «Это обречено на снос». Ей мнилось, что город, как она сама, потерял волю к жизни, в нем что-то сломалось, дух отлетел от него. Или то был просто новый дух, которого она не понимала, с которым не могла согласиться, но и противиться ему не могла, иначе как уйдя отсюда. Уже темнело. Шел мокрый крупный снег. Перед тем две недели стояли двадцатиградусные морозы, но сейчас было хуже, чем тогда. Дул западный ветер, сырость пронизывала до костей, пальто, намокнув, отяжелело. Наталья Михайловна шла быстрей, чтобы согреться, тут же ей становилось жарко под надетыми сдуру двумя кофтами, и, разгоряченная, мокрая и внутри и снаружи, она делалась противна себе.

К шести, торопясь, чтоб успеть, пока не возвратились соседи, она вошла домой. На нее пахнуло теплом. Ей представились вдруг Канарские острова, где она была в молодости, с их теплым, ровным океанским бризом. Она будто бы была внутри четырехугольного испанского двора, у колодца, облицованного белым камнем, прорубленного сквозь толщу скалы прямо в океан; здесь стирали, а выстиранное раскладывали на крыше, где ветер и солнце отбеливали белье лучше всякой прачки. Она прохаживалась у колодца, напевая, и брат местного священника, пятидесятилетний бонвиван, толстый и сентиментальный, картинно перегибаясь через перила лоджии, говорил ей: «О, Натали, вы пели, а я подумал: «Боже, неужели у всех русских женщин такой ангельский голос?..» Спойте еще, Натали, прошу вас...» Послушавшись его, она решилась запеть в полный голос, но изо рта ее вылетал лишь нечленораздельный звук, похожий на крик морской птицы. Она пыталась разомкнуть губы, но снова получался лишь жуткий горловой звук, и невесть откуда взявшийся здесь человек, предполагаемый Танин отец, встревоженно склонялся над нею: «Успокойтесь, Наталья Михайловна, успокойтесь, прошу вас...» От этих слов она наконец очнулась, увидев, что так и стоит в коридоре на пороге своих комнат.

Она занимала две последние комнаты по коридору. В квартире, как она и рассчитывала, еще никого не было, соседи возвращались обычно не раньше семи. Таня жила у своей матери, а теперь ее и вообще не было в городе. Она только что развелась со своим мужем (хотя они разошлись давно уже), сразу же после этого уехала к друзьям в Литву и должна была вернуться не раньше, чем через две недели. Сын тоже жил отдельно, бывал набегами.

Присев у стола, Наталья Михайловна взяла лист бумаги, крупно написала, что будет дома не раньше десяти вечера, зажгла в коридоре свет и приколола записку над телефоном. В ней проснулась особая педантичность, и Наталья Михайловна даже обрадовалась ей, потому что предполагала, что это должно проявиться. Снова присев у стола, покрытого скатертью, оставшейся еще с отцовских времен, обветшавшей и заштопанной во многих местах, она принялась размышлять о том, что, сколько бы она ни любила эту скатерть, ее все равно придется выкинуть или пустить на тряпки. Тотчас же она спохватилась, что главное намерение ее исключает всякое иное и, засмеявшись, встала и подошла к своей кушетке в углу за буфетом. Задняя стенка буфета занавешена была старинным армянским покрывалом с цветной вышивкой по черному полю, справа, в головах, стоял узенький ореховый шкафчик, прежде назначавшийся для архива. На верхних полках его сейчас было белье, но на нижней и впрямь некоторое подобие архива: коробки с фотографиями и даже с древними неотпечатанными фотопластинками, связки писем и никому не нужных старых документов. На миг у нее возникла идея разобрать все это и навести порядок, но, уже растворив дверцы, она решила этому не поддаваться и оставить все как есть. Затем она поймала себя на том, что трогает разные вещи: то пыльные флаконы на туалетном столике, то ободранные сафьяновые корешки нескольких уцелевших книг от разворованной в войну библиотеки. В какой-то момент она почувствовала, что если сию минуту не сделает э т о г о, то и никогда не сделает, и весь остаток своих дней будет испытывать к себе отвращение, и все равно не будет жить, а только умирать, гнить медленно, опускаясь и ненавидя себя. Она проверила, заперта ли дверь; нембутал оставался еще с февраля, когда во время Таниного развода Наталья Михайловна нервничала и плохо спала.

II. Дурдом

Наталья Михайловна совсем забыла, что последнее время как раз около десяти вечера к ней обычно заходила соседка. В том году е в р е е в у ж е н а ч а л и о т п у с к а т ь и з С о ю з а, и соседка Натальи Михайловны, возымевши идею у е х а т ь, бегала теперь целыми днями по городу, выясняя возможности отъезда, а вечером заходила к Наталье Михайловне обсудить с ней разные юридические тонкости, могущие возникнуть в связи с этим делом.

Этим вечером соседка также собралась зайти, увидела записку, немного подождала и потом, думая, что Наталья Михайловна, не замеченная ею, вернулась уже, подошла к двери в дальнем конце коридора и постучала. Из-за рассохшейся филенки она услыхала хрип, стоны, взволновалась, крикнула еще соседей, все вместе они попробовали взломать дверь, не успели в том, действуя нерешительно, и предпочли вызвать милицию и «скорую помощь».

Наталья Михайловна была еще жива, ее доставили в больницу, где сравнительно скоро о т к а ч а л и, а оттуда через два дня — в сумасшедший дом.

Сначала она даже не поняла этого как следует, потом, окончательно придя в себя, была возмущена, шокирована, пересилила себя и закричала на врача, спокойную, деликатную, как она сама, пожилую женщину. Ее хотели поместить, даже ввели уже т у д а — в отделение психозов «обратного развития», на второй этаж флигелька, и провели через комнату, где сухонькие старушки с желтыми лицами и остекленевшими глазами за общим длинным столом работали какую-то работу: что-то шили или вырезали бумажные салфетки, которыми и так тщательно были застелены буфет и ненужные полочки в этой смешной, аккуратной, мещански обставленной комнате.

— Да, на старческие психозы это не очень походит. — Молодой, но дородный уже, по-видимому, многообещающий врач кивнул пожилой докторше, младше его по должности. — Действительно, вы правы. Это скорее...

— Да что «это»? Что «это»?! — закричала Наталья Михайловна, отчаиваясь. — Что вы все заладили «это» и «это»?!

— Видите ли... — Он выдержал паузу, взглядом давая ей понять, чтобы она не очень-то забывалась и вела себя пристойно. — Мы делаем это в ваших же интересах.

— Вот как?!

— Именно так. Человек, решивший поступить так, как поступили вы, не может быть в нормальном состоянии. Он в чем-то нездоров. Ему надо пройти курс лечения, отдохнуть, поправиться. Такой человек не может быть здоров.

— Но почему, почему?! — Наталья Михайловна не знала, смеяться ей от важного его тона или сердиться.

— Потому что у здорового человека в нашей стране нет б а з и с а для такого поступка, — с ударением сказала сидевшая за конторским столом у окна юная докторша-подхалимка в кожаных сапогах с высокими голенищами на худых кривоватых ножках. — В капиталистических странах другое дело, там это желание понятно.

Наталью Михайловну это почему-то убедило. Она подумала, что если бы Таня была в городе, то все вообще кончилось бы в два дня: Таня бы пришла и под расписку забрала ее отсюда. А так, поскольку Тани нет, то пока дозвонятся, пока точно узнают, где она, дадут телеграмму, пройдет не два дня, а четыре, пять. Она подумала, что неприлично в конце концов устраивать из-за этого истерики, скандалы и биться головой о прутья решеток. Что касалось сына, то Наталья Михайловна была почти уверена, что он не придет сразу. Его недаром чуть не в глаза называли шизофреником, он недаром мучился, что это, быть может, действительно так, и недаром больше всего на свете боялся попасть в сумасшедший дом. Поэтому просто, с обычным визитом, он прийти сюда никак не мог. Скорее всего он должен был ждать более разумной Тани, изобретая для себя самого разные предлоги, ища невероятные обходные пути, строя необычайные проекты, как извлечь мать из этого страшного места. Но и помимо этого еще одно соображение руководило Натальей Михайловной: она никак не могла без стыда представить себе свое возвращение домой, лица и расспросы соседей, их недоумение, свою смущенную улыбку, с которой — она знала — будет идти мимо них и отвечать им. Удавшись, ее деяние было б грозным и непонятно страшным для всех предостережением, мимо которого никто не посмел бы пройти легкомысленно, не ужаснувшись тому, как сумела она, неизменно любезная, улыбаясь, делая обычное вместе со всеми, выносить свою ужасную идею. Не удавшись, оно становилось оскорбительно поверхностным, смешным, вздорным, прихотью выжившей из ума маразматички. И хотя значение чьего-то мнения явно было несоизмеримо со значением того, что она чуть было не исполнила, и сомневалась, не повторит ли опять, она не могла не думать об этом. С этой точки зрения, поразмыслив, она догадалась, что лучше ей и в самом деле утвердить всех знакомых в том, что она внезапно помешалась, затем пробыть какое-то время в сумасшедшем доме, месяц или даже два, и выйти лишь тогда, когда все уже успокоится. По ее разумению, приличнее было спятить, нежели неудачно пытаться покончить с собой.

Поэтому, когда Таня, сама чуть не сошедшая с ума от такого известия, примчалась к ней, Наталья Михайловна не стала рваться ей навстречу, умоляя забрать ее отсюда: она положила себе посмотреть, как будет реагировать та; пожелала удостовериться, что та заплачет, запричитает, что искренне захочет возвратить ее домой, вообще пожелала увидеть, каково будет это первое свидание, и тогда уже вывести, возвращаться ей сразу или потом. Она и сама не понимала, что это с ней сделалось, ибо подобные проверки чувств были не в ее вкусе, и после того как Таня, сбитая с толку необъяснимым таким поведением, растерянно удалилась, Наталья Михайловна долго бранила себя и говорила себе, что и вправду, наверное, выжила из ума. Дело было сделано, однако; она осталась.

Ее все ж перевели в другое отделение, к депрессантам. Ей повезло с палатой. Все отделение размещалось на третьем этаже типового школьного корпуса; в классах стояли кровати, а в небольших комнатушках — по проекту учительских или что-нибудь в этом роде — за дверьми со снятыми ручками обитали врачи. В классах лежало человек по десять — двенадцать, там было шумно, много смеялись, обязательно выискивая себе жертву, и Наталья Михайловна, еще едва взойдя на этаж, услышала, как молодая, на вид здоровая девка, говорила при общем веселье другой: «Ну, милая, ты сегодня ночью так пердела, так пердела, что у меня чуть было кровать не уехала из палаты!». Но саму Наталью Михайловну счастливо определили не в такую палату, а в маленькую, оставшуюся от разгороженной большой: лаборатория электроэнцефалографии, рассказали Наталье Михайловне всеведущие больные, отвоевала у клиницистов вторую половину под импортные свои приборы.

Наталья Михайловна очутилась в палате третьей. Две другие были: одна — молодая дама, лет тридцати — тридцати двух, по профессии детская писательница, тут находившаяся по случаю белой горячки; другая — пожилая еврейка, из простых. Эта была более сумасшедшей, в часы просветлений она вязала, но время от времени ей начинали мерещиться на полу возле туфель какие-то жучки, которых детская писательница должна была брать бумажкой, выносить в коридор и там давить, демонстративно топая ногами.

Наталья Михайловна пришлась им обеим впору: они обе наперебой заговаривали ее, особенно, вопреки ожиданиям, не еврейка, а детская писательница. Наталья Михайловна привычно, со вниманием выслушивала, вникала и, однажды услыхав, не путалась в частностях генеалогических древ и биографий. В незапахнутом халате, держа плоскую пишущую машинку на коленях, растрепанная, с выбившимися из-под дорогого гребня русыми прядями, детская писательница говорила без умолку, все одушевляясь, и часам к трем дня начинала сипнуть и трястись явственней и явственней. Она была из хорошей семьи, хорошей теперешней, родители ее были: отец — литературный критик, а главным образом литфондовский деятель, мать — переводчица, тоже достаточно известная. Сама детская писательница была прежде замужем, недавно вознамерилась выйти снова, но помешали некие препятствия, то именно, что она была замешана в одном политическом деле, ее в ы з ы в а л и, и избранник ее, часто ездивший за границу или по крайней мере хотевший часто ездить, решил не портить лучше себе анкетных данных и от брака воздержаться. По этому поводу у нее и случился э т о т запой, но виновата была не она сама, а примешивалась тут еще подруга, которая не удерживала ее, а, наоборот, спаивала, хотя знала, что после т о г о запоя ей категорически нельзя было пить. Они начали в августе, возвратясь из Крыма, и пили всю осень, тут с наступлением холодов обнаружилось, что подруга, пропившись дочиста, заложила в ломбард шубу писательницы, оставленную у нее. Это послужило причиной еще одного разрыва.

— Вы понимаете меня? — зябко кутаясь в шаль, наброшенную поверх свалявшегося байкового больничного халата, хрипловатым своим голосом спрашивала она Наталью Михайловну. — Вы понимаете меня, что мне все равно, какая эта шуба, десять тысяч она стоит или пятнадцать, и кто мне ее подарил, отец или любовник? Мне все равно, но я хочу быть тепло одета! Я не люблю мерзнуть! — Она отшвырнула машинку, в клавиши которой попасть уже не могла, и задрожала всем телом грозно и пьяновато, хотя Наталья Михайловна наверняка знала, что она не пила. — Я не хочу! Я прихожу к ней, у нее, конечно, сидят эти ее мужики,

и она перед ними начинает выкобениваться: «Ха-ха-ха! Она хочет быть одета! Она хочет быть зимой одета! А я не хочу быть одета?! Вот я, на мне ничего нет! Я голая! Я голая!» ...Вы понимаете меня? Начинается это представление. Она рвет на себе ночную рубашку, она всегда ходит в ночной рубашке, обнажает перед ними свои телеса (между нами говоря, она могла бы этого уже и не делать, не пятнадцать ей уже лет, а я что же? Я должна, как дура, принимать это?! Ты любишь ходить голой? Ну и ходи! Ходи... твою мать! А я не люблю ходить голой, я люблю быть одетой! Б... такая!

Пожилая докторша из старческого отделения жалела Наталью Михайловну и, приходя иногда навестить ее, пеняла ей:

— Что вы, душа моя, все время о чем-то думаете, что вы все время что-то сравниваете да взвешиваете? Не надо так, ей-Богу, в этом нет пользы. Не мучьте себя понапрасну.

Наталья Михайловна уверяла ее, что единственно почему она может казаться расстроенной или не в себе, так это из-за бесконечных рассказов, которые она принуждена каждодневно чуть не с утра выслушивать. Но та, очевидно, не верила ей, сомневаясь, не больна ли она по-настоящему и не нравится ли ей просто лежать в больнице и ждать лекарств. В конце недели, бродя вокруг загончиков с железобетонным решетчатым высоким забором — для буйных — и дальше, у оврага, по больничному парку, Наталья Михайловна увидела, что докторша подает ей знак из окошка своего флигелька подождать ее; через минуту та выбежала к ней.

— Вы знаете, дорогая моя, что если вы будете ходить здесь такой расстроенной, то рискуете совсем не выбраться отсюда. На профессорском обходе Геннадий Иванович сказал, что вы действительно ненормальны и что он не хочет выпускать вас! Для вашей черной меланхолии, вы же слышали, нет базиса! Что, вы хотите навсегда здесь остаться?! Прошу вас, отнеситесь к моим словам серьезно. Я очень прошу вас, — повторила она, всячески обинуясь и краснея.

— Я вас не совсем понимаю, — сказала Наталья Михайловна.

— Ах, боже мой, — ее полные щечки покраснели еще сильнее, — не понимаете, ну так поймите! Все люди, и мы тоже люди. У каждого врача, сколь бы хорош и профессионален он ни был, есть еще личное отношение к больному. Чего ж здесь непонятного?! Я, предположим, отношусь к вам хорошо, но... — она понизила голос, — ведь вы же не можете надеяться, что и все остальные к вам так же хорошо относятся?..

— Ах, вот оно что! — сообразила наконец Наталья Михайловна.

— Ну, так вот вам мой совет. Пересильте себя... покажитесь веселой, что ли, смейтесь, рассказывайте анекдоты, шутите! Покажите, что депрессия ваша позади. Иначе вы потом пожалеете, но будет поздно...

Неизвестно, насколько реальна была опасность и не хитрила ли докторша, но она достигла своей цели: Наталья Михайловна струхнула. Ей припомнились рассказы опытных больных о том, какой вред способны причинить организму сильно действующие нейролептики, исцеляя от одной опасности, но приводя взамен какие-то другие, и в ужасе, но тем не менее стараясь теперь уже скрыть как можно лучше свой ужас, она сказала себе, что и вправду, пожалуй, хватит, пора выбираться отсюда.

«Возвращаться домой... Но зачем?» — как и две недели тому назад спросила она себя, сама содрогаясь снова от этого безжалостного вопроса. Воистину: зачем ей было возвращаться, раз она решила уйти из жизни? Зачем все эти хитрости, приготовления? Разве она будет жить? Значит, верно, что это было легкомысленной прихотью, вздором, чем-то таким, чего могло бы и не быть?! Чем-то содеянным не трезво, не с холодным сердцем, но в истерике, в запале? И снова: хотя в сравнении со смертью, в сравнении с трагедией самоубийства, ее трагедией, ничто были любые чужие переживания, любые чужие неприятные ощущения, они снова мешали ей. Вернуться спустя полтора месяца, после того как было причинено столько беспокойства, столько огорчений всем, от Тани и соседей до пожилой докторши; увидеть Таню, кого-то из бестужевок, которые рвались уже навещать ее в больнице, и, конечно, прибегут сразу же, едва прознают, что она дома, всех их увидеть... и поступить по-прежнему? Второй раз?! Нет, в этом присутствовала какая-то нарочитость, какое-то злобное

упрямство, аффектация, которой она так не выносила в других и всегда стремилась избегнуть в себе самой.

«Но если возвращаться и... жить дальше — глупо, — пыталась урезонить она саму себя, — то не лучше ль тогда остаться здесь? Перевестись обратно в отделение к милой докторше, успокоиться, сидеть вместе со старушками в большой комнате на диване... и угасать... медленно, медленно, ни о чем не тревожась больше. Говорят, что в это отделение большая очередь даже, — пошутила она сама с собою, — надо ценить то, что досталось мне просто так, без труда... Только надо будет отказаться тогда от свиданий. Раз и навсегда потребовать, чтобы никого не допускали, — это, мол, плохо влияет на больную. Ведь и в самом деле на меня это будет плохо влиять?..»

Наталья Михайловна воображала себя в ситцевом с цветочками халате и тихонько плакала от жалости к самой себе, а ее второе Я — она не умела различить, которое же из них подлинное, внутреннее — уже заставляло ее быть веселой, легкой, старомодной светской дамой, сделать все, чтобы только вырваться отсюда на свободу, не интересуясь зачем, не спрашивая, как она ею воспользуется.

Детская писательница-алкоголичка продолжала занимать ее своими рассказами, уровень за уровнем вводя Наталью Михайловну в свой быт, общая буржуазность которого перманентно нарушалась фантасмагорическими случайными связями, предательством подруг и соавторов и более или менее основательной клеветой знакомых и соседей по дому. Чтобы развлечься и потому также, что молчать при установившихся отношениях с соседками начинало быть неприличным, Наталья Михайловна решила понемногу рассказывать им о самой себе, главным образом о днях своей молодости.

В 1913 году она вышла замуж. В 1914 году, почти в годовщину их свадьбы, разразилась война. В шестнадцатом году Андрей Генрихович ушел в армию, и несколько лет она не имела о нем никаких известий, мыкаясь между Москвой и Кавказом, где жили они перед войной. В Петрограде был голод, она сперва уговорила отца ехать к ним во Владикавказ, но ехать было опасно и трудно. Осенью восемнадцатого года Михаил Владимирович добрался до Воронежа, заболел, долго валялся у каких-то дальних родственников и осел в Центральной России, где уже разгорелся террор. Наталья Михайловна осталась на Кавказе, что вышло к лучшему, потому что именно оттуда весной девятнадцатого года разысканной наконец объявившимся Андреем Генриховичем, ей было легче бежать через тифозные тылы и фронты на румынскую границу, где он ждал ее.

— А вот по мне, так нет ничего лучше этой кочевой жизни! — заметила вдруг в этом месте еврейка, отложив свое вязание. — Я так люблю смену мест, так люблю путешествовать, только ездила бы да ездила! Когда была эта последняя война и много пришлось ездить, то в эвакуацию, то из эвакуации, я очень была довольна. Все переживали, а я была довольна, хоть и мне тоже приходилось трудно... Вы знаете, отчего это? Все это оттого, что на самом деле — я цыганка!.. Да, да, да, представьте себе. Все думают, что я еврейка, и неприятности всякие у меня из-за этого, — проговорила она задушевным голосом, склонив голову набок, — а мне хуже всего, что я цыганка. В моей матери, это правда, есть еврейская кровь, но она только наполовину еврейка и в молодости бежала с табором! Да, да, потом-то она опомнилась, и вернулась в город, и ото всех скрывала, и даже мне призналась, что я дочь цыгана, только перед самой смертью... Вы знаете, он бил ее! Он даже совсем хотел ее зарезать... Бедная мамочка!.. Вы не верите мне?! — вскрикнула она, мучительно вглядываясь в их лица, страшная, изможденная, с жесткими черными, разбросанными по плечам волосами, зримо впадая все глубже и глубже в безумие.

— Нет, мы верим вам, разумеется, мы вам верим, — заговорила преувеличенно рассудительно детская писательница, храбрясь. — Мы вам очень, очень верим. Сколько же лет было вашей маме? В котором году это было?

— А зачем вам знать, в котором году? — встревожилась несчастная сумасшедшая. — Зачем вам это? Это было... Это было, — со внезапным

хитрым выражением сказала она,— это было в том самом году, о котором вы рассказываете! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!..

Радуясь, что так ловко обманула их, она вскочила с постели и, приплясывая, верно, становясь похожей на цыганку, выбежала в коридор, разволновав там всех легко возбудимых, из которых одна, толстая, неопрятная баба, приоткрыв дверь в палату к Наталье Михайловне и страдальчески шаря глазами, сказала: «Люди добрые, детей, детей тут у вас нету? Говорят, цыгане пришли. Цыганку видали, бегала...»

Следующие несколько лет были раем для Натальи Михайловны после всех ужасов, пережитых в гражданскую, да и в любом случае были б раем, потому что Андрей Генрихович, оказалось, получил за это время место представителя британской компании на Канарских островах, и немедленно из Румынии, задержавшись лишь чуть-чуть в Европе, уже наполнявшейся беженцами, они поспешили туда, на родину канареек и цинерарий, прочь от погрязших в междоусобицах.

После первых, еще весьма несовершенных описаний райской жизни на Канарских островах, где перепад температур зимних и летних месяцев всего четыре градуса и всегда дуют с океана ровные теплые ветры, детская писательница спросила Наталью Михайловну:

— Простите меня великодушно,— она сконфузилась,— но я в таких случаях никогда не понимаю, зачем же люди уезжают оттуда? Неужели ностальгия? Или скучно?..

Уже после реабилитации, в 56-м году, приехав по делам в Москву, Андрей Генрихович уверял Наталью Михайловну, что вернулся в Советскую Россию добровольно, по своей охоте, считая невозможным для себя оставаться вне своего народа, за пределом своей страждущей страны, на периферии того могучего движения, которым его страна и его народ были захвачены. Справедливо: его предки явились в Россию еще при Павле, и он мог считаться, несмотря на отчество и фамилию, русским; но Наталья Михайловна помнила, что решению их вернуться благоприятствовало еще и то, что в 1927 году истекал срок контракта его с компанией, надобность в работах, исполняемых им, по какой-то причине отпадала и компания как будто не слишком охотно соглашалась перевести его на другие работы; в ее двери и так стучалось много соотечественников, которым ей хотелось отдать предпочтение. Поэтому им пришлось бросить прекрасные острова и продвигаться в Европу.

Они высадились в Марселе, проехали в Париж, оттуда попали в Мюнхен, намереваясь провести там лишь день или два, чтобы посмотреть город и выбрать маршрут на Прагу, где — как утверждали — чешский президент Массарик создал для русских изгнанников исключительно благоприятные условия. Деньги у них еще были. Здесь, в Мюнхене, шатаясь по улицам и глазея на достопримечательности, прямо на каком-то углу они встретили старую Натальи Михайловны подругу, Анну Новикову, тоже в прошлом бестужевку, вышедшую годом прежде Натальи Михайловны замуж за немца, драматурга-декадента, и уехавшую с ним в Германию. Подруги долго целовались, поражаясь невероятной встрече, и в промежутках между поцелуями Анна успела убедить их не ехать тотчас же в Прагу, а свернуть немного в сторону, погостить, пусть недолго, у них, в...— благо это всего лишь в трех часах езды, благо там много русских и много знакомых.

В этом месте рассказа Наталья Михайловна внезапно почувствовала, что напрочь забыла и не может вспомнить, куда же они поехали с Анной, как назывался тот городок. Она потеряла темп, стала рассказывать про мужа Анны, сбилась и очень напугала детскую писательницу, которая решила, что ей стало плохо. «Как же я могла забыть?—терзалась между тем Наталья Михайловна.— Как это могло выскочить у меня из головы? Пфаффенхофен? Нет, не так... Соден?.. Нет, Соден — это не там. Боже мой, ну что же это?! Неужто я выжила из ума, ведь я же всегда помнила, как он назывался!..» Наконец она поняла, в чем дело: ей со вчера начали колоть какую-то гадость, и, несомненно, провалы в памяти обусловлены были именно этим. Ее предупреждали даже, что, возможно, она будет плохо себя чувствовать, возможны головные боли и некоторая сердечная недостаточность. «Ну что ж, быть может, это даже и лучше,— решила она.— Это мне знак, чтобы я остерегалась... Итак, мы поехали к Анне...»

III. Первое знакомство

Больница, где лежала Наталья Михайловна, была на краю Москвы, в новом районе, возле самой кольцевой магистрали и редкого лесочка по ту и эту сторону дороги. Больничная территория захватила лишь его опушку: осинки, кустарник, несколько елок; только в одном углу, около одноэтажного красно-кирпичного дома, в котором когда-то, когда вокруг был только лес, размещалась ветеринарная эпидемстанция, росло с десяток больших деревьев неизвестной породы, да еще к дому вела старая липовая аллея. Аллея была заасфальтирована, по ней гуляли родственники, пришедшие навестить своих, нагруженные сетками и сумками с провизией. Поодаль, среди кустарника, были загоны для тяжелых больных, там в сопровождении сестры они вяло бродили; больничные байковые шаровары, синие и коричневые, виднелись из-под пальто. Другие, тихие, из санаторного отделения, пользовались привилегией и гуляли с родственниками свободно, хоть правилами это и не разрешалось. Еще заасфальтирована была площадь перед новым главным корпусом с большими низкими окнами и бетонным козырьком над подъездом. От асфальтовых дорог в стороны расходились тропинки, сейчас, в марте, узкие, со следами оступившихся ног по краям, раскисшие, с лужицами во впадинах и канавах.

— Куда, сюда сворачивать?—спросила Таня, не обращаясь ни к кому в особенности и испытывая от этого неловкость.

Они шли впятером, сойдя с асфальта, гуськом, след в след ступая по талой тропинке,— Таня, Наталья Михайловна, отец детской писательницы, она сама и пришедший ее навестить молодой человек. Он был высок и худ, с асимметричным лицом. Ему было лет двадцать восемь — тридцать. Он снял шапку, подставляя голову свежему воздуху, волосы его были уже редковаты, лицо блекло, и на висках заметны были вены, вздувшиеся после вчерашней попойки, на которую он жаловался своей знакомой.

Идти друг за другом и разговаривать было трудно, они молчали, посматривая вниз, чтоб не промочить ноги, и изредка вверх, вперед, где сквозь редкие деревья, вдалеке, через огромное, изрытое траншеями и оттого желтое поле за оградой виднелся город с белыми домами-башнями, отсюда красивыми.

По тропинке, наискось, они прошли к красному корпусу и снова выбрались на асфальт.

— А, значит, вы собирались во дворце Юсупова...— продолжал прерванный с Натальей Михайловной разговор о старых бестужевках отец детской писательницы.

Он был здесь уже несколько раз и всегда помногу разговаривал с Натальей Михайловной. Они были знакомы заочно: он дружил с Таниной матерью. Наталье Михайловне он сначала показался чуть ли не шпаной: что-то было хулиганское в том, как он осклабливался порою, или однажды, сидя рядом с Натальей Михайловной и брызнув на нее яблоком, твердой рукой, не смутившись, стряхнул у нее с плеча капли сока. Но уже со второго раза она поняла, что первое впечатление ее неверно, что он не так прост, умеет держаться, а вскоре нашла в нем даже нечто аристократическое. В лице его просквaживало что-то татарское, как у князей, ведущих свой род от мурз, и даже выговор был с едва уловимой неправильностью. Наталья Михайловна прислушалась: он, правда, не грассировал, но зато мягко произносил «л» перед гласными, а сами гласные ясно, как иностранец. Происходил он, однако, из купцов, и фамилия его была Осмолов; он произносил «Осмольов», так что получалось очень нежно и необычно.

— Да, дворец Юсупова,— говорил он, закидывая голову и вэглядывая поверх деревьев,— подвалы его меня волнуют. Ведь там бильо это убийство, положившее начало всему остальному... Между прочим, я не согльасен, интерьер там пльох. Девятнадцатый век, эклектично, не очень хороший вкус...

Молодой человек пришел сюда раньше и теперь явно хотел уйти, но ему казалось неудобным уйти так сразу; он чувствовал себя неловко и, в своем расслабленном состоянии не имея сил скрыть намерения, гля-

дел рассеянно по сторонам и лишь виновато улыбался, когда на него смотрели.

Они отстали от тех троих и шли вместе с Таней. Молодой человек, который до этого с Осмоловым не был знаком, спросил:

— А вы-то сами давно его знаете?

— Давно, — кивнула она.

Что-то в ее интонации заставило его посмотреть недоверчиво, и она принуждена была пояснить:

— Он дружит с моими родителями, с мамой и ее мужем.

— М-м, — протянул он.

— Вы хотите сказать, что он тем не менее от нашей встречи не в восторге?

— Да, это заметно, — сказал он без насмешки, видя, что она готова взвиться.

Но она сдержала себя, хотя и потемнела:

— Я могла бы вам это объяснить... но это все сложно... Хотя, впрочем, ничего особо сложного и нет...

— Ну что вы, что вы! — поспешил он.

Но она уже не могла остановиться:

— Он хорошо знаком с моей мамой, а те, кто хорошо знаком с моей мамой, как правило, не в восторге от меня. У моей мамы очень определенное мнение обо мне, и ее знакомые обычно его с ней разделяют... Вам это, наверное, очень странно?..

Он улыбнулся:

— Да нет, тут ничего странного нет. Я как раз все это себе хорошо представляю... Даже лучше себе представляю, чем вы предполагаете... У меня самого трудные отношения с матерью, и я все эти рассказы и жалобы знакомым очень хорошо знаю.

— Правда?

— Правда, — усмехнулся он. — Все это, конечно, ужасно, но, к сожалению, ничего нельзя поделать... Она живет в Сибири... Я не был у нее уже три года.

— У меня по-другому, — сказала она. — Я-то не могу ее оставить. Я люблю ее и готова делать для нее все что угодно, буквально ноги мыть и воду пить... и делаю примерно это, и... ужасно, но все это ни к чему. Ужасно, ужасно, — повторила она.

Лицо ее потемнело еще больше, и на глаза навернулись слезы. Он, еще только придя сюда, заметил, что она чем-то расстроена, и слышал, как она жаловалась Наталье Михайловне, а та ее утешала.

Они обогнули красный корпус, пройдя под окном, где работала пожилая врачица, покровительница Натальи Михайловны, прошли мимо морга, заглубленного в землю, крытого дерном блиндажа с вентиляционной трубой и двустворчатыми дверьми, — прошли, стараясь не смотреть в ту сторону, и передние трое остановились, раздумывая, не присесть ли им отдохнуть в маленьком палисаднике перед изолятором: две врытые в землю лавки у стола с отодранной фанерой уже высохли там под ветром

Наталья Михайловна, пощупав рукой, присела на скамью, но вдруг торопливо сказала:

— Нет, нет, пойдемте дальше, здесь холодно, — и, не дожидаясь, пошла вперед.

— Что сльучильось, Наталья Михайльовна, что сльучильось?! — воскликнул Осмолов, спеша за нею.

Почти тотчас же они все увидели причину этого: через дорогу, за высокой железобетонной решеткой, вцепившись в нее руками и просунув бритую наголо, испещренную пятнами пигментации, странной формы голову между проломанными прутьями, стоял и с живейшим любопытством смотрел на них человек. Они увидели желтую безволосую грудь под расстегнутым пальто и больничной курткой, кепка лежала по эту сторону решетки на земле. Глаза незнакомца искрились; еще миг — и можно было бы подумать, что это просто веселый, обаятельный шутник, смеха ради забравшийся за решетку. Но вот, поняв, что на него обратили внимание, он рванулся. Сразу искрометная его веселость достигла нездешних степе-

ней. Он хлопнул в ладоши, присел и заговорщицким шепотом закричал им:

— Сюда!!! Сюда!!! — И, видя, что они уходят, заметался, как мечутся большие кошки в зоопарке — от стенки к стенке.

Не оборачиваясь, они быстро прошли кусок дороги до поворота.

— Господи, как страшно! — сказала Таня, когда кусты наконец скрыли клетку.

— Представьте себе, даже мне стальо страшно, — галантно обернулся Осмолов. Он собрался было сказать еще, что в общем-то здесь нет ничего удивительного, раз уж они в сумасшедшем доме, но, поглядев на свою дочь и Наталью Михайловну, спохватился и только пошевелил беззвучно губами.

Прошла сестра в халате и ватнике поверх халата и позвала:

— К обеду, к обеду!

Стали прощаться. Осмолов сообразил, что так ничего и не передал своей дочери, — ему были даны поручения насчет рукописей ее, разнесенных по издательствам и журналам, и сказал, что еще задержится. Наталья Михайловна поцеловала Таню, сказав вполголоса:

— Не ссорься, прошу тебя, будь умницей... Лучше смолчи, не объясняйся. Ты же знешь, что это бесполезно.

— Разве я ссорюсь? — откликнулась Таня.

Наталья Михайловна махнула рукой и, отвернувшись, быстро кивнув остальным, взбежала по ступенькам. Плохо пригнанная дверь хлопнула и надолго задребезжала. Прочие раскланялись. Осмолов, взявши дочь под руку, отвел ее от крыльца за угол, где было меньше ветра. Таня с молодым человеком пошли к воротам.

Оба были несколько подавлены и своим разговором, и внезапной встречей с тем безумным.

— Как все-таки страшно, — прошептала она, оглядываясь на то место.

Он, однако, уже успокоился, посмотрел равнодушно, и, едва они вышли за ворота, воспоминание оставило его. До автобуса идти было довольно долго; она думала все о том же, и он, пользуясь случаем, мог лучше рассмотреть ее.

Она показалась ему моложе, чем вначале. Ветер разогнал низко висевшие впереди облака, выглянуло солнце, и он вдруг увидел, что у нее светлые с прозеленью, а не темные глаза и лишь то, что они так глубоко посажены, и синие обводы вокруг них, а главное, необычное их выражение, которое нельзя было объяснить одним испугом перед виденным, создают этот эффект глубины и темноты.

Солнце снова скрылось, глаза ее снова стали темней — непропорционально освещению. Он подумал о том, что люди боятся у себя такого взгляда и потому он встречается так редко. Ему захотелось сказать ей что-нибудь, чтоб снять это напряжение с нее и, может быть, заодно и с себя: она навела уже и на него самого какую-то беспокойную жуть.

— А ведь я вам так еще и не представлен, — с облегчением вспомнил он.

Выражение ее и впрямь мгновенно изменилось.

— Да, конечно, — спохватилась она, радостно улыбаясь, обращая лучившийся теперь золотом взор на него и как бы понимая свою вину. — Извините меня, ради Бога, — и она даже грациозно шагнула и повела от груди рукой в подобии не то старинного реверанса, не то монашеского поклона. — Но я все равно и так знаю, как вас зовут, я слышала, как вас называла Лиза...

— Николай Вирхов, — склонился он.

— Татьяна Манн, — назвала она себя.

Он приостановился.

— А! — вырвалось у него. — Так вы и есть Таня Манн? Я о вас много слышал.

Он смутился, сомневаясь, тактично ли поступил: приятно ли ей будет узнать, что он слышал о ней более всего от бывшего ее мужа, Льва Владимировича Нарежного. Но она приняла спокойно:

— Я ведь о вас тоже много слышала, но, правда, совсем не таким вас себе представляла...

— Каким же? — тщеславно спросил он.

— Ну... наверно, по какой-нибудь ассоциации... это что-то такое немецкое, сухое... резкое...

— А на самом деле разве не то?

Минуту или две была пауза. Они заметили, что прошли уже свою автобусную остановку, но назад не повернули и двинулись к следующей.

— Давайте вообще пройдем немного, если вы не устали, — предложил он. — Смотрите, разгуливается... А я вон в каком состоянии.

— Это я нагадала погоду, — серьезно сказала она. — У меня есть эти способности.

Он ласково улыбнулся. Он действительно немало слышал о ней; можно сказать, ему давно уже хотелось с ней познакомиться.

Она слыла женщиной феноменальной учености и таланта, но ужасного характера. По образованию она была филолог, романист. Карьера ее была бурной и короткой. Она начинала вундеркиндом, покоряя всех знаниями, умением работать, удивительным в этой хорошенькой девочке, но более всего общим своим нетривиальным выражением, которое так поражало теперь Вирхова и которое тогдашние подруги ее, вызнавшие про Наталью Михайловну, называли не иначе как благородным. Профессора, еще почти настоящие, старых школ, чудом уцелевшие в романистике, сочинявшие в юности стихи и бегавшие на религиозно-философские собрания, целовали ей руки, умоляя заниматься у них. Еще студенткой она написала хорошую работу, но за тот же год непонятным образом переменилась сама, и переменилось отношение к ней. Как раз тогда арестовали двух ее факультетских друзей, и на нее, хотя лично ей, по-видимому, ничего не грозило, напал беспричинный страх, она сделалась пуглива, сумела раздражить и оттолкнуть от себя всех, искренне хотевших помочь ей, перестала работать, и скоро за тем, предупреждая неизбежное решение бывших своих поклонников, бросила университет.

Спустя год она успокоилась, возобновила занятия. Ее простили и предлагали ей место при кафедре, но она отказалась, поступила кудато служить, потом оставила это дело и последние десять лет жила уже только переводами и редактурами переводов, порою сносно обеспечивая себя и своего сына, а какое-то время и мужа, которому все не удавалось разбогатеть.

— А вы часто видитесь теперь со Львом Владимировичем? — снова с некоторым напряжением спросила она.

Он сделал над собою усилие, чтоб ответить легко:

— Да, до недавнего времени виделись часто...

— У вас с ним были какие-нибудь общие дела?

— Вроде бы сперва намечались какие-то общие дела, но потом отпали... Мы хотели писать с ним вместе книгу, потом переводили кое-что вместе... Но сейчас-то все как-то прекратилось. Мы с ним видимся у общих знакомых... У Мелика, у Ольги Веселовой, — пояснил он.

— Да? — сказала она, и что-то мелькнуло в ее лице. — А вы с ним тоже близки? — хмуро, как ему показалось, спросила она.

— С кем, с Меликом? Вы как-то странно спросили об этом...

— А он не опасный человек, вы уверены в этом? — продолжала она, по-мужски собирая вертикальные складки на лбу с низкой косой челкой. — Хоть все мы грешны, конечно, — поспешно прибавила она, поднеся правую руку к груди, почти к самому горлу, и Вирхов лишь спустя мгновение понял, что она перекрестилась, быстро и мелко. — Я очень беспокоюсь за Льва Владимировича. — Голос ее дрогнул.

— А что, собственно, за него беспокоиться? — легкомысленно удивился он.

Она посмотрела почти гневно:

— То, что он, в сущности, слабый человек! — воскликнула она. — Он любит изображать себя сильным, эдаким скептиком и... даже циником, и многие на это покупаются... Но ведь это — легенда! Легенда, которую я сама создала и распространению которой среди наших знакомых немало способствовала! — Она снова, как в разговоре о матери, замерла на секунду, колеблясь, стоит ли продолжать, но опять, как и тогда, отступление показалось ей недостойным. — Я ведь все это время была для него некой искусственной почкой, — сказала она. — Для всех он был хозяин дома, острый ум, прогрессист, честный человек... но я-то знаю, чего все это стоило! Каких сил мне стоило порой удержать его от каких-то поступков, привить ему хотя бы элементы порядочности!.. Не интеллигентской порядочности, — это он и без меня, пройдя лагеря, знал прекрасно, — а обычной человеческой порядочности: не рвать у других из-под носа работу, не заваливать чужие заявки, если этот человек тебе неприятен, не отшвыривать старушек...

Вирхов попытался нарисовать себе, какова могла быть ее жизнь со Львом Владимировичем.

Сам он познакомился со Львом Владимировичем лет двенадцать назад, в гостях у дальних своих родственников. Тогда Лев Владимирович только недавно вышел из лагеря, и Вирхов смотрел на него во все глаза, но был еще восемнадцатилетним мальчишкой и, конечно, не представлял никакого интереса для взрослого. Второй раз, года три назад, они встретились случайно, в автобусе. Лев Владимирович, узнав его, неожиданно обрадовался и стал расспрашивать, обращаясь уже на «вы», как он живет, что произошло с тех пор, на кого он выучился, доволен или нет, и так далее. Рассказал и о себе — о жене, с которой разошелся, не прожив и трех лет; был откровенен, жаловался, что любит ее, но не может жить вместе. В самоуничижении он дошел даже до того, что спрашивал у Вирхова совета, как ему поступить, и наконец предложил зайти куда-нибудь и выпить. С этого времени они подружились.

Но это продолжалось недолго. Лев Владимирович скоро ввел его к упомянутым Мелику и Ольге, и отношения их изменились, потому что у Мелика и Ольги на Льва Владимировича никто уже не смотрел почтительно, он, хоть и был старше всех, был им ровня, и они могли свободно подтравливать его, не спускали ему шуток и сами думали, что знают не меньше его о жизни. Вирхов, сойдясь с ними, незаметно вынужден был перейти на их уровень, а Лев Владимирович легко принял эту перемену и согласился с нею, не попытавшись обидеться или сопротивляться, чем Вирхов был даже задет.

Впрочем, смысл такой легкости был ясен.

Лев Владимирович в это время вдруг, внезапно, не обнаруживая к этому прежде, казалось, чрезмерных пристрастий, словно сбесился, помешался на женщинах, стал чудовищным, неприличным бабником. Вирхов и раньше, гуляя со Львом Владимировичем, замечал, что тот посматривает на девочек и оборачивается им вслед, но не придавал этому значения, приписывая это скорее даже стариковской манере. У Мелика и Ольги, однако, Льва Владимировича знали лучше, и в первый же вечер Вирхов услышал, правда, еще лишь намеки (при постороннем были сдержанны), но приблизительно понял, в чем соль, и только не хотел верить: дело обстоит так просто. Еще через некоторое время из этих полунамеков и полусплетен у него составилось более или менее цельное представление о нескольких связанных с Львом Владимировичем историях и о том, что существует, видимо, немало других подобных историй. Отношения, таким образом, не могли не измениться. Да и сам Лев Владимирович в это время все больше менялся, даже внешне. Прежде спокойный, всегда будто немного усталый, он становился день ото дня все сильней возбужден, быстр, нервен в движениях; приходя к друзьям, не сидел, как обычно, привалясь к спинке дивана с своей грацией немного больного, пожилого человека, но метался из угла в угол, начал пить, и все ему было мало, а напившись, часто среди какого-нибудь серьезного спора норовил убежать, выказывая тем полное презрение ко всему обществу, и если начинал говорить сам, то совсем перестав стесняться, подчеркнуто только о девках. Это казалось странным и удивляло, а потом все поняли и поверили, что это действительно так, что Лев Владимирович сделался по-настоящему маньяк, что это жило в нем всегда (он сам объяснял это так), но было задавлено какими-то идеями, следовать которым он считал необходимым, теперь же он уяснил себе, что это вздор, что есть лишь одно, что вправду интересует и волнует его, и он отбросил все придуманное, все условности, все ограничения интеллигентского круга и стал жить этим. Этот взрыв, эта смелость произвели на всех у Мелика и Ольги большое впечатление, хотя кое-кто и пытался подчас говорить о своем неуважении, когда Лев Владимирович с хохотом уклонялся от их мужских

разговоров о политике и, убегая, уже из дверей дразнил: «Девки, девки, девки!» (То есть девки — вот что на самом деле им всем нужно.)

Таня проговорила прежним шепотом, как в воротах:

— Я очень, очень беспокоюсь за него... Меня не покидает ощущение, что он очень встревожен последнее время... Я его редко теперь вижу, реже, чем первое время, когда мы разошлись... Тогда он очень переживал и метался... Все думали, что он радуется, что освободился от меня, от тяжелой, истеричной натуры... Но я-то видела, как он переживает! Но даже тогда он был тверже. Сейчас его что-то очень гнетет... Никакой возврат к прежней жизни у нас невозможен, — сказала она, сдвинув брови, — но я жалею, что он так слаб и не может решиться прийти и рассказать мне, что его так гнетет. Не может решиться из слабости, из самолюбия. А я бы могла ему помочь... как всегда помогала... я бы знала, что сказать ему.

Вирхов опять не нашелся, что ей ответить, и только пожал плечами. Беспокойство, исходящее от нее, его утомляло, но одновременно он восхищался этой страстью, так свободно изливавшейся на него, первого встречного, и желал проникнуть в мир этой женщины еще глубже.

— По-моему, все же, — робко возразил он, чтобы поддержать и не обрывать на этом разговор, — по-моему, у Льва Владимировича более или менее все в порядке... Книга его пошла в набор, как вы знаете. Он вроде бы, мне показалось последний раз, доволен жизнью... Вы извините меня, что я так говорю, но...

— Ради Бога! — поспешила она. — Я действительно искренне рада, если он доволен жизнью. Эти его мелкие интрижки меня совершенно не трогают с тех самых пор, как я перестала быть его женой. Я знала о них и раньше, и, поверьте, не ревность была причиной, что я не могла их терпеть. Я просто не создана для полигамии. Несколько лет мы сохраняли видимость семьи из-за сына, но потом я убедилась, что и этого не нужно. Я очень рада, если он доволен жизнью! Мне просто показалось, что это не совсем так... Как вы думаете, — упорно продолжала она, и в лице ее, в сжатых губах, сразу ставших тонкими, тотчас отразилось это упорство, — как вы думаете, это не может быть результатом его общения с Меликом? Что Мелик стал за человек?

— Ну-у, — протянул он, подыскивая слова, чтоб убедить ее, — так ведь сразу и не скажешь... Он сейчас, конечно, незаурядная фигура... Впрочем, он и всегда, разумеется, был незауряден... Сейчас вокруг него много народу, молодежь его очень слушает. Сам он, — вспомнил Вирхов самое важное, — как бы это сказать... близок к Церкви. Хочет стать священником... Многих, во всяком случае, оттуда знает. Бывает у них.

— Да... — неопределенно сказала она. — Это хорошо. Я бы хотела на него посмотреть теперь, — решила она внезапно. — Я думаю, что я многое поняла бы. Поняла, опасен он Льву Владимировичу или нет. У меня есть чутье...

— Конечно, безусловно, — кивал он. — Он будет на днях у Ольги Веселовой. Если хотите, можно пойти туда вместе.

— Хорошо, — сказала она, помедлив. — Значит, у Ольги... Хорошо. Я приду с вами... Если вы в самом деле ничего не имеете против. Мы ведь видимся со Львом Владимировичем... Но мне хочется посмотреть его там...

Он был в восторге, что ему так легко представился случай еще увидеть ее. Это была огромная удача, причем удача писательская. Он давно уже писал, не опубликовав ни строчки, писал для себя, в стол, и, когда его приятельница Лиза Осмолова рассказала ему историю Натальи Михайловны, сразу заволновался, увлеченный образом несчастной княжны, решившей покончить жизнь самоубийством и угодившей в сумасшедший дом. Тогда же он решил пунктуально записывать с Лизиных слов рассказы Натальи Михайловны, еще не вполне понимая, что он с ними будет делать далее. Фабула, жанр, самый смысл того, о чем он собирался писать, были ему еще не ясны, но тем не менее он уже писал, помногу, каждый день, с легкостью, которая дотоле ему была неведома. Сегодня он пришел в клинику познакомиться с Натальей Михайловной. То, что, кроме нее, он встретил здесь еще Таню Манн, о которой он столько слышал, то, что обнаружилось наличие глубокой связи между Таней и Натальей Михайловной, то наконец, что Таня вдобавок оказалась хороша собой, было великолепно, замечательно!

Проводив Таню до дома в Большом Сергиевском переулке, он отправился к себе, ощущая необычайный прилив сил, а по дороге думал о том: соответствует ли та Наталья Михайловна, которую он увидел сегодня, той Наталье Михайловне, которую он пытался изобразить в своих набросках; а также о том, какова эта женщина была в молодости, в эмиграции — сцену из первых дней, проведенных Натальей Михайловной в N, он только что написал, опять же с Лизиных слов.

IV. У Анны

— Душа моя, если б ты только знала, что тут у нас делается! — сказала Анна. — Мы сейчас только тем и занимаемся, что возрождаем русскую идею да русскую государственность. Ха-ха-ха, мы-то, конечно, главным образом разговариваем, но кто его разберет! Черт знает до чего дожили!

Появившись на другой день в доме у Анны, где собиралось тамошнее общество, Наталья Михайловна после первых восклицаний и расспросов, как только возобновился прерванный ее приходом разговор, услышала именно о возрождении русской государственности, о нежелании Москвы терпеть своевольство масс, вчера еще бывших опорой власти, и еще о необходимости возвращения.

Говорил невысокий, худенький человек, в котором Наталья Михайловна сначала не признала постаревшего и поблекшего, подававшего когда-то надежды цивилиста Проровнера, избравшего потом литературную линию и писавшего под псевдонимом в «Речи». Когда-то кто-то божился Наталье Михайловне, что Проровнер на самом деле обрусевший грек и лишь выдает себя за еврея — то ли из голого авантюризма (предки его были, конечно, все до одного контрабандисты и перекупщики краденого), то ли преследуя свои тайные, никому неведомые цели; настоящей его фамилии Наталья Михайловна не помнила.

— Ну, так вы что хотите сказать? — спрашивал Проровнера рыжий бородач, священник — отец Иван Кузнецов.

— Я хочу сказать, что если бы Робеспьер удержал за собой власть, то он изменил бы свой образ действий! Он восстановил бы царство закона! Вот что я хочу сказать! — отвечал Проровнер.

Присутствовавшие были все свои и свободно расположились в хозяйском кабинете. Анна, привычно утомленная ежедневными гостями, беспорядком и частыми поездками в Берлин, Мюнхен и другие центры искусств, где она пристраивала мужнины пьесы и прочую литературную поденщину, разносила чай. Ее муж, растолстевший, отпустивший длинные усы и огрубевший, не противился вторжению иноплеменников и на диване, за спинами гостей, лишь лукаво улыбался спросонок, вполуха внимая звукам чересчур быстрых для него, невнятных русских речей.

— Как же нам поступить? — спросил стоящий в проходе у косяка манерный юноша. — Предположим, что мы вернемся? Но мы должны вернуться с какими-то идеями?..

Это был сын какого-то бывшего сенатора.

— Я знаю, вы просто боитесь, — сказал Проровнер отцу Ивану и юноше.

— Простите, — вмешался Андрей Генрихович, истосковавшись за десять с лишним лет по родному разговору о политике, — вы утверждаете, что революция переродилась. Что крайности ее исчезли, появилось чувство меры, властью руководит желание разума, эволюционного развития, реформ... Вы называете это Русским Термидором, но ведь за французским Термидором пришел Бонапарт. Что вы скажете об этом? Как обстоит дело с бонапартизмом в России?

— А что вы имеете против него? — обрадованно вскричал Проровнер.

Сидевший в полутьме у книжного шкафа человек, который прежде, когда Наталья Михайловна вошла, здоровался с нею как давний знако-

мый, но которого она не узнала, пошевелился, и Проровнер, решив, что тот не одобряет его, встрепенулся, потревожив немца:

— Ах, простите, простите, Дмитрий Николаевич. Я, конечно, понимаю лучше, чем кто-либо другой, разницу наших положений. Я, конечно, человек без роду без племени, и вас связывало с Россией значительно больше связей, чем меня, чтобы я мог так запросто рассуждать о судьбах скорее вашего, чем моего отечества... — Он побагровел от унижения, на которое обрек сам себя. — Да, ваш род — это как бы непосредственная компонента движения российской истории, тогда как все мы... уподобляемся словно мелким частицам... Я имею в виду, кроме того, и... м-м... те материальные, что ли, связи, соединявшие вас...

Тот, которого назвали Дмитрием Николаевичем, подвинулся вперед, и тотчас же Наталья Михайловна сообразила, кто он таков.

Это был Дмитрий Николаевич Муравьев, лицо до войны весьма известное, историк-медиевист, довольно талантливый, но отошедший в предреволюционные годы от истории ради политической деятельности, сын и внук видных сановников всех последних царствований, женатый на дочери сибирского золотопромышленника, принесшей ему, по слухам, семь миллионов, и сам миллионер. Дед Натальи Михайловны был когда-то в приятельских отношениях с его дедом.

— Вы должны признать, — повторял между тем Проровнер, тоже наклоняясь вперед и облокачиваясь на колени Анниного немца, — вы должны признать, что происходящее сейчас в России важней, чем разрыв ваших связей.

— Я это признаю...

Проровнер тоскливо улыбнулся, но упрямо продолжал:

— Нет, я неточно выразился. Нет, не так... Вы должны сказать себе: да, я потерял все. У меня нет ни отца, ни деда, ни всех моих пращуров до седьмого колена. Да, именно так. У меня нет дома. У меня нет своего угла. Нет людей моего круга... Я один... Именно так. Я с т а л к а к в с е... Все это справедливо... Но после этого вы должны сказать: и все-таки взамен, как и все русские, я получил больше, чем я имел! Ея не можете не признать, что вся Россия получила больше, чем имела!

— Вы потеряли меньше, чем я... Россия получила больше, чем имела, — усмехнулся Муравьев. — Как у вас все здорово сходится.

Видно было, однако, что он чувствует себя неловко. Молодая дама с маленькой головкой на худой шее, подойдя к растворенным дверям кабинета с чашкой в руках, соболезнуя, посмотрела на Муравьева. Ощутив ее взгляд, он снова выпрямился, заложил ногу за ногу и выпятил в жилете грудь, похожий на англичанина (все их семейство издавна отличалось англоманством), высоко держа голову породистого пса.

Аннин немец, поглаживая усы, важно заметил:

— Фам натопно нофый Петер. Фот биль шелофек, который имель флияние на Рюси.

— А?! Вот немчура! — захохотала Анна, показывая пальцем на своего немца, опять самодовольно выключившегося из разговора.

— Да, ведь после Петра все из содеянного им, по видимости, разрушилось, не правда ли? — спросил Андрей Генрихович, разгоряченный Проровнером. — Флот сгнил, столица перенесена обратно в Москву, мануфактуры находились в состоянии худшем, нежели в начале царствования... Ведь верно? И тем не менее Россия уже шла по новому пути! То есть я хочу сказать, что где-то внутри, в духе, она имела уже что-то, что создало и самого Петра с его реформой...

Молодая дама с худой шеей все так же, от дверей, не входя, повернула к нему голову, сказала:

— Мы много видели таких, которые воображали себя спасителями отечества, да только что-то мало от них было толку, да и святости особой не замечалось...

— Не пойти ли нам, не покурить ли на воздухе? — предложил Проровнер, решивший, что разговор принял слишком крутой оборот.

В комнате остались Муравьев и сонный хозяин. Наталья Михайловна подошла к Муравьеву:

— А я сначала не узнала вас.

— Ничего, — не слишком любезно сказал он. — А это ваш муж? — начал он (она поняла, что Андрей Генрихович успел внушить ему неприязнь), но тут же спохватился: — А что же ваш батюшка, Михаил Владимирович, остался там... по убеждению... или как?

— Случайно, — пожала она плечами. — Если б знать заранее, как оно получится, разве так бы все было?

Желая смягчить собеседника, она стала рассказывать ему о своей жизни последних российских лет, об одиночестве на Канарских островах, и он вправду оттаял, подобрел, через три минуты уже сочувственно хмыкал на каждое ее слово.

— Верно, верно, — соглашался он. — Все наши мучения ничто в сравнении с тем, что испытали женщины. Это ужаснее всего. Когда я вспоминаю самое страшное из всего, что я за эти годы видел, то это всегда связано с женщинами. Почему-то им веришь беспрекословно. Даже не зная, в чем дело, что с ней, веришь сразу, безоговорочно.

В коридоре мелькнул недовольный Андрей Генрихович. Опасаясь, наверное, что Наталью Михайловну сейчас уведут, а также, что был холоден с ней, Муравьев стал рассказывать про свои лекции в университете, но ему показалось, что это ей неинтересно, и он замолчал.

— Вот я еще хотел спросить у вас, — осенило его. — Я хотел спросить у вас: вы верите в сны?

— Не знаю, — удивилась она.

Он же, должно быть, сперва надеялся только изобрести какую-то тему и лишь второпях завел речь об этом, но затем из гордости не захотел остановиться.

— Я вообще-то намеревался спросить даже не о снах, а о гаданиях. Меня предыдущий разговор навел на эти мысли. Я недавно вспомнил один случай...

Его последнее время измучили тяжелые, кровавые сны, которые он не в состоянии был вспомнить наутро, но всякий раз знал, что прежде это ему уже снилось. Постепенно, хотя он по-прежнему забывал их, в рассудке его отлагалась некоторая общая всем этим снам подоплека. Не доверяя сначала рассудку, опасаясь самовнушений, он потом выделил-таки, что снится ему по большей части одно и то же женское лицо в разных обрамлениях, при этом появление его означает нечто нехорошее, дальше обычно начинался кошмар.

— И вот представьте себе, — сказал он, — сегодня я вдруг сообразил окончательно, с чем это связано... Еще в девятнадцатом году, недалеко от вас, если вы тогда были на Кавказе, близ Новороссийска, пристала к нам одна женщина, цыганка... Я вообще-то не суеверен, но здесь... это было самое несчастное существо, какое я когда-либо видел. Совершенно она была спившаяся, какими цыгане, по-моему, редко бывают, ободранная, и женского-то в ней ничего не осталось... Она даже и просить-то у нас ничего не просила... Мы ехали в повозке, она стояла в стороне от дороги, молча. Тогда, впрочем, и редко что у кого-нибудь было, а деньги стоили немного... Тут же был муж ее, человек с таким лицом, что сразу становилось понятно, что фантазии у него хватит лишь на то, чтобы украсть или зарезать... А она... Вот что значит женщина! Внезапно она почуяла в нас что-то, вся встрепенулась, подбежала, словно семнадцатилетняя девушка, к одному, к другому, мне за руку уцепилась. Мы посмеялись, попросили погадать нам...

Он поднял глаза на Наталью Михайловну, чтоб проверить, слушает ли она его.

— ...Короче, троим из нас она нагадала близкую смерть... В том числе и мне... Один был член тогдашнего кубанского автономного правительства. Поскольку генерал Деникин повесил потом все правительство этой доморощенной Рады, то, вероятнее всего, в том пункте пророчество исполнилось. Вторым был близкий мой приятель... Ходят слухи, что он в Америке, но от него у меня нет вестей уж несколько лет... Сам я тогда все допытывался у нее: какова же будет моя смерть? Расстреляют ли меня, скончаюсь ли я в тифу, вообще: насильственным будет мой конец или более ли менее ли естественным? Но она не сумела ответить...

Размышляя о том, что сказал ей Муравьев, Наталья Михайловна от-

части соглашалась с ревнивым утверждением Андрея Генриховича, что, возможно, Дмитрий Николаевич хотел всего лишь снять с себя подозрение в благополучии — пусть относительном — среди всеобщего несчастья и разорения, но полагала, что и это неплохо.

— О, смотрите, как Наталья Михайловна у нас легковерны-с! — кричал азартно Андрей Генрихович Проровнеру, который на следующий день явился к Анне (они ночевали у нее) чуть не с утра. — Как же! Мне, видите ли, безразличны мои потери, я думаю лишь о несчастье женщин! Скажите, Григорий Борисович, вы верите в это?! Если несчастье женщин так трогает вас, то при чем же здесь эта цыганка с ее гаданиями?!

— Я вижу в этом голос рода, — рассуждал Проровнер. — Так оно и должно быть. Муравьев и Наталья Михайловна — люди одного сословия, одной касты... Это существует и имеет влияние на психику. Наталья Михайловна и должна его защищать...

— Вот как?! Голос крови?! Ах, рода!.. — Андрей Генрихович смотрел ошарашенно и опять взрывался: — Нет, вы мне скажите, а кто несчастнее?

— Андрей Генрихович, я прошу тебя перестать, — вступала Наталья Михайловна. — Решай лучше, едем мы или не едем...

— А что тут решать-то?! — настаивала Анна, вбежавшая при этих словах в комнату. — Ты выйди на улицу, пойдем погуляем, посмотри, какая тут прелесть! Я тебе покажу места... А народ какой замечательный! Один Дмитрий Николаевич чего стоит!

Она подмигнула, но Наталья Михайловна не успела ничего сказать и только ощутила раздражение, когда Андрей Генрихович, услыхав про Муравьева, возопил:

— Да, в самом деле! Мы как раз только что с Григорием Борисовичем беседовали о нем... Вы говорите — остаться, — перебил он себя, потому что Анна глядела на него изумленно, еще несколько утрируя выражение. — Хорошо, мы подумаем, остаться нам или нет. Может быть, мы и останемся. Но разрешите лучше наши сомнения насчет упомянутой персоны. Вы давно его знаете?

— Да, хотя коротко сошлись мы только здесь, — ответила Анна. — А если он вам так интересен, то вы спросите о нем лучше вашу супругу — ведь они, кажется, знакомы ближе?

Андрея Генриховича это не смутило.

— Да нет. — Он досадливо отмахнулся, показывая, что никакие намеки его затронуть не могут. — Зачем мне расспрашивать Наталью Михайловну? Она не видела его пятнадцать лет. Я спрашиваю, что представляет он собою сейчас... Что, он действительно талантлив? Он кто: партийный деятель или ученый?

— Вы знаете, Андрей Генрихович, — Проровнер наморщил лоб, — здесь сложное дело... Потому что он если и партийный деятель, то из тех, которые любят оставаться в тени. Все хочет быть серым кардиналом. Никогда не известно в точности, чем он занимается, что он намерен делать, не известно, о чем он думает, кого он любит, сколько у него, наконец, денег, — ничего об этом не известно. Все ровно, спокойно, ниоткуда ничего не видно... Только хмыканья, покачивания головой, скорбные взоры... Но кое о чем мы, разумеется, догадываемся...

— А он, правда, потерял все, что имел? — живо перебил его Андрей Генрихович. — Вы уверяли вчера, что это так. Вы это знаете наверное?

— В том-то и дело, дорогой мой, что ничего не известно.

— Помилуйте! — Анна всплеснула руками. — Что вы такое говорите?! Человек лишился в России именья, дома, нескольких домов, и вы спрашиваете, много ли он потерял!

— Да, это так, — поспешно кивнул Андрей Генрихович, — но ведь это не обязательно значит в с е.

— Простите, — осторожно сказал Проровнер. — Справедливости ради я все же должен заметить, что вчера, говоря о потерях, я имел в виду не один... э-э... так сказать, материальный элемент... вернее, даже не столько материальный, сколько мистический, правильнее будет сказать, духовный элемент. Точнее весь комплекс. Весь комплекс потерь, причиненных нам, — он судорожно глотнул от волнения, не в силах распутать фразу, его подвижное, удлиненное лицо с большим, чуть не от уха до уха, сардоническим ртом искривилось, — причиненных нам нашим разрывом с Россией...

— Я согласен... Но согласитесь и вы, что все это немаловажно.

— Разумеется, — поспешил Проровнер.

— Немаловажно, — Андрей Генрихович повысил голос, — потерял человек все и просил подаяния или там, скажем, скитается в поисках работы по всему свету, как, извините, принужден скитаться сейчас ваш покорный слуга... Или он все же обеспечен, имеет кусок хлеба в отличие от тысяч своих соотечественников. И, вероятно, извините меня, опять же неплохой кусок хлеба, раз он может отдать своих детей в Оксфорд, содержать любовницу и так далее...

— Нет, конечно, вы правы, — примирительно сказала Анна. — Все это имеет значение. Но вы знаете, я за эти годы повидала столько людей и скажу вам, что, по моим наблюдениям, все остаются сами собой. Все эти разговоры, что война и революция разорили семейства, кого-то чего-то лишили, все это именно разговоры. — Она противоречила себе, но не замечала этого. — Каждый остался самим собой: богатые остались богатыми, бедные — бедными. Поверьте мне, что в людях есть что-то такое, что устойчивее их подданства! Что-то меняется, а что-то и остается, такое, что уж ничем и не вытравишь!..

Андрей Генрихович притих. Анна торжествовала победу.

— А что до Муравьева, то он, конечно, не все потерял. Что-то он вывез, это я хорошо знаю. Еще когда покойница была жива, я помню, говорили о каких-то ее диадемах, хоть она их, ясное дело, никуда уж не надевала. А э т а, конечно, тоже о них помнит. Я по ней вижу. Правда, сейчас она нас тут удивила... Но это ладно, потом...

— Это та молодая дама, что разносила чай? — спросила Наталья Михайловна.

V. Веселая наука

Утром шел дождь со снегом. Озябнув в сумасшедшем доме, Наталья Михайловна решила не идти на прогулку. Закрыв ноги одеялом поверх халата, она сидела на смявшейся, несвежей постели и то брала книгу, то откладывала ее, прочитав две строчки и думая о том, что еще немного — и она и вправду останется здесь навсегда: потребность в чистом-чистом теле, чистом белье — уже пропадала.

В первом часу, после обхода, санитарка, поднявшись на их этаж, сказала ей, что к ней пришли, и Лиза Осмолова, детская писательница, спросила, идет ли Наталья Михайловна на улицу и можно ли пойти с нею.

— Не знаю, очень холодно, я что-то мерзну, — пожаловалась Наталья Михайловна. — Пойдемте вниз, просто посидим там. Это, наверно, Таня.

Они спустились в комнату для свиданий, где было уже несколько больных с родственниками и где в углу, сжавшись, сидела Таня с обычным таинственным своим выражением, стараясь не показать, что то, что на нее смотрят, волнует ее. На нее смотрели почти все, ее вид был более странен, чем у находившихся здесь сумасшедших, и санитарка неодобрительно крутила головою.

Они сели рядом, в углу. Таня стала расспрашивать Наталью Михайловну о здоровье.

В это время не сразу, неуверенно отворилась дверь из отделения. Придерживая ее, санитарка пропустила в комнату слабого старика в слишком большой для его исхудалого тела синей свалявшейся пижаме. Обритая наголо, до блеска, обтянутая желтой кожей в красно-кирпичного цвета пятнах, неправильной формы — колуном — голова его низко свесилась на впалую грудь, он шел на подгибающихся коленках, волоча по полу ноги в разношенных пыльных шлепанцах, и поводил, как слепец, растопыренными руками.

Три женщины в углу с трудом узнали в нем давешнего сумасшедшего, так испугавшего их на прогулке. Он тоже как будто признал их, лицо его на миг озарилось прежней безудержной неземною веселостью, но тут же он сгорбился и поспешно отвел глаза.

Навстречу ему от стены поднялся коренастый человек с розовым,

хорошо выбритым лицом и густой, когда-то черной, теперь поседевшей, зачесанной ровной волной назад шевелюрой. Белая крахмальная рубаха облегала его широкую грудь.

Встав, он неторопливо застегнул и одернул сверкнувший дорогим химическим блеском пиджак, какие недавно стали носить, и бросил с колен на стул рядом пальто на меховой подстежке. Движения его были тяжело пластичны — женщины в углу невольно любовались им, — и только манжеты, выехавшие далеко из-под обшлагов, придавали фигуре чуть-чуть деревенский вид. Но несомненно: если этот человек и вышел из деревни, то с тех пор уже изрядно пообтерся в городе и сейчас принадлежал скорей всего к какому-нибудь министерскому начальству.

Старик едва полз, валясь всем телом на санитарку, но Наталье Михайловне почему-то показалось, что он лишь прикидывается, что не замечает гостя.

Тот сделал два твердых шага вперед, протянул свои толстые руки, отчего манжеты выехали еще дальше, и крепко обнял старика, беззвучно троекратно приложившись к его седой щетине. Не смущаясь, он затем несколько раз хлопнул его по сутулой спине, подмигивая санитарке, обнял за талию и повел, чтобы усадить на стул.

Старик изображал, что совсем не узнает его.

— Ну, как живешь? — спрашивал между тем у него громко, на всю комнату, не обращая внимания на остальных посетителей, навещавший. — Молодец, молодец! — похвалил он, хотя старик всего-навсего досадливо отдернулся. — Как кормежка? Ты смотри, ежели что, то мы сейчас все сделаем.

Старик хотел что-то сказать, но лишь зло выдохнул, видимо, все еще не понимая, какую линию поведения ему избрать.

— Ну, а как отдых? — приставал гость, щуря глаз и не сбавляя нажима. — Развлечения как? Тут ведь, поди, не выпьешь? А?! — Он заржал и подтолкнул старика плечом. — Или пьют? Вот собаки, всюду пьют! У Ивана Анисимова брат в онкологический институт попал, так и там, говорит, пьют. Полжелудка ему вырежут, он пьет. С другой стороны, там, конечно, и делать ничего не остается, только пить. Или у вас все-таки не пьют?.. Ну, а как домино, шашки, дают? Телевизор, кино показывают? Ты-то как времечко проводишь? Или книжки читаешь?

Он снова собрался было шутливо подтолкнуть его и захохотать, но старик наконец стряхнул с себя оцепенение, и в глазах его зажегся огонек.

— Я изучаю систему философии, — медленно, жуя тонкие губы, выговаривал он, поводя головой куда-то в сторону, мимо гостя.

Тот чуть удивился и хмыкнул:

— Вот как?! Ну, что же... очень хорошо... Сами изучали. Законы знаем. Борьба материализма с идеализмом. Диалектика! Как же! Очень интересно. Молодец!..

Сумасшедший бросил на него взгляд, исполненный презрения.

— Правильное написание слов загадано, — с силой, скрипуче произнес он. — Сущность каждой философии засекречена... Перед мыслителями Вселенной мне приходится пользоваться намеками, поскольку русский язык, как и все другие, еще несовершенный для изобретения общей философии с учетом лучших свойств и разумных желаний всех субстанций (атомов)...

— Ну-ну-ну. — Гость попробовал перебить эту величественную речь, весело оглядываясь на остальных посетителей, растянув при этом в гримасе свое широкое лицо и даже облизнув от удовольствия полные губы. — Так в чем же дело? — внезапно холодно обратился он к старику, не желая, видимо, давать ему спуску.

— А в том, — сощурился и тот, — что всякое свойство зависит от своего опыта, то есть эволюционирует к лучшему своему пределу! Ты понял меня!? — резко закричал он.

Того все это занимало, и он с готовностью кивнул.

— А от этого, — продолжал сумасшедший, — высшее требование всей философии — познание разума — позволяет достигать могущества преобладания как над мужской, так и над женской субстанциями, так и над всеми атомами.

— Вот как? — хмыкнул гость.

— При отсутствии познания или препятствий для исполнения желаний, которые рождают все существующее, — поправился сумасшедший.

Сказав это, он внимательно посмотрел по сторонам, не выдал ли он себя, а гость совсем развеселился и почти в открытую дерзко подмигнул женщинам в противоположном углу.

Больной зафиксировал это и в упор уставился на приятеля, силясь остановить боковые подергивания века.

— Погоди, — хрипло сказал он, разжав скривившиеся губы и кося. — Ты что думаешь? Ты думаешь, я ошибся один раз, и я теперь ошибся другой раз. Да, в моей жизни были причины! — с вызовом крикнул он, метнув гневный взгляд в сторону. — Поскольку каждый атом живой свою скрытую жизнь имеет, возможно, различные субстанции рискнули из-за желания узнать!!! Но им этого не удалось в полной и высшей мере, ха-ха-ха!!! А почему?

Вперив в гостя грозный горящий взор и приподнявшись, он завопил так, что задремавшая, стоя у стола, санитарка прянула и знаками, стараясь не привлечь внимания больного, стала показывать посетителю, чтобы он не волновал того.

— Потому что инстинкт! — задыхаясь от скрипучего своего крика, объяснял сумасшедший. — Для меня инстинкт человеческого разума есть предчувствие возможности данному человеку или близкому ему по крови сродственнику или знакомому! Для меня инстинкт этот касается и рассмотрения природы, то есть рассмотрения законов материи, которая логическим путем существует через нас и которой мы должны опасаться. Потому что всякая причина всегда привлекает за собой последствие, против которого и нужно применить разум. А все боятся, хотя и видят формирование мышления от самой среды естественной природы. Все боятся... — повторил он, наверное, вновь почувствовав, что овладевает ситуацией, и положил руку на толстое колено гостя. — Мне нравятся отзывчивые люди, но их очень и очень мало, — сказал он с выражением искренней печали. — Большинство старается отмолчаться. Сколько тюрем, а сколько сумасшедших домов! Сотни тружеников состоят на учете в психоневрологических диспансерах. Долго, еще очень долго должен свистеть бич Божий, бич беспощадной критики культа личности Сталина... У меня одна цель, — вдруг сказал он, подняв голову, глядя просветленно куда-то в верхний угол помещения и (Наталья Михайловна готова была поклясться), словно опытный демагог, играя на публику. — Одна цель: изменить мир мирным путем без единой человеческой жертвы. Через десять лет мы с тобою, — сказал он, не отпуская колена собеседника, — изменим мир и тогда покончим с революциями, диктатом и войнами навсегда. Ликвидируем органы насилия...

Наталья Михайловна даже удивилась такому диапазону. Гость тоже был теперь по-настоящему изумлен. Мысль безумца между тем бежала по новому кругу:

— Наказание отбывается в тюрьмах и других живых формах! — воскликнул он. — Это вызывает случайность в неживой и живой природе, то есть обществе, то есть ненаучный взгляд идеализма, который мешает правильной работе разума...

Сумасшедший пригнулся к самому уху приятеля и перешел на громкий свистящий шепот. Наталье Михайловне приходилось теперь напрягать слух, чтобы слышать.

— ...В этом все затруднение... — Гость, не отводя лица, незаметно утирал брызги слюны и, кажется, чуть побаивался, не заразна ли она. — Что же такое разум? Разум представляет из себя Духовный мир живой антиприроды и включает в себя недуховный мир живой природы — растительный мир. В каждом изобретении расчет и далекие перспективы, однако, чтобы был выполнен план могущества, нужно еще иметь общие критерии скрытых позволяемых других свойств атомов!

Он многозначительно засмеялся и от смеха закашлялся.

— Ты имей дело со мной, не бойся! — крикнул он сквозь кашель. — Не промахнешься. Мы их всех накажем!

— Ты кого имеешь в виду? — сумрачно поинтересовался гость; его, возможно, все это начинало злить.

Старик сделал вид, что не слышит.

— Кто они? — повторил гость.

— И тогда преследование окончится, — быстро и таинственно заговорил сумасшедший, — потому что это желание в отношении последнего и не вызывает никакого сомнения и противодействия, лишь мягкое возражение можно услышать такой категории. Поэтому нужно знать внутреннюю эволюцию каждой субстанции и ограничить поведение воспитанием и самовоспитанием атомов... Что же такое от этого «преступление»? Всякое неуважение невзаимности — преступление!

— Не понял, — раздраженно перебил его уставший гость, — с чьей стороны преступление? Если бы ты сказал: неуважение взаимности, то тогда бы я догадался, что ты совершил проступок, жалеешь об этом и принимаешь за это вину. Но если ты говоришь так, как ты сказал, то это значит, что ты винишь не себя, а их. Верно я говорю?!

— Нет! — побледнев, отрезал сумасшедший, угрожающе пригибаясь как перед прыжком и протягивая к собеседнику дрожащие, сведенные судорогой худые безволосые руки.

— Ты меня не пугай! — Гость помахал перед ним толстым и коротким пальцем красивой широкой белой кисти. — Невзаимность-то была чья? А? Твоя. А неуважение чье? Ихнее. Вот то-то. Сам знаешь, а говоришь... Нельзя так, — упрекнул он спокойнее. — Нехорошо. Все мы грешные. Никто от ошибки заручиться не может, но это ничего, ошибемся, нас поправят. А обижаться нечего. Понял?

— В справедливости — уважение ко всем субстанциям, абсолютным и относительным, для которых должны быть общие законы поведения, исключающие противоречивые поступки хотя бы для одной из них, — ответил сумасшедший.

В словах его Наталье Михайловне послышалась горечь, ей стало жалко его. Гостю же пришла на ум какая-то мысль, и, прослушав этот пассаж, он фальшиво и громко восхитился, будто оценивая работу мастера:

— Хорошо-о!.. Ты вот что... знаешь что, запиши все это! У вас тут как, карандаш, бумагу дают?

Старик подозрительно посмотрел на него, но тот не дал ему ничего возразить и снова повторил, потрепав по худой коленке:

— Пиши, пиши обязательно! Потом мне передашь, я сохраню. Велю машинисткам перепечатать.

Последнее было неосторожно. Старик бросил на него пронзительный взгляд, оскалив зубы и отстраняясь всем затрепетавшим телом.

Гость спохватился и тут же, сообразив что-то или приготовя это заранее и теперь играя, стукнул себя по лбу.

— Обожди, — благодушно улыбнулся он приятелю. — Самое главное.

Гримасничая, он полез за пазуху, в нагрудный карман, и, вытащив оттуда маленькую красную коробочку, встал. Следом за ним завороженно поднялся и старик.

— Вот, — произнес гость, меняя тон и прикидываясь уже совершенным простаком. — Наше управление награждено юбилейным Знаком отличия. Ряд товарищей награжден персонально... — Он выждал паузу. — В числе награжденных имеешься ты... Так что вот, коллектив тебя помнит, значит. Товарищи решили — заслуживаешь. Сказали, заслуживает. Да... Вот, значит, тебе Знак отличия, за твой труд. Труженик, говорят, труженик. Скажи ему, говорят, пусть скорее возвращается в строй. Да. Коллектив тебя помнит, значит. Может, еще вернешься...

Старик заплакал, точно залаял. Гость, войдя в роль, тоже сделал вид, что плачет, дважды коснувшись сухих глаз тыльной стороной кисти и манжетом. Раскрыв коробочку, он стал неловко крепить значок старику на больничную пижаму.

Молоденькая девка-санитарка подбежала к ним, суетливо двигаясь и приговаривая:

— Нельзя, нельзя. Давайте сюда. Что же вы не предупредили раньше?

Боязливо оглянувшись, она сунула в карман халата красную коробочку и рубль, что он дал ей.

— Что же вы не предупредили? — упрекнула она его уже по-свойски. — Разволновали его. Ему вредно.

Взявши сумасшедшего под руку, она стала уводить его.

— Ничего, ничего, — ободрил гость, стараясь показать: он лучше знает, что полезно тому, а что вредно; он был все-таки чуть растерян.

Старик, слабо пытаясь вырваться, взлаивая, подчинился и, снова согнувшись, потащился за нею.

В другом углу, у окна, уже начала тоненьким голоском подвывать и подвизгивать сидевшая с пришедшей к ней теткой веснушчатая девочка-кликуша.

— Как все-таки ужасно! — заметила Наталья Михайловна, входя вместе с детской писательницей в палату. — И эти награды в сумасшедшем доме...

— Да, какой страшный старик, — подтвердила Лиза. — И тогда он нас напугал. Я как-то еще раз мельком его видела, но он, к счастью, меня не заметил.

Третья их соседка, та, которая рассказывала, что она дочь цыганки (Наталья Михайловна с Лизой звали ее с тех пор между собой Цыганкой), прислушиваясь к их разговору, вдруг воскликнула:

— Ой, это про какого же старичка вы так нехорошо говорите?

Женщины недоуменно посмотрели на нее. Лечение не приносило ей пользы. Правда, жучки на полу ей теперь почти не мерещились, зато она очень поглупела и все больше впадала в детство. Сейчас тоже она говорила нараспев, сюсюкая, но считала, конечно, маленькими дурочками их, а не себя.

— Ой, как нехорошо! Я ведь знаю, знаю, про кого вы так говорите, — сказала она, раскачиваясь и сжимая ладошки. — Вы про дедушку так говорите. Как нехорошо! Дедушка такой милый!

— Это какой дедушка, с треугольной головой? — спросила детская писательница.

— Ай-я-яй, ай-я-яй, — укоризненно сказала Цыганка. — Дедушка такой хороший, такой добрый...

— Подождите, — прервала ее Наталья Михайловна. — Вы что, его знали? Знали прежде?

— Нет, нет, мы только здесь познакомились, — жеманничая, сказала Цыганка.

Наталья Михайловна с Лизой переглянулись, ожидая, что это начало какого-нибудь эротического бреда, какого много они уже наслушались от здешних. Но у этой сейчас, видно, была другая стадия и верх взяло детское, потому что, поколебавшись несколько секунд, она, еще сильнее по-детски картавя, продолжала:

— Да, он очень доблый и холосый дедушка. Он всем помогает. Он и вам хотел помочь, а вы так нехолосо о нем говолите.

— Подождите, — с некоторым раздражением вновь остановила ее Наталья Михайловна, — а мы-то при чем? Вы что, с ним разговаривали?

— Да, да, — округлив для убедительности глаза, закивала Цыганка. — Он меня подозвал, все подробно спросил. «Какая, говорит, с тобой зенщина!» Я ему все-все рассказала!

— Что же это за «все-все», что вы ему рассказали?

— Все-все! — убежденно повторила та. — Всю твою жизнь рассказала. И про загланицу рассказала, все-все. Какие богачи там, белые эмигранты. Падчерица и сынок какие у тебя трудные.

— Ну, ладно. А он что?

— А он говорит: «Я ей помогу». — Она еще больше вытаращила глаза и таинственно понизила голос. — Да, да. Они, говорит, держут меня здесь незаконно, но я скоро выйду и их всех накажу. И ей, говорит, помогу. Они у меня все вот где...

И, вывернув наружу маленькую, сморщенную, словно и в самом деле детскую ладошку, она, подражая тому, важно постучала в нее указательным пальцем другой руки.

VI. (...)!

Через два дня, как и было договорено, они встретились вечером в центре. Она была одета так себе, в то же, во что и тогда, — вязаный белый платок, хорошее, настоящей кожи, не н а ш е, но и не новое пальто на теплой подстежке, которое полнило ее. Платок она надвинула на лоб, вид ее был скромен, лицо снова живо и таинственно. Она ходила взад и вперед, держа руки как бы молитвенно перед грудью, и прохожие оборачивались на нее.

— А я боялся, что вы раздумаете, — сказал он и замялся.

— Что-нибудь случилось? — встревожилась она.

Он медлил, подбирая слова, чтобы не сказать лишнего.

— И что же? — нетерпеливо догадалась она. — Вы говорили с Ольгой Веселовой, и она сказала: зачем вам понадобилась эта истеричка?

Примерно так оно и было, но он энергично запротестовал:

— Нет, нет! Она, напротив, очень обрадовалась и сказала, чтобы мы с вами приходили... к ней... У нее сегодня один наш приятель празднует свои именины, и там наверняка будут все — и Мелик, и Лев Владимирович.

— Хорошо, — недоверчиво сказала она. — Но я не знаю, будет ли это и правда приятно Ольге. Я-то давно простила ее, да никогда особенно и не сердилась на нее... Но вот она-то, по-моему...

— Ну что вы! — по-прежнему легкомысленно стал убеждать ее Вирхов. — Она очень хорошо о вас отзывалась. Она всегда говорила, что вы талантливый, интересный человек.

Она покачала головой.

— Ну, не знаю... Ведь мы с ней встречаемся время от времени. И она ко мне приходит. Говорила ли она вам об этом? И я у нее бывала этой осенью, когда она была больна. Мы ведь с ней дружны были с четырнадцати лет... Я даже не знаю, что и делать...

Стало накрапывать. На широком Театральном проезде было видно снизу вверх, к Лубянке, низко нависшее серое небо. Подымался холодный, порывистый ветер, рассеивая в воздухе мелкую изморось.

— Это надолго, — сказал Вирхов. — Что ж вы не позаботились сегодня насчет погоды?

Они шли рядом, иногда в толпе касаясь друг друга, иногда далеко расходясь и с трудом соразмеряя шаг.

— Сегодня как-то не до того было, — серьезно и печально ответила она.

— Что, дома опять что-нибудь?

— Нет, на этот раз дома тихо... С утра работала, потом гуляла, много думала обо всем этом... О Льве Владимировиче, об Ольге, вообще о своей жизни... Что-то плохо стало с деньгами, — упростила она.

— А почему бы вам не устроиться куда-нибудь в тихий академический институт, писать статьи? — спросил Вирхов. — Сейчас ведь стало получше. Я и сам года два работал в таком институте... У человека по фамилии Целлариус. Вы не знаете его? Сегодня увидите...

— Да ведь я пробовала, — усмехнулась она. — Я когда-нибудь, если захотите, расскажу вам об этом. Но у меня ничего не выходит. То есть сначала как будто успех, все в восторге, а потом у меня начинается э й ф о р и я, з какой-то момент, я делаю не то, что нужно... Или вообще все кончается открытой ненавистью, особенно у женщин. У меня всегда так, всегда одинаково.

— Да, ...[1] трудно, — признал он, — даже в интеллигентских институтах.

— В интеллигентских еще хуже, — убежденно сказала она.

— А писать статьи? Вот у меня самого сейчас как раз такой период, я хочу попробовать жить такого рода заработком. Хотя пока что еще состою в должности. Не знаю, что из этого получится. У меня ведь техническое образование... буду писать статьи о технике, наверное. О с м ы с л е т е х н и к и. Как Хайдеггер.

---

[1] Изъято «внутренней цензурой». (Автор не мог напечатать текст полностью, даже в единственном экземпляре, не подвергая себя опасности быть обвиненным по ст. 190 УК РСФСР.)

— Какие же можно писать статьи? Вам еще, может быть, и можно...

— Под псевдонимом.

— Нет, мне теперь уже только один псевдоним остался: soeur de...[2]. А вы, стало быть, занимаетесь с о ч и н и т е л ь с т в о м?

Вирхов был смущен, совершенно не представляя себе, как отвечать. В занятиях сочинительством он пока что не признавался никому, кроме Лизы Осмоловой, — хотя знал, что Ольга, Мелик да и остальные догадываются, кажется, об этом. Время от времени они даже подшучивали над ним, но он все равно не признавался, все собираясь написать какую-то большую вещь, роман, «долженствующий обнять Россию со всех точек зрения» — гражданской, политической, религиозной и философской (наподобие гоголевского Тентетникова), — так острил он сам с собою, — и лишь тогда открыться.

— Да, ведь вы в е р у ю щ а я? — спросил он, уходя от ответа. — Извините, что я так прямо... Рассказывают, что вы даже ездили в Литву, чтобы перейти в католичество?

Она испытующе посмотрела на него.

— С католичеством это, конечно, ерунда. Хотя я дружу там со многими патерами... А с какой целью вы спросили об этом? — И, не дождавшись ответа, быстро продолжала: — Сейчас ведь это потеряло какой-то важный оттенок. Точнее, сам вопрос потерял какой-то оттенок. Сейчас, кого ни спроси, обязательно будет богослов или специалист по делам Русской Церкви. Этого всегда так ждали, на это так надеялись, и вот сейчас, когда это происходит, видно, как это ужасно! Это так быстро стало модой, стало так доступно... Сейчас как бы уже и неприлично: интеллигентный человек и вдруг н е... Конечно, грех так говорить, но ведь это так?

Он засмеялся. Улыбка шла ему, его длинное лицо казалось круглее и не так бледно, хотя сегодня он выглядел вообще лучше.

— Это преувеличено, — сказал он, — но что-то есть.

— А вы сами, — спросила она, — как вы?

Он нерешительно кивнул. Ей, однако, хотелось узнать больше.

— А как вы пришли к этому? — стала выспрашивать она. — У вас было что-нибудь с детства? У меня-то самой была бабушка... Не совсем моя бабушка, моего названного брата, сына Натальи Михайловны, Сергея, мать ее второго мужа. Бабушка была настоящая ф р а н ц и с к а н к а. И, пока я была с нею, все было хорошо... Потом уже был провал и темные годы... — Голос ее дрогнул, и последние слова она произнесла совсем тихо и с прежним трепетом.

Вирхов неловко сказал:

— Да, это хорошо, что у вас так вышло, с детства... У меня ничего похожего не было. У нас в семье, наоборот, гордились тем, что бабка с материнской стороны, еще когда они жили в Медыни, выгнала из дому пьяного попа на Пасху. Знаете, прежде они ходили по домам?.. Да, матушкин характер, это от нее. Так что у меня все началось только недавно. Я в е д ь п р о в и н ц и а л. Приехал в Москву учиться, когда кончал, женился, потом развелся. Но в Москве, как видите, остался. Я ведь только теперь, только недавно сошелся... со всем... этим кругом...

— У меня иначе, — подтвердила она, и ему на секунду стало неприятно, что она сказала это так уверенно, как будто иначе и не могло быть. — У меня потом было как бы возвращение к тому, что я уже знала... Как после какого-то затмения или болезни.

Голос ее осел, и в глазах словно бы блеснули слезы, но он не совсем понял, так ли это, и несколько шагов всматривался. Потом осторожно спросил: отчего случилось это затмение?

Она вздохнула.

— Не знаю, юность — это ведь обычно темные годы. У меня еще усугубилось тем, что вернулась мама, которую я почти совсем не знала. А что за человек моя мама, мы ведь с вами уже говорили... А бабушка скоро умерла. Это было уже после войны, в очень тяжелое время. Мама была в ужасном состоянии... страшно боялась, что ее опять возьмут. Ее муж тоже очень боялся... Когда они вернулись в Москву, он снова стал

---

[2] То есть как у католической монахини.

заметен и боялся... Нет, нет, он честный человек и ни в чьем несчастьи неповинен. Просто тех, кого убрали, надо было заменять кем-то, а он подвернулся под руку. Я некоторое время еще держалась: я была очень поглощена тогда своей медиевистикой и надеялась, что мне удастся заняться так, чтобы ничего не видеть и обо всем забыть. Но потом сорвалась...

— Как же им удалось вернуться в такое время, — спросил он, — они ведь были в ссылке?

— Трудно сказать... С кем-то они были знакомы, кто начал вдруг быстро выдвигаться в это время. Чем-то помог, я знаю, Осмолов, который тогда тоже был на каких-то партийных ролях. В тогдашней сумятице бывало, видно, и такое. Но я не знаю, мне подробно об этом никогда не говорили.

— А ваш отец? — спросил Вирхов.

— Отца своего я никогда не знала. Его нет в живых.

Ольга жила на четвертом этаже старого — прежде хорошего — дома в Армянском переулке. Дед и отец ее преподавали здесь же, неподалеку от дома, в Лазаревском институте (потом институте Востока), и когда-то семейство занимало всю квартиру. Затем начались уплотнения, дед умер, отец не играл уже той роли, хотя и числился профессором, и мало-помалу Веселовы должны были сдать все, так что у них остались только комната да еще большая кладовка.

В пятьдесят четвертом году стали возвращаться из лагерей реабилитированные, и один Ольгин соученик по школе, севший, когда ему не исполнилось и семнадцати лет, юноша, влюбленный в нее, но наивный, прислал к ним, сам дожидаясь еще пересмотра дела, своего приятеля, вышедшего раньше. Приятелю надо было перебиться с жильем, хотя бы на первое время. Его поселили в кладовке, где он жил странной своей жизнью, не пытаясь ни устроиться на работу, ни получить прописку и почти не вылезая из дому.

В один из таких дней — он жил у них уже второй месяц, — когда мать была на работе, а он валялся, выйдя лишь за сигаретами, у себя на кровати одетый, Ольга и стала его женой. Он относился к ней неплохо, но образа жизни своего не менял и злился только, когда она пыталась что-то говорить ему. Друзья их скоро вернулись все. Он стал много пить, она пила тоже, объясняя это тем, что так они по крайней мере вместе, но не сразу поняла по своей неопытности, что он принимает и наркотики. Кто-то из друзей сказал ей об этом. Она была напугана, стала кричать, биться, муж сам вроде бы даже испугался, плакал, клялся, что бросит и будет лечиться. Несколько дней он держался, кто-то нашел ему гипнотизера, который приходил к ним и в кладовке, за закрытой дверью, сидя против пациента на табуретке, неразличимо бубнил что-то в продолжение нескольких сеансов, так ничего и не давших. Больной снова бежал к врачихе, выписывавшей ему рецепт, и снова, мучаясь, валялся на кровати, глядя жалкими глазами на жену, которая уже начинала его ненавидеть.

Потом он умер от разрыва сердца. Последнее время перед этим он нервничал, устраивал истерики, грозился покончить жизнь самоубийством, пытаясь как-то удержать Ольгу, потому что уже она теперь уходила все чаще по друзьям, и третьего февраля — этот день потом всегда отмечали, — переночевав у матери, которая к тому времени построила себе кооператив и отселилась от них, Ольга нашла его холодным, с отросшей за сутки щетиной, с лежавшей на груди тетрадкой, где он пытался, должно быть, записать предсмертные свои стихи. Ольга хранила их, но, будучи женщиной без предрассудков, любила повторять, что «художественной ценности они не представляют».

Год спустя она вышла замуж за того своего соученика, которому и была обязана первым браком, родила дочку, но пробыла с ним недолго, скоро разойдясь, и последние семь лет жила по большей части одна, отправляя девочку к ушедшей на пенсию и скучавшей матери. Дом Ольгин, расположенный так близко в центре, лежал на скрещении всех путей, и редкий вечер не был полон людьми.

— Ах, подождите, — сказала вдруг Таня, когда Вирхов уже брался за витой медный поручень двери парадного, — подождите, давайте посидим немного во дворе, прежде чем войдем. Вот тут, смотрите, как мило. За-

одно я расскажу вам, что связано у меня с этим домом, чтобы для вас не было никаких неожиданностей.

Вирхов послушно присел рядом с ней на лавочку возле подъезда. Таня торопливо начала рассказывать о том, о чем он приблизительно имел представление, но он внимательно слушал, вылавливая подробности.

Она знала Ольгу с четырнадцати лет, то есть ей самой было четырнадцать, а Ольге десять. Бывало так, что они не виделись годами, но с пятьдесят четвертого года, в течение нескольких лет, она проводила в этом доме целые дни подряд, к ужасу матери своей, полагавшей — и знавшей по опыту, — что прошедшие лагеря люди не то общество, где лучше всего быть молодой девушке. Сама Наталья Михайловна, видя этих новых друзей время от времени, тоже находила такую дружбу неестественной и предостерегала, что увлечение перенесенными страданиями, интеллигентским опрощением и страстью людей, освободившихся из неволи, довольно опасно.

Но Таня не хотела слушать ни ту, ни другую. Она была вся под обаянием этой новой для нее жизни, радуясь, как несколькими годами позже и Вирхов, что наконец найдено то (...), к чему она подошла уже и сама, но не решалась еще переступить какой-то последней преграды.

Дело было, однако, не в том, стала объяснять она теперь Вирхову, что, вернувшись из лагерей, ее новые знакомые уже просто не хотели знать (...). Это примерно — пусть и не в такой степени — было ей известно. Наталья Михайловна, хотя и воздерживалась от того, чтобы говорить при детях на опасные темы, не старалась обмануть их и воспитать в них чувства, которых не имела сама. К тому же в середине сороковых годов, после войны, в университете было уже много молодежи, которая достаточно разобралась (...).

Поэтому и вся суть того, что ей открылось благодаря встрече в этом доме, то истинное, что ей открылось, заключалось даже не в смелости или резкости (...), не в том, что новые друзья почти не скрывали своих мыслей о (...). Суть была именно в самой жизни (...) и их собственной жизни, какую они хотели отныне для себя строить. Они не просто знали что-то, не просто отыскивали книги и находили там подтверждение своим чувствам, но они решались распространить это свое понимание на жизнь в целом, свою и чужую, и говорили, что (...) не сделают и шага вверх, что предпочитают бедность карьеризму и благополучию людей, тоже все знающих и ни во что не верящих, но тем не менее из корыстных побуждений стремящихся (...). Потому что каждый шаг вверх в любой области, в любой самой абстрактной сфере деятельности казался им (...).

Вернувшись из лагерей, они все-таки решили доучиваться, но дальше ни в коем случае не служить на службе или по крайней мере занимать совсем маленькую должность, а еще лучше — жить только простым трудом, например, огородничеством, зарабатывая лишь самое необходимое, и посвящая основное время творчеству. Они все писали. Собираясь, они читали друг другу написанное: эссе, робкие, неумелые переводы из не изданных на русском экзистенциалистов или наброски к каким-то большим будущим вещам. Уже пьяные — пили много, — хвалили друг друга, радуясь такому удачному сочетанию стольких талантов сразу, в одной точке, заранее мысленно как бы распределили роли, подумывая и о том, как лучше всего переправить эти вещи за границу, и не выждать ли еще время, чтобы вновь слишком быстро не угодить туда же, откуда они только что вернулись, ибо все это была, конечно, подпольщина, и никто из них не помышлял серьезно выступить в легальной печати. Писал стихи Ольгин покойный муж, писала прозу и сама Ольга; тот, кому обязана была она первым браком, сублимируя, вероятно, свою неудачу, пока был еще один, написал роман, и довольно большой; Ольга, да и остальные, вскоре стали считать этот роман гениальным, а Таня, которой он не нравился, подверглась осуждению.

К ней вообще относились здесь отчужденно, и сблизиться с ними по-настоящему она не смогла. Она не знала причины, потому что делала вроде бы все то же, что и они, — так же пила, так же читала стихи и писала экзистенциальные романы-монологи, которые Ольга одобряла, отводя ей роль «нашей Саган». Но все они, однако, в чем-то не доверяли ей, и, хоть

и думали о себе как об элите, ей самой, опростившись и зная жизнь, не упускали случая сказать «белая кость» и тому подобное. Она защищалась, пытаясь обратить это в шутку, не выдержав, жаловалась кому-нибудь из них, кого считала себе ближе остальных, но через несколько дней вдруг узнавала, что это вскользь брошенное словцо почему-то не забылось, а, наоборот, сделалось чем-то вроде постоянного эпитета, если не клички. Этим она бывала задета больше всего — не столько, может быть, даже шутками, относящимися непосредственно к ней, сколько именно тем, что, приходя к ним, она почти всякий раз должна была удивляться тому, что у всех них на языке какое-то новое словечко или оборот, рожденные буквально вчера-позавчера на чьем-нибудь дне рождения или во время простой попойки, куда ее не позвали. Она вынуждена была тогда спрашивать: а что это значит? — иногда по нескольку раз. Она чувствовала себя совсем уничтоженной; стараясь преодолеть это, приходила снова и снова убеждалась, что все равно не может освоить этих словечек, ужимок, не умеет метко пошутить, как умели они, не владеет разными приемами: что сказать тогда-то и тогда-то, как ответить на такой-то вопрос и т. д., и уже почти не понимает этих людей, не знает, почему ее слова вызывают у них раздражение, почему они стали смеяться над нею, хотя сами еще вчера или даже только что говорили буквально то же самое. Она думала тогда и продолжала думать так и сейчас, что это было из-за того, что ей не нравилась их литература, и она, считая «раз уж честно, так честно», не умела скрыть этого от них.

Но правда ли это, она так и не поняла, тем более что как раз, когда расхождение между нею и остальными стало совсем заметно, появился Лев Владимирович. Он сам смеялся над ними всеми и не боялся их, а кроме него, появилось еще несколько человек молодежи, совсем юнцов, которых притащили с собой сын Льва Владимировича от первого его брака и быстро сошедшийся с ним двоюродный Ольгин племянник. Скоро затем молодежь стала тоже бывать здесь каждый вечер, и на год, а то и больше все определилось этим. Молодые люди слушали, открыв рот, лагерные истории, научались пить водку, следовали старшим в литературных занятиях и тихо страдали от оскорблений. Но, видно, они также были достаточно незаурядны, и честолюбие их не удовлетворялось литературными подражаниями, а хотело более полного признания, и вот, окончив свои институты и переженившись, они задумали уехать учительствовать в деревню, как Толстой, чтобы не на словах доказать, чего стоят их убеждения, и перекрыть опыт с л у ч а й н о с е в ш и х с т а р ш и х.

Они уехали, правда, недалеко, под Москву, в село Покровское, а старшие с их отъездом вдруг потеряли себя и заметались. Они и сами оканчивали свое учение, и им тоже надо было реально выбирать что-то и куда-то устраиваться. К этому времени Таня уже вышла замуж за Льва Владимировича и рассорилась с Ольгой, которая при известии об их намечающемся браке повела себя подло, из какого-то недоброжелательства или просто ради того, чтобы покуражиться по-бабьи, заявив, что, «если уж на то пошло, и она имеет права на Льва Владимировича».

С тех пор Таня была здесь лишь несколько раз, этой осенью, а в деревне, у э т и х, не бывала вовсе и знала только из вторых рук (Лев Владимирович не любил говорить о сыне), что затея эта с деревней провалилась и что один за другим они все возвратились оттуда.

Лифт не работал. По темной лестнице с истертыми ступенями и разбитыми витражами, отделявшими черный ход от парадного, они поднялись к знакомой двери, оба привычно прислушиваясь к тому, что делается там, за нею, и невольно перебирая в памяти тысячи вечеров, проведенных здесь, и рухнувшие связанные с этими вечерами иллюзии.

На площадке было слышно, как Ольга резким своим голосом разговаривает по телефону. Прижав трубку плечом, она дотянулась до замка и открыла им, продолжая кричать в телефон и свободной рукой показывая, чтоб они раздевались и проходили.

Таня увидела в этом преднамеренность и застыла, готовясь уйти, но Вирхов прошел дальше. Они повесили пальто за шкаф у двери, вешалка была уже полна. Гости галдели, однако еще негромко.

Они вошли. В большой, высокой комнате было темн . На длинном,

составленном из трех, столе горело несколько свечей. Гостей было человек под двадцать, обе кушетки были придвинуты от стен к столу, пламя, колеблемое дыханием, освещало притиснутые друг к другу бледные лица с блестевшими глазами. Сизый табачный дым клубился в воздухе. Тусклые отсветы едва пробивавшихся сквозь него лучей играли на лаке холстов, плотно висевших без рам по стенам (на холстах изображены были какие-то гладкие монстры), и еще тусклей и загадочней вспыхивали в большом, тоже без рамы, зеркале, приставленном к стене в углу у окна. За окном с наполовину оторванной и висевшей на двух кольцах занавесью, в нескольких всего метрах светилась чья-то коммунальная кухня. В другом углу на большом гардеробе с плохо притворенными дверцами видны были силуэты старинных прялок, папок с рисунками и рулонов бумаги: Ольга была искусствовед, но также и сама рисовала, и с некоторых пор ей даже удавалось подрабатывать своими художественными поделками, росписью тканей. На подоконнике и около двери сложены были в кучу книги, не уместившиеся на стеллаже; на тех, что возле двери, сверху навалены были не то пальто, не то эти самые расписные ткани. На стеллаже среди книг и на маленьком шкафчике стояли иконы без окладов. Дверь в кладовку была растворена, там стоял приемник, возле которого кто-то возился: из-за спин виднелся нестриженый затылок, и то рев, то быстрая невнятица далеких станций вдруг перекрывали разговоры.

Еды было мало — Ольга никогда хорошо не кормила, — стояли две большие миски какого-то винегрета, грубо нарезанная селедка и картошка в мундире: ее чистили руками, складывая очистки с краю тарелки или на скатерть, на подстеленный обрывок газеты. Тарелок не хватало, в изобилии имелась только питьевая посуда и водка. Несколько бутылок уже были пусты, и курчавый юноша (Вирхов не помнил, как его зовут, но знал, что это его картины висят в числе прочих на стенах), пытаясь освободить вошедшим побольше места, беспомощно завалился на кушетку.

Вновь прибывшие сели на лавку в торце стола. Компания была наполовину незнакомой: Ольга имела обыкновение звать всех подряд, без разбора, а те приводили, не спросясь, с собою еще других.

Лев Владимирович был уже тут. Сидя на противоположном конце стола, он беседовал с какой-то юной девочкой. Увидев свою бывшую жену и ее спутника, он только подмигнул им и опять наклонил голову к собеседнице: та рассказывала ему что-то важное. Сидевшие рядом с ними прислушивались и переспрашивали ее. Увлекшись, она начинала говорить громче. Она рассказывала о поездке в лагерь к своему жениху, киевлянину, севшему полгода назад за украинский национализм и организацию подпольного журнала.

Дело это с журналом и севшего киевлянина здесь хорошо знали, но не знали ничего о жениховстве: как-то осенью эта девочка однажды была у Ольги, но тогда тот как будто наоборот и не собирался жениться, почему и были слезы.

— А что, много их там было? — спросила Таня.

Вирхов помотал головой: с р о к получили трое, остальных выгнали из университета.

Сосед по правую руку от Вирхова, крепко сложенный, светлоголовый, с широким потным лицом, сказал негромко:

— Как глупо они сели, а?

— Как он растолстел! — шепнула Таня Вирхову.

(Это был Ольгин Захар, который несколько лет после развода сюда не являлся, а теперь начал приходить снова.)

Напившийся художник, которому удалось-таки сесть прямо, услышал слова Захара и крикнул ему, держась за деку стола и приподымаясь:

— Лучше сесть, чем всю жизнь ходить с кукишем в кармане!

Вошедшая при этих словах Ольга стала позади, и Таня обернулась к ней.

— Видала? — спросила Ольга. — Какова молодежь? Ты помнишь, как их травили? А теперь? Это мы с тобой, дуры, считали нужным спать с этими идиотами, потому что они вернулись из лагеря и мы держали их за героев! А этим уже все равно. Они их в грош не ставят!

Таня покраснела. Наверное, чтобы скрыть это, она плеснула себе

в чашку водки и выпила залпом, задохнувшись, не проглотив ее целиком. Остатки влаги бежали у нее по подбородку.

Вирхов сделал вид, что не нашел в этом ничего особенного, поднял голову, чтобы отыскать, где Мелик. Встретясь теперь с ним глазами, он понял, что тот давно уже с кушетки, из своего угла следит за ними и, должно быть, слушает, о чем они говорят. Взгляд Мелика был острым, смуглое лицо отражало какую-то тайную внутреннюю борьбу. Вирхов даже не смог, как надо бы, улыбнуться ему и только недоуменно поднял брови. Мелик тряхнул лохматой головой и быстро заговорил о чем-то с именинником.

Именинник был старый приятель Захара по лагерю, бывший адвокат, способный, но ленивый, а заодно и не без понятия о чести, помаленьку спивавшийся, чему немало помог его переезд из Ленинграда в Москву, чтоб быть ближе к друзьям. Этой осенью, при переезде, устраиваясь на новое место, он еще держался, но сейчас у него был вид уже настоящего люмпена, и его жирная голова павловского вельможи театрально торчала из жеваного воротничка застиранной и ветхой белой рубашки.

Рядом с Меликом сидела чужая здесь пара дальних благополучных родственников Ольги — ее двоюродная сестра Мура с мужем, — напросившиеся специально, чтобы узреть наконец все то, о чем они столько слышали. С плохо скрытым изумлением, восхищенно они смотрели на именинника, как он уверенно, не путая, называет относящиеся к делу статьи Уголовного кодекса, неизвестные им факты русской истории или цитирует поэтов прошлого века, стихов которых они не помнили.

— Скажите, а что вы чувствовали, когда вас взяли? — спрашивали они у него.

У него хватало еще ума не отнестись к этому чересчур серьезно, чего нельзя было сказать о другом их приятеле — мужчине с вольтеровской головой на маленьком щуплом тельце, подпольном эссеисте, сочинения которого — хоть и не слишком смелые — получили в последнее время известность. Сегодня он держался настороже, опасаясь — ввиду растущей популярности — подвохов, шуток или прямой брани в свой адрес, но сейчас не утерпел и, перегнувшись через стол, произнес по возможности медленно и со значением:

— Я отвечу вам на ваш вопрос...

Сидевший плечом к плечу с пьяным художником, похожий на него, но с более резкими и нервными чертами, крупным носом и жгучими глазами еврей сказал, понизив голос и указывая кивком на именинника и Захара:

— Правда, как они третировали нас раньше! Сколько было насмешек, прямых издевательств! Теперь-то мы видим этому цену! А раньше как мы смотрели на них...

Тане показалось, что он говорит это только потому, что единственный из всех присутствующих обратил внимание на Ольгины слова и пожалел ее, Таню. Она благодарно взглянула в ответ.

— Верно, верно, — подтвердил довольный всею сценой молодой художник. — Вы не знакомы? — сказал он, не сомневаясь, что она хорошо знает, конечно, его самого. — Познакомьтесь, это мой брат, Митя Каган...

— Ах, вы и есть Митя Каган! — воскликнула Таня. — Я много слышала о вас!

(Митя был талантливый математик, который под влиянием новых идей, воспринятых здесь, сбился с пути, забросил свою математику и уехал в деревню.)

— А почему же нет остальных? — спросила Таня.

Но Митя если и начал из сочувствия, то был уже увлечен своими соображениями и хотел выговориться.

— Ведь каждый из них, — он снова показал на старших, — каждый из них мнил себя учителем жизни, гуру. Теперь-то мы видим, чего все это стоило!.. Тот же Хазин ведь как говорил? «Ничего общего (...), не служить, не работать (...) ...Жить только простым трудом» ...

— Он и сейчас так говорит, — вставил Вирхов, которому не нравился этот разговор.

— Сейчас он рассказывает очередной раз о своем побеге! — язвительно закричал Митя.

Хазин, среднего роста, худой, с ввалившимися щеками, горбатым носом, усатый, с загорелой не по сезону лысиной, встав со стула, похоже, действительно рассказывал, как его ловили. Рубаха его была расстегнута до пупа, виднелась мохнатая, лоснящаяся от пота грудь с амулетом на грязной веревочке.

Увидев Хазина однажды, лет десять назад, когда он зашел к Тане вместе с Ольгой, мать и устроила — разумеется, все же после их ухода — одну из самых чудовищных истерик, сразу, еще только с порога, учуяв в нем присутствие страшного, всесжигающего духа, так живо напомнившего ей жуткие ее лагерные встречи с отчаявшимися, изошедшими злобой, готовыми на все людьми.

Это чуяла, впрочем, не только она. от него тянуло тюрьмой и лагерями. Выйдя из лагеря с твердыми понятиями о том, что (...), он и в этой нормальной для других жизни находил себя как бы в лагере (...) ожиданием. Говорили, что он даже спит, не раздеваясь. Сблизившись с ним и иногда ночуя у него, Вирхов, пожалуй, мог подтвердить это. Даже само хазинское жилище напоминало чем-то лагерный барак, но он не делал ничего, чтобы устроить себе что-то получше, и не старался снять с себя страшную печать, распаляя в себе психологию преступника и (...).

Посмеиваться здесь над ним начали уже давно. Его любовь к историям о лагерных побегах, об отношениях уголовников и политических, о заключенных женщинах, о сокамерниках, следователях и конвоирах, об этапах, пересыльных тюрьмах и т. д. для многих была утомительна. (О собственном хазинском побеге покойный Ольгин муж не упускал случая сказать ему, дослушав, как того ловили, и вели, и били ногами: «Вот видишь, сволочь, ты пытался бежать, а мы несли свой крест. Бог, видно, не попустил тебе отмотаться».) Как и все здесь, Хазин одно время пробовал и описать это в небольших рассказцах. Рассказцы, бытовые, лагерные по жанру, получались у него притчами с довольно наивной проповедью и моралью, и по прочтении и автор, и слушатели обычно оставались не удовлетворены, взаимно обличая друг друга. Постоянно готовясь создать также и большую вещь, как он говорил, «осмысляющую и суммирующую его опыт», он, однако, все больше убеждался, что рожден не для литературы, а (...). Будучи при этом энергичен, он мог работать, но долго не находил настоящего применения своим силам. Соблазны одолевали его. Несколько лет подряд он являлся сюда, тщетно пытаясь подвигнуть здешних на исполнение своих безумных планов: заработать двадцать тысяч огородом, высаживая ранней весной рассаду и продавая потом окрепшие саженцы на рынке, или наладить связь через посольство с эмигрантским издательством на предмет регулярной поставки и последующей перепродажи дефицитных книг. Года два он работал шофером такси, затем — жена его, добрая и толстая еврейка, ждала уже второго ребенка — устремился в науку, окончил экономический факультет, с первого курса которого его когда-то забрали, и в полгода собрал огромные кипы таблиц для диссертации, надеясь ни больше ни меньше как доказать с цифрами в руках (...), потом бросил и это.

Но в чем-то он был постоянен и недавно наконец нашел себе людей, которых уже с большим правом мог назвать единомышленниками. С ними вместе он приобретал теперь имя в Москве, и «Голос», и «Би-би-си» часто говорили о нем.

Сейчас он чувствовал, что обрел себя, лицо его озарялось светом свечи, которую он поставил нарочно прямо перед собой, усы его топорщились, он размахивал руками, но рассказывал в эту минуту не про побег, как думал Митя Каган, а про Одессу, куда только что ездил договариваться о поддержке с тамошними своими друзьями.

— Все равно. — Ольга села теперь возле Вирхова, спиной к столу и вполоборота к Тане. — Смотри, совсем как Петенька Верховенский. Я про это не могу уже слышать. Сколько раз мы уже слышали об этом за два дня? Сто, тысячу? По-моему, он поглупел за последнее время... Удивительно! Так он горел, так ждал, пока у него будут единомышленники, так презирал нас за бездействие... А теперь, когда эти единомышленники наконец появились, то что же оказалось? Вздор! Я их видеть не могу!

— Нет, а самое главное, — снова перебил ее Митя, — что все это, в сущности, обман! Ведь что он обещал? А что сам сделал?

— Целлариус выгоняет его, — заметил Вирхов.
— Кто это, кто? — переспросила Таня.
Ей указали на толстого, дергающегося в тике, смешливого еврея, который тоже явно был зван сюда впервые и весело озирался, вертясь на скамье.
— А за что он его выгоняет?
— За деятельность! — ответила Ольга, как и требовалось, кратко, одним словом, и Таня тотчас почувствовала, что опять страдает, потому что это опять было не простое словцо, а то, что раньше называлось mot.
— Зачем же вы позвали его сюда? — спросила она, имея в виду Целлариуса, выгонявшего Хазина. Ей пришлось повторить: Ольгу кто-то отвлек. — Зачем же вы позвали его сюда?
— А что ему было делать?! — вскипела вдруг Ольга. — Хазин сам виноват. Целлариус держал его ни за что, из милости. Тот два года ходил, только получал деньги и делал ему разные пакости. Таскался пьяный по институту, поджег какие-то плакаты... Конечно, у Целлариуса были через это неприятности. Надо иметь хоть каплю порядочности. У Вирхова вот хватило же совести самому подать заявление... — (Вирхов смолчал). — Ну, так вот, — продолжала Ольга, отвернувшись и уже тише. — А потом Целлариуса вызвали в первый отдел, сказали, что Хазиным интересуется КГБ, и предложили ему его уволить. Что ему еще остается делать?
— Я думаю, что все же пока Целлариуса никуда не вызывали, — тихо сказал Вирхов.
Митя возразил таким тоном, что всем было ясно, что он хочет быть справедлив и стать выше обид и счетов:
— Нет, нет, это напрасно. У них, конечно, есть сейчас основания...
В комнату вошли две молодые, плохо одетые женщины, одна из них беременная. Это и были жены тех, за кем Митя Каган уехал в деревню. Развязывая платки и бросая пальто в общую кучу, они стали рассказывать, как свозили всех детей в одно место, потом укладывали их спать и ждали бабку. Мужья их отправились сегодня в прежнюю свою деревню, в Покровское, и завтра ждут к себе всех желающих.
Вспомнив прерванный разговор, Таня спросила, что за деятельность у Хазина.
— Бесовщина, — снова кратко сказала Ольга, и Захар согласно кивнул. — Мы все (...), — продолжала Ольга, — все хотим (...), но почему в России, как только дело идет (...), так сразу начинается гадость?!
— А в чем ты видишь эту гадость? — спросил Вирхов.
— А ты не видишь ее?
— Я не вижу.
— А я вижу. Вижу в том, что меня хотят заставить делать то, чего я не хочу! В том, что это (...) наоборот! Почему если кто-то думает иначе, чем они, то это уже подлость, это приспособленчество?! Это трусость? Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то как они говорили, когда бегали с этим письмом в защиту Иркиного хахаля? Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто социальной единицей и в качестве таковой только и имеешь значение... Сволочи!
— Это не он, это Васенька из Питера говорил, — поправил Захар.
— Това'гищ из Пите'га! — нарочно картавя, закричал именинник.
— Правда, что он сын какого-то ленинградского туза? — спросила Таня, пытаясь попасть им в тон.
— Ныне покойного, — отвечал Захар, — только не сын, а внук. Но меня удивляет не то, — продолжал он, — меня удивляет то, что между ними такая дружба. Странная для меня дружба! Мы же Васеньку знаем очень хорошо. Мы ведь знали его, еще когда он был просто модный и дешевый мальчик и основное время проводил на бегах... Мы же все это видели. Все его развитие было на наших глазах... Теперь он занялся политикой! Сколько здесь обыкновенного тщеславия, сколько комплексов!..
Митя заметил:
— Вообще того, что называется «человеческое, слишком человеческое».

Молчавшая до сих пор белая, со свободно ниспадавшими длинными, холодного, отдававшего в зелень цвета волосами, с простым, истовым и стервозным выражением лица девушка в старом вязаном платье, висевшем на ее угловатых плечах, подала голос, высокий, с какою-то волнующей полублатною хрипотцой, чуть играя своей приблатненностью:
— Веселые мальчики они, не то что вы...
— Мы тоже веселые, — сказал Захар, не стесняясь тотчас начать заигрывать с нею.
На красивом Митином лице снова отразилось отвращение.
Таня сказала, чтоб помочь ему, как он помог ей:
— А что это было за письмо?
— Было! — воскликнула Ольга. — Оно вон и сейчас есть. Он с ним и пришел сюда.
— Это все-таки само по себе уже свинство, — сказал, удерживаясь, чтобы сидеть прямо, Митин брат, художник. — Он должен был бы спросить у вас по крайней мере, не возражаете ли вы против того, чтобы это делалось в вашем доме.
Ольга махнула рукой:
— Ну, это-то как раз ерунда. Я не из трусливых.
— Все-таки могут быть и неприятности, если это начнет раскручиваться.
— Может быть, нам тоже надо подписать письмо? — несмело спросила Таня.
— Сиди уж, тоже! — рявкнула Ольга. — Не юродствуй хоть здесь, ради Господа Бога, прошу тебя!
— Я не юродствую, — с усилием выговорила Таня, сглатывая комок в горле.
Ольга потрепала ее по плечу:
— Прошу тебя, только без сцен.
— Может быть, мне лучше уйти?
Захар, пьяно вытаращив глаза и опираясь о Вирхова рукой, закричал:
— Хватит вам... вашу мать! Что вы, как сойдетесь, так всегда б...ство! Как петухи!
Ежась от мата, женщины затихли.
— Что я им сделала? — прошептала Таня Вирхову. Он понял, что и она захмелела тоже, губы не слушались ее, и в глазах стояли наконец настоящие слезы.
— Хватит, хватит, — сказал он. — Что вы, правда! Она же хотела как лучше. Зачем вам связываться с этим письмом, зачем вам неприятности? Ведь верно, Оля?
Та тоже пришла немного в себя и наклонила голову.
— Ну, конечно. Я думаю, это понятно, — сказала она, не глядя.

VII. (...)!!! (продолжение)

На том краю стола затянули песню. Хазин, пьяно покачиваясь, дирижировал одной рукой, держа в другой стакан с водкой, и голос его заглушил все споры. Пели:

...приди, приди ко мне, желанная свобода,
и обними своею ласковой рукой...

Но до конца песню не знали, не особенно верили, что хотят петь, и, допев куплет, засмеялись. Только один из них — лобастый, с круглой плешивой головой — не мужчина и не мальчик, небритое пьяное лицо которого сохраняло наивное, трогательное, детское выражение, — был возбужден песней и, вскочив с места, заорал, неожиданно сильно и низко:
— (......)!!!
Благополучные Ольгины родственники вздрогнули и тревожно переглянулись, пытаясь улыбаться и не зная, как реагировать. Но остальные лишь снова засмеялись. Ольга крикнула через стол:
— Уйми его!
Обхватив кричавшего сзади за талию, кто-то усадил его, и тот с виноватой улыбкой сел, но продолжал время от времени что-то вскрикивать,

и всплески его странного вопля вдруг возникали как бы из ниоткуда среди ровного шума голосов, стука тарелок и чашек. Теперь он читал стихи, свои и чужие, его никто не слушал, и только именинник, довольный, декламировал за ним все подряд.

Эти крики раздавались здесь с самого первого дня, когда Григорий — так звали кричавшего — вернулся вместе с Захаром из лагеря. Единственный изо всех здесь присутствующих, он попал туда, как это ни странно, за дело, потому что шестнадцати лет от роду действительно создал подпольную организацию, в которую, кроме него, входили еще шесть молодых людей чуть постарше — добровольных провокаторов и лейтенантов из районного отдела КГБ.

Благополучные родственники слушали сейчас эту историю, которую рассказывал им их сосед — юноша с редкой бородкой, из Меликова окружения, — и, слушая, как это было видно по их лицам, поражались прихотливости жизни. Таня шепнула Вирхову, что в свое время, когда она еще писала, ей хотелось сделать роман, который начинался бы несколькими такими историями-новеллами, а действие, не обязательно даже связанное с героями этих новелл, развертывалось бы уже после.

Как и многие здесь, Григорий тоже рос вундеркиндом, в семь лет уже писал стихи, размышлял, почему «он не то, что другие», и воспитывался дядей, несчастным нищим евреем, литератором-неудачником, который (...) не мог заработать литературным трудом ни копейки, жил впроголодь, работая сверщиком цитат в каком-то ученом журнале, и на старости лет тратил весь свой поэтический пыл и замечательные свои таланты только на своего племянника, желая ему всего того, на что оказался не способен сам.

Неизвестно, что дядя в точности понимал под этим, но если он хотел для племянника пусть относительного благополучия, то учить его нужно было, конечно, совсем иному. Влюбленный со всей страстью инородца в русскую поэзию и философию, дядя старался передать те же чувства своему воспитаннику, будто совсем не понимая, что необыкновенное учение о «красоте, которая спасет мир», сделает для мальчика жизнь вовсе непереносимой. Григорию и без того уже было плохо в школе, как только может быть плохо нелепому еврейскому подростку-вундеркинду в пригородной школе, среди безжалостных в их первобытном антисемитизме детей окраинного пролетариата. Он и так уже был затравлен и после всегда неудачных попыток сблизиться с кем-то, несчастен и замкнут в высокомерии изгоя и лучшего ученика сразу. Теперь, после дядиных уроков, к этому прибавилось еще сознание, что разница между ним и другими мальчиками не только та, что они из таких семей, где родители сделали их грубыми и не могут помочь решить задачу или написать сочинение, и они станут тоже рабочими или пойдут воровать, а он поступит в университет, и будет ученым, и уйдет отсюда, из жалкого пригорода. Теперь он ходил по школьному коридору, кишащему неопрятными, взбудораженными подростками, и скорбно думал о том, что «они слепы», что они не знают и никогда не узнают того, что открылось ему.

К тому же, помимо «любви к вещам невидимым», дядя объяснил ему (...). Ум его разрывался от жалости и презрения к ним, к страшному полуживотному существованию, на которое они были обречены. История становилась необычной — на него смотрели уже недоуменно и даже с некоторым, может быть, суеверным страхом. Школьные учителя сами тогда перестали оберегать его и почувствовали неудовольствие, потому что поняли, что он жалеет (и презирает) их самих. В тот день, когда ему показалось, что жизнь его сделалась одним сплошным ужасом и он готов был бросить школу (накануне он, не выдержав, нагрубил учителю, и вечером его поведение долго и унизительно, все больше озлобляясь оттого, что он держал себя не так, как, по их мнению, ему следовало держать себя, разбирали на общем классном собрании), — как раз на другой после собрания день к нему в коридоре подошел юноша из параллельного класса и, сказав, что обо всем слышал и полностью сочувствует ему, предложил дружить. Одинокий и затравленный мальчик тут же бросился к нему на шею, выложив и свои собственные горести, и обиды своего несчастного дяди, а затем, когда они быстро сдружились, и убеждения свои насчет того (...). Вскоре тот познакомил его еще с несколькими молодыми людьми, из которых одни учились уже в институтах, а другие работали, но не знали того, что знал Григорий, и, собираясь — собирались в каких-нибудь подъездах, — жадно слушали его, младшего, рассказы о Софии Премудрой, Богочеловечестве, Метафизике Свободы и тому подобном. Еще через две недели они сказали ему, что пора «перейти от слов к делу».

Потом, у Ольги, здешние всегда издевались над ним за то, что это было только «районное отделение», и, смущаясь, он признавался, что сам верил тогда всему, внимание старших ему льстило, и первое подозрение возникло у него, лишь когда те пообещали свести его с резидентом американской разведки «полковником Томсоном» и свели на первых порах с помощником того, заказавшего Григорию статью для «Нью-Йорк таймс» о положении в России. Написав статью, он отнес ее в назначенное место и тут усомнился.

Но было поздно. Решив, что материала хватит, его взяли той же ночью, передали теперь уже в Главное управление, на Лубянку, где чуть позже он начал встречать людей, которых проводили по его делу, потому что за несколько месяцев вокруг него построили целый процесс, вовлекши туда не один десяток молодых людей. Это как будто и было знаменитое в конце сороковых годов дело о молодежной организации. Пункты ее набросанной Григорием программы точно, без остатка, покрывали перечень преступлений, предусматриваемых тогдашней 58-й статьей.

Здешние очень любили спрашивать у него, почему же он не сошелся близко ни с кем из своих нередко довольно похожих на него самого содельников или сосидельцев-лагерников, с которыми они потом познакомились через него же или еще как-то.

— Что ж ты не подружился с Гарриком Пинскеровичем или Мишей Рыжим? — спрашивали они у него, заранее наслаждаясь ответом.

У Григория никогда не хватало духу солгать.

— Они сразу со мной начинали спорить, а те во всем были согласны, — подтверждал он при общем веселье.

Выйдя из лагеря, он окончил физический факультет еще одним из первых, но отдать себя безразличной к нравственности, к страданию науке уже не мог; женился и поехал со всеми в деревню, родив троих детей. Ими он и был большей частью занят теперь, не пиша стихов и не читая книг, хотя книги свои и покойного дяди еще берег, неизвестно на что надеясь и рассчитывая продать, если будет совсем плохо. Кормился он из милости у того же Целлариуса, давал уроки и если не слушал радио — «Би-би-си» или «Свободу», — то был поглощен мыслями о хоть каких-нибудь дополнительных источниках заработка. Одно время они пробовали вместе с Хазиным развести огород, но это начинание быстро провалилось. Хазин, правда, говорил, что высадит рассаду и на этот год, но Григорий самый последний месяц был увлечен уже новой идеей. Он обходил утильщиков, скупая разную старую утварь — какие-то вазочки, сахарницы, медные самовары, — чистил, реставрировал их вместе со своим шурином и перепродавал в комиссионные магазины. Занятие это пока что принесло ему убытков рублей на сорок (он, страшась, не подсчитывал точно) — утильщики безбожно его обдирали, а шурина надо было поить за работу, но Григорий не терял надежды и только отчаянно трусил, что его заберут за спекуляцию. Это было не так уж вероятно, но все же могло случиться — не по размаху операций, а потому, что сама расширяющаяся книзу, к бедрам, фигура Григория, его походка (про которую однажды Целлариус, увидя ее издали, сказал Вирхову: «Вот, смотри, сразу видно, что бежит еврей») и прононс привлекали к себе ненужное внимание.

На лицах Муры и ее мужа читалось теперь, что они благословляют свою судьбу, на которую прежде сетовали, что она обделила их ранними талантами и заботливым наставником, объяснившим бы им в детстве все то, до чего им пришлось потом доходить самостоятельно, теряя время.

Вирхов все не мог забыть Ольгиных слов и думал: есть во всем этом бесовщина или нет? — и, повторив это вслух, добавил:

— ...То есть, безусловно, что-то есть. Но ведь, с другой стороны, вся ситуация уже иная. Они ведь (...).

— А разве там (...) — спросила Таня.

— Так-то оно так, но (...).

— Да, пожалуй (...).

— Есть, конечно, и очень простая: при всех (...).
— Это хазинщина! — закричал Митя.
Эссеист, который исчерпал себя в беседе с Мурой, и к тому же, общаясь только с ними, ощущал себя на периферии и минуту назад будто бы за нуждой выбрался из-за стола, теперь тотчас вернулся и почти от порога еще, поспешно присаживаясь на книги возле них, заметил:
— Да, это безусловно, хазинщина. Во всем этом я всегда замечал присутствие некоторой антикультурной тенденции, присутствие отвратительного мне нигилизма. Я Хазина ценю как мужественного человека, но я не принимаю этого разрушения жизни. Я отрицаю это! Неправомерность этого доказана исторически. Если мы не будем признавать (...) — при всех, разумеется, необходимых оговорках, — то как мы сможем работать, создавать ценности? Оберегать и пополнять русскую культуру?
Вирхов увидел, что Мелик, сев на кушетке с ногами глубоко позади всех, насторожился, волнуется и хочет что-то сказать. Наконец Мелик подал голос, негромко, но так, однако, что его все-таки было слышно.
— Это не (...). Еще вопрос, осталось ли что-нибудь (...), имеет ли она отношение (...).
— А-а! Я знаю, я уже слышал об этом! — с перекошенным лицом вскричал Митя. — Я не могу об этом слышать! Это ужасно, это самое ужасное, что только можно придумать! Это вырождение! Вам, должно быть, стыдно. Как же так?! Ведь есть же и такое понятие, как русская святость?! Вы же верите в Бога! Неужели вы думаете, что она могла исчезнуть в русской земле? Неужели вы полагаете, что пророчества великих русских были ложны? Когда Достоевский говорил о народе-богоносце, мог ли он ошибаться? Нет, нет, я уверен, что нет! Это замутнено, и вы не видите за этой мутью ее лика. Но вы просто не понимаете ее. А я вижу, я чувствую, что Россия избранница, избранница между остальными народами. Вы посмотрите сейчас на Запад. Он, конечно, решает свои проблемы успешно, но разве вы не понимаете, что и он чувствует, что внутри себя он не решит проблемы устройства мира? История, он чувствует это, зависит сейчас от него в очень малой степени. Он ждет, что произойдет с Россией, тут что-то зреет, тут совершаются какие-то процессы... И он дождется!.. Потому что Россия взяла на себя грехи мира, да, потому что никому, как ей, не дано такого дара понимать другие народы! Может быть, Германия еще так неравнодушна к ним, но там скорее стремление к первенству между всеми, а России это не свойственно, она скорее жалостлива к ним!..
Беременная жена, устроившаяся на краешке лавки неподалеку от них, вкрадчиво сказала:
— Как ты разговорился, Митя.
Тот на мгновение осекся, и эссеист сказал:
— Я, может статься, теоретически и согласен с вами, но согласитесь, это все-таки довольно странные речи для такого стопроцентного еврея, как вы, Митя.
— Странные?! — звонко воскликнул тот. — Нет, не странные. Еще Владимир Соловьев говорил, что Россия — это вторая настоящая родина для евреев! Что в мире нет для евреев другой такой страны, как Россия! Она вторая обретенная родина для них!
Вокруг заахали.
— Неужели вы, правда, верите в это? — спросил Мелик из своего угла.
— Верю ли я? — побледнел Митя. — Я не только верю, я строю на этом свою жизнь, я знаю это!
— Что вы знаете?
— Знаю, что Россия (...). Да, да, — перебил он самого себя, — я вижу, что вы думаете! Вы думаете, что (...). Вы правы! Но поймите и то, что больше сейчас некому. — Он взял себя в руки, нахмурился и стал говорить строже: — Франция занята собой, Англия — равнодушна и холодна. Америка? Америка взяла на себя миссию солдата, но не оттуда придет очищение! Вы правы, правы (...), погрязает в пьянстве, в разврате... Никто ни во что не верит (...). Все как в лесу. За каждым деревом кто-то сидит. Из-за любого куста могут дать по голове. (...) — воскликнул он с мукой, — (...) приносит за всех добровольную жертву!..

Эссеист исподтишка завязал узелок на платке, чтобы не забыть этой мысли наутро.
— Но, может быть (...) так и будет жертвовать собой без конца? — спросил он деловым тоном. — Есть же такие люди, которые всегда жертвуют собой без конца? Чаще всего они не получают за это награды.
— Как не получают награды? — страшным шепотом, потому что теперь их слушали уже почти все, закричал Митя. — Это ложь! Разве мученики не получают награды?! Христианские мученики?! Разве страдания не имеют смысла? В Писании сказано, что придет час и униженные возвысятся! Они страдают, они умалены, они в грязи, над ними смеются, издеваются, их бьют, но придет время и наступит их царствие!
— По-моему, — снова ровно, но подавляя какую-то судорогу в лице, заметил Мелик, — (...).
За тем концом раздался рев. Хазин со стаканом в руке, раскачиваясь, изображал, что он очень пьян, и, как бы раздвигая локтями пытавшихся усадить его, оскалясь, рычал. В какой-то момент ему удалось увернуться, последнего он оттолкнул юношу с редкой бородкой и, ударив стаканом со всей силой о стол, заорал:
— Ты не жалеешь русский народ! Ты хочешь поставить нас на колени!
Его снова начали усаживать. Он отбивался, крича:
— Вам мало наших страданий!
Рубаха его треснула, именинник, протянув руку, обрадованно разодрал ее дальше. Хазин снова зарычал, увернулся еще раз, смахивая на пол вокруг себя со стола тарелки и чашки. С хохотом его повалили на кушетку возле Мелика, который тотчас же встал по другую сторону, у стены, не желая участвовать в этой возне.
Захар, сокрушенно качая головой, сказал ему:
— Ты хочешь судить, ты хочешь судить людей. Вот в чем дело.
Ольга сказала почти про себя, так, чтобы Мелик не слышал:
— Это уж, наверно, свойство человека суметь испортить и довести до абсурда все что угодно.
Захар важно заметил:
— Вся суть здесь в том, какие принципы взяты за основу деятельности. Вся суть в том, чтобы избрать такие принципы, из которых никаким манером нельзя было бы, доведя их до логического конца, извлечь кровавых последствий. Коммунисты, как мы знаем, вообще не боятся этого, так что это очень легко. Христианские принципы тоже допускают такую интерпретацию. Недаром коммунизм — это и есть перевернутое христианство. Из исламских, из еврейских можно извлечь эти следствия безусловно! Все эти движения ведь и оканчивались резней.
— Так это все можно перевернуть наизнанку, — сказала Таня, осмелев.
— Нет, не все.
— А что же нет?
— Учение принца Гаутамы, — торжествуя и отчасти паясничая, чтобы его все же нельзя было втянуть в серьезный разговор, объявил он, — Гаутамы, Сакья-Муни, царевича Сиддарты! Вот, может быть, единственное на земле учение, которое такому искажению не поддается...
— Да, вы правы, правы! — крикнул ему со своего места Митя, который не хотел показать, что произошло что-то особенное. — А вы напрасно спорите, — сказал он Тане. — Это действительно так. Но мы плохо представляем себе богатство этого учения:
Эссеист поморщился:
— Вот это уже вздор. Мы достаточно его чувствуем. Я утверждаю, что основную интуицию любой религиозной доктрины могу почувствовать верно.
— Нет, я все же считаю необходимым изучать санскрит, — возразил Митя.
— Я понимаю вас. Мы оба с вами ищем всечеловечности, — сказал эссеист. — Хотя и идем к ней разными путями.

За тем концом стола, однако, начали уже подниматься, толкая друг друга и перелезая через еще сидевших. Лев Владимирович пропустил

свою соседку; она протянула ему руку, и он тоже поднялся, опираясь ей на руку, а потом на плечо. Мелик поймал устремленный на них Танин взгляд, показав зубы, улыбнулся и сделал знак Вирхову, что хочет что-то сказать ему.

Вирхов выбрался вслед за Таней и, извинившись, отошел с Меликом в сторону.

— Ну что? — саркастически сказал Мелик. — Поговорили об умном? Прекрасно! Но я хотел поговорить с тобой о вещах несколько более близких, о более конкретных... Ты помнишь, о чем мы на днях говорили?

— Да, разумеется.

На днях, когда он был у Мелика, туда же пришел Хазин и, зная, что имеет дело с мужчинами, с людьми надежными и благожелательными, открыто жаловался, что «демократическое движение», едва возникнув, переживает кризис: единицы способны по-настоящему делать что-то, изобретенные формы однообразны и неэффективны, наконец нет идей, нужны новые идеи, иначе все тонет в разговорах и разногласиях, которые, безусловно, уже начались.

Мелик в такт его словам кивал головою:

— Да, да, я говорил тебе об этом давно. Ты помнишь? Я же предупреждал тебя, что вы торопитесь. Вы хотите взвинтить ситуацию, а этого не нужно.

Хазин с неудовольствием, но терпеливо выслушивал эти поучения, как политик, пришедший на переговоры с равным ему партнером, которого надо обязательно залучить на свою сторону.

— Да, но что же делать? — воскликнул он. — Ведь вы же не хотите нам помочь, — подчеркнул он, возводя Мелика в ранг представителя какого-то неведомого обширного сообщества. — А между тем мне кажется, вы могли бы нам помочь. Как и мы вам, разумеется.

— Слияние наших движений фактически уже происходит, — заметил Мелик, принимая как должное предложенную ему роль.

— Происходит?! — возмутился Хазин. — Сколько же, по-твоему, христиан подписало, например, наши письма в защиту?

— Ну, это не единственные, как ты сам понимаешь, методы, — уклонился Мелик.

Но он был, очевидно, задет, и Хазин отчасти добился своего, ибо Мелик, поддавшись раздражению, сначала дал себя вовлечь в путаный и несправедливый спор о гражданской позиции христианина, разозлился еще больше, так как обнаружил перед ними, что не помнит, как нужно было бы, цитат из Писания на этот счет, и под конец сказал:

— Хорошо, хорошо. Наверное, ты прав. В чем-то прав. Надо будет обговорить это подробнее. У меня есть кое-какие идеи.

Это было, собственно, все. Сейчас, стоя перед Вирховым, сегодня какой-то осунувшийся, небритый, блестя воспаленными карими глазами, он, спросив про вчерашнее, помолчал, потом, быстро оглянувшись, бросил:

— Тогда... Ты не знаешь... — Он еще раз оглянулся. — Зачем ходит сюда Лев Владимирович?

— А что здесь такого? Он всегда сюда ходил.

— Н-нет, не всегда.

— По-моему, всегда, одумайся. — Вирхов улыбнулся. — Это он меня и привел сюда.

Мелик задумался, засунув руки за пояс и опустив на грудь свою лохматую голову.

— Видишь ли, меня смущает вот что, — проговорил он, третий раз незаметно оглядываясь. Но в это время почти все были уже на ногах и стояли небольшими группами, споря или снова пытаясь петь.

Их приятель-эссеист с лицом Вольтера, Захар, Митя Каган и еще кто-то беседовали поодаль о политике де Голля в вопросе объединения Европы и о перспективах отъезда.

Сбоку от них именинник, обняв Ольгу, топтался с нею, натыкаясь на всех, под исчезающие звуки далекой музыки, прорывавшиеся сквозь треск помех или глушилок. Еще несколько человек наблюдало, как молодой художник с юной соседкой Льва Владимировича, рассказывавшей про лагерь, танцуют твист. Поводя в ритм плечами, худенькая, маленькая, прямо держа стройный корпус, — она и, изогнувшись всем телом назад на

сильных ногах, — он, они приседали все глубже, пока не опустились друг перед другом на колени, и так, стоя на коленях, взявшись за руки, долго разговаривали о чем-то, не обращая внимания на бродивших вокруг.

— Меня смущает вот что, — повторил Мелик. — Смотри, как только речь пошла о чем-то серьезном, так начинаются какие-то странные явления, какие-то странные посещения, странные звонки, визиты без предупреждения... Меня все это очень и очень беспокоит.

— Он часто к тебе приходит?

— Ты сам знаешь. Вчера, например, пришел... У меня была молодежь, мы говорили о серьезных вещах, водки не пили... Сидел, сидел. Что сидел?..

— Так ты считаешь, что он?.. — Вирхов не договорил.

— Я ничего не утверждаю, — сказал Мелик. — Конечно, о ком из нас не говорили того же самого... Но единственно к чему я призываю здесь, это к осторожности.

— Вот видишь, — упрекнул Вирхов. — А сам начал сегодня.

— Нет, нет, это ничего, — сказал Мелик. — Надо было бросить им кость... Да нет, ты прав, конечно. Но меня иногда берет на них такое раздражение, ты сам знаешь...

Вирхов помолчал, потом вспомнил:

— Должен тебе сказать, что я тут познакомился с Таней Манн. Ты, наверное, уже понял... Так вот, она тоже беспокоится о нем и тоже говорит, что он сильно изменился за последнее время. Это, может быть, разумеется, вызвано какими-нибудь внутренними причинами, которых мы не знаем. Какие-нибудь неприятности, мало ли что... Мало ли отчего хочется иногда бывать на людях. Но, может, ты и прав.

— Да, если она говорит, то ей можно верить, — заметил Мелик. — Она очень умный и чуткий человек...

Он резко оборвал, потому что Лев Владимирович, вдруг чем-то расстроенный, мрачный, остановился в двух шагах от них, тяжело и тупо глядя на танцующих.

— Ты что? — окликнул его Мелик.

Тот, не удерживая досады, обернулся:

— Да вот, упустил девку, — сказал он, подходя, и сокрушенно покрутил головой. — Старый болван!

— Как же ты так? — спросил Вирхов.

— Природная бесцеремонность подвела! — с готовностью воскликнул Лев Владимирович. — Всю жизнь мучаюсь. Сколько раз горел на этом в самых разных ситуациях. Сколько раз уже зарекался. И вот не могу. Держусь, стараюсь, а нет-нет и сорвусь. Выпил чуть-чуть — и готов. Это у меня от мамаши, — словоохотливо пояснил он. — Мамаша была куда как бесцеремонна, и вот всю жизнь не могу от этого отделаться!

— Так ты что, попер слишком быстро? — грубо спросил Мелик.

— Ну да, — не обиделся Лев Владимирович. — Умные разговоры, сочувствие, она вроде бы в восторге... А потом, видно, ударило в голову, и я как дурак сразу: давай, мол, пойдем в кладовку! Ну и все, кончено. Сорвалось! Хоть бы прибавил, что, мол, хочу помочь, есть, мол, возможности. Болван!

Мелик сказал:

— Это потому, что привык с б...ми, тебя уж к порядочным женщинам и подпускать нельзя.

— Ладно, ты помалкивай! — огрызнулся Лев Владимирович. — А ты чего уставился? Тоже осуждаешь? — вскинулся он на Вирхова.

— Какая гадость, секс, девки, — забрюзжал именинник. — Человек превращается в павиана. Ведь это все преувеличено, это вовсе не так нужно. Я сидел в лагере пять лет, это вовсе не так нужно...

— Молчи, алкаш, — пробормотал Лев Владимирович.

Отскочив от Вирхова с Меликом, он стал отыскивать в ворохе одежд свою шубу и шапку, собираясь удрать, и им было ясно, что, раздосадованный тем, что у него сорвалось с этой, он бежит, чтобы найти себе другую. Приплясывая и злясь от нетерпения, он старался и никак не мог попасть в рукав пальто с оторванной подкладкой, и Вирхов подумал тоскливо, что Лев Владимирович прав: и ему самому тоже не нужно, в сущности, ничего больше, и он тоже не знает, что удерживает его здесь, зачем он здесь,

а не где-то еще, где ему следовало быть по всему, что заложено в него с самого детства.

— Ты что, задремал, опьянел? — подтолкнул его Мелик.

Поодаль полуголый Хазин говорил с Целлариусом, схватив его за рубаху и крича ему в лицо:

— Пойми, ты должен выбирать. Сейчас подошло такое время, когда надо выбирать. По ту ты сторону или по эту!

Целлариус, морщась от летевших брызг, мотал, хохоча, головой и пытался разжать влажные пьяные руки. Именинник поспешил к ним и несколько раз повторил, валяя дурака и называя Хазина «папочкой»:

— Папочка, папочка, видишь, проклятый еврей хочет и рыбку съесть и на х... сесть!

— Ты должен выбирать, — отмахиваясь от именинника, но немного все-таки принимая эту буффонаду, продолжал твердить Хазин. — Нельзя быть сразу по обе стороны. Ты же потом придешь к нам! Просить будешь, а мы тебя не возьмем уже.

Прочие теперь тоже слушали этот диалог.

Передергивая плечами, Целлариус сказал в ответ что-то смешное — что, дескать, у всех людей, у каждого, есть своя «средняя цена» и он не знает, как у других, но у него она останется прежней при любом режиме (он был экономистом), он всем будет нужен, кто бы ни пришел, даже Гитлер.

Все уставились на него, пораженные этим цинизмом и мысленно спрашивая себя: а есть ли у них самих хоть какая-нибудь «цена»?

Именинник в восторге хлопнул Хазина по спине.

— Вот это я понимаю, папочка, а?! Это да, — осклабясь, придав лицу глубокомысленно идиотское выражение, повторял он. — Это да. Он нас всех перехитрил, проклятый еврей... «Проклятый жид, почтенный Соломон»... Или наоборот? «Почтенный жид, проклятый Соломон»? Не помню.

Хазин старался смотреть на Целлариуса как бы угрожающе, но выпустил его и был растерян.

— Я вижу, ты знаешь свое место... Я вижу... Но я думал иначе. — Он обернулся за помощью к Мелику и Вирхову. — Я думал так: ну, хорошо, ты лезешь наверх, продираешься, лижешь кому-то задницу. Но у тебя есть совесть и ты знаешь, что ты сука... и хочешь искупить это. То есть я думал, что он так думает о себе. Поэтому он и держал нас у себя на работе. А что же теперь? — Он снова обернулся к Целлариусу. — Ты понимаешь, б..., что я идеолог русского демократического движения или нет?! — вдруг взревел он, снова хватая его за грудки. — Ты понимаешь, что я за вас всех кладу голову?!

— Иди ты на хер, — сказал тот без особой злобы, лишь с некоторым раздражением, брезгливо разжал один за другим его пальцы и, оправляя рубашку, отошел, бурча. — Двести миллионов хочет осчастливить, говно. А одному человеку можно за это на голову...

Хазин, тяжело понурясь, ссутулясь, побрел прочь, устало опустился на кушетку, лег и тут же уснул.

Двое юношей, неодобрительно посматривая на разметавшегося по кушетке Хазина, подошли к Мелику. Первый был изящный, в потертом, правда, костюме, но с жилетом (несмотря на духоту, он не разделся). Вирхов еще за столом обратил внимание, как тот старался ни в коем случае не уронить себя среди превратностей всеобщего разгула. Другой, с реденькой бороденкой, сидел прежде около Муры.

— Валерий Александрович, — тщательно, с оттенком почтительности произнося слова, сказал первый, — я сейчас ухожу, мне пора. Все остается так, как мы договорились? Очень хорошо. Тогда, значит, завтра мы ждем вас ровно в четверть второго, где обычно.

— Не рано ли? — усомнился Мелик.

— Нет, я разговаривал с ним сегодня. Он просил приехать пораньше.

— Тогда так и сделаем, — сказал Мелик. — Ну, до свиданья. Храни вас Бог.

Он притянул к себе молодого человека и поцеловал его; потом подставил щеку второму. Они поцеловались, но тот сказал, что еще остается. Посмеялись.

Молодые люди удалились. Вирхов поинтересовался:

— Что это они тебя так, по имени-отчеству?

— Все-таки возраст, — улыбнулся Мелик, — дистанция. Они же молодые еще, года по двадцать три. Но замечательные ребята. С ними можно делать дела. Особенно тот. И меня уважают. Видишь, хоть я своего имени не люблю, а приходится терпеть.

Они постояли, раздумывая, что им делать дальше, затем Мелик спросил, не хочет ли Вирхов завтра поехать с ними.

— К отцу Владимиру? — догадался Вирхов.

Мелик кивнул.

— Я знаю, что ты вчера договаривался с Ольгой ехать в Покровское, но, я думаю, тебе стоит вначале съездить сюда. Пора тебя с ним познакомить. Здешние-то не ездят, он для них, видишь ли, слишком буржуазен. Но ты их не слушай. Он большое дело делает. Огромное. Таких людей, может, один-два на всю Церковь. Вообще один. Вы понравитесь друг другу, я уверен. Кроме того, завтра будет, вероятно, и еще кое-что интересное. Уйдешь пораньше, доберешься оттуда, дойдешь до станции. Это ведь по той же дороге. Может, вместе поедем. В Покровском, конечно, сейчас хорошо, весна начинается...

— Дело в том, — менее решительно, чем ему хотелось бы, начал Вирхов, — что я хотел взять с собой Таню.

Мелик внимательно взглянул на него:

— Туда, в Покровское? И она согласилась?

— А почему ты об этом спрашиваешь?

— Бери, конечно, — твердо после паузы сказал он. — Они ведь с отцом хорошо знакомы. А оттуда поедете в Покровское. Может, вместе поедем. Бери. Она не помешает. В крайнем случае, если о чем нужно будет договориться, выйдем во двор.

VIII. Организация

Вечером у Анны снова были гости. Анна была очень возбуждена и держала себя напряженно, но и сборище на этот раз было, видно, необычное.

Среди сидевших за столом выделялся неприятным жестким лицом с нечистым порочным лбом некий бывший капитан в поношенном френче. Капитана держали тут за главного, а Анна даже заискивала перед ним, этим плебеем, позволявшим себе говорить: «Ничего, ничего, мадам нам сейчас принесет. Мадам, принесите-ка нам чайку. А как насчет винца, у вас нет, что ли?» Анна, заливисто смеясь, бежала на кухню готовить чай и по пути, положив сзади капитану руку на плечо, склонялась к его уху и шептала, вероятно, что, дескать, на всех не хватит. Он же, ежась от щекотки, отвечал: «А всем и не нужно».

Наталья Михайловна взглянула на Анниного немца, но он как всегда был самодовольно непроницаем, лишь крошечные глаза его поблескивали из-под очков.

Еще одно — женское — лицо привлекло ее внимание. Несмотря на то, что типаж был мордовский и голова чуть великовата по отношению к телу, когда-то эта женщина могла быть хорошенькой, сейчас только светло-зеленые нагловатые глаза были молодыми. Она была актриса, точнее, стала таковою в эмиграции. Наталья Михайловна днем успела побывать с Анной на репетиции выступавшей здесь дрянной интернациональной модернистской труппы. В их репертуаре была пьеса Анниного немца, и Наталья Михайловна принуждена была смотреть эту напыщенную, с претензией на мистику галиматью. Эльза — так звали даму — играла в пьесе роль русской графини-эмигрантки, с омерзением произнося по-немецки немногие причитавшиеся ей дурацкие слова о пропавших драгоценностях. Анна сказала, что это — «прелюбопытнейшая особа», но рассказать подробнее не успела.

— А вы хорошо ее знаете? — спросила Наталья Михайловна у Муравьева, потому что ей показалось, что Эльза смотрит на него как-то особенно.

— Ну, вы уж, конечно, думаете, что я знаком со всеми женщинами

в мире,—ответил он.—Это преувеличено... Но эту как раз случайно хорошо знаю.

— Вот видите.

Муравьев криво улыбнулся.

— Знаю не по чему-либо другому, а потому, что она подруга...— Он не договорил и только гримасой показал, чьей подругой была Эльза.

Наталья Михайловна промолчала, вслушиваясь, о чем беседуют за столом.

— У нее странные бывают подруги,—говорил между тем Муравьев.—Мне некоторое время это нравилось. Знаете, мир такой мелкой богемы... актеров, танцовщиц. Мне он был совершенно незнаком, и мне было интересно... Теперь-то уже наскучило.—Помолчав, он просительно наклонился и попытался поймать ее взгляд.

Кроме Муравьева, Эльзы и капитана, были—Проровнер, сенаторский сын, сидевший рядом с мужем Анны другой немец, большеносый и большеротый, ни слова не знавший по-русски (Аннин немец относился к нему почтительно и тихо переводил то, что понимал сам), и двое юнцов. Эти сидели не у стола, где им не досталось места, а во втором ряду, за спинами Проровнера и капитана, и напряженно слушали. Время от времени Эльза оборачивалась к ним и ободряюще подмигивала (молодежь, кажется, была под ее опекой), а они, мгновенно возгораясь, отвечали быстрой мимикой подвижных лиц. Наталья Михайловна заключила, что они, как и Эльза, актеры. Еще одного, в углу, Наталья Михайловна сначала совсем было не заметила и лишь потом поняла, что он здесь тоже фигура значительная. Он был лет сорока, но почти седой, смуглый и, судя по возрасту и широкому неровному шраму через всю скулу к уху—от пули или от осколка,—тоже военный или прошел войну. Скоро капитан обернулся к нему за папироской и назвал, коверкая слова, «герр лейтенант»:

— Герр лейтенант, дай-ка папиросу.

Тот нарочито заморгал раскосыми, черными, как ягода, глазами и захлопал себя по карманам, ища пачку. Видно было, однако, что он с капитаном лишь играл в подчиненного, и в действительности иерархия была, быть может, обратной—лейтенант любил оставаться в тени.

— Что же это такое тут происходит?—спросила Наталья Михайловна у Муравьева, но сама уже смекнула, и Муравьев лишь подтвердил ей, что это не просто с а л о н, а собрание о р г а н и з а ц и и.

Андрей Генрихович, притаившийся подле, сам как будто догадался и исподтишка толкал Наталью Михайловну, давая знак сидеть тихо и, Бога ради, ни во что не вмешиваться.

— А вы тоже в организации?—спросила она Муравьева.

— Нет, что вы, избави Бог,—прошептал он.—Они просто не теряют надежды меня втянуть. Это все штучки Проровнера. Я не знал, что сегодня будет этот шабаш. Я надеялся поболтать с вами.

Наталья Михайловна скоро поняла, однако, что это была правда лишь наполовину, если не меньше: Муравьев в самом деле не принадлежал к э т о й организации, зато он принадлежал к какой-то другой; здешние называли ее «лондонской» и считали Муравьева ее эмиссаром. Между двумя организациями имелись идейные и тактические расхождения, причем Муравьев ранее, по всей вероятности, питал честолюбивую иллюзию приобщить здешних к своей вере, к своей партии. С целью урегулирования отношений Проровнер на прошлой неделе ездил в Лондон; здешние, кажется, считали, что он разговаривал там не лучшим образом, и подозревали его в измене. Теперь они собрались заслушать официальный отчет Проровнера о поездке.

Муравьев вел себя сегодня так, что совсем не понравился Наталье Михайловне. Она находила, что он выглядит слишком нервозным, суетливым, вообще—жалким. По ее мнению, занимаясь столько лет политикой, он мог бы научиться более стойко переносить поражения.

— ...Я утверждаю,—дребезжаще крикнул в этот момент Проровнер, перекрывая остальные голоса и чуть испуганно потирая рукой свое слабое горло.—Утверждаю, что я дал понять им предельно ясно, какова вся разница между нами и ими! И, заверяю вас, они уяснили это себе превосходно!

Муравьев, пытаясь сохранить достоинство, приложил руку к груди:

— Не надо еще раз перебирать все теоретические расхождения. Разговор ведь был, насколько я понимаю, чисто технический. Издавать ли новый журнал, когда один уже имеется. Допустимо ли сейчас распылять и без того небольшие силы...

— Вы, конечно, хотели бы, чтобы мы сотрудничали в в а ш е м журнале? Я повторяю и думаю, что выражу общее мнение,— Проровнер обвел рукою присутствующих,—что, хотя в принципе мы не отказываемся от такого сотрудничества, но абсолютно нечего и незачем обеднять, подчеркиваю, обеднять Движение, приводя к искусственному единству многообразие его форм.

Капитан недовольно собрал на лбу морщины в мелкую женскую складку и пощелкал языком.

— Что?!—насторожился Проровнер.

— Ничего, ничего,—успокоила Анна, укоризненно качая головой капитану.

— Нет, вы скажите,—упрямился Проровнер.—Если вы полагаете, что я был недостаточно тверд, то вы ошибаетесь. Потому что я именно был с ними очень тверд, хотя и облекал наши решительные положения в дипломатическую форму. Я сказал им предельно откровенно, чем нас не устраивает их программа, каковы наши возражения...

— А вы повторите подробнее,—предложил сзади седой лейтенант, чиркая спичкой.

— Вы полагаете? Нужно ли это?

— А что ж такого? И мы послушаем,— спокойно кивнул тот.

— Хорошо,—согласился Проровнер.—Хорошо... М-да... с чего начать?—Он немного сбился, игриво-уверенный тон седого, как и Наталье Михайловне, показался ему зловещим. Хорошо, хорошо,—несколько раз повторил он, теребя нитку на скатерти.

Муравьев сидел, уставясь в пол. Прошло не меньше минуты.

— Да... в самом деле,—решился Проровнер, щелкая замком и раскрывая принесенную с собой папку.—Вот передо мной листки с программой друзей Дмитрия Николаевича. Продолжим наш старый спор,—поклонился он.—Не стесняйтесь, возражайте.—Муравьев сжался еще больше, веки его подергивались и взгляд был печален.—Не стесняйтесь,—повторил Проровнер уже совсем хамски.—И извините меня, если сейчас, за неимением времени, я не буду вдаваться в излишние подробности. Достаточно и самых общих мест, чтобы увидеть всю отделяющую нас пропасть. Причем это тем опасней, что на первый взгляд кажется, что вы говорите то же самое, что и мы... Вот я читаю. Прошу вас, Дмитрий Николаевич, обратите внимание...

Муравьев что-то пробурчал, но Проровнер не стал задерживаться.

— Вот я читаю,—Проровнер поднял голос повыше.—И этот проект ваши друзья предлагали нам!.. Читаю... «Наше движение целиком определено задачами и проблемами новой России, а также осознанием современного кризиса европейской культуры. Ставя перед собой историософскую проблему России и Европы, мы видим в России особый культурный мир, мир раскрывающейся новой культуры, равно отличной от европейской и азиатской, центральное и руководящее значение которой мы видим в будущей, уже начавшейся исторической эпохе...»

Капитан пренебрежительно хмыкнул, и юноши позади него тоже поспешно переглянулись с улыбкой.

— Надо ли объяснять, что здесь нас не устраивает? Почему мы не можем присоединиться к этому проекту? — спросил Проровнер.

— Мне не совсем ясно,—пытаясь быть вежливым, сказал Муравьев.

— Замечания можно сделать буквально по каждой фразе,—обрадовался Проровнер.—Что это, например, за новая Россия? Уж не коммунистическая ли?.. В самом деле, хотя дальше вы говорите, что в ваши задачи входит борьба с коммунизмом, но достаточно полистать ваш журнал, прочесть статьи некоторых ваших товарищей, чтобы увидеть, что вы, в действительности, то и дело пишете, например, такое...— Он торопливо перелистнул страницы толстой клеенчатой тетради, в которую было что-то записано неправдоподобно мелким почерком.—Да, вот сейчас, сейчас. Вот, прошу... «Исходя из факта, из той России,—читал Проровнер,—которая выходит из революции, мы выделяем и раскрываем те стороны рус-

ской современности»... Ведь этот текст написан одним из ваших друзей, если не вами, не правда ли?! «Те стороны русской современности, которые обращены в будущее» — вы слышите? — «и развитию их хотим всемерно способствовать...» Вот так. Вы слышите?! Обращены в будущее!

— Это не так уж лишено смысла, — возразил Муравьев.

Капитан вопросительно поднял бровь; седой лейтенант за ним был спокоен и сейчас прикуривал новую сигарету от окурка, втягивая смуглые щеки так, что татарские его скулы рельефно выступали под гладкой кожей; Анна с Эльзой смотрели на него с восхищением.

— Я не побоюсь сказать: я считаю, что это не так уж лишено смысла, — повторил в отчаянном упоении Муравьев. — Вот, приведу вам пример. Революция, как известно, отменила законодательное право Российской империи. В какое же отношение она стала к так называемому «народному праву»? То есть тому праву, которое ощущает по-настоящему своим русский народ. Здесь, действительно, можно высказать мысль, которая многим покажется совершенно возмутительной и даже еретической. А именно: революция, и вправду, осуществила многие начала народного права. Да, да. И это приходится констатировать, несмотря на то, что официальная идеология революции — марксизм — не имела никаких сознательных, подчеркиваю, сознательных намерений проводить в жизнь основы русского права.

Разводя руками, он оглянулся на мрачно молчавших противников.

— Ведь даже то, что теперь в Советской России, — счел нужным он пояснить свою мысль, — называется «тройкой» и «ревтрибуналом», более соответствует правовым представлениям русского народа, нежели дореволюционный суд присяжных, заимствованный у чуждого нам Запада.

— Ну, а что? — тихо сказала Наталья Михайловна. — Пожалуй, это так и есть.

Муравьев не успел ответить, потому что Проровнер вскочил и закричал басом:

— Боже мой, Боже мой! Как изменились ваши взгляды! Я уж не говорю о том, что прежде вы были западником. Но неужели вы не видите, насколько ваша сегодняшняя позиция сомнительна? Помилуйте, отсюда один шаг и до признания большевизма! То есть, зная вас, мне безусловно понятно, что вы хотите сказать, но... но разве можно выходить с этой платформой?! Ведь эта мысль, что революция и большевистская партия, помимо своей воли, силою иррациональных, стихийно действующих моментов решили многие проблемы, стоявшие перед старой Россией, эта мысль очень опасна. Умоляю вас, будьте осторожны! Учтите, что тем самым вы фактически смыкаетесь с ... я даже не знаю с кем... во всяком случае, не с нами!

— В-виноват, — заикаясь, вставил сенаторский сын, — в этом они доходят ч-черт з-знает до чего! Н-например, у-утверждается, ч-то теперешняя борьба це-це-е... — Он надолго запнулся, потом справился с собой и говорил дальше уже гладко: — Центрального Комитета с оппозицией косвенным путем осуществляет интересы русского народа!

Он хотел сказать что-то еще, но от нового приступа заиканья не смог и только бессильно раскрывал рот.

— Верно, верно, — ласково пришел ему на помощь Проровнер. — Я помню этот разговор очень хорошо. — Вы рассчитываете, Дмитрий Николаевич, что во взаимной борьбе все эти группировки в их неумеренно марксистской форме отомрут сами собой и власть сама свалится к вам в руки! Но ведь это утопия. Это утопия, дорогой мой, это утопия! На что вы рассчитываете, мне непонятно.

— Мы рассчитываем, прежде всего, на внутреннее движение. После того, как идея гражданской войны и иностранной интервенции провалилась, а она, несомненно, провалилась, по-моему, всем ясно, что рассчитывать можно только на это, — сказал Муравьев. — Вмешательство со стороны одновременно нецелесообразно и неприемлемо...

— Каково, а? — крикнул Проровнер. — Вмешательство со стороны является неприемлемым! А что же тогда должны делать мы?! Сидеть сложа руки и пописывать журнальные статейки? Изобретать идеологию? Нет, так идеология не делается!

— Мы рассчитываем на рост сознания внутри России, — старался

быть суровым Муравьев. Ему, однако, было неудобно отвечать (Проровнер все еще стоял, может быть, намеренно не садясь), и он откинулся на подушку дивана. Так говорить было тоже неудобно, и он снова сел, утомленно повторив: — Мы рассчитываем на рост гражданского народного сознания. Дав народу образование, а большевики это сделали, вы не можете этого отрицать, они тем самым подготовили почву для более глубокого осознания широчайшими народными массами стоящих перед нацией задач государственного и культурного строительства, в процессе которого неизбежно будет осуществлен и выход к иным, лучше отвечающим духу народа, духу становящейся новой культуры, формам, когда старые, марксистские формы будут как бы сами собой уничтожены. Мы рассчитываем поэтому на выдвиженцев, на личный состав армии, на молодых деятелей советского и профессионального аппарата, вышедших из широких рабоче-крестьянских народных масс и воспринявших, с одной стороны, все лучшее, что дала им земля, а с другой стороны... — Он не нашелся, что сказать еще. — Одним словом, это к ним мы обращаемся с призывом завершить начатое и частично осуществленное их руками дело построения новой России... Это завершение требует, при сохранении основ существующего строя, устранения черт антирелигиозности, антихозяйственности, антисоциальности, как черт, чуждых широким массам подымающейся России.

— Не знаю, как по-вашему, а по-моему, это бред! — снова закричал Проровнер. — Бред! Утопия! Кто, прежде всего, позвольте, будет распространять этот ваш призыв среди этих самых широчайших трудящихся масс?! А, что вы скажете по этому поводу?

— Совершенно верно, — не своим голосом подтвердил сзади один из актеров.

— Разумеется, верно, — надменно согласился Проровнер. — Все это, как вы видите сами, слишком теоретично, слишком абстрактно. Я бы сказал, слишком академично... Но мало того. Это прежде всего слишком замкнуто. Вашим теориям грозит узкий изоляционизм. Вы ошибаетесь, он не в духе народном... Наш русский удел, как сказал Федор Михайлович Достоевский, «всечеловечность»...

— С этим я согласен...

Проровнер грозно продолжал:

— Вот мы... — он взмахнул руками, — вот мы и ставим своей целью самый широкий выход, в том числе и к деловому сотрудничеству с лучшей частью Европы, с лучшими представителями европейских культурных слоев!

Проровнер остановился и обвел всех просветлевшим взором. Наталья Михайловна была даже не просто шокирована, но оскорблена разыгравшейся перед нею комедией и, потеряв от негодования быстроту реакции, не поняла в первый момент, почему так изменилось выражение Проровнера. Тот набрал в грудь воздуху и все так же, стоя, объявил:

— Друзья, вот тут, у нас в гостях, я рад познакомить вас, достойный представитель славного немецкого народа, представитель молодого движения, подымающегося здесь, в стране, давшей нам пристанище, герр... — (Наталья Михайловна не разобрала его фамилии). — Да, очень приятно представить вас моим друзьям, герр доктор...

Услышав свою фамилию и видя, что взоры всех обращены на него, худой немец закивал и осклабился, обнажив зубы и десны.

— К сожалению, — сказал Проровнер, — в «желтой» прессе чаще всего абсолютно превратно толкуется сущность платформы молодой национал-социалистической партии, так же как и аналогичного в некоторых отношениях движения итальянских фашистов. Я уже не говорю о марксистских попытках опровержения. Нам эти идейные европейские течения близки своей национально-патриотической направленностью, заложенным в них действенным энергическим началом. Может быть, вы, герр... скажете несколько слов собравшимся? Я, господа, как вы, возможно, знаете, имею честь работать у герра... и должен сказать, что, общаясь с ним почти ежедневно, получаю колоссальное удовольствие от ума и разносторонней эрудиции господина доктора. Герр доктор, прошу вас.

Немец поднялся, положил руку за борт пиджака и ровным глуховатым голосом, словно читая, заговорил.

Наталья Михайловна с трудом понимала его неожиданно ученую ме-

тафизическую речь и просила Андрея Генриховича переводить ей темные места.

— ...движение масс,— начал бубнить ей на ухо Андрей Генрихович. (Наталья Михайловна пропустила начало фразы). — ...идея, воодушевляющая массы и потому способная увлечь многих. Эта идея становится страстью, потому что она не есть только идея, вмещенная в логическую форму, но полное энергии самосознание... Она сама, эта идея, отождествляет себя с личностью, в своей универсальной значимости ставшей центром духовной иррадиации. Так страсть прорывается в деятельность, которая есть жизнь, обнаружение личности, сверхличного «Я»... и облекается реальностью...

«Какой личности? — стала соображать Наталья Михайловна, упустившая мысль. — Это что-то я не поняла».

— ...Поэтому наша партия и признает вождя, как ни одна другая партия, вождя, который является живым учением, душою, свыше одаренною и отмеченною, преобразующей формулу в действие! Он всегда формула, идея, универсальная мысль, объединяющая и дисциплинирующая множество людей, и потому образует мощную социальную и политическую силу. При таком понимании жизни, глубоком и единственно правильном, истинное понимание индивида... истинное понимание индивида не содержит противоположения целому. Все, что в индивидууме ценно и должно быть охраняемо и развиваемо, обладает универсальным значением и выражает как раз волю и интерес высшие, чем интерес и воля отдельного человека. Таким образом, социальной, этической сущностью отдельного человека является некоторая общая личность. Такова личность нации, моральной реальности, которою становится и которую создает народ, поскольку он ощущает свою историю и осваивает ее как свою собственную. Нация — это нечто вечно становящееся, не просто исторический или географический факт, но программа и миссия, а также и жертва! Форма же нации — государство. Поэтому не существует противоречия между индивидуумом и государством. Государство здоровой нации должно быть сильным и властным! Государство требует от индивидуума жертвы собою, и индивидуум существует лишь в меру этой жертвы. Ибо государство и индивидуум — одно и то же, причем максимальная свобода совпадает с максимальной силой государства. Мы не признаем иного свободного индивидуума, кроме индивидуума, который ощущает в своем сердце высший интерес целого и верховную волю государства!

Герр доктор поклонился и сел. Проровнер, который было присел во время речи патрона, теперь снова поднялся и собрался что-то сказать, но капитан опередил его, подняв рюмку водки, что принесла ему одному на подносе Анна:

— За фатерланд!

Немец приложил руку к груди, потом поднял ее в приветствии.

— Кто еще хочет? — крикнул, вдруг возбудясь, Аннин немец.

Все, кроме Эльзы, стали отказываться, демонстрируя, что они понимают важность сегодняшнего собрания и не должны сбиваться на иное.

— Итак, к нашим расхождениям, помимо только что указанных, — возобновил свою речь Проровнер, — относится также наше неприятие вашей, так сказать, пассивности... Я не имею в виду, конечно, вашу пассивность персонально... Нашим же девизом должно быть именно действие. Действие и еще раз действие. В этой пассивности есть что-то, говоря вашими же словами, невыносимо буржуазное, бюргерское. Люди, к сожалению, часто боятся живого действия, борьбы. Они надеются, что новая Россия упадет к ним с неба, сама, без активного вмешательства, без настоящей работы, работы с массами и в массах. В сущности, они мечтают лишь о хлебе и покое, как римский плебс... А статейки в журналах — это немногого стоит! Это, как мы знаем, всего лишь замена каких-то иных удовольствий! Громкие слова и гнилой либерализм на практике. Боязнь, что я говорю, боязнь, страх, самый настоящий страх, перед единственно правильными и единственно возможными формами деятельности!

— Ну зачем так! — воскликнул Муравьев.

— Григорий Борисович! — предостерегающе поднял руку сенаторский сын. — Может быть, все-таки не стоит так уж... мы все-таки здесь не одни...

Светлые глаза Проровнера блеснули.

— А вы ошибаетесь, если полагаете, — с торжеством начал он, — что я не помню об этом! Я очень даже хорошо помню об этом и должен вам сказать, что даже говорю так подробно о вещах, о которых многие здесь уже слышали, именно потому, что имею в виду присутствие здесь посторонних новых лиц. Но я говорю это именно потому, что нам некого бояться! Верно, господа? — обернулся он к капитану и седому. — Ведь вы именно поэтому и просили меня? Да, мы говорим об этом открыто. Мы намерены создать массовую — слышите? — массовую организацию! Организацию, куда будут привлечены широчайшие слои молодежи, трудящихся, ученых, военных. Сначала здесь, в странах Рассеяния, а потом и в России! Нам нечего скрывать, мы собираемся объявить об этом во всеуслышание: «К нам, готовые на борьбу, на бой, воины, не боящиеся опасности, презирающие слабость! Под наши знамена, вперед!..» Разумеется, — остановился он, дыхания у него не хватило, — в нашей работе будут аспекты... э-э... не подлежащие широкому оглашению. Это относится, конечно, к работе в России, например. Я думаю, вы можете быть здесь совершенно спокойны: о чем никто не должен узнать, не узнает никто! Того же, кто посмеет разгласить вверенную ему тайну, мы, поверьте, сумеем покарать...

— Спрячем концы так, что никто не узнает! — рявкнул капитан, сжимая в кулаке рюмку.

— Что же касается тех, кто не хочет быть с нами, — вкрадчиво продолжал Проровнер, — не хочет быть потому, что, скажем, пока еще не верит в наши идеи или не понимает их, то и здесь, я думаю, мы не должны ставить крест на таком человеке. Мы должны, я думаю, искать какие-то возможные формы сотрудничества, памятуя, что, в сущности, все мы делаем одно общее дело и всем сердцем хотим одного и того же — Возрождения Новой Великой России во имя спасения всего мира...

Наталью Михайловну в этой истории более всего поразило то, что Андрей Генрихович, человек обычно довольно болтливый, сегодня за весь вечер не произнес ни слова. Когда они вышли, он едва держался на ногах и поминутно отирал испарину.

— Я, наверно, заболел, — сказал он. (Вид у него и в самом деле был больной.) — Я думаю, что нам лучше ехать дальше. Не будем здесь особенно задерживаться. Три дня, не больше.

Наталья Михайловна знала, что муж ее трусоват, но во всем виденном и слышанном не находила слишком серьезных оснований для испуга.

IX. «Армагеддон»

— Скажите, пожалуйста, отец Владимир, что такое Армагеддон?

Маленькая, остренькая, веснушчатая дама с пышными каштановыми волосами понизила голос почти до шепота.

— Да, и я тоже хотел узнать, — страшно теряясь, подался вперед молодой человек сбоку от нее. — Я слышал, что Григорий Нисский и Григорий Богослов были братья, это правда?

Они сидели в узкой угловой комнате; отец Владимир занимал половину дома, в другой половине жили, кажется, родители жены. Письменный стол справа от двери загородил большую часть помещения. На столе стояла пишущая машинка, накрытая вышитой салфеткой, полка с книгами (были видны несколько роскошно переплетенных красных томов «Добротолюбия»), проигрыватель, маленький приемник, какие-то бронзовые вещицы, подсвечник, череп, в середине на полке выделялась голова Данте из черного металла или тонированного гипса. На этой же стене, над столом и вокруг, висели: большое резное распятие, фотографии и картины в рамочках — два или три портрета Владимира Соловьева, репродукция с картины Нестерова «Философы», изображающая Сергея Булгакова еще в пиджаке и плаще и Флоренского в рясе; а также бесчисленные портреты каких-то неизвестных седобородых монахов, старух-монахинь и священников. По левую руку от стола в торцовой стене пристройки было окно, задернутое легкими шторками с современным веселеньким абстрактным геометрическим рисунком, и дальше в углу — киот и складной аналой

с большою Библией, заложенной широкими лентами. Иконы, в основном старые, без окладов, развешаны были также и над окном, и на другой стене, слева, возле стеллажа с книгами. Уставленные ровно, корешок к корешку, книги выдавали библиофильские наклонности хозяина. Сразу же бросались в глаза толстые многотомные немецкие и английские церковные словари и энциклопедии, но вообще книги размещены были по чину. Внизу стоял «Брокгауз», рядом с ним «Еврейская энциклопедия», на полке повыше шли книги по естествознанию и географии, еще выше помещались этнография и антропология, после начиналась история, за нею философия, и на самом верху религиеведение и святоотеческая литература. Книги были все в хорошей сохранности, заграничные в суперобложках, многие переплетены в красивые узорчатые ткани. Пыли нигде не замечалось.

Народу в комнате было не очень много, но сидели тесно друг подле друга, около растворенной в проходную комнату двери с отдернутой занавесью; не уместившиеся здесь, придвинув стулья, расположились позади, в проходной комнате, через которую время от времени пробегали поповские дети, мальчики лет восьми и десяти; слышно было, как потом они толкались в тесных сенях, хлопала дверь на улицу, взлаивала собака; несколько раз проходила жена.

Сам хозяин, большеголовый, дородный мужчина лет сорока или даже моложе, похожий на ассирийского царя Ашурбанипала, но только со светлой красиво вьющейся бородкой, в узорчатом покупном свитере, облегавшем его полное тело и заметное брюшко, в брюках и домашних туфлях, сидел лицом к посетителям, боком к столу, заняв все пространство между столом и книжными полками.

Он был весел, держался уверенно, говорил привычно ровно, хорошо ориентируясь иногда одновременно в нескольких разговорах.

— Армагеддон,— отвечал он.— Имеется в виду поражение ханаанских царей при Мегиддо. Мегиддо находится в Галилее, недалеко от Назарета. Сказано: «Сразились Цари ханаанские у вод Мегиддонских, но не получили нимало серебра». В Откровении Иоанна Богослова говорится, что готовящееся последнее сражение с Антихристом окончится для него тем же, чем был для Царей ханаанских Армагеддон, то есть решительным поражением! А как ваша матушка? Я так давно вас не видел и питаюсь одними слухами,— без перехода обратился он к Тане, но тут же вспомнил и о Григориях.— Ах, да, сначала с вами...

Вирхову досталось место возле самой двери, он сидел на белой, принесенной из кухни табуретке. Пока отец Владимир отвечал на вопрос об Армагеддоне, Вирхов, склонив голову набок, с интересом рассматривал книги, обстановку, пластик и коврик на полу, дорогой блестящий торшер в передней комнате и присутствующих.

Кроме Мелика, двух его молодых людей и Татьяны, здесь была еще группка, пришедшая раньше,—эта дама, спросившая об Армагеддоне, и трое молодых людей, в числе которых и юноша, интересовавшийся Григориями. Между этими четверыми существовала какая-то связь, что было заметно с первого взгляда по тому, как они смотрели один на другого, ища поддержки и помощи, причем дама осуществляла как бы интеллектуальное руководство, но настоящим центром была угрюмо и упорно молчавшая, но, вероятно, имевшая что-то сказать личность в выцветшей ковбойке и драном вязаном жилете, из которого торчали крепкие узловатые плечи. Лицо этого человека было длинно и в складках, глаза серы, борода не стрижена, голова обрита почти наголо.

Все чувствовали себя неловко. Даже, как показалось Вирхову, Таня — хоть она и была знакома со священником давно и он явно обрадовался ей — вела себя неестественно, как-то пугливо, в тон той пышноволосой даме, понижая голос. Вирхов и сам не знал, как ему вести себя, и испытывал известное смущение. Так и двое других незнакомых молодых людей (из которых один осмелился спросить про Григориев), сидевших с застылым выражением лиц.

Разговаривали, в основном, священник и дама, да изредка вставлял какие-нибудь реплики Мелик и совсем редко Таня. Из меликовых молодых людей первый — вчерашний изящный светский юноша — совсем оцепенел от презрения к профанам и, поджавши и без того тонкие губы, недвижимо сидел в кресле, глубоко в первой комнате. Скрестив руки на груди и положив ногу на ногу, он только нервно подрагивал ногой, и пышноволосая дама, затылком чувствуя его неприязнь, каждый раз испуганно озиралась на это почти неприметное другим подрагивание. Второй держался свободнее и отчасти развязно, то и дело громко хохоча и хихикая высоким, еще неоформившимся юношеским фальцетом там, где отец Владимир и Мелик улыбались.

Те четверо, как нетрудно было понять, тоже были здесь первый раз, визит их не был запланирован на сегодня, и Мелик обнаруживал недовольство, что они здесь. Несколько раз он позволил себе поморщиться, на что отец Владимир тоже незаметно, как бы оправдываясь, разводил руками, но одновременно делал успокоительную гримасу и однажды даже сказал вполголоса среди совершенно иной речи: «Ничего, ничего, все нормально».

— А в чем дело? — наклонившись, спросил Вирхов у Мелика.

— Да, понимаешь, тут еще один человек должен прийти, которого этим идиотам видеть не нужно было бы.

— А кто они?

— Да какие-то идиоты,— повторил досадливо Мелик.— Это жена вон того, бритого. А сам он? Не знаю, инженер какой-то, но, по-моему, шизофреник. Видишь ли, хочет креститься, но обязательно только в старообрядческой церкви. Чистоты хочет. Эта церковь, видишь ли, продалась Антихристу, а та нет. Ходит к ним. Они его сначала гнали, а теперь вроде бы ничего, притерпелись... Там, ведь знаешь, какие порядки, на пять минут к службе опоздал, иди домой. Хуже, чем на партсобрании... Подожди, он сейчас заговорит, сам увидишь.

— Отец В о л о д и м е р,— и в самом деле, неправдоподобно окая, басом заговорил наконец новоиспеченный старообрядец,— объясните, вы признаете значение науки? Нужна она, как нас пытаются убедить, или нет?

Священник мотнул головой не без юмора и с готовностью сказал:

— Ну, разумеется. Бог дал человеку мир во владение для того, чтобы человек осваивал этот мир, преображал бы его. Наука играет в этом не последнюю роль. Почитайте книгу «Философия хозяйства» отца Сергия Булгакова. Не читали? Очень рекомендую. Хотя, конечно, нужно предостеречь и от излишнего преувеличения ее роли. Человек ведь обладает удивительной способностью извратить вообще все, чего ни коснется. Вот вам пример — Индия. Я только что прочел одну книжку.— Он действительно взял со стола издание Географгиза в бумажной обертке.— Какая страна! Пятьсот миллионов. Сотни людей лежат вдоль дороги в канавах. Полицейский идет вдоль дороги с плеткой или крючком, за ним арба. Он ударит, кто жив — тот встанет, мертвого — крючком и на арбу. Вот вам, пожалуйста. Т о л ь к о н а у к а м о ж е т и х с п а с т и.

— Скажите, пожалуйста, отец Владимир,— снова вмешалась идиотка с пышными волосами,— а Кришнамурти жив?

— Я, к сожалению, последнее время ничего о нем не слышал,— по-прежнему спокойно отвечал священник.— Последний раз я читал о нем в одном английском журнале.

— Одну минуту, отец Владимир,— перебил его старообрядец, приняв тяжелый «мужицкий» недоверчивый вид, будто он подозревал, что, уцепившись за другую тему, тот хочет уйти от ответа на его вопрос.— Одну минуту. Давайте продолжим об этом,— грозно сказал он.

— Да, об этом,— живо отозвался отец Владимир, снова смеясь и перебирая в пальцах бороду.— Разумеется. С е й ч а с покончим и с этим,— воскликнул он.— Вот вам другой пример. Эротика, с е к с.— (Жена старообрядца покраснела).— Все мы знаем людей, только этим и живущих. Это, конечно, очень нехорошо. Однако кто из нас скажет, что этого не существует вообще? Задача, следовательно, заключается в том, чтобы с у м е т ь с о ч е т а т ь и т о и д р у г о е... Что я имею в виду?.. Суметь остаться человеком и не забыть Бога.

— А разве наука может существовать в сравнении с вечностью? — вновь грозно спросил старообрядец.

— Гм...— поперхнулся отец Владимир, но скорее играя на других гостей.— Как говорит русский философ Георгий Федотов, нужно жить так,

как будто завтра конец мира, а работать, творить так, как будто впереди вечность...

Какая-то еще мысль, видно, все же сбивала его, и он снова, уже по-настоящему запнулся.

— Значит, вопрос ставится так,— продолжал он после запинки.— Правомерна ли культура, если завтра конец мира? Иными словами, зачем все это?— Его доброе лицо погрустнело.— Я, собственно, привел только что слова, которые дают в какой-то мере ответ на этот вопрос. Можно привести и другой пример. Однажды к Людовико Гонзаго, девятилетнему мальчику, игравшему в мяч, подошли взрослые и спросили: «А что бы ты делал, Людовико, если б узнал, что завтра конец света?» — «Что бы я делал?— сказал он.— Я продолжал бы играть в мяч...» Вот как он ответил. Конечно, он был святой, он и так был в Боге... ему, разумеется, можно было играть в мяч...

— *А что вы делали бы, если бы узнали, что завтра конец света?*

— Что я делал бы?— задумался священник.

— Я надеюсь, ты позвонил бы нам, отец Владимир,— вставил Мелик.

Все кроме инженера-старообрядца и его жены, не понявшей шутки и озиравшейся, засмеялись.

— В самом деле, что делал бы я?— повторил отец Владимир.— Нет, не знаю... Хорошо было бы написать такую книгу — «История ожиданий конца света». Ведь этого всегда ждали. Всегда людям та эпоха, в которую жили они, представлялась самой страшной, самой апокалипсичной. А следующие поколения только усмехались... Но что буду делать я?.. Апостол Павел говорит, что надо продолжать выполнять свое дело... Но я, пожалуй, не смог бы... Я должен был бы проститься со многими, у многих просить прощения...

— Вы не сказали еще, что Церковь всегда очень строго осуждала ереси, связанные с гипертрофией апокалипсических ожиданий,— быстро и тихо, испуганно заметила Таня.

— Простите,— воспользовавшись мгновением, прежний молодой человек решился опять задать заготовленный еще дома вопрос (как стало ясно теперь — норовя выйти из-под контроля старообрядческой четы),— простите, я хотел узнать, а верно ли, что евреи прощены Папой? И может ли земная власть отменить наказание, назначенное Богом?

— Верно. Может,— отвечал отец Владимир сразу им обоим, не особенно вникая в смысл и не желая отвлекаться от темы, которая чем-то задевала его; или он знал, что старообрядец все равно не даст ему оставить ее, а профессиональная гордость требовала при этом, чтобы он дал исчерпывающий ответ.— Это очень серьезный вопрос,— вздохнул он.— Правомерны ли все наши занятия, если завтра конец мира. Ну, пусть не завтра, пусть через пять, через десять лет...

Он посмотрел странно, тоскливо: ему явно хотелось окинуть взглядом свое уютное жилище, портреты на стенах, бюст Данте, книги. Он поднял на секунду глаза и тотчас опустил их.

— Не знаю, не знаю,— сказал он.— Наверно, все-таки надо продолжать делать свое дело,— сказал он суше, чем ему хотелось.— Но одновременно, разумеется, необходимо внутренне готовить себя, как нам и положено, к иному. Memento mori,— засмеялся он, показывая ровные белые зубы и окончательно стряхивая с себя печаль.— Так ведь говорят наши траппистки, встречая друг друга?— обратился он к Тане.— У нас тут такие специалисты,— как бы представил он ее тем.— Вот кто должен был бы отвечать на ваши вопросы. Мы устроим как-нибудь диспут, обсудим все эти вопросы, различные точки зрения. Хотя, безусловно, точка зрения у нас одна — церковная,— хорошо поставленным голосом воскликнул он.

Наступило молчание. Вирхов глядел в окно, где виднелись еще голые верхушки яблонь, несколько подрезанных тополей поодаль, крыши соседних домов и из них подымающиеся, подступившие вплотную серо-голубые новые дома, еще не заселенные и не крашенные. Было три часа пополудни.

— Ну, что ж!— по-прежнему бодро произнес отец Владимир, посмотрев на часы.

Старообрядец, не успев еще заматереть по-настоящему, тотчас же понял, что это относится к нему, и поспешно и даже смущенно, к удивлению Вирхова, поднявшись, дал знак своим. Те стали прощаться, перейдя совсем на шепот и шепотом же прося отца Владимира дать им что-нибудь *почитать*.

Тот задумался или, вернее, изобразил, что думает, потом решительно повернулся к полке, извлек какую-то толстую брошюру и вручил ее просившему.

— И мне тоже,— благоговея, попросила жена старообрядца.

— Вот и вам,— столь же определенно, словно заготовив заранее, он вынул книгу с полки пониже.

Кланяясь другим гостям, эти двое подошли под благословение, держа руки уставно перед грудью лодочкой. Он перекрестил его и ее, сказав каждому что-то на ухо. Двое других, ошеломленные всем этим, растерянно кивали и то протягивали, то отдергивали руки для пожатия.

Дверь долго скрипела. Отец Владимир, провожая их, вышел на улицу и свежий, поводя с холода плечами, вернулся.

— Здорово ты их,— сказал Мелик.

Тот улыбнулся:

— Иначе нельзя.

— А что ты им дал?

— Этому — Николая Александровича Бердяева — «Философию свободного духа», а ей — первую книгу Фрезера «Золотая ветвь», о магии и религии,— захохотал отец Владимир.— Пусть изучают, развиваются.

— Не было б наоборот,— сказал Мелик.

— Ничего, ничего,— снова успокоил тот.

Он опять уселся за стол и, обернувшись к Вирхову и Тане, благожелательно сказал:

— Ну вот, теперь мы можем поговорить и по-настоящему. Значит, Николай Владимирович. Очень хорошо. Вы чем занимаетесь?

Вирхову польстило его благожелательное внимание, но последним вопросом он был опять, как и в памятном разговоре с Таней, все-таки немного шокирован: сейчас тоже признаваться вдруг, ни с того ни с сего, было бы глупо, хотя вся обстановка: и тихий, с пришептываниями Танин голос, и огонек лампадки перед иконами, несмотря ни на что, пробуждали невольно мысль об исповеди. «Нет, все-таки какая дурацкая русская привычка задавать такие вопросы! Чем вы занимаетесь?» — подумал он, наружно начиная стесняться еще больше и, пожалуй, даже краснея.

— Вы знаете, последнее время, кажется, вообще ничем,— с усилием выговорил он.— Вот дорабатываю последние дни у Целлариуса и перехожу на вольные хлеба.

— Да, я слышал об этом, Мелик мне говорил,— покачал головою священник.— Это все же очень нехорошо. Такое иллегальное, неустроенное положение портит человека. Оно толкает его на разные необдуманные поступки.

— Что ж делать,— пожал плечами Вирхов.— Так уж получается. В конце концов не по своему желанию, не по своей воле я ухожу.

— Это вы напрасно,— успокаивающе пробасил отец Владимир.— Ваш Целлариус очень неплохой человек. Я встречался с ним, у нас есть общие знакомые. Он произвел на меня впечатление очень умного, очень знающего и порядочного человека.

Светский юноша, успокоясь после ухода старообрядцев, сказал тоном *своего* человека:

— А помните, *отче*, мы с вами давно уже хотели обсудить проблему службы, работы в учреждении. Мы ведь говорили с вами, что, например, некоторые ставят эту проблему так: допустимо ли служить (...), занимаясь, так сказать, интеллигентным ремеслом, или же нравственнее для людей нашего круга выйти как бы за черту нормальной жизни, жить только простым трудом?

— В Писании сказано: «Кесарю кесарево, а Богу богово»,— заметил отец Владимир.— Мы должны, как и во всем остальном, руководствоваться Писанием. Вообще я уже говорил как-то, что эта тенденция очень опасна. Надо работать, делать хорошо свое дело,— сказал он внезапно даже с некоторым раздражением,— и стараться быть порядочными людьми,

христианами, по мере своих слабых сил, кому сколько их отпущено Господом. А этот антикультурный нигилизм, он чрезвычайно вреден. Что в этой форме, так сказать, хазинской, что в этой, — он показал на опустевшие стулья, на которых прежде сидели старообрядцы.

Что-то вновь стало сбивать его, потому что плавный поток его речи прервался, он оставил перебирать в пальцах бороду и рассеянно потер лоб, собираясь с мыслями.

— Да, конечно, это трудный вопрос, — промолвил он, — апостол Павел сказал в Послании к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, аще не от Бога... Посему противящийся власти, противится Божию установлению». Как нам понимать эти слова?..

Он повернулся к Мелику, будто ждал ответа от него, признавая свое бессилие. Однако Мелик, как уже заметил Вирхов, держался сегодня скромно, хотя и острил немного, но вообще старался показать, что относится к отцу Владимиру почтительно. Теперь он тоже только развел руками, показывая, что не имеет права начинать первым.

Отец Владимир крякнул и опять, но уже быстро-быстро, нервно перебирая бороду полными пальцами, сказал:

— Итак, вопрос ставится следующим образом: можно ли считать, что власть атеистическая, власть, которая (...), что эта власть «установлена Богом», «от Бога»? — Он опять посмотрел, не вступит ли Мелик, потом, совсем отчаянно, на Таню. — Да, — продолжал он, — это сложный вопрос. Пути Господни неисповедимы. Что сказать? Это тайна, — вдруг снова бодро заключил он. — Она, несомненно, откроется нам в Судный день. Пока что мы должны со смирением принимать ее, как Тайну Божественного Промысла. Вот так.

По губам Мелика скользнула едва заметная усмешка, но он промолчал.

— А разве мы не должны пытаться понять эти тайны? — вкрадчиво спросил светский юноша, показывая, что он тоже не удовлетворен таким оборотом дела.

— А тут понимай не понимай, все равно ничего не поймешь! — уверенно засмеялся священник. На лице его отобразилась веселая печаль; в ней не было метафизического страха перед тайнами бытия, а лишь легкая грусть о несовершенстве человека.

— Ну, вы так ничего и не рассказали мне о себе, — обратился он к Тане, умело давая этим понять, что тот разговор окончен, и сбрасывая с себя эту печаль.

Танино лицо тотчас же потемнело (Вирхов так еще и не привык к этому), и она поспешно сказала:

— Плохо, очень плохо.

— А что такое?! — все так же громко воскликнул отец Владимир.

— Дома очень плохо, с мамой.

— Вы сейчас живете с ней?

— Да, и мама чуть не каждый день кричит, устраивает истерики. Я не знаю, что мне делать, посоветуйте мне, — прошептала она. — Я даже думаю, не уехать ли мне из Москвы совсем.

Она обернулась к Вирхову с выражением страха в глазах.

— Ну, это преждевременно, — заверил ее отец Владимир, — Наталья Михайловна скоро, несомненно, выйдет, вам будет легче... Вот с ней, конечно, нехорошо получилось. Это наша общая вина. Я, главное, все собирался к вам заехать, да как-то закрутился тут, столько было работы, должен был как раз в этот месяц з а к о н ч и т ь д в е г л а в ы. А у нас тут, в храме, еще настоятель заболел, я, значит, работал, можно сказать, за двоих, — энергично взмахнул он руками. — И вот, как всегда, когда торопишься — упущение! На все не хватает рук. Хотя, разумеется, быть может, и не в силах наших было предотвратить это... У меня, по правде сказать, настоящего контакта с ней не было. Я как-то интересовался некоторыми обстоятельствами жизни одного лица, которое она, как вы мне говорили, должна была бы знать, и что-то она стала со мной не очень ласкова. Так все безусловно вежливо, чинно, но и весьма холодно.

— Да? Я даже не знала, — удивилась Таня.

— Ну, ничего, — сказал он. — Жалко ее, конечно. Не доглядели. Это

бывает с такими женщинами: держатся, держатся, а потом раз — и готово. Но это только показывает, что мы своих ближних плохо знаем.

— Я уезжала в это время, — быстро возразила Таня.

— Нет, нет, я вас нисколько не виню.

На дворе звонким лаем залилась собака.

— Дети? — спросил Мелик, насторожившись.

— Нет, непохоже, — прислушался отец Владимир. — Какой-то гость.

Действительно, собака на дворе уже хрипела и рвала привязь, доносились крики детей, усмирявших ее; гость долго путался, не зная, куда идти. Заныла входная дверь на пружине. Шаркая, гость вытирал ноги.

Отец Владимир поднялся и пошел навстречу.

X. *«Из ордена»*

Несмотря на полноту, он успел выйти наружу; в тишине тесного деревянного дома было слышно, как они, целуясь, приветствуют друг друга на пороге; потом, оступаясь, они перешли в прихожую. Гость снял пальто.

— Давайте, давайте я вам помогу. Поухаживаю за вами, как за архиереем, — приговаривал отец Владимир.

Дверь в проходную комнату отворилась. На пороге стоял невысокий худенький человечек лет пятидесяти и медлил войти, оглядывая присутствующих большими навыкате светлыми детскими, немного сумасшедшими глазами.

Уже с порога, еще до того, как он успел сказать что-нибудь, по костюму, довольно простому и, может быть, даже недорогому, но какого-то неуловимо непривычного вида, стало понятно, что перед ними иностранец. Они посмотрели на его ноги; башмаки тоже были простые и заляпаны грязью, но также чем-то отличались от башмаков, какие они видели на улицах Москвы и в каких были сами. Еще через секунду он поздоровался — по-русски, чисто и почти без акцента; опять, как и в одежде, было всего лишь несколько ничтожных отклонений, чуть навраны интонации, чуть больше, чем надо, повышен конец фразы.

— Вот прошу, — пригласил гостя отец Владимир, — это вот все наша б р а т и я. А это... гм-гм... Григорий... месье, — он замялся и засмеялся, хмыкая, показывая, что ему неудобно было называть взрослого человека просто по имени, прибавлять «месье» они не умеют, а отчества иностранцу не положено и надо что-то придумать.

— Григорий Григорьевич, — отчетливо подсказал тот, поняв затруднение, и сам громко засмеялся тоже. — Ничего, я уже второй раз в России, приезжаю в Россию, — поправился он, — и привык. Прошедший раз я жил в общежитии университет, и студенты называли меня так. Я привык. Это не меньше удобнó.

Мелик оглянулся, и по тому, какое торжество блеснуло в его взгляде, Вирхов понял, что ему (Вирхову) оказано большое доверие.

Священник тем временем представлял гостю свою братию, и Вирхову показалось, что Григорий Григорьевич, хотя и улыбался всем и каждому, улыбнулся Мелику так, как будто они уже не один раз виделись прежде, а Мелик не удержался и тут же подчеркнул это, преувеличенно свободно и фамильярно пододвинув ему кресло, где только что сидел изящный светский юноша; гость отказывался, норовя усесться на стул.

— Это ничего, ничего, — бодро воскликнул отец Владимир, — мы сейчас все равно организуем чай и пойдем на кухню, здесь это несколько затруднено.

— Из самовар? — живо поинтересовался гость.

— Нет, самовар сейчас ставить сложно, попьем из чайника на сей раз, — сказал отец Владимир.

Мелик, решив теперь, что тот допускает слишком большое нарушение конспирации, посмотрел на него предостерегающе.

— Конечно, конечно, очень хорошо, — закивал Григорий Григорьевич. — Шайник тоже очень хорошо.

Отец Владимир и второй из молодых людей — с реденькой бороденкой — куда-то исчезли; где-то за перегородкой они совещались с попадьей, что дать к столу.

Остальные уселись, посматривая на гостя. Он немного стеснялся, что было странно в этом седом человеке, и голубые навыкате глаза его казались беспомощны.

— Так вы сейчас тоже в университете? — спросила Таня, воодушевляясь желанием ему помочь.

— О нет, я прошедший раз был в университéте. Я был здесь летом прошлóго года. Тогда я жил в университéте. Теперь я живу в гостиница «Украйна». Вы знайте?

— Да, разумеется, — как нельзя более светски кивнул изящный юноша, почувствовавший себя наконец-то в своей стихии. — Но ведь вы приехали не как турист?

— О нет, нет, — замотал головой тот. — Я приехал не как турист. Я приехал... Как зто называéтся?

— В командировку, — подсказал Мелик.

Тот прислушался, совпадает ли это с тем, что запомнилось ему, потом неуверенно согласился:

— Да, командировка.

— Простите, — извинился светский юноша, — отец Владимир рассказывал нам, что вы занимаетесь литературоведением.

— Меня занимает русская литература, — твердо выговорил гость.

— Какого периода? — живо переспросила Таня.

— После революция. И до, и после. — Он был рад, что выразился так чисто по-русски. — Но больше после, — совсем смело сказал он.

— Это очень характерное время, — веско, но и деликатно заметил светский юноша. — Время, безусловно, заслуживающее самого пристального изучения, но не в узколитературном, а в широком общекультурном плане.

— Да, да, — подтвердил гость. — Скажите, что особенно вы считайте важный?

Тот, как и получасом раньше, солидно откинулся в кресле, которое снова не без удовольствия занял (потому что гость так и не согласился сесть туда), и произнес довольно непринужденным тоном:

— Мне представляется наиболее интересной проблема взаимоотношений государства и Церкви. Разумеется, это надо понимать шире, учитывая ряд привходящих моментов: например, Церковь и интеллигенция. Заодно необходимо было бы проанализировать смежную проблему взаимоотношений интеллигенции и государства.

— Особая тема здесь — это тема обновленческой церкви, — вставил Мелик.

— О да. Обновленческая церковь — очень интересно! — воскликнул гость. — Это очень интересный theme. Я читал об этом книга, — от волнения он начал говорить хуже, — книги.

— Краснов-Левитин, — подсказал Мелик.

— О да, да. Красенофф-Левитин. Это ошень важная проблем для нас. У нас тоже есть люди, которые говорят: священник не должен иметь целибат. Он может жениться, раз, два, три.. — Отгибая пальцы, он засмеялся. — О, это большая проблем.

— Ну, у вас это было по-другому, — заверил изящный юноша. — У нас обновленческую церковь курировало непосредственно ГПУ. Хотя, безусловно, обновленческие тенденции существовали до революции. («Мой ученичок!» — успел шепнуть Мелик Вирхову).

— Но ведь в католической церкви совсем другое! — с возмущением и ужасом сказала Таня.

— О да, да, я шутил, — объяснил Григорий Григорьевич. — Конечно, у нас нет ГПУ.

— И совершенно иные задачи стоят перед Церковью, — настаивала Таня.

— О да.

— Но в чем-то наше обновленчество, в его чистой форме, ставило те же задачи, — заметил Мелик.

— В чем-то да, но все-таки это ужасно — сравнивать наших обновленцев с католиками, — сказала Таня, трогательно сжимая на груди руки.

— Почему? — нарочито спокойно удивился Мелик. — В конце концов суть одна, и здесь и там. Церковь пытается найти какие-то формы существования, которые соответствовали бы современному, изменившемуся с тех пор, как впервые было проповедано Евангелие, миру. В этих попытках возможны известные злоупотребления. Но они возможны не только здесь, в Православии, они были и на Западе. История знает их немало.

Гость засмеялся, вовсе не возмущаясь, а радуясь, наоборот, этой внезапной живости русской беседы.

Отец Владимир, распорядившись на кухне, вошел сюда, но сел не на свое место, а на ручку кресла изящного юноши.

Григорий Григорьевич восторженно обернулся к нему:

— О, вы видите?!

— Да, тут серьезные спорщики, — захохотал священник.

Таня, которой передалось сейчас же это радостное, восторженное состояние, проникаясь любовью к этому милому, немного наивному человеку и не желая больше сдерживать себя, сказала:

— А ведь мы даже не знаем, откуда вы. Я по крайней мере не знаю.

— О, Григорий Григорьевич побывал, наверно, всюду! — снова развеселился отец Владимир.

— Да, я много бывал всюду, — подтвердил Григорий Григорьевич, но скорее печально, чем весело. — Я жил в Германии, Франции, Англия. Я воевал в Африка. Потом я жил в Америка и Америка Латин. Потом Испань. Сейчас я живу в Испань.

— Замечательно, черт возьми, — воскликнул Вирхов, тоже поддаваясь тому же блаженному настроению, что и Таня, хотя сам Григорий Григорьевич был теперь несколько мрачен.

При слове «черт» отец Владимир незаметно перекрестился. Юноша с редкой бородкой показался в это время из-за портьеры, улыбаясь и блестя глазами, и дал знак, что все готово. Легко поднявшись, отец Владимир пригласил их:

— Ну что ж, пойдемте, откушаем чаю.

Пропуская остальных, Вирхов и Мелик на мгновение задержались в проходе, и Вирхов тихо спросил:

— Так что? Кто зто? Что все это значит?

— Только тихо, — предупредил Мелик. — Это какой-то большой человек. — Он покрутил неопределенно пальцами. — Только тихо, — повторил он, — я тебе скажу, но ты сам понимаешь: никому ни намека.

— Ну разумеется.

— И даже этим не показывай, что знаешь.

— Да.

— Гм... Ну, словом, он скорей всего из о р д е н а...

— Из ордена? Из какого?

Вирхову показалось, что Мелик немного смутился.

— Не знаю, — с неудовольствием сказал тот. — Не знаю, точно ли он в ордене. Этого никто, кроме его начальства, я думаю, не знает. Но, во всяком случае, какие-то связи у него есть.

— Здорово! — восхитился Вирхов.

— Но ты молчи. Ни слова. Понятно?

— Да, конечно.

Перешли в маленькую кухню, помещавшуюся тут же, за стеной; бóльшая, должно быть, была внизу. Здесь стояли газовая плита на две конфорки, немецкий кухонный гарнитур, беленькие шкафчики, маленькие разноцветные табуретки и столик на жиденьких ножках. В углу висели две иконки и на стене распятие.

— Ну что ж, прочитаем молитву, — энергично сказал отец Владимир, немедленно принимаясь читать.

Все повернулись к иконам. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении...» — читал священник. Григорий Григорьевич из уважения к собравшимся крестился как православный.

Уселись. Закуска не была обильной: бутерброды с сыром, печенье. Вина не дали по случаю поста.

— Ну, так о чем же вы тут успели завести диспут? — спросил отец Владимир.

— Трудно определить сразу, — сказала Таня, все еще не остывшая от своего восторга. — Пожалуй, что о Церкви в современном мире.

— Вот как? Значит, быка за рога! — громогласно захохотал отец Владимир. — Ну что же. У Церкви и в современном мире, как и раньше, одна задача — свидетельствовать вечное и нетленное Слово Божие... Его, безусловно, можно свидетельствовать по-разному, но суть всегда одна.

— Да, — согласился Мелик, видно, тоже увлекшись и забыв о том, что хотел быть сегодня сдержан и почтителен, — но Церковь двадцатого века должна говорить с человеком двадцатого века, а не третьего и не тринадцатого. С тех пор изменились слова, изменились значения слов. Мы, например, не можем быть абсолютно уверены, что знаем, что понимал Никейский собор под словом homoousios.

— Я предпочел бы говорить, — перебил его отец Владимир, — не «Церковь двадцатого века», а «Церковь в двадцатом веке». Есть христиане двадцатого века, но, строго говоря, нет «Церкви двадцатого века», так же как нет и не может быть Евангелия двадцатого века. Церковь, подобно Евангелию, одна и едина, идет через все века. Хотя, безусловно, язык, культовые формы и формы церковной жизни могут изменяться и изменяются очень сильно. Как сказал Папа Иоанн XXIII, «Субстанция, сущность христианского учения, содержащаяся в Символе Веры, — это одно, а ее формулировка — это совершенно другое».

— Так вот, речь и идет о том, чтобы соотнести с данной нам в Откровении истиной, — сказал Мелик чуть нервно, — о которой мы как христиане знаем, что она вечна, абсолютна и окончательна, соотнести с этой истиной существенно неполные, относительные и изменчивые представления мира, где мы живем. Это чрезвычайно трудная задача. И я полагаю, что она гораздо трудней на самом деле, чем думают даже многие из тех, кто, казалось бы, серьезно глядит на вещи, — прибавил он, не удержавшись.

Вирхов понял, что это, по всей вероятности, был их старый спор.

— О, это очень интересно, — сказал Григорий Григорьевич. — Я ошень внимательно вас слушай. Мне хочется слушать, что говорят об этом у вас... Я сам много думал, как проповедовать Gospel... Евангелие теперь, молодым людям, которые не верят в Бога. Не только молодым людьям. Мне интерьесно, что об этом думайте вы, — тщательно по слогам произнес он.

Мелик, однако, уже дал волю раздражению (Вирхов подумал, что последние дни он был вообще несдержан, что-то постоянно выводило его из равновесия) и опять слишком резко сказал, к неудовольствию отца Владимира:

— Прежде всего нужно полностью дать себе отчет, что современный мир стал по преимуществу атеистичным. Нужно понять это, понять, почему это так.

Священник и Таня с некоторым сожалением смотрели на него.

— Да, мы должны это понять, — угрюмо повторил Мелик.

— Мир сей во зле лежит! — бойко вставил юноша с редкой бороденкой.

Все засмеялись. Прихлебывая чай из стакана в большом серебряном подстаканнике (у остальных были чашки), отец Владимир возразил:

— Нет, мы, христиане, не можем так запросто отдать этот мир врагу человеческому. Этот мир, он также и Божий мир. «И увидел Бог, что это хорошо».

— И, кроме того, мы не можем не думать об участи Промысла в наших земных делах, — тихо, потупясь, прошептала Таня. — Это порою трудно себе представить, особенно человеку неверующему... Но если веришь...

— Бог хотел, чтобы человечьек увидьел все, — сказал Григорий Григорьевич наставительно. — Это есть Провиданс, Промысл Божий. Все увидьел и... approbation... Как это по-русски?

— Испытал бы себя, вы, наверно, хотите сказать? — с выражением крайнего испуга спросила Таня.

— О да. Испытал бы себья. To the task of developing his human potential. Я буду говорить английский, если не знай русский слов.

— Чтобы он полностью развил бы свои человеческие возможности. Чтобы он выявил себя. Это очень верно, — одобрил отец Владимир.

— О да, да.

— Но если так, если Богу, как вы говорите, желательно, — начал Мелик, — лишь выявление само по себе, безотносительно к понятию добра и зла, то, следовательно, мы должны будем считать теологически оправданными, должны будем с богословской точки зрения признать очень многие вещи, случившиеся в истории. Что вы думаете, например, о социализме?

— О, социализм — это неплохо! Мы в Европе думаем о социализм! — воскликнул Григорий Григорьевич. Весь сияя, он повернулся к отцу Владимиру. — О, я знай, я много спорил в университет со студенты. Я говорил: у нас тоже есть плохие...

— Стороны, — подсказал тот.

— Да, стороны. Вы не увидели того, что увидели мы. Это есть абсолютизация.

— Ну, хорошо, это отдельный вопрос, мы еще поговорим об этом, — спохватился Мелик, боясь, что спор уйдет на эту бесплодную почву. — Здесь ведь можно спросить и иначе... — Он убедился, что Григорий Григорьевич слушает его, и продолжал: — Ведь выявляя себя, как вы говорите, свои возможности, до конца, современный человек становится в наши дни уже не только социалистом, но и атеистом. Вы считаете, что социализм совместим с христианством... Не будем сейчас об этом спорить. Возможно. Наш опыт в этом отношении, к сожалению, слишком своеобразен. Меня лично очень интересует эта тема, и я хотел бы как-нибудь поговорить с вами об этом. Но сейчас вернемся к тому, что, выявляя себя, современный человек часто, увы, проходит через атеизм. Этого отрицать нельзя.

— Да, нельзя. — Григорий Григорьевич весь подобрался, загораясь волнением честолюбца и от волнения начиная говорить все хуже. — Человьек не вьерит больше, что Бог сушествует. Человьек потерьял осчущений Его живой присутствий. Я думай, что это есть ошень карашо. Человьек боялся Бога. Но был прьикован к Ньему. Он жил в страхе перед Тайна, раскрыть который не мог! Он жил в страхе перед трансценденций, перьед nihil, о да, перед ничшто. Теперь, на протяжений веков, человьек убедился, что Бог ушел из этого мир, оставил его.

— Что в некотором смысле Бога нет? — заметил Мелик.

— О да. И человьек может возрадоваться, что избавлен от... необходимость иметь трансцендентный оснований. Избавлен от... from any kind of awasome mystery. (От любого рода устрашающей мистерии, — вся трепеща, однако буквально перевела Таня). — О да. От любви... ultimate norme. Да, оконшательный норма поведьений. Вообсше от что-то запредельный. Человьек находит себья теперь свободный от Бога для полнота жизни и энергии во времени и пространстве, в мире! Мы можем радоваться и творить в этот мир, в этот плоть! Трансцендентный бытие угнетает человьека. Только без него мы обретаем свобода. Всевышний Бог видьел это и в акте своей неизречьенный любовь к грешный человьек, чтобы достигайт оконшательный примирьений, Он избрал этот дорога и уничштожил себя сам.

Все невольно затаили дыхание, поражаясь этой прыткости западноевропейского ума, так легко обнажающего самые корни вещей.

— Бог умер, — продолжал между тем Григорий Григорьевич. — Вот последний и оконшательный истина нашего днья. Он умер, убил себя во Иезус Кристос. Иезус Кристос был воплотьившийся Бог. В нем Бог, трансцендентный и всемогусчий Господь, источшник и оснований бытия, приньял образ раб, стал человьек, и распьят, и умер. Здьесь... весь мосчь, заключенный прьеждье в бытии за пределы наш мир... is released into the world, — сказал он, не найдя как это будет по-русски.

Таня сидела, прижав руки к груди, вздрагивала, когда Григорий Григорьевич делал слишком резкие ударения, и не сразу нашла нужное слово.

— Неважно, — сказал отец Владимир. — Переводите: внесена в этот мир.

— О да, — кивнул Григорий Григорьевич. — В этот мир. Куда Бог вошел через Иезус Кристос. Трансцендентный царство теперь пуст. Это сдвигает наш интерес к запредьельный Бог к человьек. Избавляй нас от тяжелый страх. Это есть искупительный событий.

— И в этом заключается провиденциальность, Промысел Божий. — Таня попыталась принять тот же вид, что был у отца Владимира.

— О да.

— А как же Армагеддон?

— О, вы имеете в виду сражений перед Страшный Суд? — уточнил тот. — Я думаю, человьек сам себье есть этот послъедний сражений!

— Но ведь это ужасно так думать! — вскрикнула Таня, порывисто оборачиваясь за помощью к отцу Владимиру. — Мы же не можем так думать, мы же молимся, чувствуем живое присутствие Бога.

— Ну, ведь это же в символическом смысле, — успокоительно и со смешком возразил отец Владимир. — Я думаю, что в символическом смысле это верно.

— Ах, в символическом, — смутилась Таня. (Вирхов глядел на нее со все большим удивлением.) — Тогда, конечно, это верно. Если так, то это давно известно, — сказала она, еще немного ежась. — И Беллармин и другие в XVI веке уже писали об этом.

Отец Владимир уже совсем весело взмахнул рукой:

— Вот видите, какие у нас тут знатоки.

— Конечно, — сказала Таня, рдея от похвалы и воодушевляясь. — В XVI веке, когда начался хаос Возрождения, после того как в Средние века был уже достигнут, казалось, идеал христианской жизни, они должны были объяснить себе, почему то, что представлялось им таким прочным и совершенным, вдруг оказалось ненужным Богу и рухнуло. Они действительно объясняли себе это похоже. Они считали, что Бог хочет дальнейшего развития человека, и опыт Средних веков недостаточен, чтобы раскрыть человека в его полноте.

— О да, да, — закивал Григорий Григорьевич. — Вы читайте это? Это удивительно. У нас совсем никто это не читайт. Скажитье, как ваше имя. Я не услышал в первый раз.

— Таня, Татьяна Манн.

— О-о, — протянул он с несколько непонятным выражением, будто что-то припоминая. На его лице отразилось было удивление, брови кустиками полезли наверх, но он взял себя в руки и спросил, будто бы восхищаясь уже только ее интересом к Беллармину: — Я сам недавно читал о Беллармин... и о другие, о Молине... вы знайте? — (она кивнула). — Я читал о них книга... о, я забыл фамилий. Проклятый памьять. Я бы хотьел говорил с вами об этом еще... Не сейчас, сейчас мне надо скоро уходить. Я хотел бы еще увидьеть вас однажды.

— Да, конечно, конечно, — вспыхнула Таня. — Мы сейчас поедем вместе домой, и я дам вам свой телефон.

— Мы же собирались в Покровское с вами, — вполголоса сказал Вирхов.

— Нет, нет, я не еду в Покровское, я не могу, — быстро ответила она, уклоняясь от взгляда и снова обращаясь к Григорию Григорьевичу. — К сожалению, в Москве нет ни одной книги Беллармина, нигде в библиотеках, по-моему, нет.

— Я вам буду присылать, — обрадовался Григорий Григорьевич. — Я напишу сейчас, когда я еще в Москва, чтобы мне прислали.

— Спасибо, спасибо, — растроганно благодарила Таня.

Григорий Григорьевич между тем вынул хорошенькую черненькую записную книжку с золотым карандашиком и, полистав ее (она была с дневником), сообщил, что позвонит в пятницу с утра.

Они посидели еще немного; разговор пошел о чем-то незначительном: отец Владимир и светский юноша рассказывали о книгах, которые им удалось найти за последние недели, но Вирхов внимательно и с удовольствием слушал, стараясь запомнить новые для него имена и названия учеными трудов по религиозной философии и истории. По Таниным замечаниям тоже то и дело обнаруживалось, что и она прекрасно знает и даже читала многое из того, о чем сам отец Владимир иногда только слышал, но не мог достать. Вирхов торжествовал, покоряясь очарованию филологической мудрости, перед которой вообще всегда благоговел, совсем не владея ею.

В глубине души ему только было неудобно, что он совсем не беспокоится: умер на самом деле Бог или нет, — ему просто было приятно сейчас вдруг так запросто присутствовать здесь, быть в том кругу, куда он, в сущности, всегда мечтал войти, оказаться достойным наконец приобщиться той культуры, которой ему всегда так недоставало. Он представил себе, как сблизится с этими людьми, с этой средой, узнает то, что знают они, и был горд собой, повторяя себе, что заслужил, выстрадал это всегдашней своей готовностью признать собственное несовершенство, всегдашним недовольством собой, стремлением, насколько в его силах, это несовершенство избыть. Особенно понравился ему светский юноша: молодой человек, несомненно, не был заурядным снобом, он именно хотел, как и сам Вирхов, быть европейцем, хотел вырваться с обычного уровня поведения, держать себя так, как должен был держать себя воспитанный русский человек прежде; так, как если бы (...).

Между тем гости стали собираться. Уже в прихожей он снова спросил, поедет ли Таня в Покровское, как было договорено.

— Нет, нет, — сказала она. — К сожалению, уже поздно. Уже смеркается. Мне надо домой. Меня ждет мой ребенок. Мама сейчас там. Нет, нет, очень поздно.

— Так, может быть, мне проводить вас? — предложил он, боковым зрением улавливая гримасу, перекосившую лицо Мелика.

Она взглянула в ту сторону тоже.

— Нет, нет, — тихо ответила она. — Смотрите, сколько народу. Я прекрасно доеду. В следующий раз. Позвоните мне завтра.

Мелик стал прощаться с отцом и своими молодыми людьми. Григорий Григорьевич, чувствуя какое-то напряжение в воздухе, но не относя его к себе (возможно, он предполагал, что из-за недостаточного знания языка упустил что-то сказанное слишком быстро), только оглядывал всех своими голубыми глазами и вскидывал брови.

Окончательно распростились уже на улице. Молодые люди, Григорий Григорьевич и Таня свернули за угол, к остановке автобуса. Вирхов видел, как Таня последний раз быстро оглянулась и помахала им рукой. Он был раздражен, он махнул рукой тоже.

XI. *Затянувшийся роман*

Когда Муравьев впервые увидел Катерину, она показалась ему не слишком хороша, но она была из тех женщин, к которым он испытывал тайное влечение, и стоило ему сказать с ней два слова, как он сразу почувствовал знакомое любопытство к ее миру, ее жизни и уже не мог отойти от нее. Во всех повадках этой молодой дамы — вроде бы и вполне приличной, разве что парвеню, — ему, Муравьеву, чудился манящий привкус беспутства и авантюризма, шарм барышни, которая получила коекакое воспитание и, однако же, находила удовольствие в том, чтобы якшаться с подонками и со шпаной; Муравьева будоражила мысль, что Катерина узнала за свою недлинную жизнь довольно много и довольно много, наверное, покуролесила: он благоговел перед такими женщинами, перед тем, что они «прошли огонь и воду», что они не боялись случайных связей, вообще — перед их прошлым, воспоминания о котором несмотря ни на что так явно были им милы и которое всегда как бы стояло за ними.

Потом Катерина пересела к нему, и он подумал, как ему приятны эта откровенность и эта привычка таких девушек, демонстрируя свою симпатию, подсаживаться рядом.

Ночью она рассказала ему о себе.

Перед самой войной, шестнадцати лет, она сбежала из дома с актером едва появившегося тогда кино в Одессу. Родители были, по ее словам, люди весьма благонамеренные и добродетельные, честные провинциалы. «Наша мама, — говорила Катерина, — знала это только два раза во всей своей жизни, в результате чего и получились мы с сестрою...» Девочки воспитывались в таком же духе, но Катерина сказала, что они не верили родителям ни одной минуты с самого детства.

Актер бросил ее; она сменила несколько театров и несколько любовников. С одним из них она очутилась в Варшаве, была там некоторое время замужем за поляком (не за тем, с которым туда приехала), оставила

и его, перебралась в Берлин, оттуда в Париж, где, по ее уверениям, танцевала в кабаре; моталась по всей Европе, пока с помощью той же Анны не нашла себе места в здешнем N-ском театре. В ее рассказах и тут и там постоянно замечались противоречивость и спутанность, и можно было лишь приблизительно установить хронологию ее замужеств и переездов. Предполагая, что она о чем-то умалчивает и чего-то не договаривает, Муравьев тем не менее оправдывал это смущением, убеждал себя, что оно ему вполне понятно, и чем дольше слушал Катеринины рассказы, то сбивчивые и туманные, то, наоборот, — прозрачные, душераздирающе простые, тем сильнее ощущал себя влюбленным.

В те дни он верил, что достаточно отнестись к ней немного по-человечески, помочь участием, деньгами, как унижения и обиды, выпавшие ей на долю, забудутся. Ее житейские промахи были случайностью, а если не случайностью, то следствием необузданного воображения, — нужно было приложить небольшие усилия, растолковать, чтобы разобраться в себе и людях, и всего этого нагнетания ужасов нетрудно будет избежать. Он удивлялся той наивности, которая уцелела в ней при всех передрягах. «Да, но какая подвижность ума, какая восприимчивость! И до чего все легко и живо!» — восхищался он, глядя, как она, обрадованная, что получила наконец возможность поведать кому-то, любящему и понимающему ее, все-все, что с ней было, артистично и весело изображает своих мужей, их родственников, случайных дорожных попутчиков или описывает, чем понравились ей виденные ею города.

Она производила тогда на него впечатление очень и очень неглупой. Ему льстила роль наставника, было приятно объяснять ей, словно понятливому и способному ученику, то, как сам он понимал жизнь, а также и то, как надо держать себя Катерине в тех или иных случаях, как реагировать на те или иные поступки других. Давно известная фантазия «вытащить ее из грязи», то есть «образовать» ее, сделать из нее «даму», всерьез занимала его. Катерина с восторгом принимала эту затею, рисуясь сама себе художником, жадно вбирающим все, что может стать полезным для его искусства. Она не во всем бывала согласна с ним, иногда обижалась, отстаивая правильность своих суждений и свою независимость, и Муравьева долго развлекали эти маленькие споры, часто в постели, когда можно было предотвратить нарастающую отчужденность лаской или поцелуем. Сочетание богемной свободы и мещанской узости ее мнений представлялось ему забавным.

Так прошла зима. Непродолжительные разлуки (Катерина должна была выезжать с театром на короткие гастроли, а сам Муравьев еженедельно — в университет, читать лекции) нарушали однообразие их встреч и отношений.

Катерину распирало от тщеславия: союз с такой персоной, как Муравьев, — об этом она могла только мечтать. Она не скрывала своей гордости, не скрывала, что всегда стремилась «наверх», но на людях вела себя достаточно тонко и деликатно, чтобы выглядеть рядом с ним не заурядной кокоткой на содержании, не буржуазкой, нежданно-негаданно попавшей в «общество», а скромной и жертвенной подругой большого человека. Муравьев охотно участвовал в этой игре.

Увы, вскоре на горизонте появилось маленькое облачко, которое, как водится, стало затем подыматься, расти и так далее.

Однажды вечером они пошли к Эльзе, роман с которой развернулся у Катерины примерно в то же время, что и с Муравьевым.

Эльзе было уже крепко за сорок. Она была одинока, детей у нее не было; рассказывали, что муж ее еще до революции спился и умер. Она давно опустилась, ходила неопрятно одетой, нечесаной, много пила и, изображая добрую ленивую русскую бабу, говорила, что у нее никаких обольщений и она может себе позволить жить, как хочет, не заботясь, что о ней подумают другие. Притом ей нельзя было отказать в обаянии и характере. В городке среди русских она слыла гадалкой, утверждали, что она занимается также столоверчением и вызывает духов. Около нее образовался небольшой кружок, почитавший ее чуть ли не царицей за доброту и мудрость, она ссорила их и мирила, вертела ими по своему усмотрению и жила за их счет. Остальные — те, кто не входил в число ближайших друзей — побаивались ее, хотя за глаза говорили о ней по-разному. С некоторых пор она приобретала все большую известность уже не в качестве гадалки, но специалиста в области оккультных наук, мистика и д р у и д е с с ы. Слава о ней распространилась за пределы городка, и кто-то из университетских немцев даже спрашивал Муравьева: правда ли в N живет ясновидица и существует кружок розенкрейцеров?

Муравьев ее едва терпел. Тем вечером он не сумел этого скрыть и вызвал ответную неприязнь. Когда он с Катериной уже собрался уходить, Эльза вцепилась в него, требуя показать руку. Он протянул левую, она схватила обе и, возбужденно прыгая вокруг него, приседая, чтоб получше рассмотреть еще какую-то, ведомую только ей линию, и трясясь всем коротким телом, стала злорадно внушать ему, что он болен, болен, что печень у него уже разделилась на две половинки, что он может умереть в любую минуту, что он мелочно обидчив и скуп. «Ты болел и в детстве! — кричала она. — Болел, да еще как серьезно! Ведь я правильно говорю?»

Муравьев передернул плечами, руки его все еще были в ее потных руках.

— Нет, неправильно. Все не так, — надменно произнес он, тем не менее чуть-чуть суеверно тревожась и припоминая, можно ли назвать ту легкую форму туберкулеза, которую он перенес в детстве, опасной.

— Подожди, я еще как-нибудь посмотрю твой почерк, — разочарованно пообещала она, забывши роль добродушной и простосердечной бабы.

Муравьев почувствовал к ней еще большее отвращение, но тут же испугался в глубине души возможной вражды с нею, подумав, что Эльза в отместку наверняка будет стараться свести Катерину с кем-нибудь другим, будет стараться уложить ее к кому-нибудь в постель или изобретет что-нибудь еще похуже.

Он не осмелился сказать про это Катерине и на ее вопрос об Эльзе лишь буркнул сердито:

— Нет ни мистического дара, ни интеллекта!

Катерина стала горячо уверять его, что он ошибся, — Эльза подлинная ясновидица и ей, Катерине, сказала много такого, о чем Катерина не говорила никому никогда и чего не мог знать никто.

— Она нагадала, что у меня административные способности и что меня ждет большое будущее в театре! — похвасталась Катерина. — Мое положение сейчас временное! И потом... знаете, что она мне сказала еще? — Катерина потупилась. — Она сказала... она сказала, что... нам с вами... суждено быть вместе! Всю жизнь... Мы с вами рождены друг для друга... под одной звездой... Мы будем жить долго-долго и умрем в один день...

Он обращался к ней на «ты», она к нему — на «вы».

— Вот видишь, — сказал он, — а мне она толковала, что я болен и могу умереть в любую минуту.

— Ну и что же! Ну и что же! — запротестовала она. — Это вовсе не противоречит одно другому! Вы в самом деле можете умереть... Вы и умрете, если не будете со мной!!!

Это вывело его из себя, и он в ярости сказал Катерине все, о чем думал, все, чего, по его мнению, от Эльзы можно ждать и чего она стоит. Катерина упрямилась, плакала, но в конце концов покорилась и к утру поражалась уже, как могла быть такой идиоткой, не догадываясь прежде, что Эльза обыкновенная интриганка.

Днем она выложила усвоенный урок Эльзе, которая вовсе не была обескуражена и не стала ни в чем оправдываться, но напротив того — стала жалеть и утешать Катерину, наливала ей портвейну, повезла обедать в пригородный ресторан, потом в гости; они всюду пили, остались ночевать у знакомых, и лишь наутро в похмельном раскаянии Катерина сообразила, что против этого и предостерегал ее Муравьев накануне, и, рыдая, бросилась к нему.

Он опять пересказал ей все по порядку, все объяснив и постаравшись найти новые, еще более убедительные слова, но — к его изумлению — на следующий день все повторилось абсолютно точно — плач, пьянство, гости, похмельное раскаяние.

Затем эти происшествия (ссоры, обиды, объяснения) начали случаться чуть ли не каждый день, становясь все значительней и напряженней.

Недели через две она устроила ему первый настоящий скандал, падала в обморок, грозила выброситься из окна или разрезать себе вены; кричала при этом так, что у дома на улице собрался народ. Весь лоск будто разом соскочил с нее. Муравьев было стал убеждать себя, что она лишь, как говорится, «позволила себе», в своей беспомощности взяв напрокат чужие приемы, но быстро понял, что нет, это не так. Скандалы стали учащаться. Муравьев ощутил, что та стихия подозрений, обмана и интриг, в которую все глубже погружается Катерина, засасывает и его: в злобе и тихом бессильном бешенстве — состояниях, ставших в эти дни для него обычными, — он чаще всего уже сам провоцировал очередную вспышку. Заметив это, он даже растерялся, но поделать с собой ничего не мог. Он не представлял себе, как это он считал раньше ее способным и понятливым учеником, и роль наставника, Пигмалиона, смешила его.

Катерина в довершение всего пила, не переставая, по-черному. Никакие уговоры не действовали. Он пробовал стращать ее, что порвет с нею. Это привело к новому взрыву чудовищных пьяных истерик. Он обратился за содействием к Анне, и без того взволнованной, вместе они твердили Катерине, что вынуждены будут прибегнуть к врачам, что власти уже намерены поднять вопрос о высылке за пределы города. Катерина становилась все грубее, вульгарней, тупей. Муравьев переполошился. Катерина исхудала, сделалась страшной, на улицах простонародье задирало ее, как вокзальную проститутку. Он уже не сомневался, что это безумие. Чувство безнадежности охватило его. Он теперь мечтал только о том, чтобы развязаться с ней, хотя боялся или совестился рассуждать об этом цинично.

Вдруг пьянство само собою утихло. Катерина объявила, что собирается вернуться в Россию, и стала сторониться Муравьева.

Непрестанные толки об «организации», о «Великой России» или о «Великой Германии», патриотический пыл горожан — русских и немцев — мало кого могли оставить спокойным. Муравьев давно уже слышал от Катерины, что Проровнер очень умен и уважают его недаром, знал, что тот подолгу беседовал с ней, в ее рассуждениях обнаруживал результаты этих бесед, и, хотя ненатуральность ее ярко вспыхнувшей любви к Родине раздражала его, про себя он даже немного радовался этому, то есть радовался, что она чем-то занята, что особое внимание, которое в лице Проровнера уделяет ей «организация», так нравится ей, и возможность быть среди людей, участвовать в каком-то деле так воодушевляет ее. Что она поедет в Россию, он не допускал абсолютно, его только позабавило, когда ему сообщили, что эта взбалмошная баба внесла смятение в ряды Движения и соперничает теперь во влиянии с его вождями. Как будто это было именно так: у Анны Новиковой по вечерам все чаще говорили, что Катерина завоевала много «сторонников», и наметилось уже целое особое «течение», то есть, попросту сказать, собралась какая-то группка решивших возвратиться, причем даже Проровнер их не осуждает и признает, что «такая идея тоже может иметь место».

Муравьев был уверен, что Катерина, со всеми ее планами возвращения, как обычно, одурачена Эльзой, но зачем это понадобилось Эльзе, не знал, подозревая, что здесь могут быть спрятаны весьма опасные вещи.

В этот день он пришел к ней, чтобы в последний раз выяснить отношения и поставить точки над i.

Увидев у него в руках книгу, по которой он готовился к лекции в университете, Катерина сказала, небрежно перевернув несколько страниц:

— Следует быть очень внимательным, чтоб разобраться во всех этих течениях, которые образуют истинный сок исторического дерева белой расы.

Муравьев выпучил на нее глаза, но она лишь надменно тряхнула кудрями и продолжала, по-прежнему слегка поигрывая пальцами по страницам:

— Я боюсь, что вы, как материалист, не вполне понимаете, что научный позитивизм убивает вдохновение. Вы наверняка не знаете, например, что Клод Бернар говорил, что материализм не имеет никакого значения в физиологии и ничего не разъясняет. Достоевский был неправ, когда так пренебрежительно ругал Клода Бернара.

— Но я... не занимаюсь физиологией, — не сразу нашелся Муравьев.

— То же самое относится и к истории, — спокойно парировала она. — Вы не понимаете, что для нас, западников и кельтов, настоящим историческим преданием является предание кабалистическое... возрожденное христианством, — уточнила она, запнувшись, — которое посвященные и разные пророки старались разъяснить и сделать нам понятным. Не знать этого — доказывает невежество или фанатизм.

— Позволь, но почему вдруг вы теперь — западники и кельты? — спросил Муравьев.

Катерина немного смутилась; видно было, что ей объясняли это, но она не запомнила толком и не могла теперь пересказать.

— Ну да, — наконец вспомнила она и обрела уверенность. — Белая раса появилась вначале у Северного полюса, потому и кельты. Она была в состоянии диком, кочующем и постепенно переселялась на Юг, через бесконечные леса Конской земли, то есть нашей России, а оттуда в Польшу и Европу до земель, ограниченных с Севера Пределом душ...

— Господи, что ты городишь?! — воскликнул Муравьев, пытаясь обнять ее и усадить.

— Нет, это меня просто удивляет! — возмущенно и пронзительно закричала она, увертываясь. — Как вы могли этого не знать?! Это же смешно, смешно, ха-ха-ха! — искусственно захохотала она, падая на диван и болтая ногами. — И вы ничего не знаете о войне Белой и Черной рас?! О Волюспе?! Только прошу вас, не приставайте ко мне, — попросила она, так как Муравьев опять попытался обнять ее за плечи. — Мне сейчас не до этого.

Муравьев сел напротив нее, у стола, и закурил папиросу, чтобы чем-то заняться (он курил редко).

— Что ж, продолжай, пожалуйста, — не зная, как себя вести, попросил он. — Что же ты знаешь о Волюспе?

— Только не напускайте на себя профессорского вида. Ведь вы же не знаете этого!.. Волюспа! — произнесла она благоговейно. — Вот вы не уважаете женщин, а между тем именно женщине, ее пророческому дару обязаны белые своим спасением. Именно она была избрана невидимым миром, чтобы провиденциально влиять на белых.

— На белых? — переспросил Муравьев.

— О, только не надо этих шуток, этих намеков. Я отлично понимаю, кого и что вы имеете в виду. О том человеке, о котором вы сейчас думаете, я вам не раз уже говорила, как я высоко его ценю, чем я обязана этому человеку! — Она даже запрокинула голову и возвела глаза к потолку. — Боже мой, Боже мой, можно ли так не понимать душевного величия людей, жить с ними рядом и не замечать глубины их духа. Смеяться над ними, высокомерно считать их плебеями. — Она горько скривила тонкие губы. — Видно, правду говорят: «Нет пророка в своем отечестве!..» Нет, нет, — покачала она головой, — вы испорчены, испорчены. В ваше духовное тело проникли астральные микробы, вампиры, они впустили в вас яд чародейственной порчи... (Муравьев уже не прерывал ее). Вам, конечно, неизвестно, что существуют астральные микробы двух видов — вампиры и витализанты? Центральный орган нашего целого — наше духовное тело, Руах, Камк или Кхи, — способно всасывать в себя всякое эфирное образование, колебание или сгущение. Оно есть орган восприятия или выделения земного астрала, и благодаря ему в нас проникают различные частицы — питательные или вредные... Впрочем, вы можете прочесть обо всем этом у Фабра д'Оливе. Вам знакомо это имя? О, это великий ум, светило Пифагорейского Ордена. Их было двое, он и Сент-Ив д'Альвейдер, тот изложил вторую половину учения... И еще был Папюс, гений медицины...

— Мне кажется, что тебе не надо принимать слишком всерьез фантазии твоих приятельниц... если уж ты не имеешь силы вообще с ними расстаться.

Она долго глядела на него, не отвечая. Он знал, что говорить ей сейчас что-либо бесполезно.

Вдруг она сама, обратив к нему свое маленькое, ставшее жалким лицо, сказала дрожащим голосом:

— Как вы не понимаете, что значит для меня этот человек. Она любит меня. Вы меня не любите, а она любит... И вот, когда я вынуждена расстаться с нею, вы осмеливаетесь поносить ее, отравлять мне последние минуты прощания с нею. Я ведь расстаюсь с нею, да и с вами тоже. Как вы этого не можете понять!

— Ну, что же,— сказал он, решив быть жестоким.— По крайней мере у нас с тобой к этому шло. Рано или поздно это надо было сделать. А почему же ты решила расстаться с ней?

— Рано или поздно, рано или поздно... — повторила она задумчиво, оставив без внимания его последний вопрос. — Рано или поздно... — Она закинула ногу за ногу и закурила. — А вы никогда не задумывались над тем, что от этого бывают дети? — шепотом осведомилась она. — Вы слышите, что я говорю?..

Он не был готов к этому сегодня.

— Ну что ж, что же... Очень хорошо, если так... — проговорил он торопливо. Он понимал, что должен что-то сказать еще, но не нашел в себе сил. Им внезапно овладела усталость. Он подумал, как утомлен всем этим. Болезненная сонливость навалилась на него, веки набрякли, хотелось все время тереть воспаленные глаза, и он не удержался и потер их горячими руками, со вздувшимися, словно грозившими разорваться венами.

— Вы, конечно, думали и все еще думаете, наверное, что я вас ловлю, как обычно одинокие девицы ловят себе мужей? Вы ошибаетесь. Уверяю вас. Я не хочу удержать вас при себе. Мне это не нужно. Мне по-прежнему кажется — что я нужна была вам.

У Муравьева не хватило духу возразить.

— Мне вас жалко. — Она встала, сбросила пальто и несколько раз прошлась взад и вперед крупными прямыми шагами по комнате от двери к гардеробу. — Мне вас жалко, — повторила она, остановившись напротив него и судорожным движением стягивая на худой груди концы платка. — Вы понимаете?

— Этого не нужно, — неохотно выдавил он.

— Я не могу вас не жалеть! — воскликнула она. — Это у вас нет сердца! А мне, люблю я вас или нет, вы не можете быть мне безразличны... И я вижу, что вы сейчас в ужасном, критическом положении. Я это вижу, чувствую сердцем, — раздельно произнесла она.

Муравьев опять хотел сказать что-нибудь и не смог найти ничего подходящего.

— И кроме того, я не верю, — продолжала она уже тише, наклоняясь к нему, — что кто-нибудь способен вам помочь. Помочь по-настоящему, а не словами. Ни отец Иван Кузнецов, ни эта ваша новая пассия вам не помогут.

— Моя пассия?

— Ну, так вы собираетесь ее завести. Какая разница? Мне кажется, Вельде, например, была бы не прочь иметь с вами роман.

— Ты так думаешь?

— Да бросьте вы, — прошипела она.

Она обошла стол, уронив какую-то тряпку, и стала у окна спиной к комнате, охватив руками плечи и ссутулясь. Потом отняла одну руку, провела ею по стеклу, оперлась на подоконник. Плечи ее вздрогнули. Муравьев услышал неясное всхлипывание, не сразу догадавшись, что это именно всхлипывание. Когда в следующее мгновение она обернулась, все лицо ее уже было мокро от слез. Он не успел ничего сказать, потому что она бросилась к нему и, став на колени на диване рядом с ним и прижимая к груди, горлу и губам сцепленные руки, лихорадочно принялась убеждать его, что он находится в страшной опасности. Неужели он сам этого не видит? Вокруг него эти люди. Они ненавидят его, они способны на все. Они могут его убить...

— Боже мой, как все это ужасно! — заплакала она. — Я иногда с ума схожу от страха. Я не спала всю эту ночь. Вчера Ашмарин снова появился здесь. Я так боюсь его. Как он посмотрит на меня своими черными глазками! Ведь он убил кого-то, поэтому он и остался лейтенантом... Он был в штабе, связь не работала. Он спустился к телеграфистам и увидел, что связной положил голову на стол и спит. Тогда он выхватил револьвер и застрелил его на месте. Он был разжалован... Что вы смеетесь? Вы не знаете, а я знаю его очень хорошо. У него бывают приступы бешенства. Он сумасшедший, настоящий. Вы не знаете, а я как-то осталась ночевать с Эльзой у одних наших знакомых в Зонненбурге, и он был там. И вот ночью я просыпаюсь и вижу: он в одном белье танцует по комнате, кружится, сам с собой смеется... Я так испугалась, вы себе не можете представить. И он все время неравнодушен ко мне и пытался несколько раз подстроить, чтоб мы остались вдвоем. Я боюсь, что он убьет меня за то, что я решила вернуться в Россию.

Муравьев некстати и, сам не зная почему, к ужасу своему, усмехнулся, прикрыв рукой губы.

Она заметила, отстраняясь, посмотрела уже сухими глазами и, словно оттолкнувшись от него, прижалась в другой угол дивана.

— А почему вы, собственно, смеетесь? — прошептала она, неумело морща лоб. — Что здесь смешного? Я не понимаю, не понимаю... Ах, как вы уверены в себе... А напрасно, напрасно, — протянула она чуть нараспев. Потом, тонко улыбнувшись, добавила: — Помимо всего прочего, вы не допускаете мысли, что он тоже может нравиться мне? Ведь он красив, и он умен... Вам, кстати, он был бы интересен, — сказала она, меняя голос. — Он много видел, много знает. Он мог бы рассказать вам много интересного. Вы книжный человек, все знаете только из книг, а он знает жизнь. Но мне кажется, вы могли бы подружиться... когда меня здесь уже не будет.

«Она спятила», — подумал Муравьев.

— Что же, то ты уверяешь, — спросил он, — что это страшный человек и способен меня или тебя убить, а то хочешь, чтоб мы подружились?

Она вдруг приложила руки к животу, еще неприметному, прошептала:

— Ах, он уже шевелится, cet personnage, — и, некоторое время склонив голову набок, прислушивалась. Затем распрямилась гордо: — Я, собственно, не для того вас позвала сюда сегодня, Дмитрий Николаевич. Я хотела о многом поговорить с вами, об очень важном для меня. Но я вижу, вы не в настроении. И вряд ли когда-нибудь будете в настроении. Мне вас жаль. Разговор наш не состоится. Нет, нет.

— Я все-таки не понимаю, — сказал Муравьев, — зачем тебе все это? Я тебе помогу. Ты не будешь нуждаться ни в чем. О куске хлеба ни тебе, ни твоему ребенку заботиться не придется, обещаю тебе. Но если ты уедешь, то мне гораздо труднее будет сделать для тебя что-нибудь. По совести сказать, я не представляю себе, как это организовать. Советую тебе подумать.

— К сожалению, уже поздно, — прошептала она застывшими, обескровленными губами. — Документы уже оформлены.

Услыхав про документы, Муравьев удивился; он не предполагал, что дело зашло так далеко. Он знал, что Катерина еще с кем-то несколько раз ездила в Берлин, в советское консульство, где будто бы их принимали любезно, подолгу беседовали с ними и очень обнадеживали, но все равно не верил, что это что-нибудь значит, и спорил по этому поводу с Анной Новиковой, утверждая, что даже если те, советские, согласятся, то испугаются эти и откажутся в самую последнюю минуту.

Теперь он повторил то же самое Катерине. Он повторил ей, что ничего у нее не выйдет, а если выйдет, то ему будет трудно ей помогать.

Она слушала его нетерпеливо, притоптывая ногой. При последних словах на лице ее отразилось непомерное, аффектированное изумление.

— Боже мой! — пронзительно закричала она. — Боже мой, это вы, это вы говорите мне о помощи?! Несчастный, несчастный, — сказала она уже тише, жалостливо и ласково глядя на него (он был разозлен). — Разве вы можете мне помочь? Разве это вы должны мне помогать? Это я могу помочь вам, я! Понимаете?! Но не думайте, что я буду уговаривать вас вернуться ко мне, не пугайтесь. — Она заметила какое-то его движение. — Вам нужно вернуться не ко мне... Вам нужно вернуться в Россию!..

Она выждала паузу. Муравьев рассмеялся. Тогда, схватив его за руку, вся в невероятном волнении, она поспешно и таинственно зашептала

ему, что он должен уехать, должен вернуться, смирить себя и что она поможет ему, если он хочет, — к ней хорошо относятся в консульстве.

«Вас простят, вас простят», — вдруг стала повторять она. Это взбесило его окончательно.

— Ну, хватит. Все это вздор, — резко сказал он. — Я бы на твоем месте все-таки подумал бы о том, как получше устроиться здесь. Не обманывайся, тебя не пустят.

— Меня? — воскликнула она. — Меня не пустят? А это что, смотрите!

Она распахнула сумочку и замахала перед его носом гербовыми бумагами.

XII. Дом в Покровском

В электричке было много народу. Вирхов и Мелик стояли в тамбуре, тесно прижатые друг к другу, но разговаривать было неудобно, и они молчали.

Приехали, когда на улице совсем стемнело. Они вышли на заасфальтированную, слабо освещенную площадь, заставленную пустыми автобусами. Пройдя дворами — это была городская часть поселка, с многоквартирными кирпичными домами и недавно выстроенными стеклянными магазинами, — они долго шли по шоссе, вдоль линии, затем пересекли ее; по узенькой тропинке, не сразу отыскав, выбрались на дорогу к первому ряду дач и свернули в темный проулок.

Вирхов возлагал на сегодняшний вечер какие-то надежды. Теперь, когда это не состоялось, он не ждал от поездки ничего хорошего, хотя обычно ездил сюда с удовольствием — з а н а б л ю д е н и я м и, внимательно слушая, стараясь запомнить логику споров и выражения и мысленно возводя всех присутствующих в герои того самого, давно задуманного, но все никак не получавшегося романа.

Мелик тоже был чем-то раздосадован. Вирхов подозревал: тем, что снова не сдержался. В присутствии этого священника, явно желавшего найти для себя и для других во всем идеальную линию равновесия, не следовало столь резко говорить об атеизме; в конце концов это могло повредить Мелику в глазах того круга, куда он так стремился попасть.

Наконец Мелик устал молчать:

— Почему этот интеллектуализм так привлекателен для людей? — спросил он, как бы продолжая разговор с самим собой.

— Ты о чем?

— Да вот о том, что этот тип, Гри-Гри, — почему-то презрительно обозвал его Мелик, — сразу растаял. Беллармин, Беллармин... Черт знает что такое! Ну, скажи честно, разве то, о чем спрашивали мы, не заслуживало большего внимания?

— Вообще-то он отвечал достаточно серьезно, — возразил Вирхов, пытаясь наружно сохранить объективность, тогда как на самом деле ему понравилось, что Мелик так ловко наименовал того. Он вспомнил, что Таня поехала домой с этим непонятным человеком, и внезапно вспыхнувший в том интерес к ней и ее знаниям стал казаться ему достаточно странен. — Но это, конечно, привлекает в хорошенькой женщине, — сказал он.

— Ну нет, — Мелик покачал головой. — Этого мне не хотелось бы думать. Иначе в данном случае все рушится. Хотя и так-то все довольно глупо... В сущности, должно было быть по-другому. А получилась одна болтовня и ни слова о деле. Что за безобразие! «Социализм, у нас тоже есть теневые стороны»!

— Да, они все социалисты... Это ведь не в первый раз такие споры с иностранцами... Скажи, а он точно?..

Мелик резко остановился и взглянул на него:

— А почему ты спросил?

— Как-то непохоже. Все эти речи, социализм, смерть Бога, Таня... Это что-то странное. Я, по совести сказать, представлял их себе не такими.

— Нет, это точно. Это он, думаю, специально. Они, знаешь ведь, ловят, присматриваются. У них своя политика, своя стратегия... А тебе показалось, что он говорил о смерти Бога не в символическом смысле?

— Мне? Я даже не знаю. Я так и не понял.

— Да... — протянул Мелик. — Кто знает, конечно...

— А откуда он вообще там взялся?

— Понимаешь, его привела к отцу одна знакомая... из н а ш и х. Я ее хорошо знаю тоже. — Он помялся, говорить или не говорить, как ее зовут, потом все же решил, что не сказать неудобно, Вирхов может обидеться. — Да... такая Мария Александровна. Не встречал никогда? Она двоюродная сестра одного покойного теперь уже епископа. Дама вполне достойная. Вообще близка к Патриархии. Там, конечно, дело не вполне чисто. — Он не сдержал усмешки. — Может, она ему и не сестра была... Ну, да это неважно. Важно, что в Патриархии ее знают и она пользуется влиянием. Насколько это возможно у нас. Разумеется, церковной политики она не делает. Но она получила кое-что от брата. Квартира, дача. Кормит хорошо. Надо будет тебя как-нибудь к ней свозить. Обстановка любопытная... какие-то племянники, пожилые девушки. Ну и вообще масса народу. М-да... Так вот она и привела его. Нет, нет, она, конечно, вне подозрений, — замотал он головой, видя, что Вирхов сделал какой-то жест. — Тут скорее дело в другом может быть, — сказал он, смущенно потерев лоб рукой. — Дело в том... что она, если уж говорить совсем честно, дура набитая, каких мало. Идиотка стопроцентная, хоть и добрый человек, — поспешно прибавил он. — Так что могла и не разобрать, кто он. Вот как... Но ведь, с другой-то стороны, мы этого проверить никак не можем!

Начался квартал л е т н и х дач, наглухо заколоченных, с окнами, закрытыми на зиму ставнями. Лишь впереди, где-то там, где проулок пересекала дорога, виднелся слабый фонарь да редко-редко из глубины участка пробивался тусклый огонек. Они миновали фонарь, отовсюду подступила чернота, и пасмурное небо без звезд гляделось светлее меж расступившихся наверху ветвей. Дорогу освещали не стаявший еще снег у заборов и ледяная корка в колеях. Мрак подступал волнами, все мерцало и двоилось, дорога уходила куда-то в сторону, и Вирхов с Меликом вдруг оказывались по щиколотку в осевшем снегу. Дачи слева кончились, там чуть бледнел осинничек.

— Черт возьми! — закричал вдруг ни с того ни с сего Мелик. — Весь ужас нашего положения в том, что мы ничего ровным счетом не можем проверить!

Провалившись еще раз, тяжело дыша, он схватился за сырые доски пошатнувшегося забора.

— Да, конечно, проверить трудно. — Вирхов понял, что мысль об иностранце не оставляла его.

— Трудно, — повторил Мелик, но не успокоился. — Невозможно! Вот ведь в чем штука. Причем, посмотри, невозможно уже не в трансцендентном каком-нибудь мире, где действительно в с е к о н ц ы в в о д у и вроде бы все — остается одна вера... А невозможно именно здесь, у нас, «во времени и пространстве», — передразнил он Григория Григорьевича. — Здесь, на земле, по которой мы ходим и которую можем пощупать, мы ничего не знаем и ничего не можем узнать! Вот что хуже всего.

— Это и есть, наверное, то, что называется взаимопроникновением трансцендентного и нашего миров, — неуверенно сказал Вирхов.

— Ты думаешь? — вздохнул Мелик, отпуская забор и вычищая пальцем снег из ботинок. — Может быть, — сказал он, разгибаясь. — Я-то имел в виду более простые вещи. Но, может быть, ты и прав.

— Какие вещи?

— А такие, ч т о э т о п р о к л я т а я с т р а н а! — громким шепотом сказал Мелик, оглядываясь и пристально всматриваясь в темноту. — Да. Именно поэтому. Потому что это з д е с ь ни в чем нельзя быть уверенным. Это здесь ничего нельзя узнать и ни в чем нельзя быть уверенным. Только потом что-то обрушивается на тебя, и ты даже не знаешь откуда. Ничего не происходит, ничего не случается, а потом... Я н е в е р ю, ч т о-б ы в А н г л и и, н а п р и м е р, б ы л о т а к ж е.

— Ну, а все-таки как быть с этим, с Гри-Гри? — спросил Вирхов.

— А что все-таки? — ответил Мелик, подумав. — Он, безусловно, мо-

жет быть кем угодно. Кто может поручиться, что мы не встретимся с ним очередной раз уже на следствии?.. Посуди сам, откуда я могу знать. Эта дура Марья Александровна... Хорошо еще, что не говорили лишнего. Это уж прямо Бог упас.

— Что именно?

— Да вот, что вышел такой оборот разговора.

— Вот как?

— Ну да. Я ведь думал поговорить с ним о наших делах.

— Да вряд ли это стоило. Да им, наверно, этого и не нужно. *Мало ли у них было за всю историю неприятностей*, чтобы связываться с нами.

— Бог упас, — повторил Мелик немного по-бабьи.

Дачи кончились и с другой стороны. Теперь нужно было пройти ельником, подняться к запруде; дальше, мимо леса, дорога вела к деревне.

— Все как в вату, — сказал Мелик, прислушиваясь к заглушенному сыростью звуку падавшей через запруду воды. Он прислушался еще, и в неясном свете тумана, стлавшегося над незамерзшей водой, Вирхову померещилось, что на губах его бродит усмешка. — Ха-ха-ха, — рассмеялся Мелик. — А ведь я жил здесь в детстве! Вот как странно бывает. — Ему, вероятно, хотелось сказать еще что-то, но он поспешно отогнал от себя эти воспоминания и угрюмо произнес опять: — Как в вату. Как в пропасть или как в вату. Все глохнет, любое усилие... Я не могу, так нельзя жить. Надо уезжать отсюда. А как отсюда уедешь? Угнать самолет? Жениться на еврейке, уехать на «историческую родину жены»? Не в этом дело. Уехать теперь как-то еще можно. Можно перейти границу. Можно жениться на еврейке. Можно угнать самолет. А что дальше?! Там-то мы ведь тоже никому не нужны! Слыхал, как Целлариус сказал вчера? — спросил Мелик. — «Средняя цена, средняя цена!» Это точно, между прочим. У него она есть, а у нас ее нету. На тебя это не произвело впечатления? А я запомнил. Проклятый жид. Это верно, у нас ее нету. Нужен капитал... Какой угодно. Чтоб был *задел*. Чтоб приехать туда не с пустыми руками, ты понимаешь? — сказал он страстно. — Денег нет, значит, нужно *паблисити*... Но у нас, в нашем положении, паблисити — это только сесть в тюрьму! Вот как! Замкнутый круг.

Он расхохотался, но тут же стих. Осторожно ступая, чтобы не поскользнуться, они перешли шаткие, полуразваливающиеся, с обломанными перилами мостки через протоку.

— Это все так, но надо бы все же выяснить, кто он, — сам не зная зачем упрямо повторил Вирхов. — А то какое-то сгущение, вчера Лев Владимирович, сегодня этот.

— А как проверить? В гостиницу к нему не пойдешь в нашей стране, не проверишь. И в университет тоже, — зло отозвался Мелик, цепляясь за куст, потому что на скользкой дороге вверх по склону их снова начало заносить вбок. — Ну, хорошо, — заключил он вдруг, снова становясь строгим и как будто сожалея, что наговорил лишнего.

Впереди, меж редких деревьев, на опушке, показались огоньки Покровского — большое светлое пятно, обозначавшее площадь перед магазином рядом с разрушенной, ободранной церковью.

— Надо чего-нибудь взять, — предложил Мелик.

Они свернули к Покровскому, к магазину, и постояли в длинной безалаберной очереди *местных*, сошедшихся сюда из окрестных деревень, где не было своих магазинов.

Некоторые лица казались знакомыми. Какая-то старуха все приглядывалась к ним, но они сделали вид, что не замечают ее.

— Одну или две? — спросил Вирхов перед самым прилавком. — Ты как, постишься?

— Пощусь, но сегодня выпью, — почти беззвучно прошептал Мелик, так что Вирхов скорее догадался по движению губ, чем услышал.

— Давай, давай! — закричала продавщица с пьяным красным лицом. — Сейчас закрываем.

Очередь взволновалась и стала теснить их.

— На́ деньги. — протянул Мелик. — Бери, бери. У меня сегодня есть. — Ты, наверно, и так протратился, а тебе теперь надо экономить.

Они взяли две бутылки, сунули их в карманы пальто. Мелик озирался по сторонам, печально посматривая на церковь, мимо которой они проходили, и отыскивая в темноте какие-то другие, известные ему одному приметы.

— Да, нелегко тебе будет с непривычки, — сказал он. — Надо тебя, может быть, где-то возле церкви устроить. Знаешь, сторожем каким-нибудь или в этом роде, келарником. Не хочешь попробовать?

Вирхов пожал плечами.

— Не знаю, надо подумать.

— Подумай, подумай, — сказал Мелик. — К этому не надо, конечно, относиться как к чему-то такому, *что в корне изменит твою жизнь*. Если ты захочешь, ведь всегда можно *выйти*.

— А как у тебя самого дела в этом плане? — осторожно поинтересовался Вирхов. — Что-нибудь получается?

— Пока что не очень, — сухо ответил Мелик. — Как-нибудь расскажу. Там много сложностей. Сейчас не хочется...

Дом их друзей стоял на отшибе. Большой, обшитый досками, он был построен на высоком фундаменте, на склоне широкой ложбины, фасад его был заметно выше тыльной стороны; от этого дом казался почти двухэтажным. Впрочем, чердак его тоже был обжитой, летом и до самых холодов в мансарде всегда жили.

Старый хозяин, построивший дом в конце двадцатых годов, куда-то делся во время войны; деревенские не могли сказать точно — в самой деревне не осталось почти никого из прежних. Жену его помнили лучше, потому что лет пятнадцать назад она вдруг заявилась сюда умирать, заболев на крайнем Севере чахоткой. По причине болезни ее чурались и не смогли выяснить всех обстоятельств жизни ее и мужа. Поговаривали только, что у них прятался в начале войны не то дезертир, не то беглый — их родственник. Говорили тоже, что старый хозяин был не то старовер, не то сектант.

Со смертью бывшей хозяйки в доме осталась только ее сестра, учительница местной школы, вышедшая теперь на пенсию. Она приехала сюда еще перед войной, и тогда же зять выделил ей две комнаты и построил особый вход. Там старуха и доживала свой век. Она боялась быть одна, а кроме того, хотя дом и значился ее собственностью, но находился в ведении поселкового совета, и совет этот постоянно был недоволен, что одинокая старуха владеет целым домом. Поэтому она, в общем, охотно пустила к себе молодых людей. Мелик состоял с нею в дальнем родстве; он-то и указал им на Покровское и привел к старухе, которую называл тетей. Он обмолвился как-то раз, что с этим домом у него связано очень и очень много, но подробнее, что именно и как связано, никогда никому не рассказывал.

Из молодежи здесь в свое время поселились двое — сын Льва Владимировича Сергей и его троюродный брат по матери Борис. Ольгин племянник, Алексей Веселов, жил в самой деревне. Там прежде жил и Григорий. Митя Каган сразу же поселился отдельно, в трех километрах отсюда, и преподавал в тамошней школе. Еще кончая свои институты, они все, кроме сына Льва Владимировича, одного за другим начали рожать детей; сейчас у них всех было уже по трое, а жена Бориса Ирина носила четвертого.

Старуха хозяйка относилась к ним безразлично. Хотя к ним почти каждый день кто-нибудь приезжал и часто пьяные гости орали, стучали кулаками по столу, плясали и пели песни, ей, вероятно, все же было не так одиноко и страшно. Но она вообще была человек странный.

Даже к Мелику она относилась равнодушно; бывая здесь, он иногда заходил к ней или окликал ее, бродившую по двору в мужской шляпе и пиджаке или в шапке-ушанке и ватнике, всегда в длинной деревенской ситцевой юбке, из-под которой видны были сношенные грубые ботинки или кирзовые сапоги, она без улыбки отвечала, они перебрасывались несколькими незначащими словами, и он возвращался с кривою усмешкою, не объясняя, о чем они говорили, вздыхая только, что старуха совсем выжила из ума.

Жильцы не могли ее понять и к ней привыкнуть и немного заискива-

ли перед нею, боясь, что она знает их нелепую, запутавшуюся жизнь, презирает и осуждает их за нее, но не смеет отказать им, чтобы не остаться одной.

Проверить, так ли это, было, однако, трудно. Старуха только окидывала их неподвижным пронзительным взором и уходила, и они не могли взять в толк, знает она или нет. Но это и вряд ли можно было понять. Они и сами толком не понимали, что тут можно знать, а что нет.

Сначала все шло отлично: они уехали — толстовствовать и немало удивили этим старших. Они сразу стали со старшими как бы на равных, и те тотчас признали это и ездили к ним в деревню как к друзьям, почти забыв о разнице в возрасте, и Хазин связывал теперь свои надежды и проекты уже с ними и тщеславно думал, что нравственность и воля были разбужены в этих мальчиках благодаря его непосредственному влиянию, его воле, его беспокойству. Летом, когда они переехали туда, все было хорошо. Лето стояло теплое, сухое, и хотя в двух семействах уже были дети, тяжести деревенского быта, страшного для непривычных городских — даже выросших в простых семьях и коммунальных квартирах, — еще не чувствовалось. Дети ползали по саду на одеялах, стирать можно было прямо у запруды, а готовили чаще всего на дворе, разводя огонь в вырытой и обложенной кирпичами ямке.

Осень тоже выдалась удачной, грибной. Вокруг было очень красиво, с крыльца вниз через овраг далеко и нежно светился золотом облетавший лес, и эта красота, которую они, горожане, впервые видели так долго, так близко, словно ободряла их и подтверждала им, что все правильно, все будет хорошо.

Ужас начался позже, с наступлением холодов. Старый дом не держал тепла; отсырев осенью, стены обрастали инеем, изо всех щелей и из подпола дуло. Они так и не могли протопить дома, несмотря на то, что пытались теперь поддерживать огонь в печке круглый день. Это все равно было нужно, потому что нужно было все время греть воду для стирок, для одной бесконечной стирки, и готовка, конечно, тоже теперь шла здесь же. Печка то и дело прогорала и выстывала; к тому же примерно с середины зимы они стали бояться, что у них не хватит дров на всю зиму, а срубить дерево в лесу, они знали, что не осмелятся, хотя план этот и обсуждался многократно, особенно подвыпившими гостями. От холода, сырости и сквозняков начались детские болезни, одна за другой, с небольшими перерывами, лишь только ветер менялся и задувал через поле, со стороны деревни. Надрывный плач ребенка и жуткие ночные страхи бессильных помочь ему неопытных родителей, лишивших себя даже обычной помощи бабки, которая помнила бы хоть что-нибудь, что полагается делать в таких случаях, быстро изматывали их. Истощенные бессонницей, раздраженные, они являлись наутро в школу, туда, где от них требовались осторожность и систематичность — в отношениях с коллегами не меньше чем с детьми, — и усталые, раз за разом срывались, допуская малоприметные, но важные ошибки, больше и больше сами все портя. Любопытство, которое они сперва возбуждали здесь, мало-помалу притуплялось. Сбитые с толку местные, и впрямь, на какое-то время усомнившиеся: а может, в самом деле из этого что-нибудь получится? — теперь приходили в себя, видя бледные, тонкие, потерявшие выражение уверенности лица толстовцев или, зайдя к ним домой, — их жен, зачумленных и угоревших от кухонного чада и рано закрытой печки. Стоя у порога, местные качали головами и уходили с чувством успокоенности, убедившись уже точно, что у этих ничего не выйдет, а у них самих останется все как было, жизнь будет течь, как текла, как ей нужно, и эти неведомо откуда и зачем тут взявшиеся уйдут, исчезнут, словно и не появлялись никогда, и память о них забудется, как забылась память о прежнем хозяине этого дома. Сознание этой не то чтобы неизменности, но скорее непрерывности жизни, которая шла вокруг них по своим законам и не могла быть нарушена, рождало у местных гордость за себя, и это передавалось их детям, тоже быстро научившимся смотреть презрительно на приезжих. Они тоже, может быть, еще тверже, чем родители, вдруг поняли, что ничего не будет, из затеи этих ничего не выйдет, а в их собственной жизни ничего не изменится.

Но сами приехавшие, еще долго спустя после того, как местным было все ясно, не осмеливались произнести даже не вслух, а про себя, одними губами эту простую истину об отъезде. Правда, и уезжать было особенно некуда: в Москве у них не было жилья, только крохотные, отрезанные от родителей углы да комнатушки, и надо было заново устраиваться и искать работу. Кроме того, летом все беды стали забываться, природа снова улыбнулась им, и они подумали, что смогут не только продержаться ради спасения чести кое-как еще зиму, но проживут ее гораздо лучше, совсем не так, как эту, набравшись опыта и приготовив все заранее. Их, однако, ждало еще новое, неизведанное и непредвиденное дело.

Лето было дождливое, и летом, где-то на переломе, начались женские измены — как дожди, однообразные и безостановочные, отнимавшие надежду на что-нибудь иное. Измученные, обозленные жены, чуть окрепнув в первые месяцы лета, мстили как могли за интеллектуальный обман, которым завлекли их сюда, и, словно предчувствуя новых детей, новые бессонные ночи, новые стирки и грязь, спешили взять хоть немного быстрого летнего счастья на теплой прелой лесной траве, совращая примером одна другую, наскоро меняясь мужчинами, подставляя мужьям своих подруг и поспешно, на ходу придумывая ложь, которая была тем сложнее и несуразней.

Во вторую зиму женщины ходили беременные, но, кажется, не прекращали своих авантюр, и одному Богу было известно, от кого какие должны были быть дети. Тогда-то оскорбленный, презирая до глубины души тех, кого он полтора года назад считал единственно близкими ему людьми, первым уехал Митя Каган, за ним летом — Григорий, а остальные прожили лето, осенью попытались отправить детей с женами в город, но там тоже надо было устраивать быт; начались скандалы с родителями, и вышло так, что еще одну зиму они все, главным образом женщины с детьми, мотались в город и обратно, вперед и назад, после скандалов и ругани, если не драк, и тут и там.

Переехав в Москву, они готовы были ненавидеть деревню, им было страшно вспомнить о ней, но, видно, что-то безудержно тянуло их туда, и следующим летом они сняли этот дом уже как дачу, на другое лето приехали снова; приезжали и зимой. Хозяйка по старой памяти пускала их за небольшую плату. Теперь, научившись зарабатывать деньги, они разохотились и даже поговаривали о том, чтобы купить этот дом (половину) себе в собственность. Старуха была согласна и уступала задешево, чуть ли не как дрова. Они уже договорились с сельсоветом и должны были вот-вот оформлять покупку, как вдруг дело по неизвестной причине застопорилось; зампредседателя, обещавший все сделать, стал бегать от них, и они не могли понять, где ошиблись.

С покосившегося крыльца без перил Мелик и Вирхов взошли в дом, в холодные сени с устоявшимся запахом керосинок. Не нащупав в темноте скобы, они потянули за отставший дерматин дверной обивки и перешли в другие, теплые сенцы, откуда слева вела крутая лестница на чердак, в мансарду, а дверь справа в жилые комнаты. За нею были слышны детский плач и смех мужчины, подтрунивавшего над ребенком. Мелик, шедший впереди, наклонил ухо к двери:

— Это что же, Левка снова здесь?

— Кажется, да. — Вирхов в темноте наткнулся на него.

Мелик трижды стукнул кулаком по косяку и дернул дверь.

— Это что, заперто?! — закричал он, встревожась, так как дверь не поддалась.

Он рванул еще раз, дверь отворилась. Они вошли в крошечную кухоньку, где беременная Ирина в замызганном переднике возилась у печки.

— Что, так постнишься, что сил не стало? — спросила она, распрямляясь.

— А ты что в таких опорках ходишь? — огрызнулся Мелик, взглянув на ее ноги в разодранных и разрезанных валенках: у нее было варикозное расширение сосудов. — Смотри, как старуха скоро будешь.

— Ладно, иди, иди, — сказала она. — А ты, Вирхов, тоже хорош, подобрал себе приятеля.

Вся кухня была шириной в два шага. Дальше, через проем со снятой дверью и отброшенной сейчас, тоже замызганной занавеской, была комната, оттуда выглядывали сидевшие за столом гости — Ольга,

Лев Владимирович и вчерашняя беленькая приблатненная девушка. Там был и еще кто-то.

Мелик уже вошел туда и, сняв пальто, бросил его на кушетку в углу; кроме стола, кушетки да тумбочки с радиоприемником в комнате ничего больше и не было. Вирхов вошел следом. Под потолком горела лампочка без абажура. За непокрытым столом, где стояла лишь кастрюля с остатками супа, несколько граненых стопок и чашек да лежал прямо на столе искромсанный хлеб, сидели еще Григорий и сын Льва Владимировича Сергей с горлом, обмотанным шарфом. Дверь в другие комнаты была закрыта. Теперь она отворилась, и маленькая девочка с грязными босыми ножками появилась на пороге, щурясь на яркий свет.

Ольга, перегнувшись к ней, спросила:

— Тебе чего, Сашенька?

За дверью послышался стук еще одних детских ног, уже обутых; зареванный мальчик лет пяти — Леня, старший сын Ирины, высунулся оттуда и, схватив за руку, увел сестренку. Потом он вышел снова и, все так же хмуро оглядывая присутствующих глубокими темными глазами с синими обводами вокруг, лег на кушетку, подперев голову рукой.

— А где прочие? — поинтересовался Вирхов.

Выяснилось, что Борис с Ольгиным племянником отправились в сельсовет, узнавать насчет дома. С ними увязался и вчерашний именинник, утверждавший, что — по святцам — именины у него и сегодня тоже. Мелик удивился, что тот еще на ногах.

— Едва-едва, — сказал Сергей простуженно. — Я боюсь, что они его потеряют по дороге. Вы их не встретили? Их что-то долго уже нет.

— А именинника-то зачем пустили? — упрекнул Мелик.

Ирина крикнула из кухни:

— Он, конечно, надеется, что ему удастся перехватить еще в магазине! У него рубль-то уж припасен!

Сын Льва Владимировича Сергей, потупясь, сделал гримасу, изображавшую, что он улыбается. Здешние очень чтили его, и то же самое старшие. Он был способный лингвист, но его губило странное, несколько как бы заторможенное отношение к жизни, с немного печальным любопытством к элементарным, первичным, земным ее формам (Захар, конечно, уверял, что это буддийское). Сейчас Сергей был болен, это состояние было органично ему при его всегдашнем интересе к жизни тела, но одновременно как-то особенно унижен, обостренно ощущая здоровье каждого из присутствующих здесь и особенное здоровье своего неувядающего отца. Он сидел сгорбясь, глубоко запрятав подбородок в шарф, а зябнувшие руки в карманы, ни на кого не глядя, и если начинал говорить, то лишь о том, как локализуется в нем его простуда, кочуя по зеву, гландам и бронхам из одного места в другое.

Мелик достал из своего и вирховского пальто, бесцеремонно стряхнув лежавшего на них мальчика, обе бутылки.

— Смот'рите, смот'рите! — закричал Григорий.

— Да, теперь напьемся, — заметил Лев Владимирович, посматривая на беленькую девочку.

— Если еще и те принесут, тогда — да. — Она курила и пускала дым кольцами.

За вчерашний вечер она поняла, что прежняя ее роль и повадка здесь не вполне подходят, ей хотелось быть уже другой и войти в эту компанию не приведенной для экзотики б..., а на равных с остальными, светскими и интеллигентными женщинами, но она еще не совсем представляла себе, что именно она должна делать, и держалась немного принужденно, присматриваясь и жадно запоминая, как ведет себя Ольга и что говорит Ирина, о которой она слышала, что та очень умна.

— Да, — неизвестно чему радуясь, подмигнул Лев Владимирович. — Деловые люди стали. У всех дела!

— Перестаньте! — воскликнула Ольга. — Они, быть может, зашли к Алешкиной хозяйке. Там девочка больна, — прибавила она боязливо, с тем выражением, с каким могла бы сказать это Таня.

Возможно, это было у нее подсознательное: ей все время хотелось спросить, почему они пришли одни, раз она знала, что они должны приехать с Таней. Наконец она не выдержала:

— Ну, а как ваша поездка? Как святой человек?

— Ты о ком? — холодно спросил Мелик.

— Да о вашем, как его? Отец Владимир Шапиро, так, что ли?

— Отец Владимир Алексеев, — надменно поправил Мелик.

— Все одно, — дерзко сказала Ольга. — Как его паства, все разбредается?

— Нет, не разбредается.

— Ну, а тебе как? — не унимаясь, обратилась она к Вирхову.

Тот повертел в руке стакан с водкой.

— Я как-то не составил себе ясного мнения, — промямлил он. — Ничего, милый человек, — постарался он произнести насколько мог непринужденней.

Они выпили. Вирхов заглянул в кастрюлю; там на дне были остатки как будто уже прокисшего супа. Он не стал есть и отломил хлеба.

— А я, — начал Григорий с необыкновенно глубоким и сильным выражением, какое у него иногда бывало, — я не ве'рю, что священник русской П'равославной Це'ркви (...) вполне чист. Когда я стою в це'ркви, я пытаюсь заставить себя не думать, но последнее время не могу. Я знаю, что сошествие Духа святого может быть независимо от земных дел, что орудием святого Духа может стать последний каторжник... Но для себя, когда я вижу эти довольные, сытые лица, я не могу не сомневаться. Как могут эти люди общаться в своей Пат'риа'рхии с явными агентами КГБ, а потом совершать таинства?! Не теряют ли от этого таинства силу?! Ну вот скажи, — обернулся он к Мелику, — с канонической точки зрения, таинства не теряют силу от того, кто их совершает?

— Это сложный вопрос, — ответил Мелик, — но если священник рукоположен по чину, то есть если рукоположение совершено прежде всего лицом, которое само обладает на это правом в силу апостольской преемственности, а вновь рукоположенный не нарушил ничем...

Григорий, не дослушав, махнул рукой.

— Не нарушил ничем! — Он передернулся от отвращения и с ненавистью посмотрел на Мелика, собираясь еще что-то сказать; потом передумал и отвернулся, прикрыв глаза большими веками.

— Но тут дело, по-видимому, в том, — попыталась помирить их Ольга, — что мы все равно должны поддерживать эту Церковь, потому что помимо нее у нас нет ничего другого. Если мы хотим, конечно, чтобы все это (...).

Григорий секунду или две смотрел на нее неподвижным безумным взглядом, потом вскочил так, что она отшатнулась.

— Вот это и есть ложь, ло-о-жь! — завопил он истошным голосом. — Это самое страшное, что может быть, потому что мы этим обманываем себя! Мы договорились между собою, что это так, мы приняли это условно, из внешних соображений, которые не имеют к религии никакого отношения! Это как сейчас в Из'гаиле. Они тоже приняли это. Во имя интересов государства они согласились считать, что ве'рят в Бога!

— Ты-то откуда знаешь, согласились или нет? — спросил Лев Владимирович.

— Я знаю! — гневно крикнул Григорий. — Вон Алексей получил письмо от Фельштейна.

— Это какой Фельштейн? Тот самый?

— Из Таллина. Который играл с Алешкой на скрипке, — объяснила Ольга, — математик. Помнишь?

— Он уехал? — поразился Лев Владимирович. — Я не знал. Где же он сейчас?

— В Иерусалиме.

Григорий вымолвил это с трудом, как бы стыдясь заранее, что сам он все еще не там, и зная, что Лев Владимирович не упустит случая пройтись на его счет.

— Замечательно! — и в самом деле восхитился Лев Владимирович. — Вот видишь, и тебе надо ехать туда, а не валять дурака. Давно бы уже все там были, а вы все только языком мелете. Да, — вспомнил он, — письмо. Так о чем же он пишет?

Григорий не ответил.

— Ну все же.

Григорий с тоскою поднял круглые глаза, в которых постепенно, по мере того как он их подымал, разгоралось негодование.

— Он пишет, что был у «Стены плача»...

— У «Стены плача»? Великолепно!

— ...И стоял там на коленях, и молился.

— Так что ж в этом плохого? — удивился Лев Владимирович, окончательно с барскими или, вернее, актерскими интонациями.

— Плохого? — опять возвысил голос Григорий. — А плохого то, что ведь он не верит в Бога. Да, не верит! Ведь когда он был здесь, он смеялся над нами! Он гово'гил: «Неужели вы это серьезно?» Он говорил: «Неужели вы думаете, что это кому-нибудь сейчас нужно?» Так почему же он сейчас пишет «Х'рани вас Бог»? Какое он имеет на это право?

— Так, может, он обратился, — сказал Мелик.

— Да, это не доказательство, — согласился Лев Владимирович. — Подумаешь, вчера не верил, сегодня раскаялся и поверил.

— Нет, я знаю, что нет! — отрезал Григорий. — Я знаю его хорошо! П'росто, поехав туда, он согласился, как и все остальные, считать, что нужно думать так, а не иначе, нужно принять этот образ мыслей. Во имя победы, во имя единства государства... Но это не имеет ничего общего с Богом!

Остальные пожали плечами, и Мелик налил еще по одной. Снаружи хлопнула дверь, из сеней раздались по дому топот и шарканье неверных шагов.

— Это именинник, давайте выпьем скорее, — предложил Мелик.

В кухоньке послышался плеск воды и возня: именинник приставал к Ирине.

— Пойди, оттащи его, — сказал Лев Владимирович Вирхову.

Но Ирина уже сама выпроваживала того, толкая в спину, пока он не очутился на пороге комнаты. Мотая головой на слабой жирной шее, он попопытался удержаться, схватившись за косяк, но она протолкнула его дальше на середину.

— Она очень строга, — сказал он, пуская пузыри толстыми ярко-красными на бледном опухшем лице губами. — Интересно, ко всем или только ко мне? Мне почему-то показалось... — Он, однако, не кончил, заметив Мелика и Вирхова.

— А, и вы здесь? П'ек'гасно, п'ек'гасно. — Он передразнивал Григория.

Он начал стаскивать пальто, его занесло в сторону, к кушетке, и он тяжело рухнул на нее, по счастью, мимо мальчика.

Увидя его, он еще раз пьяно удивился и закричал капризно:

— Эй, мальчик... как тебя там? Г'иша, Миша, ну-ка сними с меня ботинки!

Сергей передернулся. Мальчик по-прежнему мрачно, не обращая внимания на именинника, сполз с кушетки и сел, скрестив ноги, на полу, на куче затрепанных детских книжек, сваленных тут же.

— А где Алексей с Борисом? — спросил Лев Владимирович.

— Алексей пошел к своим бывшим хозяевам. Очень он им нужен! Он скоро придет. — Именинник попытался лечь ровно, но чуть не упал. — Я не мог там находиться. Там, по-моему, еще грязнее. Безобразие. Хозяин смотрел на него волком. Все местные, по-моему, нас ненавидят. В магазине нас чуть не убили. Да, да, вступилась продавщица. Я уже думал, конец. П'гостая русская женщина.

— А где Борис, в правлении, в сельсовете? — поинтересовался Лев Владимирович.

— Ну их всех к че'рту! — сказал Григорий, придвигаясь к Вирхову. — Нет, ты послушай, я не прав?

— Наверное, прав, — сказал Вирхов.

— Все это имеет как бы два плана, — продолжал Григорий, одержимый навязчивой идеей, — план человеческий и план, который условно можно было бы назвать Божеским. В человеческом плане все правильно. Есть государство, которому мы сочувствуем, идет война, его нужно защищать всеми силами. Безусловно, все наши симпатии на стороне сражающегося Из'раиля. Здесь все верно. Но с другой, высшей точки зрения, они ведь защищают то государство, которое было разрушено Божьим П'ромыслом.

Они строят как раз то, за что уже были наказаны. Строят земной Ие'гусалим, вместо того чтобы строить Ие'гусалим небесный... Может быть, Бог хочет этого теперь? Ведь их победа в войне — это чудо. Ее не могло бы быть, если б не вмешательство высших сил... Не знаю. Хорошо тому, кому все ясно. Когда я говорю это евреям, они меня хотят убить... Но я все равно не могу отрешиться от мысли, что здесь все очень похоже на то, что было две тысячи лет назад. Тоже война, причем такая же жуткая война. Ясно, что когда Он появился там тогда, они считали Его пораженцем. Если бы сейчас Он пришел снова, то разве было бы не то же самое?

— Давайте выпьем еще, — предложил Мелик. — Может, ты и прав. Нам это неизвестно. Неизвестно, и в этом ужас нашего положения.

— Давайте лучше споем, — откликнулся Лев Владимирович, кладя руку на спинку стула беленькой девушки и сзади кончиками пальцев касаясь ее плеч. — Споем, Валя. Эх, Хазина нет. Где Хазин?

— Да, где папочка? — спросонок закричал с кушетки именинник.

Беленькая Валя повела плечами, уклоняясь от прикосновений Льва Владимировича.

— Послушай, откуда она? — тихо спросил Вирхов у Григория.

— Это меликова девка, — сказал тот.

Вирхов недоверчиво посмотрел, удивляясь скрытности Мелика: он никогда не слышал о ней от него и до вчерашнего вечера ее ни разу не видел.

— Правда, правда, — подтвердил Григорий. — Ну, разумеется, бывшая... поскольку он теперь думает о другом. Он на ней хотел жениться, потому что его иначе не рукоположат, но потом раздумал, решил, что она будет его комп'омети'ровать. И сейчас ищет другую, а эту просто воспитывает.

Вирхову стало не по себе еще больше, он стал пьяно думать о том, насколько он бывает простоват. Об этом говорила ему когда-то мать и недавно еще одна его приятельница. Решив доказать себе, что он все-таки писатель и может анализировать людскую психологию, Вирхов шепнул Мелику на ухо:

— Слушай, а мне кажется, что ребята нарочно ушли из дому, из-за нас! Они не придут, пока мы не уйдем. То есть пока все не уйдут.

— ?!

— Конечно, мы напоминаем им об их здешнем провале, они не могут нас здесь видеть.

— Чушь собачья! Они нас сами вчера приглашали. Да и Сергей здесь.

— Приглашали не они, во-первых, а бабы, они, известное дело, здесь с тоски дохнут. А Сергей сидит из-за отца, не может же он его обхамить совсем. Но, видишь, он даже глаз не подымает. Ему трудно на него смотреть.

— Вот насчет Льва Владимировича это ты верно говоришь. Это все из-за него. Но причина в другом.

— В чем?

— У меня есть кое-какие предположения. Я тебе скажу позже...

Вытащив пальто из-под забормотавшего именинника, Вирхов вышел на кухню. Ирины здесь не было, он не заметил, как она прошла в комнаты. На подоконнике возле электроплитки он увидел сигареты, взял одну, отыскал спички и, закурив, вышел в сени; похлопал по перилам чердачной лестницы и отворил дверь на улицу.

Небо было все так же темно, лишь откуда-то с запада набегали светлые тучи и тянуло сырым теплым ветром. Шумели деревья. Вирхову чудилось, что поверх ровного сильного шума леса он различает мелкое трепетание ближних осин на краю оврага, но он не мог заставить себя слушать внимательней, чтобы понять, правда ли это. Голова его кружилась. Сигарета быстро догорала на ветру. Он курил мало и сейчас, неглубоко вдыхая дым, несколько раз потянул и бросил окурок в снег.

Вдруг сзади в сенях раздались шаги. Он подумал было, что это кто-то из женщин, может быть, та же беленькая, но в следующее мгновение понял, что, конечно, идет мужчина. Дверь распахнулась. На крыльцо вышел Лев Владимирович, в своей драной шубе, которую он, как и вчера,

не мог надеть сразу из-за оторванной подкладки. Вид у него был, однако, не вчерашний, а совсем другой — собранный и энергичный.

— Что, снова сорвалась? — все-таки спросил Вирхов.

— Небось, эта не сорвется! — ответил Лев Владимирович. — Пойди, займись ею, а то эти богословы ей уже остое...нили.

— А ты куда же?

— А у меня дела.

— Какие дела? Ты что, с ума сошел?

— Нет, нет, — Лев Владимирович, как мальчик, прыгнул с крыльца и юркнул в калитку. — Я скоро! — крикнул он издали, уже от угла участка.

Вирхов постоял, недоуменно всматриваясь во мрак: ему показалось, что Лев Владимирович взял правее и пошел не в деревню, а вдоль оврага к поселку.

Позади опять раздался поспешный топот. Взъерошенный Мелик в рубахе высунулся из сеней наружу.

— Ты что тут делаешь? — сказал он Вирхову.

— Да вот, Лев Владимирович у нас спятил.

— А что такое?

— Побежал куда-то. Дела, говорит. Я думал, он опять в магазин побежал, но вроде бы взял правее, в поселок. Может, дорогу забыл.

Лицо Мелика сделалось тревожным.

— Вот как? — сказал он, выходя на крыльцо и тоже всматриваясь в темноту, туда, где от развилки тропинка забирала в поселок. — Это интересно. Видишь, тут все неспроста. Что-то происходит. Я же тебе говорил. Это он в лесничество пошел, больше там ему идти некуда. А зачем?

Вирхов засмеялся:

— Слушай, что мы все гадаем: что происходит? зачем? Все разговариваем, разговариваем. Пошел бы за ним да и посмотрел, куда он идет, к кому и зачем. И все было бы просто.

— Ты так думаешь? — спросил Мелик нерешительно, затем внезапно сорвался с места, тоже прыгнул через все ступени вниз, рванул калитку и понесся, как был, в рубахе туда, куда указал ему Вирхов.

Вирхов на крыльце зашелся от смеха, потом опомнился: ему стало стыдно, что он так по-свински спровоцировал Мелика начать слежку за человеком, который считал их своими друзьями, вообще н а ч а т ь с л е ж к у. «Но ведь это же для романа, — успокоил он себя. — Для романа это было бы важно. А то ничего не происходит. Одни разговоры, и никакого дела». Он опять засмеялся, но уже тихо и коротко, тотчас же ощутив страх, что пьяная шутка может повлечь за собой какие-нибудь неожиданные последствия, когда уже ничего нельзя будет исправить. «И потом... как же ничего не происходит? А этот тип из ордена? Ведь, если это так, то это черт его знает чем может кончиться!». Вирхов почувствовал теперь самый настоящий страх и бросился догонять Мелика.

Он столкнулся с ним почти у самого поселка. Не обращая внимания на холод, еще не остыв от бега, тяжело дыша, Мелик брел обратно.

— Не нашел, — сказал он. — Не знаю, куда он делся. В лесничестве никого нет, заперто. Как в воду канул. Может, он все-таки в деревню пошел?

— Может быть, и так. Я, наверно, ошибся.

Несколько пришибленные, они вернулись в дом. Льва Владимировича не было. Он пришел только через час.

— Где это ты был? — накинулся на него Мелик.

— Да так, гулял, надо же воздухом подышать, — отвечал Лев Владимирович, усмехаясь как-то, пожалуй, нехорошо. — С теткой твоей беседовал...

У Вирхова даже мелькнуло подозрение, что Лев Владимирович мог видеть за собой их слежку. «Видел или нет?» — стал думать он, пытаясь определить это по лицу Льва Владимировича. Но заниматься наблюдениями уже не было сил.

XIII. Первая любовь

Утром у себя на диване Вирхов долго валялся, как был, одетый, — он лег, не раздеваясь, — и оглядывал свою крошечную комнатку, то погружаясь в грезы, то снова просыпаясь и пытаясь вспомнить вчерашнее. Комнатка на Арбате, в переулке, была оставлена ему одной знакомой, жившей обычно круглый год на даче, и он никак не мог привыкнуть к чужой коммунальной квартире, откуда сквозь жидкие переборки и тонкие двери сюда доносились малейшие шорохи и голоса, отчего комнатка казалась еще меньше, еще незащищенней, и милый ее уют, наведенный хозяйкой-художницей, раскрашенные темперой стены, три старых портрета, высохшие цветы, несколько уцелевших старинных вещиц не помогали ему почувствовать здесь себя вполне спокойно, не помогали работать. Он повернулся на скрипучем матрасе, окинул беглым взглядом стол, разбросанные по нему листы черновых набросков, успел заметить, что почерк у него последнее время от систематических неудач сделался нервным, едва ли не разваливается, как у больного афазией, и поспешно встал, надеясь, что в чашке на подоконнике найдется вода, — в горле от вчерашних возлияний была страшная сухость.

Воды не оказалось. На столе лежала растрескавшаяся половинка черного хлеба. Вирхов с трудом, нажав на ребро стола, отломил кусок, погрыз его, соображая, что делать. Руки и все тело немного дрожали, и голова, хоть и не болела, была неясной. Сначала у него возникла мысль пойти позавтракать к его московской бабушке, жившей недалеко, у Киевского вокзала, потом он представил себе, что придется вести какой-то разговор, что-то отвечать на ее беспокойные вопросы о службе (о том, что он собирается увольняться, она, конечно, не знала), за которыми легко угадывались постоянно терзавшие ее опасения, что из внука ее ничего не вышло, что он — н е у д а ч н и к. К этому с недавних пор, после того как он дважды приходил к ней навеселе, прибавилась еще уверенность, что он спивается. Прикинув все это в уме, Вирхов решил, что, как он ни голоден, к бабушке с утра в таком виде он не пойдет.

Стараясь не греметь замками и не встретиться с соседями, он, не умываясь, выскользнул из квартиры (его комната была первой от входа) и дворами, торопливо избегая даже полупустых в этот утренний час переулков, пошел к Смоленской: ему почему-то казалось, что редкие прохожие оглядываются на него и усмехаются его похмельному виду, и он хотел немного прийти в себя и разогреться, прежде чем выйдет на людное место. На часах у Смоленской была половина десятого. Тогда, не раздумывая, механически, словно давно уже решил это, он подошел к телефону-автомату и набрал номер.

Таня была простужена, он сразу понял по голосу; она почувствовала это еще накануне, а вчера, когда они возвращались от отца Владимира, пошел дождь со снегом, внезапно похолодало, она основательно продрогла, и сегодня у нее уже температура. Вирхов спросил, может ли он зайти, навестить ее. Она согласилась (он не ожидал этого), тем более что ей нужно было передать книжку ее напарнице-переводчице; может быть, он возьмет на себя труд сделать это.

Через полчаса, умеряя дыхание, — подыматься надо было по бывшей черной лестнице, — он уже звонил у двери в Большом Сергиевском переулке. Открыла пожилая высокая, державшаяся очень прямо, исхудалая, седая, но как будто немного подкрашенная дама. Он вошел в прихожую, где стояли комодец с овальным зеркалом и шкафчик красного дерева с хрустальной и какой-то еще иной посудой за стеклом.

За полуотворенной двустворчатой дверью мелькнула мужская полная фигура; кажется, в домашнем халате и шлепанцах. Лысая голова задержалась на несколько мгновений в проеме и смущенно скрылась, рассмотрев постороннего.

— Вы к Тане? — осведомилась исхудалая дама. — Прошу вас, раздевайтесь, проходите, она вас ждет.

Заглянув предварительно за дверь, она пропустила его затем в маленький коридорчик и оттуда указала комнату налево, а прямо были еще одни двустворчатые двери и за ними большая комната с зеркалом в рост, столом и ампирными или в этом роде диваном и креслами, в одном из

которых сидел с ногами хорошенький светленький мальчик с кошачьей мордочкой и рисовал, одним глазом поглядывая на пришедшего.

— Таня, к тебе пришли, к тебе можно? — крикнула дама.

— Да, пожалуйста, проводи, мама, — отвечала Таня голосом простуженным, но похожим, как теперь понял Вирхов, на голос матери.

Вирхов вошел в узкую, заставленную комнатку, где на кушетке, под пледом, в зеленом стеганом, но, пожалуй, давно не новом халате лежала, полуопершись на руку, Таня.

— Не подходите, не подходите близко ко мне, чтобы не заразиться, — попросила она, когда Вирхов хотел было подойти. — Садитесь вон там. — Она указала подобие другой кушетки, стоявшей напротив, чуть наискось к этой. — Вы уже познакомились? — перебивая себя, обратилась она к матери. — Катерина Михайловна, Николай... Владимирович, — представила она их друг другу.

Вирхов был польщен и тем, что она вдруг вспомнила его отчество (сам он помнил твердо, что не говорил его ей, — значит, она специально спрашивала у кого-то еще), и тем, как любезно, светски благожелательно кивнула ему мать.

Еще раз улыбнувшись, мать вышла, прибавив:

— Если тебе будет нужно, Таня, позови меня или попроси Николая Владимировича.

— Мама сегодня — прямо верх любезности, — понизив голос, заметила Таня, услышав, как мать тщательно закрыла от сквозняков створки дальней двери в прихожую. — Расточает улыбки, поклоны. Вообще, когда захочет, она это умеет. Все ее подруги так обычно и считают, что она эталон настоящей светской дамы. И все мои знакомые тоже обычно от мамы в восторге и почти обязательно кончают тем, что начинают кооперироваться с нею против меня. Кроме некоторых, которых она активно ненавидит. Лев Владимирович, например, даже позволял себе шутить, что женился, собственно говоря, на теще. Они с мамой были так дружны, так во всем согласны. Мама и сейчас уверена, что в том, что мы разошлись, виновата только я.

Вирхов представил себе мальчика с кошачьей мордочкой, рисующего в соседней комнате, и попытался отыскать в нем черты Льва Владимировича.

— А почему вы здесь, а не у Натальи Михайловны? — спросил он. — Там же теперь пусто. Вам там было бы спокойнее.

— Маме удобнее здесь, — отвечала она. — Иначе она стала бы бегать каждый день туда. И, кроме того, ведь сын здесь, мне хотелось быть к нему ближе. Он и так от меня отвыкает. Они очень влияют на него. Они развлекают его, закармливают. Лев Владимирович и Михаил Михайлович, мамин муж, водят его в кафе, на просмотры в закрытые клубы, к литераторам. Они как сговорились. Они все по-прежнему в прекрасных отношениях друг с другом. Михаил Михайлович знает, что мне это неприятно. Я много раз просила маму как-то изменить это, и все равно все впустую.

Вирхов не совсем понял, что к чему, и больше того, — что-то здесь должно было бы смущать его, но снова, как и вчера, и третьего дня, напряженность ее тона, откровенность, с которой она рассказывала о вещах сомнительных, показались ему свидетельством большой душевной свободы, на какую сам он был неспособен. Несмотря на то, что это открывающееся ему многообразие уже захватило его, он все же сделал еще попытку сопротивляться.

— Все-таки вам наверняка было бы там лучше, — сказал он. — Ничего, что маме пришлось бы труднее, может, это пошло бы в конечном счете на пользу и ей, и вашему сыну. Ну, немножко уставала бы она больше, зато такого давления на вас и на него не было бы.

— Что делать, мы должны поступаться собой, — возразила она.

— Зачем это здесь?

— Так надо. Если вы не понимаете этого, тем хуже для вас. Это надо чувствовать. Это крест. Это самое простое — уйти, сбежать от этого, уйти в монастырь, например. Что может быть проще? А вы попробуйте здесь, в этой жизни. Возьмите на себя ее бремена, тяготы. Вот где настоящее испытание, послушание, которое тяжелее монастырского.

Размышляя в минуты просветления о своих страстях, Вирхов не раз воображал себе никогда не виданный им монастырь и себя там, забытого всеми, сгорбленного, раздавленного тяжестью обетов и искушений, преодолеть которые он был не в силах. Внутренне содрогнувшись при мысли об этом и сейчас, он сказал, что все же в монастыре, наверное, труднее.

— Не в теперешнем, конечно, а в настоящем, — прибавил он, вспомнив рассказы Мелика о теперешних православных монастырях, которые Мелик объехал прошлым летом почти все, благо их осталось меньше десятка.

— Ну нет! — горячо запротестовала она. — Вы просто не понимаете этого! В монастыре — счастье. Это подлинное успокоение, умиротворение.

Он опять с сомнением посмотрел на ее халатик, полуобнаженные округлые руки, плед, которым она была укрыта, мебель — все рождало впечатление изящества, хотя порою и ветхого, и на ум, если сравнивать, приходила мысль никак не о монастыре. Но все-таки и это могло быть. «А почему бы и нет? — подумал он. — Что, в сущности, я знаю о монастырях и монахах?» И этот контраст лежащей изящной хорошенькой женщины и ее тяжелых стремлений снова показался ему подтверждением мысли о возможностях, о свободе. «Не должно быть узости», — решил он.

— Неужели вы в самом деле способны пойти сейчас в монастырь и пошли бы, если б они были настоящими (...). Вот прямо сейчас. — Он имел в виду — сейчас, когда она все еще хороша собой и выглядит моложе своих лет.

Она опустила глаза, собираясь ответить, но в это время в коридорчике раздались легкие шаги, нечто вроде шуршания крыльев, и в дверях возникла мать, исхудалая, воздушная, будто бесплотная, будто она только сейчас материализовалась и ей стоило труда удерживать это необычное состояние.

— Вы завтракали? — мелодично спросила она.

Вирхову очень хотелось сказать — нет, но он постеснялся.

— Но от чашки чаю вы, я думаю, не откажетесь? Или лучше, может быть, кофе?

Он попросил кофе. Она исчезла с тем же еле слышимым шуршанием, с удивительной для ее лет (ей было никак не меньше шестидесяти) легкостью и, чуть позвенев чем-то на кухне и в коридорчике, почти сразу же появилась снова с подносом, на котором были две налитые чашки кофе, рюмки и бутылочка коньяку, полная на одну треть.

— Против этого вы тоже, конечно, не будете возражать, — проницательно улыбнулась она.

Вирхов не знал, как ему благодарить, и только опасался быть, в свою очередь, слишком любезным, чтобы Таня не решила, что та «кооперация» с матерью, о которой она говорила, уже началась.

— Я не могу оставить сына, — между тем продолжала Таня, когда шуршание затихло. — Он и так слишком много взял от своего отца. Его здесь портят. Я уже вам сказала об этом. Когда он родился, мама целые дни орала на меня. Кончилось тем, что я с температурой, у меня была грудница, выскочила на снег и побежала... Это сейчас с вами она тихая и щебечет. Она так трогательно заботится обо мне. Лев Владимирович так до сих пор и уверен, что у меня Mutter-Komplex, а у нее характер если и не прекраeный, то, во всяком случае, она всю себя отдала в услужение мне и моему сыну. Он всегда только смеялся, когда я пробовала говорить ему, как мне тяжело с мамой. Он говорил: «Она ведь, в сущности, немало делает, естественно, что она устает». А я с радостью делала бы все это и вдвое больше, только бы меня оставили в покое! Но они так хорошо спелись друг с другом, так хорошо понимали друг друга, буквально с полуслова. Как это они умеют! Вот уж поистине «мудрость века сего». Он мне казался сначала таким тонким, так все понимал, столько видел в жизни, и вот теперь я знаю, что этого мало, что все это мудрость, которую «ищут эллины», а не мы. Конечно, нехорошо так говорить, но вот сейчас он, видимо, попал в какую-то передрягу, и это очень кстати. Я, конечно же, буду ему помогать, я сделаю все, что в моих силах, но, как говорят, объективно это очень ему на пользу. Ах, как сразу он пугается, как становится слаб, скромен. Вот что значит без них, без их помощи.

Она коснулась рукою груди и подняла большие темные глаза к небу. Вирхов догадался, о ком она говорит они, их помощь.

— Я пойду к нему, обязательно, вот только простуда меня отпустит, и пойду. Знаю, что из этого ничего не получится, ничего хорошего не будет, но пойду все равно.

— Вы, быть может, только очень близко принимаете к сердцу такие вещи,— несмело заметил он.

— Какие?! — свела она брови.

— Ну, обычные человеческие реакции, всякие мелкие страсти, часто уловки...

— А что же, лучше топтать людей ногами?!

Опираясь на руку, она села на постели.

Он был смущен и постарался говорить как можно рассудительней.

— Зачем же ногами, но незачем и себя ставить в такое положение.

— Вы все очень заботитесь о силе,— неожиданно ответила она.

Он и на этот раз, как и все время с ней, не мог предугадать ее ответа и был обижен, что она так безоговорочно причислила его ко всем, тогда как он рассчитывал быть исключением. Поэтому он промолчал и нахмурился, надеясь своим видом показать ей, что обижен, но она не обратила на это никакого внимания.

— Да, да, вы все очень много стараетесь о силе,— увлеченно продолжала она.— Я понимаю, что движет вами. Вы видели всю гадость этой душевно-плотской каши, недостойность всего этого, и понятно, что хочется быть «неукоризненными и чистого, неразвратного рода». Я шла иначе, хотя метроном всегда был силен, знаете, как он стучит: тик-так, тик-так.— (Вирхов ничего не понимал),— но спасибо им, хоть я и доходила до прямого сумасшествия... Я бывала на черте сумасшествия от ужаса, «перепродаж и перекупок» и всей простоты их грязи. Но спасибо им, я никогда не была в Ефесской церкви и не забыла первой любви.

Ее высокий голос резко вибрировал, распрямясь, она набрала воздуху в грудь, казавшуюся сейчас широкой и крепкой. Она говорила все сильнее, точно разгоняя ударом каждую следующую фразу, в этом был какой-то ритм. Он должен был ему подчиняться и, с некоторым страхом глядя на нее, подумал, что она словно летит.

— Я никогда не была в Ефесской церкви! — повторила она. (Он попытался представить себе, откуда это и что это значит, но только ощутил свою ущербность), она же продолжала: — Николаитов, вернее, их дух,— ненавидела, а первой любви не забыла. Неужели вы все не знали ее? Чем же был для вас Христос? Не Павел, не Лествичник, не Флоренский, а беззащитный изгой... стоит на горе и говорит свои несусветные слова, о «рака́», о щеке, о плаще и о воре, о кротких, о плачущих — вот это первое! Первая любовь, и вся постройка Ефесской церкви без нее не устоит!..

Она немного опомнилась и, улыбнувшись, сказала:

— Вот видите, какой я мракобес. Не Диккенса, не Андерсена подсовываю вам, а хочу от вас сразу всего и даже большей ненависти к николаитам. Кстати, и она заключена в той проповеди. Но наша сила стоит на этом, и никто не дал нам права начинать с другого конца. Нельзя, чтобы забывали или старались забыть это. Что ригоризм, что «хранить себя неоскверненным от мира» — это и Ветхий Завет знал. А этого безумия — не знал, мы же знаем,— торжественно сказала она,— и без этого нас нет. А вот вы, хотя бы чуть-чуть, но презирали слабость. Очень мало, но все же. «Мы» и «не-мы», то есть Христовы и не-Христовы, узнаются как овцы, как сор для мира, и на этом стоят...

«Какая она хорошенькая»,— некстати подумал он, стараясь отогнать мысль, что хорошо было бы сейчас лечь к ней; он тряхнул головой и потянулся за рюмкой. Тем не менее она словно уже почувствовала что-то и смущенно остановилась, опуская глаза и, может быть, краснея, но довольная собой.

Он вышел на улицу, голова у него кружилась ото всего, что он увидел и услышал. «Поразительно, какая женщина»,— повторял он про себя. То, что она была так умна и одновременно так хороша собой, восхищало его. После всех разочарований с такими же, как он сам, разночинками или вовсе плебейками эта, казалось, возвращала к чудесным временам, к восемнадцатому веку, когда воспитаннейшие прелестные женщины собирали в своих салонах элиту, лучших людей общества, и сами по полному праву (а не благодаря только) принадлежали этой элите. Вчерашние мысли о европейской культуре, от которой он до сих пор ощущал себя оторванным, о том, что ему необходимо, если он хочет быть не теперешним дерьмом, а настоящим писателем, приобщиться к этому как можно полнее, овладели им еще сильнее. Он чувствовал, что теперь этот процесс приобщения, который, конечно, шел и прежде (что-то узнавалось), вдруг получил добавочный темп, словно это она своей стремительной речью разгоняла его больше и больше. «Мелик?» — подумал Вирхов. Но Мелик сам был из таких же, как он, полузнайка, и сам рвался к тому же, принадлежа к этому пока еще лишь внешне, он сам не знал ничего толком; здесь же ее словам, ее знанию нельзя было не поверить — это было органическое, нелитературное. Он вспомнил ее рассуждения о монастыре и опять на минуту усомнился: правда ли и это. Это действительно было мало похоже на правду, в это он все-таки не поверил. Однако ему не хотелось задерживаться на этом; он сообразил, что были и еще какие-то неприятные моменты, но не стал припоминать, какие именно, и даже улыбнулся про себя, постаравшись увидеть тут просто милое чудачество. Вместо того он стал размышлять о том, что, в сущности, она, конечно, несчастная женщина: Лев Владимирович, вся эта компания да и вся остальная жизнь — должны быть чудовищно жестоки для нее. «А мать?» — подумал он, представляя себе ее легкое шуршание и мелодическую светскость, в которой он вслед за Таней склонен был подозревать что-то страшное. «Хотя, с другой стороны,— остановил он себя,— во всем этом есть и сила. Так говорить, так все схватывать может только сильная личность». «Вы все заботитесь о силе»,— снова услышал он ее голосок, как бы высокий резкий писк какой-то полевой птицы. Он попытался еще раз сравнить эти похожие два голоса — ее и ее матери,— чтобы понять, какой же из этих двух людей на самом деле должен быть сильнее, но ему уже не хватало энергии. Он внезапно ощутил, что ослаб, давно не ел как следует и, наверное, сейчас бледен и изможден.

Мысль его тотчас же приняла мрачное направление, и он подумал, что, разумеется, это глупо — приобщаться к Европе таким странным способом — через женщину, тогда как проще, если уж это так ему нужно, взять то же из книжек, или общаться непосредственно с европейцами, или, на худой конец, вообще бежать туда, поскольку здесь он и так видел немало; а женщин заводить себе других и для другого. Но все равно сочетание ума и женского обаяния влекло его. Ему неясно, словно весеннее марево не давало возможности увидеть яснее эти исчезающие образы, вспоминались какие-то еще его женщины, которые могли считаться умными, но большого удовольствия эти видения ему не доставили: он был тогда еще молод, а он не любил своей молодости, слишком ощущая тогда свою неистинность.

На часах у Трубной было самое начало второго. Бульварами, уже подсохшими под весенним солнцем, в этот день, первый раз по-настоящему теплый, неясно думая то о чем-то тревожном, своем, связанном с заработком, оставленной опрометчиво службой, то вновь вспоминая про николаитов, Ефесскую церковь, зеленый халатик и мальчика с кошачьей мордочкой, так похожего на Льва Владимировича, Вирхов пошел к Киевскому вокзалу, к бабушке, у которой часто подкармливался. Сегодня, как и всегда, бабка ухаживала за ним, а он немного смущенно принимал ее хлопоты, долго и со вкусом обедал по-человечески, за сервированным столом, со своей салфеткой (потому что бабка любила порядок и была так воспитана) и рассеянно отвечал на ее вопросы, листая журналы, которые бабка, привыкшая жить широко, а теперь, со смертью своего второго мужа, обедневшая, все равно покупала безо всякого разбора. Затем он собрался было вернуться домой и начать работать или по крайней мере покурить и подумать, но почувствовал, что его разморило. Идти домой, чтобы лечь спать, казалось странным, вместо того он отправился к себе на рабо-

ту, теперь уже почти бывшую: приказ об увольнении должен был появиться вот-вот.

В слабо освещенном грязном коридоре, как обычно, уже стояло несколько сослуживцев — в их числе Григорий, Миша Гольдштейн, по протекции которого они все и устроились сюда, и трое других, уже не входившие в их круг. Разговор шел, тоже как и обычно, о политике. Григорий что-то доказывал. Остальные, белоголовые русаки — один высокий, уже пьяноватый инженер и два практиканта, — отчасти удивленно, отчасти усмехаясь, слушали этого мудреца. Гольдштейн, почти не слушая, ходил взад и вперед по коридору, эта болтовня его раздражала.

Вирхов остановился и тоже немного послушал, машинально кивая и глядя вслед шмыгавшим из двери в дверь лаборанткам, которые еще вчера были девушки, а ныне уже почти все обзавелись детьми или вышли замуж и, обабившись, полнели. У одной из них трехлетний мальчик, которого не с кем было оставить дома, играл здесь же, в институтском дворе под окнами. Она то и дело бегала к нему и обратно, но почему-то ни у кого не вызывала сочувствия; молодые люди лишь скептически оглядывали ее, замечая: «Опять поскакала? Так много не наработаешь. Мужа посади с ребенком сидеть», — и так далее.

Все вместе они отправились в давно облюбованное соседнее стеклянное кафе, по-местному «стекляшку», где в тесноте и толкотне, среди местных забулдыг и офицеров какого-то военного учреждения, размещавшегося неподалеку, выпили несколько купленных по дороге и принесенных с собою бутылок сладкого розового портвейна; сбегали в магазин еще раз, перейдя уже на водку. Потом подошел Сеня Савельев, которому кто-то на работе сказал, что они здесь.

Остаток дня прошел в безделье, от этого на душе была легкая тревога, но рядом с ней и некоторое удовольствие. Всегдашним оправданием такого времяпрепровождения была для Вирхова, во-первых, мысль, что, слушая эти бредовые разговоры, какие-то невероятные сбивчивые истории, он что-то запоминает, «узнает жизнь»: у него, как и у Тани, тоже была несколько лет назад идея написать роман, который начинался бы такими отдельными историями-новеллами из прошлого, лагерными или из времен революции, услышанными от тех же, с кем он сейчас пил, или от бабки. Затем, во-вторых, оправданием была радость общения, — хотя никто не поверил бы, что общение с этими людьми может доставлять ему радость. Но в молодости, которую он не любил, ему было трудно общаться с людьми, он испытывал странное стеснение в разговоре со своими сверстниками. Года два назад это вдруг прошло почти совсем, он не мог понять отчего и теперь наслаждался этим ощущением свободы и только недоуменно прикидывал, каким же он был прежде.

Правда, он тут же признавался себе, что эта радость общения теперь ему уже порядком наскучила, тем более что в последнее время он вдруг взял манеру напиваться (в сущности, так тоже обнаруживала себя его новая свобода, раскрепощение), по крайней мере настолько, чтобы назавтра ничего не помнить из услышанного, и, стало быть, оба его оправдания взаимно теряли силу.

Перебивая кого-то, он стал говорить Григорию о женщинах на работе, о том именно, что тип женщины-служащей, обабившейся, озлевшей, столь же характерен и целостен, как и устоявшийся литературный тип так называемого «гоголевского чиновника», только первый не получил еще настоящего отражения в литературе и потому не осознается как тип, — а про себя подумал, что жалеет, что не переспал в свое время с ними со всеми, найдя их для себя чересчур простыми, и не узнал их сокровенную женскую жизнь поглубже.

Григорий, вероятнее всего, догадался об этом и ухмыльнулся. Вирхов немного обиделся, опять почувствовал себя несовершенным, как в молодости.

Он встал около девяти с твердым намерением начать работать. Он вышел на кухню, удивляясь тому, как не мог вчера решиться на это, — соседи ни разу еще не приставали к нему — согрел себе чаю и позавтракал тем, что дала ему вчера с собой бабушка, которая всегда давала ему что-нибудь с собой, даже в те годы, что он был женат и жил своим домом.

Потом он пересел за письменный стол у окна. Здесь было тепло, еще топили, высокий подоконник приходился на уровень его плеча, так что Вирхов видел только лес голых ветвей, уличная суета его не отвлекала, и было уютно.

Он выдвинул ящик стола и достал оттуда папку с полученной вчера от машинистки перепечатанной набело главой. Это не была глава из романа, «имевшего целью обнять всю Россию», это была глава из того самого нового, начатого им лишь недели две назад сочинения, которое он стал писать под впечатлением рассказов Лизы, детской писательницы, о Наталье Михайловне и ее эмигрантской жизни. Что он хочет написать в итоге — рассказ, повесть или роман, — он так и не знал, фабула была ему по-прежнему еще не ясна; лишь приблизительно он представлял себе, что действие должно закручиваться вокруг любовной связи Натальи Михайловны и Муравьева, однако его сбивало с толку незнание: была ли на самом деле такая связь. В первый же день, когда Лиза принялась пересказывать ему историю Натальи Михайловны, он поинтересовался: было ли, по мнению Лизы, у Натальи Михайловны что-нибудь с Муравьевым, но Лиза не взяла на себя смелость ответить утвердительно. Тогда же, еще в глаза не видав Натальи Михайловны, Вирхов начал наугад писать сценку разрыва Муравьева и Катерины, руководствуясь здравым соображением, что если его героям суждено-таки завязать новую связь, то сперва они должны распутаться со старыми. Это как будто соответствовало реальному ходу событий, но относительно дальнейшего он продолжал быть в недоумении. Хотя теперь он наконец познакомился с Натальей Михайловной, по виду ее он не понял: было там что-нибудь или нет.

Чертыхаясь, Вирхов попробовал вчитаться в перебеленный текст и не сумел: все это было написано слишком недавно, и острота восприятия у него еще не восстановилась. Раздраженный, он сунул папку обратно в стол, думая о том, что ему не следовало браться за эту тему, не завершив прежнего — о Хазине и его приятелях, обо всем том круге (ибо роман о России и был, конечно, прежде всего, романом о Хазине и его круге). Но он потому и взялся за новое, что несколько времени тому назад вдруг с ужасом обнаружил, что и эти люди, и истории их прозрений внезапно отдалились от него, он охладел к ним ко всем, потерял способность, которой еще накануне считал, что владеет в совершенстве, — уметь отождествлять себя с другим человеком, входить в его роль, за письменным столом начинать жить его жизнью.

«Да, надо писать о Хазине, надо доделать тó», — подбодрил он сейчас себя, пытаясь сосредоточиться, понять, чего же он хочет от них (своих героев), чем они перестали устраивать его, и все более ощущая, что меж ним и ими вырастает стена, преграда, которую он не в силах преодолеть: он не мог заставить себя быть двойником ни одного из них, наоборот, на месте каждого оказывался он сам, разрушая их жизненные связи, противясь тем действиям, которые предприняли бы они, и чувствуя к ним презрение за то, что они поступают тàк, без конца обманывают себя во всем и настолько не знают себя.

«Как удачно, что я познакомился с Таней!» — в который раз сказал он себе. С неожиданным для себя умилением он вспомнил о Таниных округлых руках, услышал ее высокий пищащий голос, отдаваясь тому упоению, с которым она говорила ему о неведомых николаитах и Ефесской церкви. «Поразительно, какая женщина», — повторил он опять, словно видя ее пред собой на кушетке и свой следующий визит к ней. Воображение, которое пять минут назад так предательски отказывало ему, вдруг распустилось, он уже видел себя рядом с ней, пытался прикоснуться к ней, ощутить, каковы должны быть на ощупь эти плечи и руки, и огорченно хотел понять, не слишком ли она стара для него. Невольно, морщась от досады, что срывается, он сравнил ее с девочками, что были у него раньше. «Нет, так нельзя, — остановил он себя, спохватываясь, что сидит, уже ничего не замечая, уставясь в чистый лист бумаги. — Надо писать о Хазине», — сказал он, беря карандаш, и тут же оглядываясь на часы и утомленно размышляя: писать ли сейчас, по памяти, или лучше на сегодня отложить и поехать к тому же Хазину, посмотреть еще раз.

(Продолжение следует).

Николай ПАНЧЕНКО

Стихи разных лет

* * *

Я хотел его — приколоть.
Он хотел меня — пристрелить.
Я скользнул штыком по траве.
Он скользнул свинцом по сосне.
И, привстав, мы упали вновь —
в сон без снов,
в беспробудность сна.
А над фронтом текла весна.

Теплым ветром текла весна.
Ручейками журчала с гор.
Точно дребезгами стекла,
дребезжал прикарпатский бор.
Ах, какая была капель!
Золотая капель —
апрель...

Я очнулся — и глаз открыл.
Он очнулся — и глаз открыл.
И глядели мы — глазом в глаз,
голубым в голубой просвет.
Кроме сосен
и кроме нас,
никого на планете — нет.
Только дятел стучит — связной.
Да глаза горячит слезой.
Да немеет сосна в тоске.
Бог войны!
Ты солдат прости:
жизнь висела
на волоске —
мы решили ее спасти!

1945

* * *

Я помню наш выход на сцену —
Бикфордов шипел шнурок,
Войной отвалило стену,
И стал кругозор широк.
И стало впервые жутко,
И сжала виски беда.
В своей полукруглой будке
Суфлер онемел тогда.

Врубив эту боль в межбровье,
Вдвоем мы остались с ней,

С Россией —
слепой любовью,
Как с совестью злой своей.

1946

* * *

Молись за меня, молящийся,
я вышел на ту черту,
где люди, сыгравши в ящик,
с червями лежат во рту.

Где нет ни царей, ни черни —
и только белые черви.

И где познается истина —
простая, как белый цвет,
как белый бумажный листик,
где даже линеек нет.

1944

* * *

Уходит время —
не временщики.
Все меньше времени,
Уже совсем немного.
Добро, когда надеются на Бога.
А где приклад немеет у щеки,
Где жесткой ждут. решительной руки —
Там в пропасть обрывается дорога.

1989

* * *

Памяти Бориса Балтера

Снова снилось окруженье —
Этой жизни отраженье.
Станем, брат, спиной к спине,
Автоматами вовне.
Станем так, как мы стояли
Под Тарусой, у леска,
Сокращая расстоянье
До смертельного броска.
. . . .
Ни тебя,
Ни автомата,
Ни ответного огня —
Давит мягко, словно вата,
Окружение меня.
Окружает,
Отражает
Все, что было со страной,
И обойму разряжает
В повернувшихся спиной.

1989

* * *

Вновь январь снежинки крутит,
Мутит день
И душу мутит —
Воздух, словно молоко.
В молоке, на самом донце,
Я стою,
а выше — солнце,
Мне до солнца далеко.

Будет бой часов далекий —
Легкий стук ракетки легкой
По воланчику,
и вдруг
Уж на солнце надо мною —
В белом кружеве луною
Жизнь, что выпала из рук...

1987

* * *

Нельзя во имя жизни
убивать:
Слезами все — и кровью! — отольется.
Наш ярый флаг
Кровавой птицей бьется —
И рвется, и не может улететь.

Как просто было все предусмотреть,
Особо то, что в руки не дается.

А как нам не хватало простоты!
Мы городили
царство-государство,
В фундаменте которого коварство
И зла взрывоопасные пласты...

1988

Валерий ПОПОВ

Божья помощь

РАССКАЗ

Несчастен человек, не получающий от бога подарков! Бог вовсе не задабривает нас, он просто скромно показывает, что он есть.

Когда мы благодаря своей злобе и нерадению падаем со стула на пол и удар по всем законам физики должен быть жестким — бог обязательно подстелет матрасик. Нужно совсем не любить себя и ничего вообще, чтобы не заметить матрасика и грохнуться мимо, на голый бетонный пол. А между тем есть немало людей, что не замечают и не хотят замечать руки помощи, простирающейся к ним. И, пожалуй, именно по этому призваку люди и делятся на счастливых и несчастных. Одни учатся понимать помощь, которая приходит к ним в отчаянные моменты непонятно откуда, другие всю эту «иррациовальность» злобно отметают и если уж грохаются, то в кровь — не по законам добра, но уж зато по законам физики!

А ведь иужно лишь не быть заряженным злобой и иеверием, уметь чувствовать «веяния воздуха» — и помощь почувствуется очень скоро. Я давно уже замечаю, что нечто всегда поддерживает — почти в самом низу: обнаружится пятачок в кармане, в который ты многократно и безуспешно заглядывал, и на этот пятачок ты доедешь в то единственное место, где тебе могут помочь,— другое дело, что ты уж будь любезен подумать, куда тебе нужно на этот пятачок поехать... Если ж ты придумаешь лишь поехать в пивную, украсть бутылку и потом подраться... ну что же — сам дурак и не говори потом, что тебе никогда не было в жизни никакой поддержки!

Думаю, что при всей своей бесконечной милости бог тоже имеет самолюбие и охотнее делает подарки тем, кто их любит и ждет, а не тем, кто их использует во зло или не замечает.

С детства я как-то плохо воспринимал банальности, разговоры о неминучих суровостях жизни, о неизбежных и жестоких законах — больше мой взгляд был направлен куда-то туда... в туманность, неопределенность... Законы я понял сразу, но ждал чего-то и с в е р х. И почувствовал почти сразу ветерок оттуда. И самые тяжелые периоды моей жизни — когда я под ударами реальности забывал про тот ветерок, не ждал его и поэтому не ощущал. Надо уметь выбираться из-под обломков, выйти в чистое поле, радостно открыть душу и ждать!

Пожалуй, первая поддержка, почувствованная мной... ниоткуда, была связана еще со школой. Вспомните свою жизнь — возьмем жизнь обычную, не обремененную тюрьмами, но и не богатую особыми внешними событиями... Что есть тяжелей школы? Потом ты хотя бы выбираешь место, где тебе быть,— а тут жестко сказано: будь только здесь! Сиди, и слушай, что тебе говорят, и повторяй слово в слово — как бы ты ни был с зтим не согласен! И всегда чувствуй за спиной взвинченного, больного Гену Астапова, который в любой момент может опрокинуть тебе на голову чернильницу, но — сиди и не смей поворачиваться! И, держа все это в душе — каждый день, тем не менее поднимайся в предрассветную фиолетовую рань, прощайся под холодным краном с последним своим сонным теплом... Но это еще ничего, это все еще дома, среди своих, но вот выходить на ледяную улицу и на своих собственных ногах нести себя навстречу мукам, которые — можешь быть уверен — ждут тебя в классе!.. Что бывает тяжелей?! Ясно, что выход

из теплого дома под всяческими предлогами затягивался до последнего возможного предела и с чувством запретной сладости — за возможный предел.

Наконец я выходил, поворачивая тяжелую дверь парадной, на холодный звонкий Саперный переулок, медленно шел к широкой Маяковской — здесь обязательно ударял порыв ветра с мокрым снегом или дождем, выбивающим слезы. Тусклый свет фонарей усиливал отчаяние... Неужели же так будет всю жизнь?!

И, опаздывая, точно опаздывая,— вышел на пять минут после предельного срока! — я не мог заставить себя идти быстро — кто же может заставить себя быстро идти навстречу мукам?

Я сворачивал на узкую, темную между высокими домами улицу Рылеева— часов у меня не было, но я знал, что опаздываю... А это значило, что к издевательствам, идущим с парт, прибавятся издевательства сверху, с учительского пьедестала. Учителя тех лет находили простую и надежную платформу для контактов со школьными бандитами: вместе с ними — как бы в воспитательных целях — издевались над слабыми. Это объединяло их сильнее всего, позволяло им найти общий язык. Объединенная экзекуция была намного страшнее раздельной, но тем не менее я не мог себя заставить ускорить шаги! Впереди во мгле начинала проступать белая гора Спасо-Преображенского собора, и вот я уже шел мимо ограды из свисающих тяжелых цепей и черных, морозных стволов пушек. Ограда вела меня по плавному полукругу. Шаги учащались, сердце начинало биться в радостном предчувствии чуда. И вот я выходил к фасаду церкви и нетерпеливо поднимал голову вверх, к белой массивной колокольне, где под нежно-зеленым куполом летел на фоне светлых облаков белый циферблат с черными цифрами и стрелками. Всегда в это время спереди, со стороны улицы Пестеля через Литейный, шел радостный утренний свет, и всегда на торжественном циферблате было начертано мое спасение — стрелки всегда показывали на пять минут меньше, чем должно быть! Я успевал! — хотя никак, по реальным законам, успеть не мог! Ликуя, я перебегал дорогу, вбегал в школу... и к этому моему состоянию, ясное дело, гораздо хуже липли издевательства и несчастья — так постепенно, с божьей помощью, они и отлипли! Откуда вдруг у меня при входе в класс прорезалась улыбка, загадочное веселье в лице, озадачивающее врагов?.. Ясно откуда — от того циферблата! Так я и встал на ноги благодаря ему!

И, конечно (как это ни пытались вдолбить атеисты тех лет), бог никогда не опускался до мелкого, утешительного обмана — мол, на циферблате покажу тебе, утешу, а в школе вдарит по тебе настоящее, московское время! Разумеется, время и было настоящим — я успевал войти, весело сопя, вытереть ноги, не спеша раздеться в гардеробе, неторопливо подняться в утренний класс, уютно усесться, разложиться — и лишь тогда ударял звонок.

Куда как приятнее было жить, ощущая поддержку! «А мне вот не было никакой поддержки, никогда не было!» — с отчаянием скажет кто-то, и скажет правду. И я мог вполне лишиться ее уже тогда, начав проводить, например, злобные эксперименты, издевательски пытаясь «выжать» из циферблата сначала десять минут, потом двадцать, полчаса... Ответ мог быть только однозначным и по-русски откровенным: «А иди-ка ты! Не будет тебе в жизни добра!»

Но надо же иметь совесть и чутье — не ссориться с богом спозаранку, не тянуть из него жилы, не издеваться — ведь он же старичок. Кто издевается — то же получает в ответ!

Вспоминаю те годы — ведь именно тогда уже полностью складываются твои дела с окружающей тебя бесконечностью: как сложишь сам—так и пойдет, уже тогда надо все сбалансировать и понять.

Однажды, в конце уроков, уже когда за окнами темнело, за мной вдруг прислали гонца от завуча. Его все знали очень хорошо, и вызов от него, да еще экстренный, не сулил ничего доброго. Класс замер. Я медленно вышел. В коридоре я старался вспомнить свои грехи— грехи по отношению к школе, но ничего, кроме тайных, невысказанных мыслей, припомнить не мог... В кабинете меня ждала молчаливая и мрачная группа учителей. Настрой — такие вещи ощущаются и в детстве — был нехороший. Чувствовалось, что они долго и бесплодно сидели тут, в духоте, взаимно раздражая друг друга, бродили, как брага в бочке, с натугой соображая, как же все вокруг резко исправить (такие думы, все более тяжкие, сопровождают всю нашу историю),

бубнили, бурлили, закипали — и вдруг возник случайный выплеск, случайно направленный в меня,— и все за неимением прочего стали радостно раздувать язычок.

— Так... может, ты расскажешь все сам? — сладострастно проговорил тучный, весь в черных родинках завуч.

Все от нетерпения заскрипели стульями — наверняка этот пугливый мальчишка, не участвующий во всем понятной жизни, а постоянно погруженный в какую-то отвлеченность, знает что-то еще, кроме фактов, известных им,— вдруг расколется?

— А что я сделал-то? — уныло проговорил я, с тоской понимая, что что-нибудь да найдется.

— Что ты делал сегодня до школы? — спросил завуч.

— А что я делал? Шел сюда! — с некоторым уже облегчением произнес я, достаточно четко уже понимая, что ни о каких чудесах, подобных чуду циферблата, им звать не дано, такое они давно уничтожили в себе... Так о чем же речь? Наверняка о какой-нибудь нелепости, ерунде, клевете! Я взбодрился.

— Так ты не помнишь? — произнесла классная воспитательница. Все они взглядами пронизали меня, вольно или невольно подражая работникам того учреждения, которое поднималось на Литейном совсем неподалеку. Такой стиль общения был тогда в моде, а кто может устоять против моды? Это мало кому дано. Не устояли и они...

— ...Не помнишь или не хочешь сказать? — подхватила химия. И эту практику — допрос всеми по очереди — тоже они впитали из воздуха: такой был воздух тогда. Но я был спокоен. Главной тайны им не понять, даже узнав ее, они не поймут, отвергнут, не поверят... Чего ж мне бояться? Так, пустяки, какая-нибудь чушь!

Я весело посмотрел в окно, на высокий циферблат.

— Да-да! — как бы наконец уличая, цепко ловя меня на признании, вскричал завуч.— Ты правильно смотришь, правильно! Ну, расскажи, кто тебя научил этому, откуда это берешь? — ласково продолжил он.

Я понимал, что я мог порадовать их только доносом... но на кого? На бога? Да нет, это невозможно — так на кого?!

— Я давно говорила твоим родителям,— вспылила воспитательница,— что ты парень не наш, парень чужой, оторванный от нашей жизни!.. Они не хотели понимать, подтверждений хотели — что же такого в тебе плохого... И вот — пожалуйста! Курил! На виду всей школы, перед окнами всей школы нагло курил и даже не прятался в подворотню, как это делают другие мальчики, у которых все-таки есть стыд!

Они торжествующе переглянулись — разоблачили тайного шпиона, особенно приятно, что очень тайного, скрывающего свою шпионскую сущность за хорошими отметками и тихим поведением! Открытые бандиты — это все-таки наши: да, они невыдержанны, но они всем понятны... а этот... особенно опасен... и вот — пойман за диверсией! Огромный успех!

— Курил? — Я был поражен. У меня, наверное, как и у всякого, были грехи, я даже пропустил недавно урок, ушел тихо домой, и никто вроде не заметил, но — курил?!

— Но вы ведь знаете... я же не курю,— забормотал я.— Ведь вы же видели, наверное... знаете... я же не курю! — Я посмотрел на Илью Зосимовича, нашего математика, единственного мужчину, находящегося здесь. Время от времени он, как коршун, врывался в мужскую уборную для ребят и там, ликуя, вырывал папиросы и выкрикивал фамилии: «Федотов! Я тебя узнал, узнал! Можешь не закрываться в кабине! Надо было думать раньше!»

И другие учителя-мужчины тоже нередко врывались в уборную с внезапной облавой, да и учительницы, честно говоря, не особенно стеснялись врываться. При этом они, правда, возмущенно-демонстративно отворачивали головы от писсуаров, как бы подчеркивая, что ради истины вынуждены пойти на нарушение морали, но и это нарушение приплюсовывалось ребятам, их преступление становилось двойным. Поэтому вопреки созревающим половым чувствам все-таки мы чувствовали себя лучше, когда в уборную врывались учителя-мужчины,— моральное наказание в этом случае было как-то легче, поэтому учителей-мужчин ненавидели меньше — они не заваривали такого стыда, как бесстрашные и принципиальные наши учительницы. Поэтому я и обратил свой взор в сторону Зосимыча. К тому же и вообще он был му-

жик неплохой. Под моим вопрошающим взглядом он сначала было потупился, но потом, согласно общему настрою, гордо поднял голову — мол, ваши уловки бесполезны!

— Но, Илья Зосимыч,— заныл я, понимая, что общее мнение уже создано и его не поколебать.— Ведь вы же... бываете... у нас... видите... видели меня хоть раз?

Учительницы снова надменно выпрямились — зона обсуждения была вопиюще неприличной, и вина за это, как тогда было принято, вешалась не на них, а на меня, словно я завел этот разговор И тем более все было оскорбительным, что я запирался: другие быстро признавались, чувствуя, что это порок не страшный, свойский,— многие учителя тоже курили, было как бы тайное соглашение, сочувствие... признайся — простим! А я скрывал истину, запирался... Но что делать, если я действительно не курил!

— Да когда ж я курил?.. Кто видел?!

— Видели, не беспокойся! — Завуч при всей своей выдержке не мог вскользь не обласкать взглядом осведомительницу. Учительница химии смущенно потупилась под поощрительным взглядом... Я понял, кто видел и кто родил это собрание. Но что она видела?

— Что она видела?

— Ты шел... от ограды (наверное, чуть не сорвалось — «церкви»)... шел от ограды к школе... и нагло курил!

Я вспомнил солнечное морозное утро, свое состояние... Еще в такое утро — курить!

— ...Да это пар! Пар шел изо рта! — воскликнул я.

Странно — у других не увидели, а у меня увидели. Может, потому, что шел позже и попал на солнце лишь я? Или, может, вообще я был под тайным прицелом давно: преступление подозревалось — и вот — какая удача! — подтвердилось.

— ...Пар это... честное слово! — Уже почти спокойно я посмотрел на всех.

— Пар... не может так валить!—сосредоточившись, проговорила химичка.

Все удовлетворенно закивали. Все правильно! Не может так быть, и даже думать такое вредно — чтоб один наглый ученик мог быть умней — и главное честней — педагогического коллектива.

Господи, сколько ненависти скопилось в людях, причем что поразительно — в учителях!

— Ну... хотите...— Я посмотрел в окно, но там было уже темно.— Но хотите... завтра посмотрите... я буду переходить, а вы посмотрите!

Все вопросительно повернулись к завучу — достойно ли педагогическому коллективу участвовать в таких унизительных, унижающих их коллективное мнение экспериментах? Да и нужны ли какие-то еще доказательства в этом абсолютно ясном деле?

— Давайте, давайте убедимся, правду он говорит или лжет,— произнес Илья Зосимыч как бы осуждающе, но на самом деле, я думаю, дав ход своим сомнениям.— Мы же будем завтра утром в учительской? — Он оглядел коллег.

— Я не буду, у меня с одиннадцати! — оскорбленным тоном произнесла химичка, как бы подчеркивая свою незаменимость: мол, без нее результаты могут быть и ошибочны.

— Ну, ничего, Зоя Александровна, мы как-нибудь разберемся! — весело произнес Илья Зосимыч. Та метнула на него гневный взгляд. Я почувствовал, что вообще могу пасть жертвой в междоусобной войне среди учителей, и понял, что мне желательно стушеваться.

— Ну все, Попов, ты можешь идти,— произнес завуч (ясно, мне нельзя было присутствовать при ссорах взрослых),— иди и не думай, что ты оправдался,— наше мнение по этому делу однозначно! Я думаю, достаточно, что мы тебя предупредили! Иди!

Со строгими лицами они проводили меня. Подразумевалось, что, конечно же, они не намерены на следующее утро торчать у окна... конечно же, нет. Они сделали предупреждение — и приличному школьнику этого хватит! Вина моя как бы была уже доказана. И в то же время я понимал, что они не пройдут завтра мимо окна и непременно, тайно или явно, будут смотреть, как я прохожу булыжную площадь от церковной ограды до школы,— и мне важно, чтобы пар шел!

Сосредоточенный, я пришел домой, сделал уроки и, как боксер перед ответственным матчем, пораньше лег спать. Но без драм не бывает — перед самым уже сном бабушка сказала мне:

— Ой, как все болит, сердце ломит — прямо такое предчувствие, что не проснусь!

— Что же такое, бабушка, с тобой? — всполошился я.

— Да оттепель, видно, идет! — заохала бабушка.— Давление меняется — вот и болит!

Я стал уже засыпать и вдруг вскочил как ужаленный:

— Что значит... оттепель? Это значит — воздух потеплеет... и пар не будет идти изо рта?

Тяжело, с какими-то черными провалами-обмороками я засыпал... Что же это... значит (по имени я никого не называл и даже не подразумевал, это было неназванным чувством)... значит, никому... нет никакого дела?! И пусть бабушке плохо, и я так и останусь в глазах моих торжествующих врагов преступником — пусть? Значит, ничего нет?..

Проснулся я собранный, решительный, говоря себе: нет, что-то же должно быть!

Поев супу, я выскочил на улицу, прошел Саперный, замедлил шаг... Ну что? Морозец вроде бы есть — щеки пощипывает, но в темноте как-то плохо ориентируешься, вот появится солнце — все будет понятнее! Я шел быстро к решительной точке... Не могу соврать, что я не боялся,— больше того, скажу, что я все не делал полного выдоха, боясь неудачи. Мелко, часто дышал — ну этот выдох не в счет, этот — тоже не в счет, можно даже и не смотреть — ну, какой уж тут пар?! Я думал так: если мне светит удача, зачем заранее расходовать ее?

И только когда я вышел на простор, к ослепительно белой колокольне, освещенной светом через темный еще Литейный, я набрал полную грудь колкого, холодного воздуха, подержал его некоторое время в раздутой груди и выдохнул. Толстая, курчавая струя пара, просвеченная солнцем, вырвалась изо рта! Вот так вот,— ликуя, подумал я,— а ты решил — помощи нет! Вот она, помощь,— холодное утро, вопреки всем тяжелым предчувствиям!

Не скрою — я метнул взгляд вверх! Учителя бросились от стекла врассыпную... скажем так... Во всяком случае, тогда мне этого хотелось.

После этого — и, хочу думать, в связи с этим — дальнейшая жизнь моя в школе сделалась лучезарна и легка. Возможно, я просто так стал ее воспринимать. И, может, думаю я, с этого моего радостного выдоха и начались в стране чудесные перемены?.. Шучу, шучу!

Позже, в моменты упадка, я ворчливо-скептически анализировал этот случай... Ну и что? Было ли чудо? Мало ли у кого по утрам изо рта вырывается теплый пар? Но у них — просто так, а у меня — не просто так, я помню!.. Но, может, не воздух в то утро был специально холодный, а я — горячий? Может, и это сыграло какую-то роль? Конечно, чудо состоит из девяноста девяти процентов твоего ожидания, и лишь чуть-чуть, еле заметно помощь проявляет себя... чтобы грубые люди не навалились: «Давай, давай!» А умному человеку достаточно и дуновения, чтобы почувствовать: ты любим! И будет помощь, когда она действительно необходима тебе!

Но о зыбкости ее надо все время помнить! Немножко грубого нажима, немножко хамства, и все исчезнет, улитка спрячется в панцирь... Хочешь быть грубым реалистом — пожалуйста! Только не надо потом рыдать над кружкой пива: «Никто не любит меня!» Ты бы мог быть любим!

Конечно, всю эту кассету я не прокручиваю в себе каждый день или тем более каждый час. Просто надо соответствовать свету — и свет придет. Надо быть немножко светлей, чем велят обстоятельства,— и обстоятельства посветлеют!

Однако, не скрою, с годами жить так становится все трудней, все чаще в темноте теряешь свет, все чаще с тоской задумываешься: а существует ли вообще что-то?

Уже далеки те блаженные времена, когда я был первым в школе и купался во всеобщей расположенности и любви. Уже в институте я не был любимым — вернее, таких любимых было много, и не случайно так оказалось:

конкурс прошли! Но то, что вокруг оказалось много похожих на тебя, здорово бодрило, казалось — уже все, пришли наши времена, кругом свои! Но исчезли — не без давления сверху — и те святые времена, когда вполне достаточно было одного свитера на шестерых, и всем было весело! Сейчас, если просишь у знакомого поносить дубленку, то за это надо платить! Протестуя против столь отвратительной жизни, я принципиально оторвал рукава у своего пиджака, дал их на время поносить своим друзьям, один рукав Острову, а другой — Майофису. Но оба они — художники, называется! — через некоторое время сконфуженно вернули мне мои рукава, пробормотав, что нынче не принято ходить в одних рукавах!

Да, прохудилась наша прослойка, ее собственные мысли никому уже не нужны — ценят ее лишь тогда, когда она служит массам. Да и я перестал что-то замечать, что кто-то видит меня персонально, помогает мне... Одобрение я получаю только тогда, когда бодро сливаюсь с каким-либо общим направлением. А как же я сам? Было ли время, когда чей-то высокий взгляд был направлен лично на меня? Была ли — хотя бы в далеком прошлом — какая-то личная помощь? Что-то я начал в этом сомневаться! Все, чего я в жизни добился,— исключительно благодаря самому себе, благодаря своему резкому характеру и такому же уму! И, конечно же, нелепо надеяться на возвращение тех прежних трогательных обстоятельств, когда я извергал — зимой! — струю пара и был счастлив. Да и я далеко уже не тот поминутно краснеющий школьник — даже если бы кто и захотел найти меня по тем, прежним признакам, то наверняка бы не нашел!.. Нет, немножко прежней застенчивости я сохранил, но исключительно уже для своих наглых целей! Но даже и на застенчивость уже сил не хватает.

Особенно отчаялся я, когда в этом году после долгих трудов вознамерился чуть-чуть отдохнуть. Мы с моим другом на машине покрутились немножко в наших местах, но нигде ничего, кроме хамства и безумных цен, мы не нашли. Поразил один только случай. Мы вошли в загородный ресторан, и друг мой, бодрый после пробега, спросил официанта:

— Ну... куда вы нас посадите?

— А никуда. Разве что на кол! — равнодушно ответил тот.

В эти дни мы поняли истину, которая раньше до нас, людей занятых, как-то не доходила: давно уже сфера, как бы призванная холить нас, существует исключительно для самой себя, и именно в ней делаются самые большие дела. Мы с другом со свойственным нам умом тут же резко попытались вклиниться в эту сферу: достали отличные швейцарские костюмы — черные, с желтыми галунами — и такие же фуражки и встали у подъезда нашего дома. Сначала мы хотели по-доброму — радостно встречали каждого, хмуро топающего с работы, хлебом-солью, низкими поклонами, распахивали входную дверь. Ясное дело — в глубине души мы, конечно, рассчитывали на чаевые, но чаевых никто не давал! Даже слова доброго никто не сказал, зато было много слов, которых я не решаюсь тут привести!.. Тогда мы решили не по-хорошему: грудью стали в наших дверях и кричали, отталкивая: «Закрыто, закрыто! Сказано вам — мест нет! Идите в другие дома!» Ясное дело, в глубине души мы рассчитывали на чаевые и тут, но уже на гораздо более большие, чем в первый раз. Но кончилось все еще хуже; все вопили: «Что это еще значит—«мест нет»? В доме, где с рожденья живем,—и то уже мест нет?! Сейчас бошки вам оторвем!» И мы (наверное, единственные из этой сферы) были смяты, отброшены, наши золоченые фуражки были растоптаны... Я отнес их к знакомому фуражечнику, но тот отказался их чинить.

Мы стали лихорадочно соображать: как же нам практически без денег провести отпуск? Сплавляться по реке в виде бревна, как мы это любили делать в студенческие годы? В нашем возрасте плюс с нашим положением — уже несолидно. Тогда, поняв, что при всех обычных вариантах ничего, кроме мучений, нас не ждет, я вдруг почувствовал, что́ мне надо — поехать в те благословенные места, откуда пошел наш род, до сих пор поражающий меня энергией и душевным здоровьем в лице, например, отца, который при встрече гоняет меня вслед за собой по бескрайним своим опытным полям и даже не чувствует усталости, когда я еле-еле уже волокусь... Да, там наверняка колоссальный какой-то заряд, если отец до сих пор так заряжен, а я, родившийся не там, практически уже разряжен. Я поехал к отцу, расспросил все подробности — отец горячо это дело одобрил, однако сказал, что сам поехать не может: у него уборочная, но я делаю абсолютно правильно, ибо лучше тех мест и тех людей не существует на свете.

Сначала мы с другом вообще не могли достать денег на поездку, потом достали, но слишком много. Пришлось на некоторое время задержаться, чтобы истратить излишки... Когда мы с этой задачей наконец справились, друг окончательно впал в депрессию и сказал, что никуда со мной не поедет и вообще считает, что жизнь кончена, дальше ехать некуда! Я с ним все-таки не согласился, вернее — согласился не полностью, и поехал один, хотя в машине лучше ехать вдвоем.

По дороге, уже в Москве, я решил заехать к другу-москвичу: вдруг он соблазнится?!

— Он в Сочи. Сочиняет,— почему-то с ненавистью глядя на меня, сказала его жена.

«Представляю, что он насочиняет в Сочи!» — подумал я. И поехал один.

Дорогу я опускаю — подробности излишни. Могу сказать только, что все шло складно и ладно и ко мне вновь вернулось ощущение везения, какого я не чувствовал уже давно. Может, кое-кто снова повернул ко мне свой лик? — мелькнула мысль.

Короче: чудесный теплый вечер, низкое солнце рельефно освещает сначала предгорья, потом — горы. Потом солнце гаснет, наступает тьма, однако я азартно проскакиваю мое село, доезжаю до берега моря (но другого моря, не того, на котором живет и сочиняет мой московский друг). Сейчас моря не было видно, но зрелище впечатляло: черная, как тушь, темнота, иногда оттуда с шипеньем приходила волна, вскипая на камнях. Такое было впечатление, что кто-то время от времени растягивает в темноте белую резинку и снова дает ей стянуться, исчезнуть.

Я вылез из машины, дохнул морского воздуха и уехал с берега — все-таки в пределах приличного времени надо было добраться до моей цели, не будить же людей. На дороге тьма была рассеяна тусклыми, но частыми фонарями. Наконец я увидел указатель и свернул. При свете лунного серпа огляделся. Когда-то, говорят, я здесь был, но если и вспомню что-нибудь, то, наверное, не сразу. По мере того как я приближался к месту и все определеннее ощущал его пейзаж, настроение мое падало: местность была не ахти — это были не горы, и не предгорья, и не берег моря... так, что-то ровное и незаметное. Проезжая по стране и разглядывая из окон разные дома, я иногда думаю с удивлением: как вот мог человек поставить свой дом между рельсами двух железных дорог и все последующие поколения (вон бегают маленькие дети!) не постарались отсюда сдвинуться? Почему люди спокойно живут здесь, когда есть море, берега над просторной Волгой? Такие мысли у меня возникали и по мере приближения к родному селу. Почему получилось так, что они стали жить в этой ничем не примечательной местности — такие яркие, значительные люди — и не сдвинулись куда-нибудь хотя бы на двадцать километров, к морю? Так и не получив ответа, я въехал на тускло освещенную центральную улицу, остановился. Полная неподвижность и тишина. Да, вот цикады тут звенят здорово, надо признать. Все-таки довольно далеко я заехал, сумел — и это на почти сломанной машине!

Отец, провожая меня, радостно и возбужденно говорил:

— Как увидишь на главной улице самый большой дом, так езжай туда и не ошибешься — то будет друг мой Платон!

Разглядев без труда именно такой, я радостно порулил туда. Ожидание какого-то чуда — в отрыве от привычных тяжелых обстоятельств — снова пришло ко мне. Вроде как можно начать жизнь сначала, хоть я и понимал логически, что чувство это странное.

Дом, белый, массивный, стоял в глубине сада, к нему вела очень аккуратная асфальтовая дорожка. По ней я шел, естественно, уже пешком, оставив машину у ограды, чуть в стороне. Можно сказать, что я летел в лунном свете. Сейчас меня встретят наконец-то люди, которые любят меня, всплеснут руками, воскликнут: «Ну, вылитый Егор!»

Егор — это мой отец, и, воскликнув так, они как бы увидят в этот момент все самое лучшее во мне, откинув наносное,— ведь самое лучшее во мне — от отца.

Я тщательно, но торопливо вытер ноги о фигурный железный скребок у крыльца (чувствуется, здесь не лишены художественной фантазии!), поднялся на бетонное крыльцо и постучал в массивную деревянную дверь.

Не дождавшись никакого ответа — хотя какой-то голос глухо доносился,— я открыл дверь, с бьющимся сердцем вошел в прихожую с большим зеркалом, потом — на голос — еще раз безрезультатно постучав, открыл дверь и увидел большую комнату, тускло освещенную телевизором, и трех людей, молча сидевших в «гарнитурных» креслах (разговаривал телевизор). Все в комнате было «как у людей» — толстый ковер, «горка», стенка, огромный цветной телевизор. Сидели — худая чернявая молодуха, длинный парень, видимо, ее муж, и сухонькая старушка. Я молча постоял. Никто не воскликнул «Вылитый Егор!» и даже не оборачивался.

— Здрасьте! — наконец выговорил я.

— Здрасьте! — абсолютно безжизненно ответили они, даже не повернувшись ко мне.

Правда, старушка мельком проговорила: «Присаживайтесь!» — и я присел.

Некоторое время я молча вместе со всеми слушал все о тех же неразрешимых проблемах — я прекрасно мог слушать это и дома!

— Скажите... а Платон Самсонович далеко? — спросил я.

— Скоро будет... Вы насчет пчел? — не оборачиваясь, проговорила молодайка.

Я обиделся: неужели я похож на человека, который пришел насчет пчел? Я же за тысячу километров приехал... Неужели не видно?

— Пчелы кончились у него! — с сочувствием промолвила старушка, видно, супруга его, видно, самая добродушная здесь.

— Ничего, я подожду.

Я решил не объясняться пока, не тратить эмоциональные заряды, их и было-то не так много — поберечь до Платона.

После долгого неподвижного сидения (и диктор в телевизоре, кажется, задремал) вдруг послышалось шелестение шин, рябой свет фар прошел по темной комнате, потом хлопнула дверь машины.

— Приехал! — обрадованно проговорила старушка и вышла.— Сидите, сейчас.— Движением ладошки она оставила меня в кресле.

Некоторое время не происходило ничего, потом старушка вошла, улыбаясь, и сказала мне:

— Пыльный, с пасеки-то... умывается...— и снова вышла.

Прошло еще довольно долгое время. Старушка опять вошла и, ничего не объясняя, села к телевизору. Раз пять или шесть я вопросительно посмотрел на нее, наконец она заметила мой взгляд и произнесла радостно:

— Ужинает!

— Как «ужинает»? — Я был потрясен. А как же я? Все-таки я проехал немаленькое расстояние сюда! — Понимаете.— Я решил внести ясность, резко поднялся.— Я из Ленинграда...

— Да уж он понял,— опережая мое движение к двери и как бы укорачивая меня, проговорила старушка.— Говорит: только глянул на тебя, сразу увидал: вылитый Егор!

И все? Я понял, что на этом как бы поставлена точка: ну, да, вылитый Егор... ну и что? Может, если бы появился сам Егор, еще бы что-то и было, а так — всего лишь «вылитый»... Потом, посидев некоторое время без движения, я по своей привычке постарался прийти к гуманному разъяснению: может, он, наоборот, от стеснения не появляется — пыльный после пасеки, усталый... стесняется просто появиться перед сыном любимого своего друга, ждет утра?

Но версию о стеснительности пришлось отбросить — почти тут же хозяйка вышла, снова вошла и произнесла решительно:

— Платон сказал, чтобы ты машину свою куда отогнал. Он еле в ворота въехал, говорит!

«Да-а-а,— подумал я,— версия насчет стеснительности недолго прожила!»

— А... куда отогнать? — поинтересовался я.

— Да куда-нибудь! — видимо, заражаясь холодностью от своего мужа Платона, проговорила старушка, и в ответе ее явно звучало: «Да хоть к себе домой!» Правда, через некоторое время она же вошла с грудой белья, стала стелить на диване (молодые встали и, так ни слова не сказав, ушли).— Платон спрашивает: проездом? — вскользь поинтересовалась она.

Да, круто тут обращаются... «проездом»?! Но что делать — сдержанность губит чувства, я сам-то, честно, не продемонстрировал тут особых чувств — так что все, увы, нормально!

Но неужели я так и не увижу его и ко мне будут лишь доноситься его команды, как к бедной Настеньке со стороны чудовища в сказке «Аленький цветочек»?

Правда, уже перед самым сном мне — как Настеньке — был подан ужин: кусок пирога и рюмка мутной жидкости... Надо так понимать, что это был привет от Платона,— невидимое чудище начинает понемножку окружать меня своими дарами...

Самое интересное, что именно «Аленький цветочек» мне и приснился — правда, в какой-то дикой интерпретации... Но — просыпаться в незнакомом помещении, когда не вспомнить, где ты оказался и зачем... вот ужас! Тьма была полная — видимо, ощущение склепа, помещения, из которого уже не выйти, охватывает в таких случаях всегда... Тьма, кругом преграды... Если я еще на поверхности, то где же окно... Нет... и тут нет. Ах, вот оно.. ф-фу! Тускло лиловеет... Но дверь... Где же выход отсюда? Выйти обязательно надо — не только по физиологическим причинам, но и по другим, более важным: надо же разобраться, где я,— от ужасов сна я понемножку отходил, но куда приходил?! О, какая-то дверь под моей рукой поехала, заскрипела... и я, пройдя через нее, оказался в еще большей тьме. Искательно оглядывался назад, но и там уже ничего не светило, значит — только вперед! Физиология торопила. Вот еще какая-то дверь... Со скрипом потянул на себя... полная тьма! Что открыты глаза, что нет — никакой разницы! Стал щупать руками... и на что-то наткнулся. Чье-то плечо... толстая, неподвижная рука... Я рванулся вбок, нащупал стену, стал шарить по ней. Под рукой что-то нажалось, щелкнуло... Яркий свет залил помещение. Я зажмурился, потом открыл немного свои очи... О, да у них тут настоящий холл — зеркала, настенные переливающиеся бра, светлые заграничные обои! Теперь я наконец-то вспомнил, куда приехал... Вот тебе и село! А то, куда я пытался только что войти и где нащупал чьи-то плечи и руки, был полированный платяной шкаф, пальто и шубы. Хорош бы я был, если бы хозяева, включив свет, увидели бы меня роющимся в шкафу. Хорош, подумали бы они, гусь!— вот тебе и «вылитый Егор»! Рядом была еще одна дверь, но эта уж явно вела на воздух, оттуда тянуло холодом... Но что ж— на воздух все же надежнее, там можно не особенно мучиться, а то тут, пока шаришь по стенам, можешь не стерпеть. За этой дверью была вторая, совсем уже наружная, между этими дверьми висела грязная рабочая одежда, стояли измазанные глиной сапоги... Как все тут четко у них, мелькнула отрывистая мысль,— я распахнул последнюю дверь и вышел на невысокое, боковое, неглавное крыльцо. Прямо перед ним стояли скособоченные, частично облетевшие, почерневшие от мороза астры, а дальше — покрытые толстым инеем, чуть ли не снегом, соблазнительные лопухи. Но оказалось, что на улице уже светло, все видно и прямо вдоль длинного нашего палисадника идут какие-то женщины в ватниках и платках, с вилами на плечах, с любопытством поглядывают на меня... Отменяется! Я быстро обогнул угол дома— где-то должен же быть у них сортир?! Вот главное крыльцо типа террасы, со стеклами. А вон в дальнем углу, среди других дощатых строений, великолепная будочка, скворечник! Я домчался туда, рванул дверцу... проклятье! Закрыто изнутри! И идея лопухов тоже уже не годится, потому что там явно кто-то засел и через щелку наблюдает! Я с безразличным видом стал прогуливаться... Шел длинный дощатый сарай, и оттуда неслись аппетитное похрюкивание, и козье мекание, и низкое коровье мычание... Чувствовалось, что человек в будке засел основательный, капитальный...

Таинственная тьма, так волнующая меня вчера, полностью теперь рассеялась, и в тусклом фиолетовом свете утра открылся огромный плоский участок с высохшими тыквенными плетьми, дальше — ряды парников в земле, с порванной пленкой, тоже покрытой серебряной изморозью,— «утренник» был крепкий!

И тут наконец визгнул на гвозде запор и из темноты будки вышел наш хозяин. Плотный, основательный, но маленький, в каком-то темном рубище, в меховой безрукавке, в галошах на серые шерстяные носки. Главной примечательностью его облика была огромная голова — «котел», я бы сказал, и почти без шеи! А в лице его выделялся нос, формой и размером напоми-

нающий кабачок, но слегка подмороженный, рыжеватый, с крупными оспинами. Глазки были примерно как у налима — маленькие, черненькие, веселенькие, прямо по бокам носа.

— Ну, привет тебе, привет! — Он протянул ко мне миниатюрные руки (сразу две!).— Ну, я вчера Варваре сказал — вылитый Егор!

«Чего же ты мне-то этого вчера не сказал?» — подумал я, но усмешку сдержал.

— Чего — я слышал — плохо заводится у тебя? — Он кивнул на мою машину в конце ограды, всю покрытую небывало крупными каплями росы.

«А что, пора уже заводиться?» — хотел съязвить я, но сдержался, тем более что заводилось вчера, когда я отгонял машину от ворот, действительно очень хреново. Озабоченность вытеснила всякую иронию.

— Ты ж, наверное, искупаться хочешь поехать? — вдруг радушно проговорил он.

«Странно,— я не сдержал удивления,— почему это он думает, что в такой заморозок я хочу именно искупаться?» Куражится, надо думать,— ведь отец радостно предупреждал меня, что его друг Платон, мастер ядовитых проделок,— с абсолютно тупым и добродушным лицом! Видимо, то и происходило!

— Да вот чего-то зажигание барахлит,— солидно сказал я,— сначала бы надо разобраться.

— А-а-а, ну смотри,— равнодушно произнес он и побрел куда-то в сторону. Видимо, единственный интерес я представлял для него как предмет утонченных его розыгрышей.— А то, хочешь, на своей тебя довезу? — Азарт в нем, видимо, побеждал все прочие чувства.

Я понял, что сейчас единственный способ продолжить общение с ним (а значит, и со всеми остальными) — это участвовать в том, что он предлагает, а для выигрыша делать вид, что делаешь это с колоссальным энтузиазмом!

— Да искупаться неплохо бы вообще! — весело воскликнул я.— Сейчас, только шмотки возьму! — Я заскочил сперва все же в будку, потом в дом — за плавками и полотенцем.

«Ну что ж, раз так — пускай!» — тоже с азартом подумал я.

Утро действительно было отличное, капли начинали светиться желтым в лучах, идущих между туч, пахло дымком и полынью. Я вошел под навес, где стоял его серый драндулет типа «Нива», сел вперед и активно заговорил, не давая этому интригану особенно развернуться:

— Я, наверно, перебудил всех у вас — темно было, а я выход искал!

— Кого ж ты разбудил? — насмешливо проговорил он.— Жена еще с ночи к сестре ушла — у той корова рожает. Дочь уж три часа как на ферме, а зять — вон он сидит!

Через стекло я увидел фигуру, словно прилипшую к толстому осветительному столбу за оградой. До столба провода были туго натянуты, дальше свисали, от действий зятя слегка покачивались.

— Трехфазку тянет к нашему амбару.— Платон кивнул на могучее бетонное строение без окон.— Циркульную пилу хотим сделать. Он главный энергетик колхоза у нас.

— Ну что ж, дело хорошее! — откликнулся я.

Мы поехали. Изредка Платон медленно кланялся встречным через стекло, некоторых пропускал.

Меланхолично он начал рассказывать, что с этого года, как ушел с работы, все стало валиться из рук, ни к чему серьезному не лежит больше душа, а все дела со скотиной и участком (грандиозным, я бы сказал) он презрительно называл «баловством».

«Сразу же дурить тебя начнет — моментально! — с восторгом предварял нашу встречу отец.— И то плохо у него, и это никуда, а на самом деле все у него кипит. Любит прибедняться — и тебя будет дурить!»

Так и было.

Мы как-то без дороги, прямо и непосредственно, выехали в серую ровную степь. Платон словно и не смотрел на дорогу, плакался, какие у него ленивые дочка и зять (ничего себе ленивые — с шести утра на столбе!). Потом уже, ближе к морю, начался небольшой склон, изрезанный оврагами и речками,— приходилось делать петли, объезжать, понемногу спускаясь вниз. Да, довольно-таки заковыристая получилась шутка — отвезти меня искупаться, дорога головоломная, а ведь примерно где-то тут я проезжал вчера в темноте!

Теплело, крупные капли на листах наливались желтым. Потом все пространство вокруг нас, от края до края, сделалось красным — весной так широко цветут в степи маки, но это были не маки, это были помидоры, маленькие, остренькие, яркие,— я внимательно разглядывал их гирлянды у самой дороги, порой вылезающие почти на дорогу.

— Красиво! — не удержавшись, воскликнул я.

— А, все гниль! — махнув короткой ручкой, проговорил Платон.

— Как гниль? — удивился я.— Все это?!

— А что ж ты хочешь? — усмехнулся Платон.— Второй уже такой «утренник» за три дня! А помидоры — нежный продукт! Там в них такие капилляры,— он растопырил пальцы,— с водой, ну и когда вода в лед переходит, лед, сам понимаешь, шире воды, и капилляры эти рвет. Тут же все загнивает. Теперь,— он оглядел бескрайние поля,— разве свиньям на корм, и то если руки дойдут!

— Как же, столько погибло?! Что же смотрели-то?

— Да почему смотрели? Работали. Убрали, сколько могли, план выполнили, да и все, кому не лень, себе набирали, а все равно вон сколько осталось!

— Да у нас... из-за такой одной помидорины шикарной... любой с ума сойдет! — воскликнул я.

Платон молча пожал плечом. Мы спустились к воде, остановились на пляже. Море было еще какое-то непроснувшееся, абсолютно ровное и серое. Я быстро искупался, вытерся. Потом мы сидели в машине, молча глядели на неподвижное море, на светлый и тоже вроде бы неподвижный кораблик на самой кромке.

Я вспомнил: отец говорил, что колхоз этот довольно лихой и, кроме скота, овощей, имеет рыболовный флот, который ловит всюду, чуть ли не у Новой Зеландии, и Платон занимался как раз этим, был на сейнере то ли механиком, то ли тралмейстером, точно отец не помнил, но главное — повидал свет. На эту тему я попытался деликатно его разговорить — не молчать же тупо, сидя в машине, и потом так же тупо молчать, когда отец станет расспрашивать, что и как.

— Как, вспоминаете море-то теперь? — спросил я.

— Да, мерэшыцца порой! — неохотно проговорил он.— Да и то: бывало, выйдешь ночью на мостик, от берега тыщи миль, а вокруг светло, от горизонта до горизонта лампы сияют, что твой Невский проспект!

— А что же это? — изумился я.

— Так тралят же! — довольно равнодушно пояснил он.

— А-а-а!

— Знаешь, сколько в ту пору я весил?

— Мало? — догадался я, имея в виду тяготы морской жизни.

Он кинул на меня презрительный взгляд — видимо, любимым занятием его было показывать людскую глупость и свой ум.

— Мало? — скептически переспросил он.— Сто сорок кило!

— Почему же так много? — пробормотал я.

— Так не двигался почти,— пояснил он,— с вахты в каюту, с каюты — на вахту, да и все!

Такие неожиданные сведения о рыбацкой жизни поразили меня, но именно этого и добивался мой собеседник.

— Да! Так со мною в каюте почти полгода командированный с Ленинграда жил! Инжэнэр,— солидно проговорил Платон.— Соображал помаленьку, как локацией рыбу искать... Да, инжэнэр... С Ленинграда, да...— Платон немножко застопорился.— Мы ж с ним друзья сделались в конце! — Платон несколько оживился.— Ты зайди к нему в Питере, я адрес тебе дам! Он тебе все что хочешь сделает!

Опять он что-то крутит, хитрит, подумал я. Почему это какой-то инженер в Ленинграде, с которым он плавал когда-то давно, должен мне делать все, а вот этот, друг моего отца, находящийся в непосредственной близи, не хочет мне сделать ничего, даже не покормит завтраком, а держит зачем-то на берегу пустого и неуютного моря?

— Тянет... в море-то? — пытаясь развивать беседу в лирическом направлении, спросил я.

— Та нет,— усмехнулся Платон.— Я на море люблю больше с берега смотреть!

На этом мы закончили с ним задушевную нашу беседу. Он завелся, и мы порулили обратно.

Теперь мы, видимо, для разнообразия ехали немножко другим путем. Остановились над обрывом, над узкой стремительной речушкой. Тот берег уходил вдаль все более высокими холмами.

— Сколько уж потопано тут! — вздохнул Платон.— Помню еще, как вот на этом самом холме монастырь стоял, монахи на лодках плавали. Потом, сам понимаешь, закрыли монастырь, но все сначала там оставалось как есть. Помню, наша ячейка ставила спектакль антирелигиозный и нам с Егором, твоим отцом, поручили из монастыря того иконы для декорации привезти. Переплыли на лодке туда, вошли... Темнота, таинственность, святые со всех стен смотрят на нас. Быстро схватили со стены две самых больших иконы — в полный рост — и быстро выскочили с ними на свет, на воздух! К лодке спустились, обратно поплыли... Тут совсем уже солнце, жара! Сбросили те иконы с лодки в воду и стали купаться с ними, как с досками! Заберешься на икону, встанешь — и в воду прыгаешь! — Платон вздохнул.— Вот и допрыгались! — мрачно закончил он.

Дальше мы молчали и молча доехали обратно. Вообще-то Платон, судя по количеству парников за домом, по размаху массивного амбара, был не так уж беден, но жаловаться, прибедняться, причислять себя якобы к последним дуракам — это постоянный его стиль, об этом меня предупреждал еще отец. Сейчас он был бы рад, что характер его друга абсолютно не изменился.

Машина, въезжая во двор, проехала по нескольким клокам сена, разнесенным из-под навеса сеновала завихрениями ветра, и Платон, поставив машину, сразу же стал собирать сено вилами обратно, на огромную колючую гору, потом, перекрутив отполированную палку в руках, стал плотно пристукивать клочки к общей массе обратной, выгнутой стороной вил. Я от нечего делать принялся ему помогать. Где-то там, в городах, я что-то значил, мог важно и веско говорить, и это что-то значило, но здесь все это не значило ничего. Здесь я снова превратился в мальчика, в сына старого друга, и соответственно себя вел — и более ничего. Уже почти все забыв, здесь я вдруг вспомнил себя в детстве — робким, вечно краснеющим мальчишкой.

За оградой тянулось широкое поле с раскоряченными сухими плетьми, среди них тяжелые, как ядра, темнели мокрые тыквы.

— И тыквы все померзли — не могли убрать! — махнул туда рукою Платон.— Хоть я своего зятя с этой лентяйкой заставил свои тыквы убрать! — Он кивнул на амбар.

Раздался треск, легкий шум выхлопов. Платон распахнул ворота, и на бескрайний его двор въехал коричневый трактор — «шассик» — с небольшим железным кузовом перед стеклянной кабинкой. Платон постелил широкую рогожу, и тракторист вывалил из кузова гору зелено-серого перемешанного комбикорма. Все это, конечно, включая трактор, было колхозное, но Платон обращался со всем этим абсолютно уверенно. Он нанизывал корм на вилы и раскладывал в корыта-кормушки — радостно замычавшей корове, серо-розовым хрякам в соседнем отсеке, а за следующей перегородкой уже вскакивали и стучали в доски копытцами черные пуховые козы.

В свином деревянном корыте я успел увидеть присохшие ко дну скукоженные чехольчики помидоров — и тут он успел! Интересно — до заморозка или после?

Потом я смотрел на слоистые загривки торопливо жующих хряков и думал: в нашей жизни во всех хитросплетениях все равно не разберешься! И самое верное — самое примитивное рассуждение: человек, выкармливающий скотину, хотя бы даже для прокорма себя, наверное, прав, а те, кто как-то ограничивают его, тоже, может, правы, но уже меньше! И я так чувствую, что помогать-то, наверное, надо ему, а не другим — которые абсолютно спокойно оставляют поля помидоров, превращая их в гниль!

Тракторист уселся на приступку кабины, закурил и чего-то ждал, стеснительно — и в то же время явно — поглядывая на меня. Платон, недовольный заминкой, замедлил движение вил и остановил на нем тяжелый взгляд.

— Гала просила передать,— как бы оправдывая свое присутствие, проговорил тракторист,— шо к обеду она не придет — у нас Вятка рожает!

Платон мрачно кивнул и продолжил работу. Видимо, посчитал, что это сообщение как-то объясняет небольшую задержку тракториста. Стало быть, понял я, эти комбикорма — привет от Галы, дочки Платона, посланный с фермы... Вроде бы это нехорошо, но ведь больше взять-то неоткуда, да и сколько его на любой ферме валяется под ногами, под тракторами!

Тракторист вдруг преодолел свою нерешительность, встал с подножки — маленький, румяный — и слегка приседающей походкой направился ко мне. Платон хмуро посмотрел на него, потом махнул рукой, заранее, видно, поняв, что собирается сказать тракторист, и оценивая это как ненужную пустяковину.

Тракторист подошел ко мне вплотную и выбросил пятерню. Мы взялись за руки, пожали, но тракторист не выпускал мои пальцы. Глаза его загадочно блестели. Он выдержал длинную паузу и наконец эффектно произнес:

— Попов Леонид Георгиевич!

В смысле произведенного впечатления он не просчитался.

— Как? Попов? И Георгиевич? — изумился я.— Так я же Валерий Георгиевич Попов!

Тракторист довольно улыбнулся и, ни слова больше не говоря (видимо, он сделал все, что хотел), еще раз тряхнул мне руку, сел в стеклянную свою кабину и урулил.

Единственный, на кого я мог выплеснуть свои эмоции, был Платон, хотя, судя по меланхолическому его выражению, особого сопереживания я от него не ждал.

— Попов!.. И — Георгиевич! — все же воскликнул радостно я.

— Да много тут всяких! — пренебрежительно произнес Платон (я подумал, что он имеет в виду нерадивого тракториста).— Што ж удивительного — родное ведь село.

Действительно... родное! — Я с умилением посмотрел вокруг, но ничего умилительного больше не заметил.

— Ты, чем филологией заниматься,— уже по-свойски предложил Платон,— лучше бы съездил в поле, памадор привез! Вон старые ящики у ограды валяются — загрузил бы!

— Мерзлых, что ли?

— Так сойдет... для скота... Через три дня вовсе сгниет.

Конечно, по абстрактным законам он не прав: помидоры не его... Но по здравому смыслу... А есть ли что-нибудь важнее его?

— Да чего-то машина моя барахлит! — проговорил я.

— А чего там у тебя с ней? — Тут он проявил интерес.

Мы подошли к моей машине (крыша и бока уже высохли), открыли и сели. Я повернул ключ зажигания, стартер крутился, завывал, но мотор не подхватывал. Мы подняли крышку, проверили бензин в карбюраторе, искру на свечах — искры не было... Почистили свечи, снова повторили — стартер крутился, мотор молчал!

— Ну, ясно все — электронное зажигание полетело у тебя! И зачем это только ставят его, за Западом гонятся?.. Это в наших-то условиях!

Платон вынес свой суровый приговор. Как будто сам он ездит на волах! У самого стоит «Нива»!

— А транзистор, что сгорел, у нас тут за сто километров не сыщешь... Ну ладно уж, поспрошаю ради тебя! — подытожил Платон.

«Все ясно! Теперь он сможет держать меня в рабстве, сколько захочет!» — подумал я.

— Так, может, на моей съездишь? Ящики вон лежат! — как на самую важную деталь, он снова указал на сваленные ящики.

— Да смогу ли я... на вашей-то? — пробормотал я.

Платон вдруг не стал меня уговаривать, а отвлекся, вылез, пошел к воротам — к ним как раз подъезжала мрачная закрытая машина. Она въехала во двор, и из нее вышли трое молчаливых, на чем-то сосредоточенных крепких ребят в черных комбинезонах. В руках они держали какие-то уздечки. Из отсека, где жили хряки, донеслись отчаянные, душераздирающие визги. Да, это пришел их последний день на земле, но откуда они-то заранее знали, что это выглядит именно так, если считать, что они живут на свете только первую свою жизнь?!

Один из приехавших отмахнул калитку, вошел к хрякам, загнал самого крупного в угол, затянул на нем уздечку и поволок — на скользком деревян-

ном полу остались четыре колеи. Он добуксировал хряка до машины и кинул его в кузов. Второй стремительно проделал то же самое. Третий, самый молодой из них, замешкался. По отсеку с душераздирающим визгом метались два оставшихся борова.

— Какого... этого... или этого? — спрашивал парень у Платона, сам, видимо, не в силах скрутить ни этого, ни того.

Платон молча выхватил у него уздечку, напялил на одного из оставшихся, что был покрупнее, и стремительно отволок его в машину. Оставшийся боров визжал за четверых. Машина, покачиваясь, выехала.

Сцена эта длилась, наверное, несколько секунд, но произвела впечатление очень тяжелое. Даже железный Платон присел на секунду на крыльцо, и папироска в его пальцах дрожала.

Конечно, можно романтично мечтать, чтоб свиньи были живы и люди сыты, можно в ослепительно белом фраке кушать свинину на серебряном блюде, полностью отстранившись от того, как она здесь оказалась... Но честно ли это?

Я посмотрел на оставшегося хряка (который вдруг резко прервал свой визг, шлепнулся на пол и лежал неподвижно, словно разбитый параличом), потом повернулся к Платону.

— Ну ладно, съезжу... Где у вас ключ?

Платон снял с гвоздя на террасе ключ и молча протянул мне.

Я стал кидать в заднюю часть салона ящики.

— Доедешь, где мы спускались,— прокашливаясь, произнес он.— Там увидишь вдали будку, свернешь туда... Там Николай. Думаю, договоритесь. На всякий бякий — стеклянный пропуск возьми!

— Стеклянный? — не сразу сообразил я, потом, сообразив, пошел в дом, вынул из сумки бутылку.

Я спускался петлями вниз... Еду на чужой машине, за чужим кормом, для чужого хряка!.. Да, истончилась моя собственная жизнь!.. Но в данной ситуации, надо понимать,— это самое полезное, что я могу сделать.

И вот я снова увидел с двух сторон бескрайнее помидорное поле, точнее — это были уже не помидоры!.. А что? Вдали, над крутым морским обрывом, я увидел и домик-будку. Но как проехать туда? Шла лишь узкая, гораздо уже машины, тропка... Что было делать? Я свернул туда, поехал... Замерзшие помидоры звонко лопались под шинами, впечатление было ужасное... словно едешь по цыплятам... Я старался ехать медленней, будто это что-то меняло.

Я подъехал к будке, заглянул внутрь. Там было темно, затхло. Никого не было. Я вышел обратно. Приглядевшись, с удивлением увидел, что с дальнего конца поля быстро плывет над помидорными кустами белый, перевернутый кверху ножками стол. Потом разглядел под ним хрупкую фигурку. Она, слегка хромая, приблизилась... Худой, как мальчик, старичок с седой щетиной снял с головы стол, поставил. Отдышавшись, вдруг протянул руку:

— Поцелуев... Николай Петрович!.. Платона Самсоныча племянник?

Видно, слухи тут распространялись довольно быстро, хотя и не совсем точно.

— Да... сын... его друга.

Старичок умильно кивнул.

— А я на тот край поля ходил! Был там у нас... небольшой брифинг! — Он довольно утер губы.

— Понятно,— проговорил я.— Вот Платон Самсонович,— я кивнул на пустые ящики,— просил передать...

Обращаться к сторожу с более конкретными требованиями все-таки было неловко.

— Ясно! — сказал он. Мы выкинули пустые ящики и загрузили до края заднего стекла салона полные, с помидорами.— Мерзлые! — пояснил он.— А так — нельзя!.. Нет, конечно, для начальства можно!.. Эти черные «Волги», как грачи, слетаются каждое лето — и доверху их загрузи. А об оплате, ясное дело, и речи нету! Глядишь иной раз — жир с него каплями каплет... Думаешь: ну дай ты червонец, не позорься!.. Никогда!.. А так-то — нельзя!

Мы возмущенно с ним выпили водки.

— А что работает по-настоящему один Платон да дочь его Галя, великая труженица, с десятью старухами — это им неважно! Вот запретить — это они любят! — Старичок Поцелуев раздухарился. Мы выпили еще. Провожая, он горячо жал мне руку, словно главному проводнику прогресса.

Зигзагами я выехал на дорогу. Я возмущенно ехал вдоль бескрайнего погубленного поля... Действительно — все нельзя, можно только самое ужасное: чтобы все вокруг погибало! И вполне логичным, хоть и противным завершением этой картины стал милицейский «газик», круто обогнавший меня, с неторопливо высунувшейся форменной рукой, помахивающей жезлом по направлению к обочине. Я злобно остановился. «Газик» некоторое время стоял безжизненно, потом из него показалась нога в сапоге, потом все тело — маленький румяный милиционер крайне медленно, совершенно не глядя в мою сторону, двинулся ко мне. Меняются города, климатические зоны, но одинаковость поведения одинаковых людей поразительна — климат почему-то совершенно не влияет на это! Эта милицейская медленная походка постоянна везде — именно от этой медленности, по их мнению, клиент должен заранее цепенеть и холодеть! Один только раз в жизни милиционер подошел к моей машине нормальной, быстрой человеческой походкой, и то, как выяснилось, он попросил меня довезти его до дома. Фараон (в данном случае это величественное слово полностью подходило к нему) наконец приблизился. Даже не повернувшись ко мне, глядя куда-то в сторону, он открыл дверцу и сел рядом со мной, не произнеся ни звука. «Газик» перед нами медленно тронулся... Надо полагать, мне надлежало теперь следовать вслед за «газиком»... Новый хозяин моей жизни даже не счел нужным открыть рта!

Мы долго ехали лениво и как бы сонно. Вслед за «газиком» я въехал во дворик милиции. Хозяин мой вылез, потоптался, зевнул, потом тускло посмотрел на меня.

— Выгружай! — отрывисто скомандовал он.

Я посмотрел на него. Кого-то он мне колоссально напоминал!.. Но, как я смутно чувствовал, на ситуацию это не повлияет. Сгибаясь, словно я был уже каторжник, я стал выгружать ящики из машины и складывать их штабелем.

Полосатой палкой — видимо, любимым своим на свете предметом — он пересчитал ящики сверху вниз.

— Ну что ж! — довольно усмехнулся он.— Мало тебе не будет!

— Так ведь мерзлые же! — вскричал я.

— А это уже никого не колышет! — ухмыльнулся он.

Я похолодел. В лице его я не видел ничего, кроме упоения властью и еще — любви к тем благам, которые с нею связаны. Я не обнаружил в его лице ничего, за что бы я мог зацепиться, что бы могло меня спасти. Все будет так, как он захочет, а хочет он так.

Мой ужас усилился еще более, когда он молча повернулся и пошел в здание — видимо, считал даже излишним приказывать: его мысли должны читаться и так! Человек явно был в упоении, а тому, кто находится в упоении, трудно и даже невозможно что-нибудь возразить.

Мы вошли в полутемное помещение и сели — он за стол, я на жесткую табуретку. Я почувствовал, что в эти вот секунды жизнь моя переходит в другое состояние. Беда, которая смутно предчувствовалась всегда, стала грозно проясняться.

Я лихорадочно вспоминал, какие впечатления у людей, знакомых и незнакомых, о жизни за колючей проволокой больше всего угнетали меня. Пожалуй что — это не нужда, не холод, не тяготы, хотя переносить их будет мучительно. Главное, что отвращало меня,— дух, победное торжество глупости, тупых устоев! Один мой знакомый, вернувшийся оттуда совершенно беззубым и сломленным, говорил мне, что именно эта торжествующая глупость и есть самое невыносимое. Он рассказывал, например, что человек, оказавшийся в койке с весьма опытной девицей, которой, к его удивлению, не оказалось еще и семнадцати,— человек этот был всеми презираем, преследуем, избиваем: как же — он нарушил принятую мораль! Другой же, шофер такси, увидев на улице свою жену с каким-то мужчиной, въехал на тротуар, расплющил их и еще изувечил немало ни в чем не повинных людей... Этот в тех местах считался, наоборот, героем — так именно, по их законам, и следует вершить жизнь! Вот что самое жуткое там, и вот что мне уж точно будет не выдержать!

— Паспорт! — Милиционер скучающе протянул руку.

Страшные галлюцинации, что снятся и мерещатся всем нам, просто и буднично превращались в реальность. Неужели уже никогда больше я не смогу идти в ту сторону, в какую захочу, и столько времени, сколько захочу?

В теперешней жизни как-то все перепутано, неясно, где черное, где белое, иногда делаешь вопреки и чувствуешь, что делаешь верно, а иногда вроде правильно, а тошнит... Как тут разберешься, где верх, где низ, где зло — и откуда ждать помощи. Неоткуда, похоже, ее ждать!

Я вспомнил вдруг давнее школьное утро, когда меня обвинили в курении и я должен был на следующее утро доказать, что это шел пар, а не дым. Я ведь был пионер, атеист — и в то же время как азартно я ждал, как верил, что какая-то помощь должна прийти! Как горячо я этим дышал — и выдышал, кстати, горячую струю... Способен ли я на такое теперь?

Дежурный вдруг оцепенел с ручкой на весу. Я тоже застыл... я вдруг почувствовал... происходит!

Он вскинул на меня глаза... Ну что, что? — торопил его я. Но он молчал. Потом вдруг снял жесткую фуражку, перерезавшую лоб красной вмятиной, вытер пот... Потом перевернул протокол ко мне, чтобы я смог его прочитать. Чудо росло на моих глазах, легко отменяя привычное: задержавший дает посмотреть протокол задержанному, как бы советуется!

Я начал читать — и чуть не подпрыгнул:

«Одиннадцатого сентября сего года я, патрульный вязовского отдела милиции Попов Валерий Георгиевич, задержал Попова Валерия Георгиевича...»

Мы захохотали. Да, чудо было немудреным, но зачем мудреные-то чудеса в таком месте?

— Да-а... фокус! — Он тоже растрогался. Потом скомкал протокол. Потом расправил, положил в стол.— Ребятам эту хохму покажу — обхохочутся!

Не удержавшись, я подошел и чмокнул его — все же нечасто бывает такое! В моей жизни в первый и, наверно, в последний раз.

— Но-но! — испуганно отстраняясь, рявкнул он.

Действительно... «при исполнении»! Пока чудо не растаяло, надо «таять» самому.

— Спасибо! — уже на пороге сказал я... Но — кому?!

Потом, покидая эти места — увы, на поезде, а не на машине и слегка уже приустав, я размышлял о происшедшем: а было ли что-то?! Что же необыкновенного в том, что в этих местах, где бродили еще наши гены, встретился мой «буквальный» близнец?.. Да — но в какой момент!

Потом, уже ночью в вагоне, я думал: какой все-таки ехидный старикашка — этот всевышний! Зачем ему нужно было показывать свой светлый лик именно в кутузке, неужто не мог уж подобрать более симпатичной ситуации?

...Да нет, уже под утро понял я, все правильно! Чудеса не бывают неточными — и это точное. Я бы сам морщился от пошлости и ненатуральности, если бы, скажем, умильные пейзане встречали меня на границе области сочными дарами. Я бы узлом завязался от стыда! А так, все правильно— получил помощь в несколько иронической, издевательской форме — в духе моего теперешнего характера! Не целлулоидного же мишку класть в изголовье моей постели?

А так, ясно, он меня видит, причем именно меня, а не кого-то вообще!

...Но до этих благостных размышлений в поезде произошло немало мытарств.

Транзистор для моего электронного зажигания Платон, конечно же, не достал (да и мог ли и, главное, пытался ли достать?). Большой вопрос! И вообще все оставшееся время он был со мной крайне суров, даже не поблагодарил за гнилые помидоры, которые я добыл с таким трудом. Ну и правильно, наверное... А что бы я хотел? Чтобы он носил меня в сортир на руках? Я бы и сам не согласился!

Зато он охотно отбуксировал на своей «Ниве» мою колымагу до железнодорожной станции — это, я думаю, важнее сладких слов и слезливых объятий.

В товарном тупике по наклонным рельсам мы вкатили мой драндулет на открытую платформу. Распорядителем почему-то был заика, от которого невозможно было даже добиться: точно ли в Ленинград пойдет эта платформа?

— В Л-ленинград, а к-куда же еще? — несколько неуверенно говорил он.

Как будто бы мало у нас городов!

Безуспешными были и мои попытки как-то прикрыть машину хоть каким-то брезентом — такие речи всеми встречались просто с изумлением: что значит это слово — «брезент»?

— А они нарошно так сделали, шоб нихде ничего не було! — усмехнулся Платон. После чего, крепко пожав мне руку, он убыл.

Осталось ли у меня о нем плохое впечатление? Да я бы не сказал. Все-таки какой-то блеск разума в общем море хаоса его украшал.

Полоса безумия и бесчеловечности началась дальше. Когда должна была поехать моя машина (на платформе), никто не знал. Да и двинется ли она отсюда вообще? Какая-то квитанция размером с трамвайный билет, которую мне выдали вместо машины и уплаченных денег, беспокоила меня. Выдадут ли мне по ней машину? Не очень что-то похоже!

Билет для себя я достал лишь на послезавтра... Не возвращаться же на это время к Платону? Придется ночевать на вокзале. Но оказалось, что и эта фраза, как бы проникнутая унылым пессимизмом, на самом деле полна необоснованной бодрости... Ночевать на вокзале? Ишь чего захотел! Вечером, когда я пытался задремать на скамейке, я вдруг увидел, что под напором женщины в горделивой железнодорожной форме целые ряды пассажиров снимаются и уходят из зала. Может, наивно подумал я, она заботливо провожает их на поезд? Но такого уже не будет в нашей жизни никогда! Чем ближе она подходила, тем ясней по ее лицу я понимал, что она просто гонит людей!

— Но почему же? — воскликнул я, когда она «срезала» наш ряд.

— Позвольте не вступать с вами в полемику,— проговорила она.— Это — вокзал! Учреждение, а не ночлежный дом! У себя же в учреждении вы не остаетесь ночевать?

Одна не особенно крупная женщина выгнала в ночь, на холод, несколько сот человек!

Новый, элегантный, стеклянный и, главное, абсолютно пустой и чистый вокзал сверкал перед нами, как хрустальная люстра. С дорожной свалки, из зарослей полыни мы смотрели на это сияние, как волки на костер,— и почти что выли. От холода, от комаров и, главное, от отчаяния! Неужели же теперь всегда будет только так?!

Часов в семь утра, потеряв все человеческое, мы, отталкивая друг друга, ломились в милостиво открытые двери. Главное было — захватить кресло, «не заметив» или оттолкнув устремившуюся на это же место старушку. Когда наконец все, кто сумел, расселись по сиденьям и попытались погрузиться в сладостную дрему, из кабинета вышла та же неумолимая женщина и начала, методично обходя ряды, поочередно встряхивать задремавших:

— Просыпайтесь! Спать на вокзале не полагается! Сидите, пожалуйста, прямо!

Я не отрываясь смотрел на нее: может, я все же заснул и это ужасный сон? Да нет... Уж больно это похоже на нынешнюю реальность! Ну а где же хотя бы дуновение разума, доброты? Неужели это исчезло навсегда и всевышний навсегда прекратил свою деятельность? Видимо, так!

Все же, не выдержав, я вскочил (безнадежно, конечно, потеряв свое место!) и пошел куда-то по длинным служебным коридорам... Вот дверь с табличкой «Начальник вокзала». Может, он поймет или хотя бы что-то почувствует?!

— Ну подумайте сами, вы же интеллигентный человек,— что будет, если оставлять ночевать? Тут же будут жить неделями!

— А выгонять в ночь на холод?!

— Таковы инструкции.

— Зачем все они? По-моему, достаточно лишь одной инструкции — не быть сволочью и идиотом!

...Это я лишь подумал, глядя в его оловянные глаза, но, конечно же, не сказал!

— А не скажете, как ваша фамилия? — вместо этого проговорил я.

— Она написана на дверях кабинета,— холодно (вопрос был характерен для неинтеллигентного посетителя!) произнес он и склонился над бумагами, в которых, видимо, было сказано. как окончательно довести все дело до ручки.

Я вышел и стал таращиться на дверь — никакой фамилии там не было! Было лишь написано «Начальник вокзала» — и все, больше ни буквы! Кто из нас сумасшедший — я или он?! Или это был способ избавиться от меня? Какое это имеет значение?.. Авдеев? Пучков? Какое это имеет значение?

Я брел по бесконечным служебным коридорам — вон, оказывается, сколько их тут?! И вдруг за полуоткрытой казенной дверью я увидел рай, блаженство, мечту: в синеватом дрожащем свете дневных ламп там всюду были сложены матрасы — белые, с ржавыми потеками и синими полосами, они лежали кипами, поднимаясь до потолка, словно специальное ложе для изнеженной принцессы на горошине. Войти бы, взобраться на них, смежить веки и погрузиться в теплое блаженство... Нет?.. Ну разумеется — нет! Плотная женщина в синем халате увидела голодный мой взгляд и не поленилась пройти через всю большую комнату и хлопнуть дверью перед моим носом!

Все! — понял я. Это конец! Эти люди победили *Его* и не просто указали на *недопустимость*, но и тщательно выкурили из мельчайших щелей всякий дух разума и добра!

Я снова брел мимо двери начальника. Безумная идея — зайти?.. Вдруг... опять он окажется однофамильцем?! Ну и что? Да и снова надеяться на это — уже наглость, о таком и мечтать-то некрасиво!

Я вышел в зал... Мое место, как, впрочем, и все остальные, было занято. Единственное, к чему можно было как-то прислониться,— это слегка отъехавший на подвижной консоли шершавый пожарный шланг, свернутый спиралью... Я направился к этой консоли, хотя, наверное, и это святыня, к которой простым смертным приближаться нельзя? Я все же приблизился — хотя бы мысленно подержаться...

Рядом с консолью на стене была присобачена маленькая табличка с ржаво-красной схемой пользования шлангом в случае чего, а под ней была надпись: «Ответственный за пожарную безопасность — начальник вокзала Каюкин Х. Ф.»

Вот, собственно, и все. Но и этого было достаточно. Я почуял, что всевышний, который не в силах уже ничего сделать против грубой, бессмысленной силы, захватившей мир, тихо стоит рядом со мной и усмехается.

...Я вдруг ясно представил свой последний час. Не дай бог знать этот год и месяц — нет ничего страшней этого знания... Но — час? Думаю, что в нынешней нашей жизни и он не принесет нам ничего необычного!

...Я выныриваю из океана боли — хоть за что-то, как за ветку над пропастью, зацепиться!.. Вот за дребезжание тележки со шприцами, которую пожилая и неуклюжая сестра ввозит в палату. Я слежу за ее долгими, но бесполезными приготовлениями и вдруг с надеждой — наверное, с последней надеждой! — выговариваю:

— Скажите... а как ваша фамилия?

Она с недоумением смотрит на меня: и *этот* — еще жаловаться?

— Пантелеюшкина... А что? — произносит она.

И я улыбаюсь.

●

Инна КАШЕЖЕВА

Ангел во плоти

* * *

Поэты не рождаются напрасно.
Взгляните в их обугленный уют:
живут они, поверьте мне, не праздно,
но празднично, поверьте мне, живут.
Поэты не рождаются случайно,—
так мчится конь, подстегнутый вожжой...
Заключена в них та святая тайна,
которую мы все зовем душой.
Поэтами рождаются, и это
там где-то в небесах предрешено.

И загодя налито для поэта
отравленное вечностью вино.

* * *

Мне сказали: «Веруй!»
Мне велели: «Строй!»
Александр первый,
Александр второй.
Вечер мой ненастный,
краешек зари...
Изо всех династий
вы — мои цари.
Тихо, как послушник,
горькой дрожью рта
повторяю: «Пушкин!
Верую всегда».
Может быть, убого
строфы возвожу.
Но учусь у Блока
и перевожу
перьев скрип недужный,
сердце да года.
Подвиг мой ненужный...
Верую всегда!
Громкому герою
нá зло, вопреки
я крушу и строю
хрупкий храм строки.
Тик сминает веко...
Миг — и у окна
будущего века
вижу письмена.
По своим канонам
там затеят речь.
Солнцем электронным
душу б не обжечь.
Не отдам лучинок
своего труда.
Я молюсь, как инок:
«Верую всегда
в аритмичный, нервный
вечных строчек строй,
Александр первый,
Александр второй!»

* * *

Ах, как не хочется прощаться
и ощущать, что стынет кровь!
Зачем наврали мне про счастье?
Зачем наврали про любовь?
А ветер жизни, злой и быстрый,
вот-вот свернет за поворот...
Враг на виду.
Нас только близкий,

нас только близкий предает.
И у черты последней самой
я вижу, как тускнеет свет...
И разговариваю с мамой,
хотя ее на свете нет.
Да, мертвые не имут сраму,
не имут сраму... моего.

Спасибо, жизнь, тебе за маму!
А больше нету ничего.

* * *

Позволь и мне, деревня,
принять твою беду.
Я твоего доверья
не требую, не жду.
Так модно — урбанисты
к тебе обращены,
ню гневным: «Уберись ты!»
опять обожжены.
Живу и я, ступая
по каменной стезе,
слезою прикипая
к твоей чужой слезе.
Гнетут меня коробки
безликих городов,
как горькие котомки
лихих твоих годов.
Когда изнемогаю
от праздных слов и душ,
с надеждой убегаю,
словно в спасенье, в глушь.
Средь этих скудных пашен
нет места для меня.
Так любят женщин падших,
их и себя кляня.
Так, ложную стыдливость
отторгнув до конца,
целуют некрасивость
увядшего лица.
Но льются строк потоки
про месяц над избой...
Потемкина потомки,
глумимся над... собой.
Лишь ярмарки да Леля
привыкли воспевать.

Прости меня, деревня,
моя больная мать.

* * *

Верить в бога, наверно, нелепо,
но ведь верою души сильны.
Очень дорого детское небо,
свят язык твоей отчей страны.
И весною черемухи ранят
и волнует обычный пустяк —
амок!
Только от траурных рамок
стены памяти тяжко пестрят.
Где и кем составляется смета?
Вновь поэт, не допив бытие,
каждый миг умирает бессмертно
за старинное дело свое.
Возроди колдовство и шаманство,
боль и страсть в неподкупной строке,
чтобы мальчик,
как пьяный, шатался,
чтобы умер старик в старике.

* * *

Время!
Спасибо тебе за строки,
возвращенные из лагерей.
Отбыли они свои сроки,
им по томам скорей.
Время!
Спасибо тебе за время,
взведенное, как на мине,
за то, что сапог и стремя
не символ страны отныне.
Время...
Тебя бы умножить
на все твои лихолетья —
жили б тогда, быть может,
в сороковом столетье.
И все же тебе спасибо:
не полысев в ГУЛАГе,
опять свободно, гусино
скользит перо по бумаге,
тебя заключая,
Время,
в свои последние строки.
Как пух невесомо их бремя.
Дай бог им бессрочные сроки.

* * *

Пора вспоминать поцелуи —
не долго ль закрытым был шлюз? —
пока не отбили пилюли
их влажный, восторженный вкус.
Пора вспоминать поименно
эпохи и миги любви:
открыта запретная зона,
отныне все земли твои.
Пора вспоминать...
Ты не бойся
травы среди листьев сухих.
Пройди же отважно и босо
по стеклам обманов своих.
Пора...
Нам никто не помеха,
и тихо давно за стеной...
Лишь давние ландыши смеха
звенят над усопшей весной.
И грустный восторг аллилуйи
приводит в смятенье опять.
Пора вспоминать поцелуи,
пока не пришли поминать.

* * *

Ветер, как охрипшая кликуша,
голосит, уже забыв о чем.
Не сумел сорвать большого куша?
Кто-то вечно дышит за плечом?
Кто-то оборвал дыханье в муке
и усталым ликом стал светлеть...
Жизни —
этой тягостной науки —
«до» и «после» нам не одолеть.
Значит, надо, ноги сбив до боли,
путь, отмеренный лишь нам, пройти.
Ну, а что касается любови —
это... Это ангел во плоти.
Значит, нужно, дозарезу нужно
для себя — не чтобы убедить!
с яростью простуженной кликуши
азбуку жестокую твердить.
Чувствовать уроки болью плоти,
бездыханно вознесясь почти,
и тогда вы, черт возьми,
поймете,
что такое ангел во плоти.

Публицистика и очерки

К 45-летию Победы

«Записал Константин Симонов»

24 июня 1941 года, получив назначение в газету «Боевое знамя» 3-й армии, дислоцировавшейся в Белоруссии, в районе Гродно, Константин Симонов выехал на фронт. Это была его первая военная командировка. Последняя привела его 10 мая 1945 года в только что освобожденную танкистами 1-го Украинского фронта Прагу. За четыре года войны Симонов, один из самых храбрых и легких на подъем фронтовых журналистов, повидал очень много. Едва ли среди тогдашних журналистов и писателей был кто-нибудь, кто больше исколесил фронтовых дорог, видел больше.

Симонов был в июле сорок первого в частях, которые под Могилевом отразили свирепый удар гитлеровских танковых колонн, после этого он чудом выбрался из окружения. Затем в Крыму, на Арабатской стрелке, Симонов ходил в атаку с пехотинцами. За Полярным кругом высаживался вместе с отрядом моряков-разведчиков в тыл врага. Переправлялся через Волгу в пылающий Сталинград, где шли невиданно ожесточенные уличные бои. Писал из осажденной Одессы и с Курской дуги. Участвовал в походе подводной лодки, минировавшей румынские порты, и летал к югославским партизанам. Видел только что освобожденный лагерь смерти в Освенциме и присутствовал при подписании Кейтелем в Карлхорсте безоговорочной капитуляции Германии. Симонов встречался в те годы с командующими фронтами и армиями, чьи имена стали достоянием истории, и безвестными рядовыми солдатами, беседовал с артиллеристами и разведчиками, танкистами и моряками, летчиками и саперами.

Однако, как ни велик был запас впечатлений, накопленный писателем в те годы, он, работая над книгами о войне, которая стала главной темой его творчества, понял, что ограничиться лишь собственными воспоминаниями не может, и стал со свойственным ему упорством пополнять свои знания фронтовой жизни. «Конечно, я сейчас гораздо шире знаю войну, чем тогда,— писал он через двадцать лет после Победы одному из литературоведов.— То, что я тогда знал и помнил, я и сейчас помню, но я не разговаривал тогда так подробно, как сейчас, с десятками и сотнями людей, которые провели войну на других должностях, в другой шкуре, чем я. А сейчас я это делаю уже много лет подряд». И так эти встречи и беседы расширили его представления о войне, что в одном письме он даже шутил по этому поводу: «...Иногда в последние годы начинало казаться, что с этими своими представлениями о войне я становлюсь похожим на старый мешок, в который уже невозможно больше даже ничего впихнуть — так он под завязку набит».

Далеко не все из этих бесед было использовано — да и то не впрямую — Симоновым в его произведениях. Все яснее становилось, что эти беседы представляют собой самостоятельный и немалый исторический интерес. В писательском архиве накапливались многие сотни страниц записей и стенограмм бесед с самыми разными участниками Великой Отечественной войны на самые разные темы. Что-то с этими материалами надо было делать, как-то обнародовать, подготовить для печати заслуживающие внимания воспоминания — эта мысль не оставляла Симонова в последние годы жизни. Незадолго до смерти в одном из последних интервью он рассказывал: «Я написал около пяти листов, связанных со встречами с Георгием Константиновичем Жуковым, с разговорами с ним. Напечатал кусок из этого в «Халхингольской странице», остальное лежит у меня еще не готовое для печати. Просто сделал это, чтобы не ушло из памяти. Я довольно много встречался с Александром Михайловичем Василевским. Думаю написать некоторые впечатления, связанные с этим человеком, с моими представлениями о нем, о его жизни, о его книге, замечательной во многих отношениях. Есть материал для такой же работы, скажем, о Коневе — большое количество записей встреч с ним и стенограмм. С адмиралом Иваном Степановичем Исаковым я тоже часто встречался, много интересного записано.

И вообще много записей. Вот эти два ящика — послевоенные записи, послевоенные беседы. Это кроме солдатских. Это генеральские и офицерские беседы. С другой стороны, мне хочется продолжить работу над солдатскими беседами. А иногда появляется дерзкая мысль: может быть, соединить маршалов и солдат в одной книге? Как вспоминают войну маршалы, генералы, как вспоминают ее солдаты. В чем они сходятся, в чем расходятся, где точки соприкосновения, где различия».

У Симонова было даже для этого замысла, для будущей книги несколько рабочих названий. Одно из них — «Записал Константин Симонов» — использовано для настоящей публикации.

Симонову не удалось осуществить свой замысел не только потому, что постоянно не хватало времени, какие-то другие работы отвлекали его. Не то что не доходили — опускались руки. В ту пору и думать нельзя было о том, чтобы опубликовать эти откровенные, полные горькой правды рассказы о войне. Только в наши «перестроечные» времена, совсем недавно, удалось напечатать записи бесед Симонова с Г. К. Жуковым, А. М. Василевским, И. С. Коневым, И. С. Исаковым. Все это свидетельства уникальные, огромной исторической ценности. Для постижения прошлого они нужны как воздух. Одна из главных задач, стоящих нынче перед нами, без решения которой мы не сможем двинуться вперед в осмыслении истории,— ликвидировать создавшийся в последние десятилетия опасный дефицит точных фактов и правдивых, достоверных свидетельств.

В журнале «Октябрь» публикуется запись беседы Константина Симонова с генерал-полковником А. П. Покровским (1898—1979), в которой ход войны, ее события и люди раскрываются с неведомой большинству читателей, в том числе и участникам войны, стороны. Нет нужды рассказывать фронтовую биографию А. П. Покровского — самое важное читатель узнает из его беседы с Симоновым. Хочу лишь заметить, что, по отзывам многих военачальников, сталкивавшихся по службе с Александром Петровичем в годы войны, это был один из самых сильных руководителей больших — армейских и фронтовых — штабов. Приведу лишь два такого рода отзыва, принадлежащих людям, знавшим А. П. Покровского еще задолго до войны, но имевшим потом возможность близко наблюдать его в деле на фронте. Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян писал: «Я знал его еще по совместной учебе в Академии Генерального штаба. Этот весьма эрудированный в военном деле человек держался всегда спокойно, говорил тихо, немногословно. И, может быть, поэтому казался несколько замкнутым, суховатым... Вскоре я убедился, что мой новый начальник — интеллигентный, умный, уравновешенный и отзывчивый человек. А кажущаяся на первый взгляд сухость объяснялась беспредельной увлеченностью работой. И днем и ночью можно было увидеть его склонившимся над картой». В этой зарисовке А. П. Покровский запечатлен в трагическую пору — осенью сорок первого года, после киевского окружения. А вот он через три года, летом сорок четвертого, во время белорусской операции — глазами другого человека, генерала армии К. Н. Галицкого: «Еще в 20-х годах мы вместе с Александром Петровичем учились в Академии имени М. В. Фрунзе, затем много раз встречались на различных учениях и маневрах. Высокообразованный генерал, он отличался большой работоспособностью, с ювелирной точностью отшлифовывал планы каждой операции, тщательно взвешивая и рассчитывая все детали». Все совпадает, хотя время другое и другой человек свидетельствует. Видно, во все времена и в отношениях с разными людьми А. П. Покровский был верен себе.

Запись беседы печатается по оригиналу, находящемуся в архиве К. М. Симонова, в его семье, с сохранением всех особенностей речи Александра Петровича.

Беседа

с бывшим начальником штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковником ПОКРОВСКИМ Александром Петровичем

Беседа была 25 мая 1968 г. Записана 26 мая 1968 г.

Запись согласована.

Я рассказал А. П. Покровскому о цели своей беседы с ним. О том, что работаю над заключительным романом, которому предшествовали «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», о том, что действие этого романа происходит во время Белорусской операции июня — августа 1944 года. Объяснил, по каким причинам я беру именно этот период. А также сказал, что по моим предположениям та армия, которой будет командовать герой моей книги Серпилин, окажется примерно в положении (условно говоря, конечно) 33-й армии Третьего Белорусского фронта. Армии, которая сначала была в Третьем Белорусском фронте, потом, при разделении фронтов, перешла во Второй Белорусский, а потом, в разгар операции, 10 июля, была передана обратно из Второго Белорусского в Третий и в дальнейшем была во втором эшелоне Третьего Белорусского фронта и закончила эту операцию на рубежах Восточной Пруссии.

Движение этой армии отвечает моим намерениям показать вначале бои в районе Могилева, вернуть своих героев туда, где они начинали войну, а в дальнейшем вывести их к границе Восточной Пруссии. Хотя, конечно, не будет брать-

ся историография армии. Это будет условно.

В связи с этим я просил рассказать то, что связано с характером, со стилем работы штаба фронта, с характером взаимоотношений штаба фронта с армиями, с распорядком работы, а также и с взаимоотношениямн штаба фронта со Ставкою.

Я предупредил, что беседа не носит характера документального, что я хочу просто иметь опорные материалы для того, чтобы в книге, не претендующей на документальность, тем не менее изобразить в той ее части, которая будет связана со штабной работой, изобразить эту штабную работу поближе к реальности, к фактам войны и к ее действительному характеру, сложившемуся со времени войны.

В ответ на это Александр Петрович Покровский сказал мне примерно следующее:

— То, что я буду вам рассказывать, и те характеристики, которые я вам буду давать по ходу рассказа, не есть какое-то суждение в окончательной своей форме. Многие вопросы дискуссионны, многие не разработаны еще в достаточной мере нашей историей. А характеристики людей, о которых я буду говорить, носят, естественно, субъективный характер; оценки этих людей в данном случае принадлежат мне и не претендуют на объективность. Я излагаю вам все это с целью дать вам общий материал для размышлений на эти темы, когда вы будете писать роман, а не для того, чтобы в какой-то мере использовать этот материал как материал документальный.

В период Великой Отечественной войны я работал с несколькими командующими фронтами. Перед войной в звании генерал-майора я был заместителем начальника штаба Московского военного округа. После того, как Ворошилов был освобожден от обязанностей наркома обороны и на его место был назначен Тимошенко, первым заместителем к Тимошенко был назначен Буденный. Вскоре после своего назначения он вызвал меня к себе и предложил работать у него. Сказал, что должности еще не установлены, но он хотел бы, чтобы я работал у него и вместе с ним и приступил к этому сразу же. И спросил, как я к этому отношусь.

Поблагодарив его, я сказал, что я чувствую себя на месте на той должности, на которой нахожусь в штабе Московского военного округа, и не думаю о том, чтобы менять ее на что-либо другое.

Буденный не посчитался с этим, настаивал на том, чтобы я пошел к нему. В итоге я сказал: «Слушаюсь»,— и на следующий день явился к нему в Наркомат. Он повторил, что должности еще не определились, а пока что попросил меня, чтобы я знакомился со всей текущей литературой, с текущим ТАССом по военным вопросам и докладывал ему, помогал быть в курсе всех текущих событий, с их отражением в литературе и в печати.

Этим делом я некоторое время занимался.

Одновременно со мной в Наркомат пришел работать генерал-лейтенант Злобин. Образованный, умнейший человек, который пошел к наркому обороны Тимошенко на ту же роль, что я пошел к Буденному. Встретившись, я спросил его, чем он сейчас занимается. Он сказал, что подрабатывает вопросы кадров, должностей и так далее. В этом разговоре он сказал, что намечаются должности «генерал-адъютантов».

Через некоторое время такое решение состоялось. Он стал генерал-адъютантом у наркома, а я генерал-адъютантом у первого заместителя, у Буденного.

Следующие события начала войны показали, что мы не были подготовлены к организации полевого управления. Положение о полевом управлении армией в условиях войны не было выработано перед войной. Были записки, проекты, но такого Положения о полевом управлении армией, о Ставке и вообще о переходе армии на военное положение, если говорить о ее управлении,— Положения, которое перед первой мировой войной существовало,— такого разработанного и утвержденного Положения не было. Поэтому в начале войны все это утрясалось не сразу. Ставка организовывалась с рядом перемен и уточнений. И полевые управления направлений, которые были созданы вскоре после начала войны — трех направлений, объединявших фронты, тоже были организованы уже в ходе дела, наспех. А практически это выглядело так, что Буденный вызвал меня к себе и сказал, что мы едем, направляемся, чтобы я собирался. Куда, как направляемся, я еще этого не знал. И только в поезде, который двигался по направлению к Брянску,— в вагоне ехали Буденный, я и его адъютанты,— я спросил у Буденного, что же, так сказать, предполагается.

Предполагалось не более и не менее, что он должен был принять в свое подчинение четыре подходивших из глубины страны армии. И вот для того, чтобы принять эти четыре подходивших армии там, в районе Брянска, у Буденного не было ни управления, ни штаба. Практически был у него генерал-адъютант в моем лице и еще адъютанты, охрана, ополченцы. Все. Так что первые меры к тому, чтобы принять эти армии, к тому, чтобы что-то организовать, пришлось принимать в очень необычной, неудобной обстановке.

Правда, тем временем уже были организованы направления. Западный фронт стремительно отходил; эти армии, которые предназначались нам, пошли на Западный фронт, а Буденный был назначен командующим Юго-Западным направлением.

Куда ехать? Аппарата у Юго-Западного направления не было. Штаба не было. Куда ехать? Поехали в Полтаву. Так решили и поехали. Вот в таком же примерно составе.

Таким образом, там управление Юго-Западного направления, начальником штаба которого я стал по ходу дела, создавалось на ходу и из ничего. Не было аппарата. Не было готовых кадров. То есть кадры-то были, но даже наличие самых хороших кадров, знающих, опытных людей — это еще не создает само по себе работоспособного штаба. Штаб складывается в работе: он должен быть подготовлен. А у нас что получалось? Например, чтобы создать штаб Южного фронта, было направлено туда управление Московского военного округа. Но управление Московского военного округа было не в курсе дела. Оно не знало ни этого театра, ни этих войск, ни всего того, что связано с подготовительной работой, предшествовавшей войне в штабе тех соединений, которые должны развертываться именно на этом театре военных действий. Штаб Московского военного округа, прибывший туда, на юг, и ставший штабом Южного фронта, долго разбирался в обстановке и осваивался с нею.

Разумеется, это было неправильно. Мы могли иметь, предвидя военные действия, мы могли иметь там, на юге, заранее сформированное управление штаба Южного фронта. И это стоило бы не столь уже дорого в мирное время и могло быть создано не открыто, а закрыто, под другим названием. Это было бы крайне необходимо.

Итак, первый из командующих, с кем я работал во время войны, был Буденный.

В предшествующие дни на Юго-Западном фронте побывал Жуков, в самые первые дни, организовал там наступление с лозунгом: «Бить под корень!» На Люблин. Из этого наступления ничего не получилось. Погибло много войск, мы потерпели неудачу. Жуков уехал в Москву. Правда, потом он говорил, что это наступление было организовано по приказанию Сталина.

Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причем делал это с достаточной решимостью.

В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил ее, то предложение, которое было сделано ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными и грозными для него.

Так оно и вышло. Именно за эту телеграмму он был снят с командующего Юго-Западным направлением, и вместо него был назначен Тимошенко.

Тимошенко приехал настроенный на то, чтобы не отступать, продолжать сражаться на тех позициях, на которых находились войска, и с ощущением, что здесь, на Юго-Западном направлении, впали в панику и что телеграмма Буденного неправильно ориентировала Ставку.

Тимошенко — человек в военном отношении подготовленный, много работавший над собою, разбирающийся в вопросах тактики и оперативного искусства. В этом смысле нельзя его недооценивать. Но у него было очень своеобразное отношение к штабу. Он имел с собою — видимо, он выговорил себе такое право,— имел с собою так называемую группу Тимошенко. Он не доверял нам, людям, работавшим в штабе Юго-Западного направления. И в то же время он нас не снимал. Мы продолжали работать все на своих местах, но к каждому из нас был назначен своего рода дублер. То есть целая группа генералов, полковников, приехавшая с Тимошенко, докладывала ему. Находилась при соответствующих отделах штаба, при начальнике штаба, оперативном отделе, разведывательном и так далее и докладывала ему свое мнение, свою точку зрения на события. Получались двойные донесения, двойная информация. Это, разумеется, создавало ненормальную обстановку в работе. Чувствовалось, что Тимошенко доверяет людям из своей группы, хочет в каждом случае перепроверить те данные, которые дают работники штаба. Стремление знать в точности обстановку — стремление хорошее, но то, как это проводилось при помощи такого дублирования, создавало совершенно ненормальные условия для работы.

Вскоре я был освобожден от должности начальника штаба Юго-Западного направления. Я считаю, что это было сделано правильно. После всего того, что произошло на Юго-Западном направлении, после наших тяжелых неудач я сам находился в тяжелом состоянии, и мне было трудно исполнять свои обязанности.

Меня отозвали и назначили на Северо-Западный фронт начальником штаба в армии, которой командовал Пуркаев. А оттуда я был назначен начальником оперативного управления на Западный фронт. Здесь мне пришлось, на Западном фронте, впоследствии — на Третьем Белорусском, работать всю войну, до самого ее конца. Сначала в роли начальника оперативного управления, потом некоторое время в роли начальника штаба 33-й армии, а затем снова в оперативном

управлении и заместителем начальника штаба фронта у Соколовского. А затем после снятия Конева, когда Соколовский стал командующим фронтом, я стал начальником штаба фронта и в этой должности уже оставался с зимы 43-го года до конца войны.

В качестве начальника оперативного управления мне много пришлось работать с Жуковым и с Коневым. Жуков мало выезжал, не выезжал, в сущности, на фронт, а с Коневым мне приходилось бывать и в ряде поездок в армии.

Многие черты стиля руководства Жукова и Конева были схожи. Но Конев среди всех командующих фронтами, с которыми приходилось работать, был человеком наиболее экспансивным, горячим. Правда, надо заметить и другое. Он был горяч, но отходчив. Мог очень возмутиться, раскипятиться, накричать, но быстро отходил. И вообще, вот вспоминая всех их, я должен сказать, что из всех командующих фронтами, с которыми я имел дело, Конев был, как бы это сказать, самым... Это был больше всего солдат, и в нем было больше всего человечности, в его характере, в натуре. А мне приходилось сопровождать его в поездках в армии. Как-то однажды целый день мы ходили с ним по траншеям переднего края — надо было послушать, как он разговаривал с солдатами. Это не был показной разговор: вот командующий поехал и поговорил с солдатами. Это был естественный разговор. За этим стояла его солдатская суть, солдатская натура. Он с солдатами говорил так, ибо иначе и не мог говорить, с абсолютным пониманием солдатской жизни, души, с абсолютной естественностью, с полным отсутствием чего-либо показного или нарочитого.

Потом, имея сведения с других фронтов, я слышал, что Жуков немало выезжал в армии, на передовые. Но во время Московской операции он никогда на моей памяти не выезжал на фронт, всегда находился на своем командном пункте. Смешно было бы тут говорить о мере храбрости; это вообще по отношению к Жукову вопрос недискуссионный. Но если говорить о причинах, почему он сидел на КП неотрывно, то причина одна — целесообразность. Слишком было опасное положение под Москвой. Слишком напряженное. На слишком многих и разных направлениях можно было каждый момент ждать удара, изменения обстановки, грозного для нас разворота событий. В этих условиях командующий фронтом, который бы уехал на один участок, а в это время произошли бы события на другом и его бы не оказалось на командном пункте для того, чтобы немедленно принять соответствующие меры, — поступил бы неправильно, неразумно. И, испытывая на себе огромную меру ответственности за Москву, находившуюся за спиной, Жуков не позволял себе поддаваться никаким порывам, никуда не выезжал. Он работал, сидя на командном пункте, всю Московскую битву. Я расцениваю это как целиком положительный факт в складывавшихся тогда обстоятельствах.

Жуков ценил штаб, понимал значение штаба в работе командующего, не мыслил свою работу в отрыве от работы штаба. И штаб при нем работал спокойно и регулярно. Подписав вечером итоговое донесение, он больше не дергал штаб. Подводились итоги вечером, во время составления итогового донесения, определялись задачи на следующий день, и с утра можно было спокойно работать в штабе, зная, что не будет дерготни, напоминаний, вопросов. Во всяком случае, первые несколько часов утренней работы.

Работникам штаба Жуков доверял. Доверял их донесениям, суждениям. И, пока он доверял, работать с ним было хорошо. Но с людьми, раз выходившими у него из доверия, он бывал крут, и если учесть огромные полномочия, которые он имел, огромные права, — это грозило, могло грозить тяжелыми последствиями.

Надо сказать, что стиль разговоров с командармами в штабе фронта в период командования Жукова установился грубый. Неправильно, на мой взгляд. И Жуков, и Булганин, и Соколовский, начальник штаба, были грубы с командармами и по телефону в случае неудачи или неполного успеха, словом, всего того, где происходившее не соответствовало первоначальным планам, — по телефонам шла грубая ругань, и иногда можно было услышать больше разговоров о том, что снимут голову, чем разговоров о том, как поправить дело. А ведь умение руководить и умение снимать голову — это разные умения.

К тому, что я сказал, все, конечно, не сводилось, но это имело место и имело чисто отрицательное значение, на мой взгляд.

После Жукова был назначен Конев. После Конева, после неудачных боев зимой 43-го года Конев был освобожден, впоследствии назначен на Степной фронт, а Западным фронтом был назначен командовать Соколовский.

Говоря о Западном фронте, о ряде неудач, его постигших, и о его упорных, но часто неудачных наступательных операциях на протяжении длительного времени, нельзя забывать следующей стороны дела. Западный фронт работал в интересах Сталинграда, в интересах южных фронтов. Об этом нельзя забывать. Особенно в период наступления немцев на юге и в самый период Сталинградского сражения. И оборонительного, и наступательного. Говоря о Сталинграде, часто забывают даже о том, что сделали армии, непосредственно не сражавшиеся в Сталинграде, а воевавшие на Воронежском, Юго-Западном фронте. А тем более забывают о действиях на других фронтах. Между тем действия Западного фронта притягивали к себе большое

количество немецких частей, не давали снимать немцам свои части, противостоявшие Западному фронту, не давали перекидывать эти части на юг, и все эти операции оказывали огромную помощь Сталинграду.

В частности, следует сказать о Погорело-Городищенской операции летом 42-го года, затем о Жиздринской операции. Они не дали того эффекта, на который рассчитывали, но все же это были наступательные операции, в которых мы сковали большие немецкие силы и тем помогли Сталинграду.

Что сказать о Соколовском? Это очень противоречивый человек. Он был очень умен. Я бы сказал, исключительно умен, широко образован. Когда заговоришь с ним по вопросам оперативным, стратегическим, общеполитическим, то этого человека можно заслушаться. Он очень широко брал вопросы, мыслил широко. Я бы сказал, мыслил политически. Стратегически и политически. Словом, это был большой умница, образованнейший командир с огромным опытом. А в роли командующего фронтом у него не получилось. И даже трудно объяснить, почему так вышло. Он проводил одну за другой целый ряд стоящих нам очень тяжелых потерь неудачных операций. И после всех этих неудач он был снят приехавшей из Москвы специальной комиссией Государственного Комитета Обороны.

Операции предпринимались недостаточными силами. Во время операций, в ходе их особенно становилось ясно, что мы не сможем выполнить задачу, что для этого недостаточно сил и средств. Об этом докладывали Соколовскому, но он это не принимал во внимание и продолжал операцию.

Думаю, что известную роль сыграло в этом и его отношение к Гордову, командующему в то время 33-й армией, на которого он опирался. Не знаю, как кто смотрит на Гордова; я о нем, лично я, резко отрицательного мнения. Это человек, который воевал, не считаясь с потерями, организовывал наступления, не думая о потерях, давал необдуманные обещания, пытался выполнить их ценою огромных жертв, а в итоге не выполнял их. В конце концов он был снят, и снят совершенно правильно.

А значительная часть операций, которые проводил Соколовский как командующий фронтом — он именно 33-ю, бывшую Ефремовскую, армию, которой командовал Гордов, выдвигал на решающие участки наступления, делал из нее ударные силы.

Когда пришел поезд с комиссией, сначала члены комиссии — там был Маленков во главе комиссии, был там еще и Кузнецов Федор Федотович, начальник разведуправления в то время, еще несколько лиц, — сначала они говорили с Военным советом, а затем вызвали и нас, меня в том числе, в качестве начальника штаба фронта.

Помню, как Маленков в спокойном тоне спросил Соколовского: «Как же получились все эти неудачи? Вот здесь объясняют, что были недостаточные силы, недостаточные средства, что эти операции нельзя было проводить этими силами и средствами. Что вы можете на это сказать? Вам же это было видно. Почему же вы ни разу за все время не сняли трубку, не позвонили товарищу Сталину и не сказали своего мнения о том, почему нельзя проводить эти операции, почему недостаточно сил и почему выполнение поставленных задач не может быть обеспечено?»

Была долгая пауза. Соколовский так ничего и не ответил. Я был поражен. Но факт остается фактом. Он не ответил на это ни одного слова. И он действительно не звонил...

В ответ на вопрос Соколовский так и не сказал ни слова. Не знаю, чем это объяснить, не могу. То ли не решался звонить Сталину, то ли верил в то, что ему удастся выполнить поставленные перед фронтом задачи с теми недостаточными силами и средствами, которые у него были. А было всего мало как раз в этой последней операции, после которой его сняли. Мало было танков. Мало было снарядов. Мало было людей. Нечем было выполнять задачи.

Может, играло роль и то, что Гордову он верил, что тот выполнит задачу, возложенную на 33-ю армию. Может быть, тот обещал, а этот доверился. Трудно сказать.

Работа с Соколовским как с командующим фронтом сначала протекала нормально. Командный пункт функционировал нормально, как и всегда; на командном пункте находился он, член Военного совета, начальник штаба, начальники родов войск, артиллерии, танковых войск, начальник связи, инженерных войск, командующий воздушной армией. А потом, после первых неудач, Соколовский занял странную позицию. Он уехал с КП фронта за 20—30 километров, там приказал оборудовать себе отдельный пункт, там у него была связь, были адъютанты. И все, больше ничего не было. Оттуда он по телефону связывался со штабом, с Москвой и с армиями, непосредственно разговаривал оттуда с командующими. Это было такое странное уединение, мешавшее, конечно, нормальной работе и штаба, и нормальной работе командующего. Почему он так сделал, трудно сказать.

Быть может, тут сыграло роль то, что штаб докладывал истинное положение вещей ему как командующему. Докладывал реальное наличие войск, боеприпасов, средств усиления. То есть докладывал картину, из которой было ясно, что операция успехом увенчаться не может. По существу, в этой форме представлял свои возражения против проведения операции. Может быть, он не хотел постоянного давления штаба и таким образом отъединялся от него, по существу, ко-

мандовал помимо штаба. Хотя, конечно, штаб продолжал делать свое дело.

Это создавало очень сложную обстановку, ненормальную.

Когда Соколовский был снят, вместе с ним был снят и ряд других офицеров, в частности начальник разведки, очень хороший кстати. Но приехал Кузнецов как начальник Разведупра и, видимо, считал по своей линии нужным кого-то снять, наказать.

Я не был снят. Получил выговор и остался начальником штаба. И вот в этой обстановке приезжает на фронт новый командующий — Черняховский. Перед его приездом Западный фронт имел подряд несколько неудач. Серьезных неудач. Была комиссия ЦК, был снят командующий, выговор получил начальник штаба. Можно было ожидать, что в такой обстановке новый командующий, молодой — ему тогда не исполнилось еще и тридцати восьми лет,— отнесется к штабу с недоверием, постарается, может быть, заменить людей, взять на их место других, тех, которым он доверяет. Во всяком случае, можно было ожидать настороженного отношения к работе штаба с его стороны.

Однако этого не произошло. Он приехал и подошел ко всем вопросам очень трезво, спокойно. И мне, как начальнику штаба, выразил доверие, советовался, информировался, разбирался вместе со мной в обстановке. Словом, было ясно, что он намерен работать с теми людьми, которые здесь, в штабе, находятся.

Надо сказать, что штаб Западного фронта, впоследствии Третьего Белорусского, был очень сильный штаб, один из самых сильных штабов. Коллектив давно сложился. Сложился еще в тридцатые годы в Белорусском округе, при Уборевиче. Конечно, потом многое было, много людей потеряли — и до войны, и во время войны, много было перетрясок, перемен. Но дух штаба сохранился. Культура работы. Коллектив штаба продолжал существовать, и в нем жила преемственность, жили традиции. Поэтому, объективно говоря, Черняховский был прав, когда он не стал шерстить штаба, переставлять людей, когда он отнесся к штабу как к коллективу, в котором ему придется работать.

Я, как начальник штаба, благодаря такому отношению командующего почувствовал уверенность в работе, желание работать с ним. И я постарался, естественно, передать эту уверенность, это желание всему коллективу штаба, постарался настроить штаб на дружную, целеустремленную работу, на всемерную помощь командующему.

В смысле стиля работы Черняховский во многом напоминал Конева. Он так же, как Конев, много ездил на фронт, в войска, постоянно бывал там. Он был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твердым, но не ругался, не разносил людей, не унижал их.

Вспоминаются события в августе сорок четвертого года под Гольдапом, когда 33-я, частично 11-я армия неудачно действовали в Восточной Пруссии; начали наступление, наткнулись на немцев, которые нанесли удар силами нескольких танковых дивизий и отступили, были сброшены с плацдармов на той стороне Шишупы. Это была чувствительная неудача, болезненная. Особенно если учесть, что речь шла о переходе границы Восточной Пруссии. И когда это произошло, я был свидетелем разговора по телефону Черняховского, если не ошибаюсь, с Галицким. Можно было ожидать, что Черняховский за эту неудачу начнет разносить командарма. Однако этого не случилось. Он позвонил и потребовал доклада. Не ругал, а уяснил себе положение армии, спрашивал, где что находится, где артиллерия, где такие-то, такие-то и такие-то части, где находятся резервы, что можно в кратчайший срок подтянуть и так далее. Когда уяснил себе положение, отдал ряд приказаний — что сделать, куда что передвинуть, какие меры принять. На том разговор и кончился.

Для него, как для командующего фронтом, неудача эта была очень болезненной, чувствительной, но он не дал волю своим чувствам, а прежде всего занялся делом — выяснением положения и исправлением его. Что, конечно, было абсолютно верно и что далеко не всегда делали другие в таких ситуациях.

Черняховского я совершенно не знал. Знал о нем, что он боевой командарм, в качестве такового выделился, но лично знаком с ним не был. До этого и с Соколовским, у которого я был заместителем начальника штаба Московского военного округа, и с Жуковым, и с Коневым я был давно знаком, мы вместе служили в свое время в Белорусском округе, и, конечно, в отношениях, в доверии ко мне эта совместная служба играла определенную роль. Я был в Белорусском округе начальником штаба корпуса, а Конев командовал там стрелковой дивизией, Жуков — кавалерийской. Обе эти дивизии не входили в наш корпус, наш корпус был двухдивизионного состава, но, когда происходили учения, зачастую дивизии эти придавались корпусу или входили в состав группы, которая проводила учения, и мне, как начальнику штаба корпуса, постоянно приходилось иметь дело с ними обоими как с командирами дивизий, входивших в оперативное подчинение корпусного командования.

Мое собственное примечание по поводу неудач Западного фронта в 43-м — начале 44-го года.

Мне кажется, что серия неудач Западного фронта имеет свои причины, помимо тех или иных неудачно проведенных операций, не наилучших действий командующих фронтом. Думается, само положение Западного фронта было двойственным. С одной стороны, все основные действия разворачивались на юге. Там с самого начала, начиная со Сталинграда, добивались наибольших успехов, захватывали большие территории. Там был наибольший простор для действий все усиливавшихся наших танковых частей. Там в течение долгого времени решались основные судьбы войны, и к этому привыкли. Туда шли формировавшиеся у нас танковые корпуса и армии; туда шло значительное количество новых формирований артиллерии; там сосредоточилась основная масса авиации. А Западный фронт находился в двойственном положении.

С одной стороны, он стоял еще слишком близко к Москве для того, чтобы слишком ослаблять его. То есть на нем держались все время значительные силы. Главным образом пехота и артиллерия. Но технику туда давали туго, боеприпасами обеспечивали меньше, чем наступающие фронты. Танков было мало, авиации было тоже не слишком много. То есть на Западном фронте было сил слишком много для того, чтобы воспринимать его как пассивный фронт, и слишком мало для того, чтобы он мог стать активным фронтом. Ему добавляли сил перед операциями, укрепляли его, снабжали, но в пределах, которые не давали возможности провести операцию на полную силу, на полную мощь, так, как это происходило на южных фронтах.

В то же время от него требовали активности. И потому, что этот фронт был все-таки довольно сильным, во всяком случае, по массе людей, по количеству армий, находившихся на нем, и потому, что он был слишком близок от Москвы и очень соблазнительна была любая возможность отодвинуть немцев подальше от Москвы. Словом, именно здесь проявлялась такая вот половинчатость, двусмысленность положения фронта, давала себя знать и оборачивалась очень типичными для этого фронта операциями с неполным, частичным успехом и большими потерями, которые всегда бывают прежде всего именно в таких операциях.

Когда же Западный фронт, разделенный на Второй и Третий Белорусский, принял участие в операции с решительными целями и когда для этой операции этим фронтам и соседним с ним Первому Белорусскому и Первому Прибалтийскому были даны достаточные средства для проведения операции большого размаха, то фронт пошел и отлично выполнил свою задачу.

Возвращаюсь к рассказу Покровского.

— На плечах начальника штаба фронта лежит необходимость все увязать, все сомкнуть. Хотя начальники родов войск, командующие артиллерией, бронетанковыми войсками, командующие воздушной армией — люди, не подчиненные начальнику штаба, а подчиненные командующему фронтом; хотя они в некоторых случаях даже сами члены Военного совета фронта, но они все связаны со штабом. Вот сомкнуть, увязать деятельность всех этих служб, всех родов войск — это должен штаб. Поэтому при подготовке любой операции, после выработки плана, директивы, все службы идут в штаб, все идут к тебе, все один за другим приходят, решают вместе с тобой и со штабом все необходимые вопросы, которые требуют уточнения, доработки, увязки.

Бывало, конечно, и так, что иногда начальники родов войск игнорировали штаб. Бывало так, что человек хочет себя поставить в независимое по отношению к начальнику штаба положение, обходит его, действует сам, подчеркивает свою самостоятельность, но где-то в конце концов становится туго, и он в этом, как правило, раскаивается, у него возникает необходимость, вернее, понимание той необходимости, которая бывает с самого начала реальной,— увязка всех своих действий со штабом, работа в тесном контакте со штабом фронта. В конце концов такой момент приходит для каждого, даже для того, кто хотел бы по субъективным причинам игнорировать штаб.

Очень важно поставить себя как начальника штаба в правильное положение во взаимоотношениях со всеми родами войск и их командующими, начальниками. Очень важно, чтобы люди, они сами, их начальники штабов шли к тебе, звонили тебе, давали правдивую информацию по своей линии. У штаба артиллерии идет информация по штабу бронетанковых войск, по штабу воздушной армии, по штабу тыла. Очень важно, когда ты имеешь возможность проверять информацию и пополнять информацию, полученную тобой непосредственно от своих штабных работников, информацией, полученной от работников штабов родов войск.

Ну, а трудность, повторяю, в том, что начальники родов войск не подчинены тебе. Как бы и подчинены, а в то же время нет. Надо сказать, что мы, как правило, находили общий язык и правильную систему отношений с командующими родами войск.

Очень хорошо было работать с Хрюкиным — командующим воздушной армией. Это был человек молодой, с большим боевым опытом, способный, выдержанный, умный, умевший хорошо организовать работу авиации, подчиненной ему. Когда он пришел после Михаила Михайловича Громова, мы, можно сказать, вздохнули. Громов — блестящий летчик, но человек невоенный, не военачальник, не организатор. О нем даже рассказывали такой случай, что, когда в течение долгого времени мы не могли организовать воздушную разведку в немецких тылах, ничего не получалось, ну никак,— он созвал командиров авиационных частей к себе и, возмущаясь этим

обстоятельством, стыдил их и даже спросил их: «Наконец, есть ли среди вас хоть один мужчина, который сделает то, что ему поручено?!»

Он стыдил, а Хрюкин, когда пришел, организовал воздушную разведку, и мы стали получать нужную нам информацию.

Дружно проходила работа с Иваном Сергеевичем Хохловым — вторым членом Военного совета, который занимался вопросами тыла и снабжения. Человек очень хороший, обаятельный, знающий, умный, с большим опытом в том деле, которым он занимался на фронте.

Очень важную роль на фронте играли, конечно, военные сообщения. Алексей Васильевич Добряков, генерал-лейтенант, начальник ВОСО фронта, был на высоте своего положения, был очень опытен в этой работе и делал все возможное для своевременного снабжения фронта, что играло очень большую роль в работе.

Вообще тут нельзя преуменьшать роль военных сообщений. Они играли огромную роль. И, наоборот, при плохой работе могла провалиться любая, самым хорошим образом задуманная операция.

Я спросил у Покровского, что он думает по поводу института представителей Ставки. Он на это ответил так:

— Вы задаете вопрос, по которому — вы это сами прекрасно знаете — существуют разные точки зрения, существует немало споров. Рокоссовский выступал в печати, критиковал этот институт, отрицательно отзывался о нем. Основное направление его мысли было критическое. Выступали другие военные деятели — Василевский, например, и из их выступлений в печати, статей можно создать себе представление, что институт представителей Ставки играл положительную роль.

Ну прежде всего надо анализировать все в целом. Обычно, когда останавливаются на роли представителей Ставки, то берут только наступательные и удачные операции, как правило, и на их фоне рассматривают роль представителей Ставки. Но представители Ставки были в разных операциях. Представители Ставки были во время Керченской операции. Представители Ставки были и в Крыму в период падения Крыма. Принимали они участие и в целом ряде других операций, оборонительных в том числе, и их деятельность в этих операциях освещена в литературе очень мало. И надо сказать, что я не помню такого случая, чтобы они существенно исправили положение во время этих неудачных для нас операций.

Я, конечно, не претендую на то, что мое мнение объективно. У разных людей разное складывается мнение по этому поводу, подчеркиваю это. Этот вопрос вообще заслуживает гораздо более обширного исследования, которое еще, по существу, не предпринято. Но мое личное мнение, что институт представителей Ставки мало оправдывал себя. Кроме того, надо проанализировать, в каких случаях были представители Ставки, в каких нет. Здесь проявлялся субъективный момент, связанный с дроблением фронтов. На мой взгляд, мы занимались неоправданным дроблением фронтов.

Ну, например, перед Белорусской операцией, почему был разделен устоявшийся, сложившийся Третий Белорусский фронт на два фронта — на Третий и Второй? Задача была общая. Полоса наступления не разделена была никакими естественными преградами. Пришлось формировать новое управление фронта Второго Белорусского. На какой базе? На базе корпусного управления, что, разумеется, не могло дать сразу сильного штаба фронта. Развертывать штаб фронта из корпусного управления — должно быть ясно, что это не наилучший вариант развертывания.

Фронт переставал быть фронтом, превращался иногда, в сущности, в усиленные армии. А армии, входившие в состав этого фронта, соответствовали примерно немецким армейским корпусам. В таких условиях человек, который координирует действия двух соседних фронтов, по существу, командовал одним раздробленным на две части фронтом. А в Белорусской операции вышло так, что сначала Третий Белорусский фронт разделили на два — на Третий и Второй. А потом, когда производилась координация, то получилось, что эти разделенные фронты попали к разным координаторам, потому что Вторым Белорусским фронтом и Первым Белорусским фронтом, левее него, занимался как координатор Жуков, а Третьим Белорусским фронтом и Первым Прибалтийским, правее него, занимался как координатор Василевский.

Я читал одну статью, где давалась такая оценка, что вроде бы Черняховский был очень доволен тем, что Василевский был представителем Ставки и осуществлял координацию руководства фронтами, его фронтом в частности. У меня такого впечатления не сложилось. Черняховский был человек выдержанный, но его, на мой взгляд, тяготило то, что действия его координируют и что есть еще какая-то инстанция между ним и Ставкой. Это не облегчало его работу. При всем его личном уважении и высоком мнении о Василевском. Дело не в личностях тут, а в самом положении двухступенчатом, которое не может не тяготить командующего фронтом.

Да и не случайно, конечно, что когда действовали большие фронты, во главе которых стоял Конев, стоял Жуков, то никакой речи о координации действий, о том, чтобы назначить к ним координатора, не было. У них не было координаторов, они действовали самостоятельно. Их действия координировала Ставка, что и было вполне правильно.

В итоге выходит, что это не было принципиальным решением, — координация действий нескольких фронтов, это было решением, во-первых, спорадическим, временным, во время той или иной операции, а во-вторых, это правило, которое существовало не для всех. К одним командующим фронтами назначали координаторов, а к другим нет. Да и координаторы были разные, игравшие более реальную роль и менее реальную роль. Этому тоже есть ряд примеров. Есть и примеры, по существу, формальной координации действий. Такие примеры были.

Проблема дробления фронтов и связанная с нею проблема представителей Ставки для координации действий фронтов как одна альтернатива, и проблема направлений, постоянно объединяющих действия нескольких фронтов, как другая альтернатива — это вопрос, еще недостаточно освещенный в нашей военной истории, но существующий.

И надо добавить, что при дроблении фронтов, при наличии малых фронтов руководство ими со стороны Ставки приобретало слишком оперативный и даже тактический характер, что тоже сказывалось отрицательно.

Донесения, которые шли в Ставку, часто бывали, на мой взгляд, слишком детализированы. Нужно было доносить о каждой детали, о каждом взятом населенном пункте. Вряд ли в этом существовала действительная необходимость. Общее стратегическое руководство такой меры подробности донесений не требует.

Перед началом операции, в период замысла ее и в тот период, когда она уже решена и надо людей готовить к ее выполнению, перед начальником штаба, вообще перед штабом существует диалектическая трудность. С одной стороны, нельзя разглашать строгую военную тайну. Но, с другой стороны, надо, чтобы люди поняли, чего они ждут и к чему они должны готовиться. Вот тут находи меру того и другого.

Какая отрицательная черта в работе представителей Ставки на фронте? Представитель Ставки едет, конечно, не один. Он едет со своим собственным аппаратом. В этом аппарате у него представители разных родов войск, люди, которые в состоянии контролировать, входить в курс той или иной отрасли деятельности штаба фронта, который координирует координатор. Раз представитель едет со своим аппаратом, то начинается и дублирование. Его сотрудники идут в штаб, один дублирует начальника штаба, другой — связь, третий — разведку, четвертый — оперативное управление, и поскольку они заняты этой деятельностью и должны информировать представителя Ставки обо всем, что они знают, то возникает на фронте получение двойных сведений. Сначала запрашивает сведения штаб, соответствующие отделы, а потом запрашивают те же самые сведения у тех же самых людей, в тех же самых войсках работники аппарата представителя Ставки. В войска следуют двойные запросы, от войск следуют двойные донесения, которые часто не совпадают. Не совпадают, потому что, во-первых, донесение может быть по-разному прочтено и понято, — уже одно несовпадение; во-вторых, одно донесение от другого или одно полученное сведение от другого отделяют час или два; за это время положение уже в чем-то переменилось в ту или иную сторону — снова несовпадение. А в итоге бывают случаи, когда представитель Ставки начинает стыдить тебя в роли начальника штаба фронта: как же, вот вы сообщаете то-то и то-то, а дело обстоит так-то и так-то, ваш штаб плохо работает, что это за штаб!

Надо отметить одно важное обстоятельство. Сталин, назначая своих представителей Ставки для координации фронтов, в то же время не выпускал из виду командующих. Не отпускал командующих с провода, разговаривал не только с представителями Ставки, но и с командующими фронтами. И командующий фронтом имел возможность непосредственно донести ему по любому вопросу, по которому считал это нужным. Это, конечно, облегчало положение командующего фронтом и было правильно при той сложившейся практике, которая была.

А в общем, по моему ощущению, и командующий фронтом, и штаб, и начальник штаба, как правило, вздыхали свободно, когда с фронта отбывал представитель Ставки.

Было правило, при котором устные донесения в Ставку шли каждые два часа по ВЧ, а итоговое давалось в двадцать четыре часа ежедневно.

Выезжал ли я как начальник штаба на фронт? Редко.

Разный стиль может быть у начальников штабов. Например, если вы посмотрите воспоминания Бирюзова, то увидите, что у него был другой стиль: он много выезжал в войска. Я — нет. В принципе выезды начальника штаба в войска, конечно, возможны; командующий может дать то или иное поручение начальнику штаба, в особенности если сам командующий в это время остается на командном пункте, но если нет прямой цели, прямого поручения, то у меня и здесь, в штабе, всегда много работы, поэтому я по собственной инициативе не выезжал. Командующий, как правило, с утра уезжал вперед, в войска, а я должен был сидеть в штабе. Думаю, что это правильно. К вечеру командующий фронтом возвращается из войск; мои офицеры, посланные от штаба фронта, из оперативного отдела, разведывательного, тоже возвращаются к этому времени. Командующий и лица, которые ездили с ним, привозят свои сведения, мои офицеры — свои. Эти сведения смыкаются и помогают подвести итоги и наметить планы на следующий день.

Вдобавок, как я уже говорил, я полу-

чал сведения не только через своих офицеров, но и от офицеров воздушной армии, от артиллеристов. От офицеров других штабов, тоже выезжавших или находившихся в войсках. Это тоже помогало представить себе общую картину. Начальник оперативного управления часто уезжал вместе с командующим вперед.

О Черняховском. Черняховский был танкистом, и он всегда интересовался техникой, интересовался новинками. Гибель его была связана, между прочим, с этой его чертой. Он поехал к Горбатову из соседней армии, потому что туда прибыли новые самоходки.

Штаб Западного фронта складывался в Белоруссии при Уборевиче. Именно оттуда, из Белорусского округа, вышло множество людей, потом на командных и штабных должностях участвовавших в Великой Отечественной войне. Жуков, Конев, Малиновский, Мерецков, Курасов, Маландин, Захаров. Это была школа Уборевича. Он был удивительным человеком крупных дарований. Все эти большие потом люди казались тогда такими маленькими рядом с ним. Сейчас Жуков и Конев вошли в историю, сделали очень многое, а тогда они казались рядом с этим человеком маленькими. Он учил их, они учились у него. Он был человек очень большого масштаба. Думаю, что в военной среде, так же как и во всякой другой, не каждое десятилетие рождаются такие крупные, талантливые личности. И то, что такой человек перед войной был потерян для армии, было особенно большой трагедией среди других трагедий. Это был бесподобный человек. С ним было легко работать, если ты много работал, если ты был в курсе всех военных новинок, всех теоретических новинок, если ты все читал, за всем следил, за всеми военными журналами, за всеми книгами. И если ты с полной отдачей занимался порученным тебе участком работы. Но если ты за чем-нибудь не уследил, отстал, поленился, не прочел, не познакомился, не оказался на уровне военной мысли, на уровне ее новых шагов, если ты не полностью или не так хорошо, как нужно, выполнил возложенное на тебя поручение,— тогда берегись. Тогда с Уборевичем трудно работать. Он был очень требователен и не прощал этого. Словом, это была настоящая школа.

Я заметил на это Александру Петровичу, что в разговорах Жукова с Коневым, наблюдая, как они расходятся по множеству вопросов и проблем, я увидел, что в оценке Уборевича они абсолютно сходились. Оба ценили его высочайшим образом.

— А как же иначе? — сказал в ответ на это Покровский.

Продолжаю запись А. П. Покровского.

Штаб посылает своих офицеров в войска. Там они являются и помощниками людей, которые командуют войсками, и информаторами начальника штаба, оперативного отдела.

В штабе фронта была сильная группа офицеров, постоянно ездивших в войска. Многие из них погибли, в особенности так называемые делегаты связи, потому что приходилось и много летать, много и часто подвергаться риску. Но они делали свое дело, как правило, хорошо.

Надобно сказать, что когда и командующий фронтом ездил в войска, посылка офицеров даже в те же соединения, в которых был командующий фронтом, имела большой смысл, потому что командующий фронтом часто не имел возможности добраться до переднего края, до передовых траншей. Ему это просто не давали сделать, да это было бы и неразумно. А офицеры штаба были там, могли доложить о том, что происходит в низах, на самой передовой.

Так что эта группа офицеров была очень сильная. Но отношение к ним в войсках бывало разное. И это, как, очевидно, и повсюду, зависело от стиля командования армиями. Два типа отношений к этим офицерам представляли собой Николай Иванович Крылов — командующий 5-й и Гордов — командующий 33-й. Это были крайние полюса. Николай Иванович Крылов относился к этим офицерам как к помощникам, как к людям необходимым, присутствие которых желательно в армии, присутствие которых он приветствует. А Гордов относился к ним как к фискалам, не стеснялся и говорить: «Копаетесь, подрываете авторитет! Опять явились». Рассматривал их объективную информацию о происходившем в армии как нечто, направленное против него как командующего.

Конечно, присутствие в войсках офицеров из штаба фронта связано с деликатностью порученного им дела, с чувством такта, с правильной нацеленностью их. Но отношение, которое они встречали в разных случаях, характеризовало и самих командующих теми или иными армиями.

Один из офицеров оперативного отдела управления штаба, тогда молодых офицеров, сейчас продолжает служить в Белорусском округе, там, где он когда-то начинал службу. Это Арико, генерал-полковник, ныне начальник штаба Белорусского военного округа.

Когда штаб перебирался, то надо было запросить Ставку. Как мы это делали, переброску штаба? Ну, сначала ехала для выбора места группа представителей, у нас ездил часто комиссар штаба, потом постепенно там устанавливалась связь, строились блиндажи, строились основательно, главным образом, как правило, в лесу. Мы получили один раз жестокий урок под Касней, когда нас разбомбили, и с тех пор всегда был лозунг: «Штабы — в леса, в овраги». Мы этот лозунг выполняли, и больше за всю войну штаб ни разу не подвергался целенаправленной бомбежке немцев. Был замаскирован всегда хорошо.

Была у нас бригада строительная. Ну, в армию позабирали много старичков. Кто, так сказать, с болезнями, кто без одного пальца, кто прихрамывает. Так вот из этих старичков собрали такую строительную бригаду, которая очень быстро, хорошо выполняла необходимые задания, когда нужно было что-то построить. В частности, переместить штаб и организовать строительство на новом месте блиндажей и всего, что там требовалось.

После этого устанавливалась дублирующая связь; туда переезжали офицеры оперативного отдела, устанавливалась связь с армиями. Когда уже все было налажено и как бы существовал уже полностью оборудованный новый командный пункт, тогда я, как начальник штаба, запрашивал разрешения переехать: «Прошу разрешения переехать». И переезжал.

Переезд штаба диктуется необходимостью наилучшей связи с войсками. И связи не только вниз, но и наверх. В то же время он связан и с соображениями безопасности. Во время наступления часто перемещать штаб сложно, потому что работа очень напряженная и, часто перемещая штаб, можно утратить по крайней мере часть связи. С другой стороны, слишком далеко оставлять штаб, когда развивается наступление, тоже нельзя, ибо это делает очень длительными поездки в войска. В частности, поездки командующего. Командующий не должен тратить больше двух часов на поездку в войска в одну сторону, иначе это слишком накладно. Словом, тут приходится искать каждый раз целесообразных решений в условиях тех противоречий, которые постоянно существуют на войне, в условиях ее постоянной диалектики.

Вспоминаю, например, когда я был начальником штаба в 3-й ударной армии у Пуркаева, на Северо-Западном, я ему докладываю, что мне надо перейти со штабом к войскам ближе, потому что я теряю с ними связь. Снега глубочайшие. Он говорит: «Тяни, держи».— а как держать? Глубочайшие снега, ничего не проезжает, тянуть связь трудно. Но он не хочет упускать со мной связь и не дает мне переехать. В итоге я с ним связь сохраняю, а с войсками утрачиваю, за что мне же, естественно, и попадает в итоге.

Вопрос перемещения штаба бывает вопросом очень драматическим. Вот мне пришлось говорить с Лукиным; он упрекает Конева за то, что тот выехал вместе со штабом из Вяземского окружения. Считает это неправильным, считает, что, если бы штаб оставался, можно было по-другому организовать оборону внутри кольца окружения. Ну, с его позиций это можно понять. Но если говорить о целесообразности, мне лично кажется, что Конев поступил правильно. Какой был бы прок, если бы там, в Вяземском окружении, мы вдобавок ко всему тому, что потеряли, потеряли еще и все управление Западным фронтом? Это управление оказалось в тяжелом положении и тогда, когда оно вышло, потому что было очень мало войск, фронт был потрясен предыдущими неудачами. Но если бы мы в этих условиях под Москвой не имели еще управления фронтом? Легче было бы или тяжелей восстанавливать положение? Разумеется, тяжелей. Так что, я думаю, что в данных драматических обстоятельствах Конев правильно перебазировал штаб фронта.

Во время Белорусской операции мы, устремившись на Борисов и не учитывая масштаба окруженной нами совместно со Вторым и Первым Белорусским фронтами группировки, поставили одно время штаб под удар. По существу, мы оказались со штабом под ударом крупной немецкой группировки, которая шла на штаб. Пришлось принимать меры, вводить в дело полк охраны штаба, подбросить некоторые другие части на защиту штаба. В общем, с положением быстро справились, но момент был опасный и непродуманный.

В ответ на мой вопрос о том, как происходит приемка армии с соседнего фронта, Покровский сказал так:

— Приемка армии во время операции происходит, конечно, на ходу. В частности, когда мы принимали 33-ю армию, Черняховский выехал и нашел возможность быстро встретиться с ее командующим. В других обстоятельствах была бы возможна и поездка начальника штаба фронта для того, чтобы принять армию. Однако в тех условиях быстро развертывавшегося наступления мне, например, отлучиться из штаба фронта было бы крайне трудно.

Проблема приемки армии зависит в значительной мере от того, впервые вы ее принимаете или эта армия уже была у вас. Если она была у вас, то вы ее лучше знаете. Если не была, значит, принимать нужно новое для вас хозяйство. Это требует более долгого и тщательного ознакомления.

В данном случае в Белорусской операции мы принимали 33-ю армию как армию, которая была уже у нас. Это было проще.

Вообще в Ставке, в Генеральном штабе часто подходили с излишней легкостью к передаче армии из фронта в фронт и к изменению разграничительных линий. Например, впоследствии нам так изменили разграничительную линию, что мы три армии правофланговых передали Прибалтийскому фронту и сразу же три армии левее себя приняли во фронт. Это значит сдать три армии и принять три армии. Одновременно почти что. Представляете себе, какие это порождает сложности? Ну и, кроме того, командующие фронтами уже привыкли к тому, что фланговые армии могут быть в связи с изменением разгранлинии переданы соседу. В связи с этим очень часто в этих армиях, которые ты получал переданными, не хватало средств усиления. Они были слабыми, наиболее слабыми, потому что свои резервы, свои средства усиления

командующий фронтом, штаб фронта не направляли в ту армию, которая могла быть завтра передана соседу. Он не хотел лишаться средств усиления, резервов. Это было типичное явление при передачах армий, от которых каждый раз страдали те, кому армии передавали. Сегодня мы, а завтра соседи.

Мое примечание. Насколько я понял из этих слов, вопрос о частом изменении разграничительных линий и о передаче фланговых армий с фронта во фронт тоже для Покровского был связан с проблемой излишнего дробления фронтов. Он, видимо, стоял за более крупные фронты, за стабильность их управления, за стабильность входивших в них частей.

Думаю, что эта точка зрения была у него связана и с обстоятельствами Западного фронта, сложившимися там. Западный фронт долгое время был стабильным, долгое время штаб фронта привык иметь дело с одними и теми же армиями, с одними и теми же нарезанными ему участками действий, с одними и теми же разграничительными линиями, и в этих условиях изменения, начавшиеся с разделения фронта на Третий Белорусский и на Второй Белорусский, штабом фронта, в том числе и начальником штаба, воспринимались особенно остро и болезненно.

Хочу сделать это примечание, в то же время внутренне считая, что, видимо, в принципе Покровский прав, с моей точки зрения.

Затем я задал вопрос о заместителях командующих фронтами. В ответ на это Покровский сказал так:

— У нас на Западном фронте был одно время заместитель командующего Хозин, а в остальные периоды заместителя командующего фронтом не было. В армиях были заместители командующего.

Что сказать о должности заместителя командующего фронтом? Да, у нас был заместитель командующего фронтом все время Софронов Георгий Павлович. Заместитель командующего по формированиям. Но к чему сводилась его роль? Роль так же, как и других заместителей командующих, незавидная, потому что практически, да и по установившемуся порядку первый заместитель командующего фронтом и армией — начальник штаба фронта или армии. А существование еще одного заместителя обрекало его на то, чтобы выполнять поручения. Вот поезжай, посмотри, погляди там, прими там дивизию, посмотри, как идут дела, что-то они плохо движутся. Вот он и ездил, возвращался, заходил к командующему, к начальнику штаба, ждал нового дела какого-то, нового поручения. Томился, опять выезжал. Приезжал, докладывал, снова ждал. Очень трудная жизнь была у заместителей командующих.

Я сказал, что, по моим наблюдениям, заместителями командующих в армиях, главным образом, были люди, которых как-то не определили к месту. Люди храбрые, заслуженные, но в то же время их не послать на корпус, потому что есть более сильные командиры корпуса. Послать на меньшее дело нельзя: звание большое и человек заслуженный. Вот и становится заместителем командующего. А в душе у него иногда такое чувство, что пошлите меня хоть на полк, только бы не продолжать деятельность в этой незавидной роли.

С этими замечаниями Покровский, в общем, согласился.

Я спросил его, с кем он держал связь, как начальник штаба, с кем общался в армиях.

— Разные были стили у начальников штабов. Если вы посмотрите записки Бирюзова, он часто звонил, разговаривал с командующими армиями. Я лично, как правило, держал связь с начальниками штабов. Мне важно было взаимопонимание с начальниками штабов, твердая связь с ними, знание всего того, что происходит в армейских штабах. Командующим я звонил в тех случаях, когда передавал указания командующего фронтом командующим армий. Ну и в тех случаях, когда отсутствовал начальник штаба соответствующей армии, тогда я звонил командующему.

Вообще связь шла параллельная. Командующий фронтом — с командующими армиями, начальник штаба — с начальниками штабов армий, оперативное управление фронта — с оперативными отделами штабов армий.

Режим работы. Порядок, утвержденный сверху, был таков. К 22.00 оперсводка в Генштаб посылалась за подписью начальника штаба фронта. В 24.00 в Генштаб шло итоговое донесение, подписанное командующим фронтом, членом Военного совета и начальником штаба. К 3.00 должна была быть отправлена разведсводка, подписанная начальником штаба и начальником разведывательного отдела.

Как я строил свою работу? Отправив в 22 часа оперсводку, я шел к командующему, там обычно бывал в это время член Военного совета, иногда начальники родов войск, командующие родами войск — шли обсуждения итогов дня и подготовка итогового донесения. Здесь же происходили и главные, принципиальные беседы по поводу прошедших и предстоящих событий. Итоговое донесение отправлялось в 24 часа, а примерно до часу еще, как правило, продолжалась эта беседа с наметкой предстоящего на следующий день.

Затем командующий ложился, а начальник штаба шел к себе работать. Работать по детализации предстоящего дня. Кончал работать в шесть-семь утра и шел отдыхать. Командующий около семи утра, как правило, выезжал в войска. Я как раз ложился отдыхать. На телефоне оставался сидеть опытный оператор,

собирал сведения из армий и передавал их в Генеральный штаб.

Я вставал около двенадцати часов дня, и вскоре мне звонили из Генштаба для доклада Сталину. Звонил все эти годы, пока я был начальником штаба, один и тот же человек — ныне генерал-полковник Ломов. Ныне он в Академии Генерального штаба на кафедре стратегии, а тогда был направленцем нашего фронта. Там, в Генштабе, сидело несколько генералов, у каждого из которых был один, или два, или три фронта, ряд фронтов, и они постоянно были в курсе наших дел.

Он звонил для доклада Сталину. Мы говорили с ним каждый день годами. Каждый день, без исключения. А увиделись впервые после войны, в сорок шестом году. В глаза друг друга не видели никогда, только по голосу знал его, как никого другого.

К двум-трем часам у Верховного лежала уже карта с нанесенным на нее положением по всем фронтам. Вот для нанесения этого положения мне и звонили около двенадцати часов.

Но если шло наступление, то в Генштаб было положено доносить о событиях каждые два часа круглые сутки.

Думаю, что в этом хорошем порядке была одна отрицательная черта. Донесения требовались излишне подробные. В этом необходимости не было с точки зрения общего стратегического руководства.

Говоря о командовании 33-й армии, Покровский сказал, что после Ефремова армии не везло. Неудачным командующим был Гордов. Слабым командующим был Крюченкин.

— Это,— сказал он,— человек другого масштаба, не командарм. Это типичный кавалерист, не двинувшийся никуда вперед. Командир кавалерийского корпуса в начале войны. Это и был потолок его возможностей. Слабый командующий.

Безуспешно командовал армией и пришедший ему на смену Морозов, который очень неудачно действовал во время первого августовского прорыва в Восточную Пруссию.

Вопросы, еще не заданные А. П. Покровскому:

1. Как вводили армию Ротмистрова во время Белорусской операции? Какие были сложности? Какова его оценка действий армии этой?

2. Часто можно услышать от бывших командующих фронтами, в частности о Соколовском или о ком-то другом, что это не командующий. Штабист — это не командующий. Что это значит, с точки зрения моего собеседника? И в связи с этим — второй вопрос. Для того чтобы командующий фронтом или армией был на высоте положения, нужен ли ему стаж штабной работы на каком-то периоде его деятельности или не нужен?

Предисловие и публикация Л. ЛАЗАРЕВА

С. НЕУСТРОЕВ,
Герой Советского Союза

О рейхстаге — на склоне лет

За послевоенные десятилетия о штурме рейхстага написано много разных нафантазированных небылиц, которые по-русски называются враньем. Пытались и меня подстраивать под многочисленные авторитеты. «У вас расхождения с таким-то и таким-то. Переделайте, найдите компромиссное решение»,— неоднократно советовали мне компетентные товарищи...

Начиная со 2 мая 1945 года мне часто задают вопрос: «Кто первым водрузил Знамя Победы?» Такой вопрос возник не случайно. Многие и многие сотни людей 30 апреля сорок пятого года шли в последнюю атаку — на штурм рейхстага. Десятки красных флажков и флагов были в атакующих цепях стрелковых батальонов. И каждому хотелось быть первым.

Последняя атака, которая привела к успеху, началась после 18.00 по среднеевропейскому времени. В рейхстаг ворвались около девяти вечера. Уже темнело. В темноте трудно было проследить — кто добежал первым, установил свой флаг. А главное, в то время было не до того. Шел бой...

В середине дня 2 мая в центре Берлина наступила тишина. Гарнизон фашистских войск капитулировал.

В рейхстаг валом повалил народ... Приходили пешком, приезжали на лошадях и автомашинах представители всех родов войск. Всем хотелось посмотреть рейхстаг, расписаться на его стенах. Многие фотографировались на фоне фашистской цитадели, многие приносили с собой красные флаги и флажки и укрепляли их по всему зданию. Приехали корреспонденты и фоторепортеры дивизионных, армейских, фронтовых и даже центральных газет.

Пошли расспросы, записи... Встретит какой-нибудь корреспондент солдата, отведет его в тихий уголок и давай писать по горячим следам боев. Другой уведет офицера, третий — сержанта, так по тихим уголкам «разобрали» не только мой батальон, а и другие, принимавшие участие в штурме. Пошла путаница...

Доходило до того, что в одной и той же газете о водружении Знамени Победы писалось по-разному. И таких противоречивых высказываний можно привести сотни.

Через 12 лет после войны, во время одного выступления, ко мне подошел капитан запаса Федоров из 47-й армии и категорично заявил: «Знамя Победы водрузили я и старший сержант Михаил Исаков, вот газета... смотрите». Он развернул газету, в ней снимок. На крыше рейхстага на фронтоне парадного подъезда развевается знамя, его держит Федоров, рядом старший сержант с автоматом. Под фотоснимком написано: «Капитан Федоров и старший сержант Исаков водружают знамя над рейхстагом».

Рассматривая газету, я был в недоумении, а Федоров стал пояснять: «8 мая командование направило группу лучших воинов с корреспондентом армейской газеты на экскурсию в Берлин — посмотреть фашистскую столицу и рейхстаг. Мы вечером 8 мая водрузили Знамя, а 9-го кончилась война. Советский народ праздновал Победу. На меня и Исакова были написаны наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза, но Героев не дали. Наградили за Берлинскую операцию орденами Красного Знамени. Но ничего,— продолжал Федоров,— я своего добьюсь... Вашего Егорова и Кантарию выведу на чистую воду. Это в угоду Сталину подсунули грузина... Сейчас культ личности осудили. Можно писать. Добьюсь!» — подытожил капитан запаса. И многие действительно стали писать, добиваться!

Наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение Знамени Победы были представлены на сотни людей.

Так что политотделу 3-й Ударной армии и политуправлению 1-го Белорусского фронта пришлось разбираться в этом вопросе целый год! Только 8 мая 1946 года вышел:

«УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу Вооруженных Сил СССР, водрузившему Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»

1. Капитану Давыдову Василию Иннокентьевичу.
2. Сержанту Егорову Михаилу Алексеевичу.
3. Младшему сержанту Кантария Мелитону Варламовичу.
4. Капитану Неустроеву Степану Андреевичу.
5. Старшему лейтенанту Самсонову Константину Яковлевичу.

Председатель Президиума
Верховного Совета Союза ССР
Н. Шверник
Секретарь Президиума
Верховного Совета Союза ССР
А. Горкин.

Москва. Кремль. 8 мая 1946 года».

Казалось бы, все встало на свои места. Но нет! И по сегодняшний день в ЦК КПСС и в Президиум Верховного Совета Союза ССР идут письма и телеграммы.

К примеру, в канун 40-летия Победы В. М. Фамильский, участник штурма рейхстага, писал (привожу сокращенно. — **С. Н.**): «Вторично обращаюсь в Президиум Верховного Совета СССР с ходатайством о присвоении звания Героя Советского Союза первым первопроходцам водружения Знамени Победы товарищам: В. Н. Макову, В. М. Минину, К. Г. Загитову, А. Ф. Лисименко, А. П. Боброву (посмертно)... Основываясь на ошибочных выводах, Главное управление кадров Министерства обороны СССР воздержалось поддержать мое первое ходатайство... Знамя Победы, дескать, водрузили разведчики 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария... Из числа всех знаменосцев, — продолжает Фамильский, — водрузивших на стенах и крыше рейхстага победоносные стяги, М. Егоров и М. Кантария в рейхстаг прибыли позднее всех...

Начиная с ночи 1 мая и на протяжении целого месяца после войны красные флаги на крыше рейхстага ставили представители-экскурсанты всех армий, всех родов войск, находящихся в Германии...»

Передо мной лежит полный текст ходатайства Василия Матвеевича Фамильского, сижу и думаю: что же можно сказать по поводу всего им написанного? В. М. Фамильский прав в изложении событий и искажений о последнем бое. Но согласиться с его словами в адрес Егорова и Кантарии мне сложно.

Кантария — кадровый солдат. Призван в армию в сентябре 1940 года. Войну встретил пулеметчиком на западной границе. Провоевал все четыре года, дважды был ранен и после каждого ранения возвращался в строй. Первое ранение получил 20 июля 1941 года в боях за Смоленск. В нашу 150-ю дивизию Мелитон Варламович Кантария был направлен после второго ранения, в октябре 1944 года, зачислен во взвод разведки 756-го стрелкового полка. В разведке показал себя смелым и находчивым солдатом. Поэтому полковник Зинченко и доверил ему вместе с Егоровым особо важную задачу — водрузить над рейхстагом знамя Военного совета 3-й Ударной армии как Знамя Победы.

После боев Егоров и Кантария отличились в рейхстаге еще дважды: первый раз в середине дня 2 мая и второй — 10 мая. А было так.

Утром 2 мая в рейхстаг пришел командир полка Ф. М. Зинченко и сообщил, что звонил командир дивизии генерал В. М. Шатилов, пообещавший скоро прибыть в рейхстаг. До прихода генерала Знамя требовалось переставить с фронтона на купол. Для этой цели Зинченко вызвал на площадь Егорова и Кантарию.

Купол представлял собой конусную металлическую обрешетку с выбитыми стеклами. Высота купола от земли до верхней площадки метров 50—60. Егоров впереди со знаменем, Кантария за ним стали подниматься вверх. В обрешетке во многих местах остались стекла. Егоров сильно обрезал ладони и пальцы обеих рук. Когда знаменосцы уже достигли второй половины купола, вдруг оборвался поперечный переплет (поперечные переплеты были примерно по метру, и каждый соединялся с вертикальными заклепками). Переплет повис на одной заклепке. Вместе с ним повис Егоров... У тех, кто был на Королевской площади, невольно вырвался вздох: ну, сейчас Егоров рухнет вниз... Под ним пропасть...

Каким-то чудом Егоров подтянулся на руках, перебрался к вертикальному переплету и снова стал подниматься. Наконец он, за ним Кантария добрались до верхней площадки и вставили древко знамени в металлическую трубу (эта труба была сделана специально для государственного флага фашистского третьего рейха). Кантария на узкой и зыбкой площадке купола поднялся во весь рост, одной рукой ухватился за древко, другую поднял и громко закричал: «Ура!».

Капитан Ярунов, который стоял рядом со мной, не выдержал: «Хватит! Слезайте скорее к чертовой бабушке». Начальник штаба майор Казаков нервно повторял: «Он еще лезгинку там будет танцевать, абрек непутевый... Пусть только слезет, я ему покажу... пусть только слезет...»

...Согласно решению Ялтинской конференции, Берлин был поделен на зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Рейхстаг отходил в английскую. 10 мая 150-я дивизия покидала Берлин. Перед выходом из города полковник Зинченко приказал Знамя Победы с купола снять, вместо него поставить значительно превосходящий знамя размерами красный стяг. Для выполнения этой задачи командир полка хотел послать кого-нибудь из солдат моего батальона, но Кантария в категорической форме заявил: «...Мы с Егоровым ставили знамя, мы и снимем!». Возра-

жать было бесполезно. Они вторично полезли на купол...

Иногда кое-кто рассуждает так: «Указом Президиума Верховного Совета Давыдову, Егорову, Кантарии, Неустроеву и Самсонову звание Героев Советского Союза присвоено за водружение Знамени Победы. Однако при чем тут Давыдов, Неустроев и Самсонов? Они же не поднимались на крышу устанавливать знамя». Законный, требующий объяснений вопрос. Ведь многим представляется примерно такая картина: бегут со знаменем к рейхстагу, по стенам или водосточным трубам поднимаются наверх, противник огнем пулеметов и автоматов сбивает знаменосцев. На смену убитым поднимаются другие. И только счастливчикам удается добраться до крыши.

На самом деле все обстояло совсем по-другому. Водружение Знамени Победы складывалось как бы из трех этапов.

Прежде всего необходимо было ворваться в рейхстаг и овладеть им (хотя бы частично). Дальше: во взятом уже рейхстаге добраться по лестнице на верхние этажи, затем в чердачные помещения и на крышу. Там установить Знамя. И, наконец, отбить фашистские контратаки.

Поэтому мне кажется вполне логичным, что честь во взятии рейхстага, в его удержании, в создании благоприятных условий для водружения знамени принадлежит солдатам, сержантам и офицерам трех батальонов во главе с их командирами. Именно поэтому Военный совет 1-го Белорусского фронта принял решение ходатайствовать о присвоении звания Героя Советского Союза трем командирам батальонов и двум разведчикам. Как я уже писал, Указ о нашем награждении вышел ровно через год после окончания войны. Первоначально же участники штурма рейхстага были награждены орденами Красного Знамени.

Штурм рейхстага

...Лишь глубокой ночью шум и грохот на первых этажах начал утихать и удаляться на верхние этажи. Напряжение боя постепенно ослабевало, сопротивление противника было сломлено. Наши подразделения овладели «домом Гиммлера».

Перед утром батальон сосредоточился в трех больших комнатах, похожих на казематы. Через полуподвальное окно смотрю вдаль. Ночное небо заволокло дымом. По самой земле стелется мрак. Впереди — никаких строений...

По рации слышу голос Зинченко: «Где находишься? Где находишься? Прием. Прием».

Докладываю не совсем уверенно:

— Нахожусь в торце дома.

Сам же думаю: «А может, это не торец дома, может, здание еще уходит куда-нибудь вглубь?»

Полковник приказывает:

— Наступай на рейхстаг. Выходи быстрее к рейхстагу!

Я кладу трубку. В ушах все еще звучит голос Зинченко.

А где он, рейхстаг-то? Черт его знает! Впереди темно и пустынно...

Поднимаю батальон. Иду в темень, под зарево. Справа, совсем близко, застрочил пулемет. Куда он стреляет — не пойму. В цепи кто-то застонал. Батальон залег. Ночная атака успеха не имела.

Я вернулся в здание, на свой НП. Не прошло и пяти минут, как из полка поступил новый запрос:

— Вышел, что ли, к рейхстагу? Когда выйдешь? Ведь рейхстаг, Неустроев, от тебя близко, совсем рядом...

Наконец мы сориентировались. Вызываю по рации командира полка:

— Дайте огонь правее...

Заговорили наши минометы, за ними пушки. Вспышки разрывов слегка осветили местность, но затем видимость стала еще хуже. Вокруг черно, как в пропасти.

С тревогой я думал о том, что между ротами нет никакой локтевой связи. Во мраке легко сбиться с нужного направления. К тому же люди сильно устали. Наступать в такой обстановке было очень рискованно.

...Наступило утро 30 апреля 1945 года. Перед глазами изрытое, перепаханное снарядами огромное поле. Кое-где стояли изуродованные деревья. Чтобы лучше разобраться в обстановке, мне пришлось подняться на второй этаж.

Глубина площади, если можно было так назвать это поле, составляла метров триста. Площадь на две части рассекал канал, залитый водой. За каналом немецкая оборона — траншеи, дзоты, зенитные орудия, поставленные на прямую наводку. Около орудий копошатся люди. В конце площади небольшое серое здание с куполом и башнями.

Гусев, мой начштаба, высказал предположение: это рейхстаг! В первый миг я даже вздрогнул. Шли к нему четыре года, и рейхстаг представлялся каким-то необыкновенным: обязательно огромным, черным, страшным... А тут вдруг видим серое и только трехэтажное (считая цокольный этаж) здание.

У меня закралось сомнение: нет, это не рейхстаг! Тем более что за серым зданием, метрах в двухстах, виднелся громадный многоэтажный дом. И из него валил густой черный дым.

Я спустился в подвал, в голове сомнения, перед глазами серое здание и в глубине большой горящий дом... По рации доложил обстановку командиру полка. Он выслушал спокойно и коротко приказал:

— Наступай в направлении большого дома, если ты считаешь, что это рейхстаг!

Я поставил перед ротами задачу: наступать левее серого здания, обойти его, выйти к горящему дому и перед ним окопаться. Батальон приготовился к атаке. Орудия капитана Винокурова, старшего лейтенанта Челемета Тхагапсо и орудийные расчеты дивизиона майора Тесленко были поставлены в проломах «дома Гиммлера» на прямую наводку. Батареи лейтенанта Сорокина и капитана Вольфсона заняли огневые позиции в боевых порядках стрелковых рот.

Наконец наша артиллерия открыла огонь. Площадь за каналом и серое здание затянуло дымом и пылью...

Взвилась серия красных ракет — сигнал атаки. Роты с криком «ура» бросились вперед. Но не успели пробежать и пятидесяти метров, как противник обрушил на нас сотни тяжелых мин и снарядов. Наше «ура» потонуло в грохоте. И вторая атака так же, как и первая, захлебнулась.

Вскоре ко мне на наблюдательный пункт пришел полковник Зинченко. Я доложил ему, что к рейхстагу никак не могу пробиться — мешают серое здание, из которого ведется стрельба, и очень сильный огонь справа.

Федор Матвеевич подошел к окну. Ему под ноги кто-то подставил патронный ящик. Он долго изучал карту. Потом смотрел в окно и опять на карту. И вдруг лицо Зинченко осветилось улыбкой. Он был взволнован.

— Неустроев, иди сюда... Смотри!

Я встал на ящик рядом с командиром полка, но не понимал, чему радовался Зинченко.

— Да смотри же, Степан, внимательно! Перед нами рейхстаг!

— Где? — невольно переспросил я.

— Да вот же, перед тобой. Серое здание, которое тебе мешает, и есть рейхстаг!

Мы с Гусевым смущенно переглянулись. Полковник Зинченко ушел на командный пункт полка докладывать обстановку командиру дивизии генералу Шатилову. На прощание сказал:

— Готовь батальон к штурму.

После его ухода я снова прильнул к окну. Серое здание поглотило все мое внимание. Теперь это было уже не просто здание, а что-то очень значительное, конечная цель наших боев и походов, наших страданий и мук. По внешнему виду рейхстаг был неказист. Три этажа, окна и двери замурованы красным кирпичом, но в них оставлены амбразуры. Я приложил к глазам бинокль — в амбразурах стволы пулеметов. Насчитал их до двадцати.

В середине дня, часов в тринадцать, была предпринята еще одна, третья по счету, атака, также успеха не имевшая... После нее батальон оказался в исключительно тяжелой обстановке: вторая стрелковая рота младшего лейтенанта Антонова и третья рота лейтенанта Ищука поднялись в атаку не одновременно, личный состав рот мелкими группами и в одиночку устремился к парадному подъезду рейхстага. Кое-кто уже подбегал к зданию, и казалось, что вот-вот роты ворвутся в рейхстаг. Противник усилил ружейно-пулеметный огонь и тут же открыл огонь из артиллерии и минометов. Площадь утонула в разрывах снарядов и мин, казалось, что земля и небо перемешались в каком-то страшном аду. Минут через двадцать противник огонь прекратил: в воздухе пороховая гарь, от которой спирало дыхание и першило в горле.

Около трех часов дня ко мне на наблюдательный пункт снова пришел Зинченко и сообщил: «Есть приказ маршала Жукова, в котором объявляется благодарность войскам, водрузившим Знамя Победы, в том числе всем бойцам, сержантам и офицерам, генералам 171-й и 150-й стрелковых дивизий. В письменном виде приказ маршала Жукова в войска 1-го Белорусского фронта, очевидно, поступит завтра».— смущенно закончил полковник.

Забегая вперед, скажу что этот приказ я прочитал только после боев в Берлине 4-го или 5 мая.

Приказ гласил:

«Секретно

ПРИКАЗ

войскам 1-го Белорусского фронта
30 апреля 1945 года № 06 Действующая армия

Район рейхстага и г. Берлин обороняли отборные части «СС». Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28. 04. 45 г. выбросил на парашютах батальон морской пехоты. Противник в районе рейхстага оказывал ожесточенное сопротивление нашим наступающим войскам, превратив каждое здание, лестницу, комнату, подвал в опорные пункты и очаги обороны. Бои внутри главного здания рейхстага переходили в неоднократные рукопашные схватки.

2. Войска 3-й Ударной армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, сломили сопротивление врага, заняли главное здание рейхстага и сегодня 30. 04 45 г. в 14—25 подняли на нем наш советский флаг. В боях за район и главное здание рейхстага отличились войска 79 ск генерал-майора Переверткина и его 171 сд полковника Негода, 150 сд генерал-майора Шатилова.

3. Поздравляя с одержанной победой, за проявленную храбрость, умелое и успешное выполнение боевой задачи всем бойцам, сержантам, офицерам и генералам 171 стр. дивизии и 150 стр. дивизии и непосредственно руководившему боем командиру 79 стр. корпуса генерал-майору Переверткину — ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.

Военному совету 3-й Ударной армии наиболее отличившихся в боях за рейхстаг солдат, сержантов, офицеров и генералов представить к правительственным наградам.

4. Близится час окончательной победы над врагом. Наш советский флаг развевается над главным зданием рейхстага в центре города Берлин.

Товарищи бойцы и сержанты, офицеры и генералы 1-го Белорусского фронта! Вперед на врага! Последним стремительным ударом добьем фашистского зверя в его логове и ускорим приближение часа окончательной победы над фашистской Германией.

Приказ объявить во всех ротах, эскадронах и батареях войск фронта.

Командующий войсками I БФ
Маршал Советского Союза
ЖУКОВ

Член Военного совета
I БФ генерал-лейтенант
ТЕЛЕГИН

Начальник штаба I БФ
генерал-полковник
МАЛИНИН».

Я спросил командира полка: «Рейхстаг не взят, знамя не водружено, а благодарность уже объявили?» «Так выходит, товарищ комбат,— в задумчивости ответил Зинченко и тут же спросил меня.— А может быть, кто-нибудь из наших все-таки вошел в рейхстаг? Может быть, ты через разрывы снарядов и мин не заметил, что происходило на ступеньках парадного подъезда?»

На такой вопрос ответить мне было тяжело. «Может быть, кто-нибудь действительно вошел,— мелькнула мысль,— а может, и нет»...

Тут на мой наблюдательный пункт позвонил генерал Шатилов и велел передать трубку командиру полка. Командир дивизии требовал от Зинченко: «Если нет наших людей в рейхстаге и не установлено там знамя, то прими все меры любой ценой водрузить флаг или флажок хотя бы на колонне парадного подъезда. Любой ценой!» — повторил генерал...

На совещании в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в ноябре 1961 года бывший член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин о водружении знамени сказал: «...водружение Знамени Победы приняло уродливый характер...» На этом же совещании я также заметил, что прежде чем водружать знамя, необходимо было рейхстаг взять.

Но командование корпуса и дивизии 30 апреля 1945 года решило по-другому...

Выполняя приказ старшего командования, из батальонов Якова Логвиненко, Василия Давыдова, а также из 171-й дивизии Константина Самсонова стали с флажками направлять одиночек-добровольцев, храбрейших людей, к рейхстагу с задачей установить флажок на колонне парадного подъезда, или на фасадной стене, или на углу здания рейхстага, где угодно, лишь бы на рейхстаге!

Из разных батальонов в разное время побежали с флажками люди к рейхстагу и... Никто из них до цели не добежал, погибли. Из моего батальона был направлен Петр Николаевич Пятницкий, который также погиб, не достигнув колонн парадного подъезда.

Противник из рейхстага и справа, из Кроль-оперы, продолжал хлестать свинцом. Стало ясно, что направлять добровольцев с флажками к рейхстагу бессмысленно. Кроме того, фашисты открыли огонь из артиллерии и тяжелых минометов, но их снаряды с воем пролетали над нами и рвались где-то позади, в районе моста Мольтке, через который командование срочно перебрасывало к нам для усиления последующих атак танки, артиллерию и гвардейские минометы «катюши».

В воздухе показались наши самолеты. Они шли широким фронтом. У Бранденбургских ворот, в парке Тиргартен содрогнулась земля... Огонь противника по мосту Мольтке прекратился. Через несколько минут у «дома Гиммлера» появились десятка два наших Т-34, за ними тягачи тянули тяжелые орудия. Вслед шли «катюши». И всю эту массу боевой техники устанавливали на узком участке фронта. Было тесно, и прямо-таки не хватало места. Сержант Куприянов из батареи капитана Винокурова умудрился втащить свое орудие аж на второй этаж. Его идею подхватили многие.

30 апреля во второй половине дня, часов в 16 или 16—30, из штаба полка пришел старший сержант Съянов. За два дня до того его ранило, но ранение оказалось легким и он находился в санбате дивизии. Приходу Съянова я был рад. Мало кто уцелел из ветеранов батальона. А тут старый знакомый!

— Здравствуй, здравствуй, Илья Яковлевич! Рассказывай, какими судьбами вернулся в батальон?

И он мне рассказал, как сегодня утром все тыловые подразделения дивизии облетел слух, что батальон Неустроева уже чуть ли не взял рейхстаг. Вот Съянов и заторопился. Врачи не отпускали. И тогда он просто сбежал.

Через полуподвальное окно «дома Гиммлера» я в бинокль рассматривал Королевскую площадь и пришел к твердому убеждению, что для последующей атаки батальон не готов — личный состав рот рассеян по всей площади, если мне и удастся поднять роты, то атака будет неодновременной и к успеху не приведет. Свои соображения доложил командиру полка и попросил его через боевые порядки моего батальона ввести в бой 2-й батальон капитана Клименкова. Но Зинченко решил по-другому — дать мне пополнение.

Минут через двадцать позвонил помощник начальника штаба полка майор Логвинов и сообщил, что нужно немедленно отослать в штаб за пополнением кого-нибудь из офицеров.

Я решил направить Съянова. Он хотя и старший сержант, но мог в боевой обстановке заменить офицера. Примерно через час Съянов привел около ста человек.

Из пополнения здесь же, в подвалах «дома Гиммлера», сформировали первую роту, ее командиром я назначил Съянова. Взводы и отделения возглавили бывалые солдаты. Подбирались они просто по

внешнему виду. Смотришь — пожилой, фронтовик, неплохая выправка, говоришь: «Будешь командовать первым взводом! А ты — вторым, а ты — третьим».

Со мной находилась группа коммунистов из штаба корпуса во главе с капитаном Маковым. С ним были старшие сержанты Лисименко, Минин, Бобров, Загитов. Этой группе поставил задачу лично командир корпуса генерал Переверткин: докладывать о ходе боя и водрузить флаг корпуса над рейхстагом. Такая же группа, возглавляемая майором Бондарем, ушла в боевые порядки соседней 171-й стрелковой дивизии и находилась в батальоне Самсонова.

Все подвалы угловой части «дома Гиммлера» заняли незнакомые мне офицеры — артиллеристы, танкисты. Они устанавливали стереотрубы, налаживали связь по телефону и рациям. Подвалы походили на муравейник. Кого там только не было! И корреспонденты, и кинооператоры, даже какие-то представители из самой Москвы.

Наступил вечер. Зинченко по телефону приказал:

— Через пятнадцать минут атака. Жду доклада из рейхстага.

— Задачи ротам поставил? — спросил у меня агитатор политотдела дивизии капитан Матвеев.

— Поставил.

Гусев добавил:

— Кстати, задача взять рейхстаг была поставлена еще в 1941 году, в начале войны!

Матвеев ответил без улыбки:

— Здорово сказано.

Еще до звонка командира полка я подозвал капитана Ярунова и старшего сержанта Съянова.

— Хорошо видите вон то серое здание?

Они ответили утвердительно.

— По сигналу поведете роту в атаку. Вторая и третья роты присоединятся к вам, вместе с ними ворветесь в рейхстаг!

Они слушали молча и внимательно.

— Понятно, товарищ комбат.

— В добрый путь! Надеюсь встретить вас в рейхстаге.

— Огонь! Огонь! По рейхстагу — огонь! — слышу со всех сторон команды артиллерийских офицеров.

Вскоре все голоса потонули в грохоте. Было видно только, как командиры открывают и закрывают рты.

Налет получился короткий, но ошеломляющий. Вся рота Съянова покинула подвал «дома Гиммлера» и стала выдвигаться на рубеж второй и третьей стрелковых рот, на Королевскую площадь.

Перед атакой, как я уже упоминал, по инициативе коммунистов и комсомольцев в батальоне приготовили красные флаги различной величины и формы. И теперь десятки красных флажков развернулись по всей атакующей цепи. Каждому хотелось, чтобы именно его солдатский флажок первым оказался в фашистском рейхстаге. Это был массовый героизм, и не было в мире такой силы, которая смогла бы остановить советских воинов на пути к победе.

Мой заместитель по политчасти лейтенант Берест вместе с Антоновым увлекли за собой вторую роту, которая с утра лежала на площади, прижатая к земле плотным огнем противника. Капитан Ярунов, мой заместитель по строевой части, вместе со Съяновым ведут в атаку 1-ю роту. Лейтенант Ищук выскочил из воронки, повернулся к своей 3-й роте и с криком «За Родину! Вперед!» устремился к парадному подъезду.

Двенадцать станковых пулеметов роты старшего лейтенанта Жаркова с флангов поддерживали стрелковые роты огнем. Жарков сам лежал за пулеметом, но вскоре его тяжело ранило, и роту возглавил лейтенант Герасимов. В цепи штурмующих находилась и группа капитана Макова.

Это была последняя атака батальона в суровой четырехлетней войне. Последняя!!!

Последняя атака

Противник слева почти не стрелял. Справа, из парка, слышались очереди. Из окон рейхстага фашисты поливали атакующих свинцом. Но кому удалось достичь его стен, тот был уже вне зоны вражеского огня.

У парадного подъезда взвилась серия зеленых ракет. Это был сигнал Ярунова, что батальон ворвался в рейхстаг. И как только Ярунов дал зеленую ракету, я приказал Гусеву немедленно организовать новый наблюдательный пункт батальона непосредственно внутри рейхстага. Гусев с командиром взвода связи старшиной Сандулом, пригнувшись к земле, побежал к рейхстагу. В это время было уже совершенно темно, и я скоро потерял их из виду. За Гусевым и Сандулом связисты потянули из «дома Гиммлера» в рейхстаг телефонную связь...

Как я узнал позже, в это же время справа к рейхстагу бежали бойцы батальона капитана Василия Давыдова, слева — батальона старшего лейтенанта Константина Самсонова из 171-й стрелковой дивизии.

Наши роты в рейхстаге с боями продвигались вперед. Противник обрушил пулеметный и автоматный огонь не только на атакующих, но и на те многочисленные комнаты и длинные коридоры, в которые еще не вошли наши солдаты. Это был огонь обреченных, потерявших рассудок людей, от которого мы, впрочем, не несли особых потерь. Удар же наших подразделений был мощным и организованным, и враг, не выдержав такого стремительного натиска, стал отступать. Мы занимали одну за другой комнаты, коридоры и залы.

Наконец слышу долгожданный звонок. Из рейхстага докладывал мой начальник штаба: «Новый наблюдательный пункт батальона готов, роты и отдельные штурмовые группы ведут бой в глубине рейхстага, но бой утихает: темно, вести бой дальше нельзя, можно перестрелять своих. Слышны только отдельные очереди и иногда разрывы гранат».

— Батальон в рейхстаге. Перемешались! — доложил я командиру полка.

Группа управления батальона, куда входили командиры приданных и поддерживающих артиллерийских дивизионов и отдельных батарей, со своими наблюдателями, радистами и связистами насчитывала более двадцати человек. Перебегая от воронки к воронке, мы двинулись к рейхстагу. Кругом часто рвались снаряды и мины.

В вестибюле меня встретил капитан Ярунов. Он обстоятельно доложил, что батальон в полном составе находится в рейхстаге, справа, у южного входа, к рейхстагу подошли рота лейтенанта Греченкова и взвод лейтенанта Кошкарбаева из батальона капитана Давыдова. Слева, к северному входу,— роты батальона старшего лейтенанта Самсонова. Выслушав доклад, я осмотрелся. Вокруг темно. Стрельбы в самом здании никакой. Тишина.

Об участвовавших в штурме рейхстага батальонах Давыдова и Самсонова уже более сорока лет существуют противоречивые высказывания.

Генерал-полковник Шатилов в своих мемуарах вообще отрицает, что батальон Самсонова из 171-й стрелковой дивизии был в рейхстаге; вместо самсоновского батальона, пишет Шатилов, левее батальона капитана Неустроева был батальон капитана Клименкова из полка Зинченко, т. е. из его 150-й, а не из 171-й дивизии.

Такое утверждение совершенно не соответствует действительности. Не нужно отбирать славу и подвиг батальона Самсонова из 171-й дивизии; в нашей 150-й дивизии своей славы хватает. Батальон Клименкова имел 30 апреля только две стрелковые роты по 30—40 человек и по приказу полковника Зинченко, оставаясь во втором эшелоне полка, находился в подвалах «дома Гиммлера», т. е. выполнял задачу по охране штаба 756-го стрелкового полка. И такое решение командира полка было правильным. Горький опыт научил, что при ведении уличных боев в крупных городах оставлять штабы без прикрытия нельзя.

На совещании с участниками штурма рейхстага в 1961 году в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС были горячие споры о том, кто же первым ворвался в рейхстаг и вел в нем бой. Говорили разное...

Мой начальник штаба Кузьма Владимирович Гусев и командир отделения нашего батальона Петр Дорофеевич Щербина в категоричной форме заявили, что «в рейхстаге, кроме нашего 1-го батальона, вообще никого не было!» Такое заявление тоже неверно.

В книге «Знамя над рейхстагом» генерал Шатилов пишет: «... В четырнадцать двадцать пять рота Ильи Яковлевича Сьянова ворвалась в главный вход рейхстага...» «...От главных сил дивизии (от батальона Давыдова и Неустроева.— С. Н.) рота отрезана сильнейшим огнем со стороны Бранденбургских ворот... Вызвав Сосновского (командующего артиллерией дивизии.— С. Н.), я велел ему в 5 часов 50 минут вечера подготовить артиллерийский налет по рейхстагу... В половине шестого вечером необычайной силы грохот потряс землю и воздух. Это заговорили сто с лишним орудий дивизии и корпуса. Они били по замурованным окнам второго этажа рейхстага...»

Ознакомившись с книгой генерала Шатилова, мы, участники штурма фашистской цитадели, были поражены!

Как же так: в рейхстаге рота Сьянова, о чем выше пишет сам Шатилов, и вдруг он же — командир дивизии — приказал из ста с лишним орудий вести огонь по окнам второго этажа? Там же наши, около сотни живых людей! И вдруг «необычайной силы грохот».

Такое описание боев за рейхстаг не соответствует действительности.

Когда генерал Шатилов приказал Сосновскому в пять часов пятьдесят минут вечера из ста с лишним орудий открыть огонь по рейхстагу, в здании в то время наших подразделений не было!

К десяти часам вечера по местному времени общая обстановка сложилась так: в вестибюле и центральном зале заняла оборону вторая рота Антонова. Лейтенант Ищук расположился на правом фланге, на левом — с ротой Сьянова капитан Ярунов. Подразделения Давыдова — у южного входа, Самсонова — у арки.

Я пришел к выводу, что продвигаться дальше, в глубь здания, сейчас рискованно. В темноте в многочисленных комнатах можно распылить батальон, и он будет неуправляем. Вдруг немцы пойдут в контратаку? Решил держать роты компактно. И не ошибся. Как вскоре выяснилось, в подземных помещениях рейхстага находился значительный гарнизон фашистов.

Около 23 часов берлинского времени, московского — час ночи, капитан Маков доложил командиру корпуса генералу Переверткину, что его группа выполнила приказ: «Флаг штаба 79-го корпуса установлен на крыше рейхстага». По этому вопросу более 40 лет идут споры и разного рода кривотолки: дескать, Знамя Победы водрузили не Егоров и Кантария под руководством лейтенанта Береста, а капитан Маков и его группа в составе четырех человек: Лисименко, Минина, Боброва и Загитова. В мемуарной литературе, даже в «Истории Великой Отечественной войны» пять человек во главе с капитаном В. Маковым и четыре человека с майором М. Бондарем показаны как боевые группы, и силы этих «групп» (что вряд ли правомочно) приравниваются к силам батальона...

Ради исторической правды нужно сказать, что капитан Маков и его подчиненные — люди отчаянные, храбрые. У меня никогда не было и сейчас нет сомнения в правдивости прозвучавшего доклада. Маков — серьезный и порядочный человек, он не допустит лжи, но в совершенном им подвиге меня огорчает то, что этот флаг на крыше рейхстага никто не видел. Маков допустил непростительную ошибку: после доклада генералу Переверткину ушел из рейхстага в штаб корпуса, никого из своих подчиненных для охраны флага не оставил. После боев, т. е. 2 мая, на крыше рейхстага, кроме знамени Военного совета 3-й Ударной армии под № 5, водруженного Егоровым и Кантарией под руководством А. Береста, других знамен и флагов не было.

Такова печальная история флага 79-го стрелкового корпуса.

Как дальше развивались события в рейхстаге? Изложу по порядку.

Личному составу батальона попеременно я разрешил отдохнуть. Раненых приказал отправить в тыл. Штаб батальона разместился в маленькой, без окон, глухой комнате.

Около двенадцати часов ночи (время берлинское) в рейхстаг пришел полковник Зинченко. Я обрадовался его приходу.

— Капитан Неустроев, доложите обстановку...

Полковника интересовало знамя. Я пытался ему объяснить, что знамен много... Флаг Пятницкого установил Петр Щербина на колонне парадного подъезда, флаг первой роты Ярунов приказал выставить в окне, выходящем на Королевскую площадь. Флаг третьей роты... Одним словом, я доложил, что флажки ротные, взводные и отделений установлены в расположении их позиций.

— Не то ты говоришь, товарищ комбат! — резко оборвал меня Зинченко.— Я спрашиваю: где знамя Военного совета армии под номером пять? Я же приказывал начальнику разведки полка капитану Кондрашову, чтобы знамя шло в атаку с первой ротой! — возмущался полковник.

Стали выяснять, расспрашивать, оказалось, что... знамя в штабе полка, в «доме Гиммлера».

Зинченко позвонил по телефону начальнику штаба майору Казакову и приказал:

— Организуйте немедленно доставку знамени Военного совета в рейхстаг! Направьте его с проверенными, надежными солдатами из взвода разведки.

Вскоре в вестибюль вбежали два наших разведчика — сержант Егоров и младший сержант Кантария. Они развернули алое полотнище. Ему суждено было стать Знаменем Победы!

Командир полка перед Егоровым и Кантарией поставил задачу:

— Немедленно на крышу рейхстага! Где-то на высоком месте, чтобы было

видно издалека, установите знамя! Да прикрепите его покрепче, чтоб не оторвало ветром.

Минут через двадцать Егоров и Кантария вернулись.

— В чем дело?— гневно спросил их полковник.

— Там темно, у нас нет фонарика, мы не нашли выход на крышу,— смущенно подавленным голосом ответил Егоров.

Полковник Зинченко с минуту молчал. Потом заговорил тихо, с нажимом на каждый слог:

— Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил Советского Союза от имени Коммунистической партии, нашей социалистической Родины и всего советского народа приказало вам водрузить Знамя Победы над Берлином. Этот исторический момент наступил... а вы... не нашли выход на крышу!

Полковник Зинченко резко повернулся ко мне:

— Товарищ комбат, обеспечьте водружение Знамени Победы над рейхстагом!

Я приказал лейтенанту Бересту:

— Пойдешь вместе с разведчиками и на фронтоне, над парадным подъездом, привяжи знамя, чтобы его было видно с площади и из «дома Гиммлера». Про себя же подумал: «Пусть любуются им тыловики и высокое начальство».

Мне в ту пору было только двадцать два года, и я не понимал политического значения установления знамени. Главным считал — взять рейхстаг, а кто будет привязывать на его крыше знамя, дескать, не важно.

Берест, Егоров и Кантария направились к лестнице, ведущей на верхние этажи, им расчищали путь автоматчики из роты Сьянова. И почти сразу же откуда-то сверху послышались стрельба и грохот разрывов гранат, но через минуту или две все стихло...

Прошло с полчаса. Берест и разведчики все не возвращались. Мы с нетерпением ожидали их внизу, в вестибюле.

Минуты тянулись медленно. Но вот наконец... На лестнице послышались шаги, ровные, спокойные и тяжелые. Так ходил только Берест

Алексей Прокопьевич доложил:

— Знамя Победы установили на бронзовой конной скульптуре на фронтоне главного подъезда. Привязали ремнями. Не оторвется. Простоит сотни лет.

В том далеком 45-м году я не мог предположить, что пройдут годы, в литературе, в том числе даже в исторической, будут писать: «30 апреля 1945 года Егоров и Кантария водрузили над рейхстагом в Берлине Знамя Победы! Слава им и троекратное «ура»!» Сейчас, на старости лет, я задаюсь вопросом: «А не велика ли честь для двух человек? Заслуга-то принадлежит солдатам, сержантам и офицерам трех батальонов! А не двум разведчикам!» Тогда же я об этом не думал.

Полковник Зинченко, его заместитель по политической части подполковник

Ефимов, капитан Кондрашов, Егоров и Кантария ушли на КП полка в «дом Гиммлера». В рейхстаге за старшего командира остался я.

После ухода командира полка я еще раз прошел по ротам. Напряжение и усталость валили с ног. Хотел было часок поспать, но в это время за стенами рейхстага — у южного входа, у арки и на Королевской площади — раздался гром... Фашисты обрушили ураганный огонь. Рейхстаг затрясло... Отдыхающие бойцы во всех ротах были подняты и приведены в боевое состояние. Ждали со стороны противника контратаки, но ее не последовало.

Звоню комбату Давыдову. «Он к телефону подойти не может, находится в бою, отражает контратаку»,— ответил мне дежурный телефонист давыдовского батальона.

«Молодец,— подумал я о Давыдове — настоящий комбат. Видит вперед далеко! Не случайно отказался вводить в здание весь батальон. И вот сейчас чуть ли не в ста метрах от его стен ведет бой за фашистское логово».

Все усиливалась и усиливалась канонада...

По телефону звоню Самсонову — связи нет! Бегу к арке, на ходу в темноте натыкаюсь на какую-то статую, разбил себе сильно левое колено, упал... Очевидно, отвоевался, мелькнула мысль... Но отлежался и с трудом, прихрамывая, вышел из рейхстага, решил лично выяснить обстановку на левом фланге. У стен рейхстага шел бой...

Комбат Самсонов сам поднял батальон в атаку, дошло до рукопашной. Все перемешалось: наши и немцы, стрельба и крики...

Вернулся в рейхстаг. Левый фланг батальона усилил еще одним станковым пулеметом и подтянул резервный взвод. Нервы напряжены до предела и, наверное, не у одного меня. Каждый с тревогой думал: чем же это все кончится? Чего ожидать?

Прошел примерно час, стрельба стихла. Старшина Сандул восстановил связь с Самсоновым. Звоню, прошу телефониста позвать комбата.

— Костя! Живой?

— Живой,— ответил Самсонов.

От него узнал, что помог отбить фашистскую контратаку 525-й стрелковый полк 171-й дивизии (он наступал левее самсоновского батальона) и сейчас полк зацепился у стен рейхстага.

Разговор по телефону с Давыдовым был также успокаивающим.

После двух или трех часов ночи на 1 мая через парадный подъезд в цитадель фашизма стали входить все новые и новые подразделения. Шли пехотинцы, артиллеристы, танкисты почти из всех частей 79-го стрелкового корпуса. И всем, понятно, хотелось водрузить свой флаг над рейхстагом.

Я считал, что для обороны здания и отражения возможных контратак нужно оставить здесь один полк или боеспособный батальон. Доложил по телефону свои соображения полковнику Зинченко. Не прошло и часа, как, очевидно, по приказу командира корпуса из рейхстага были выведены все подразделения, кроме моего батальона.

Наступило утро.

Зал оказался огромным, наполовину заставленным стеллажами с папками бумаг. Наверное, это был архив.

Командир хозвзвода лейтенант Власкин и повара доставили в рейхстаг завтрак.

— Праздничный завтрак,— весело сказал лейтенант.

Только тут я вспомнил, что сегодня 1 Мая. Настроение у всех стало приподнятое. Мы в рейхстаге. Сегодня праздник! Старший лейтенант Гусев выделил восемь человек во главе с рядовым Новиковым, чтобы они ознакомились со зданием и составили его схему. Новиков еще до войны работал на стройке прорабом, в чертежах разбирался.

Разведчики выполнили задание и хотели уже возвращаться в штаб батальона, когда в стене первого этажа обнаружили дверь. Открыв ее, увидели широкую мраморную лестницу с массивными чугунными перилами. Осторожно стали спускаться. Первым шел Новиков, он освещал дорогу карманным фонариком.

Кругом стояла мертвая тишина, в ней гулко отдавался стук солдатских сапог. Миновав несколько лестничных площадок и проникнув глубоко в подземелье, бойцы очутились в большом зале с железобетонным полом и такими же стенами. Не успели они пройти и десяти шагов, как застрочил пулемет. Пятерых разведчиков убило, трое успели скрыться за поворотом лестничной площадки. Новиков чудом остался жив. С двумя солдатами, еле переводя дух, он прибежал в штаб батальона и рассказал о происшедшем.

Требовалось немедленно собрать данные о противнике. В одной из комнат рейхстага еще с вечера находились взятые в плен гитлеровцы. Мы не смогли отправить их в тыл, так как не имели времени и лишних людей для сопровождения. Ко мне привели обер-лейтенанта. Гитлеровец сообщил, что подземелье большое и сложное, со всевозможными лабиринтами, туннелями и переходами и в нем размещены основные силы гарнизона, более тысячи человек, во главе с генерал-лейтенантом от инфантерии — комендантом рейхстага. В складах большие запасы продовольствия, боеприпасов и воды.

Возможно, обер-лейтенант сильно преувеличивал, но, если верить ему, противник обладал серьезным численным превосходством. Наши силы были в несколько раз меньше. Однако совершенно ясно было одно: в подвал пока не забираться, держать оборону наверху, в зале, контролировать все коридоры и блокировать подземелье. Я отдал распоряжение...

За рейхстагом стали чаще рваться снаряды, мины. Потом стрельба переросла в сплошной гул артиллерийской канонады. Рейхстаг содрогался, как будто его непрерывно трясли...

Позвонил командир полка. Я доложил обстановку и просил его подавить вражеские батареи в парке Тиргартен, так как своих поддерживающих артиллерийских средств было недостаточно, а также доставить в батальон побольше боеприпасов.

Огонь артиллерии врага продолжался. Вскоре фашисты перешли в контратаку на подразделения 674-го и 380-го стрелковых полков, оборонявшихся на внешней стороне здания.

Вдруг где-то в глубинах рейхстага раздался взрыв. За ним второй, третий. Контратака!

— К бою! Огонь! — послышалась команда.

Застрочили наши пулеметы и автоматы. Рейхстаг заполнился трескотней очередей. Гусев бросился к телефону, чтобы доложить в штаб полка о контратаке, но связь прервалась.

— Восстановить любой ценой! — крикнул я и побежал в зал, к ротам.

В помещении все чаще рвались фаустпатроны. Но едва фашисты показывались в коридорах, бойцы открывали огонь, и те, оставляя убитых, отступали в подвалы.

За стенами здания не умолкала канонада — шел бой...

Там ценою больших потерь фашистам удалось подойти близко к Кроль-опере. Это здание находилось от нас справа, в тылу. Таким образом, мы были отрезаны от штаба полка, блокированы, но тогда еще не знали, что в течение суток никто не сможет к нам пробиться.

Часам к одиннадцати дня гитлеровцы снова пошли на прорыв. Они стремились, невзирая ни на что, вырваться из подземелья. В трех-четырех местах им удалось потеснить нас, и в эту брешь на первый этаж хлынули солдаты и офицеры противника.

От разрывов фаустпатронов возникли пожары, которые быстро слились в сплошную огневую завесу. Горели деревянная обшивка, стены, покрытые масляной краской, роскошные сафьяновые кресла и диваны, ковры, стулья. Возник пожар и в зале, где стояли десятки стеллажей с архивами. Огонь, словно смерч, подхватывал и пожирал все на своем пути. Уже через полчаса пожар бушевал почти на всем первом этаже.

Кругом дым, дым, дым... Он колыхался в воздухе черными волнами, обволакивал непроницаемой пеленой залы, коридоры, комнаты. На людях тлела одежда, обгорали волосы, брови, было трудно дышать.

Фашистскому гарнизону терять было нечего — они шли напролом, решив любой ценой выбить нас из рейхстага.

Мы сдерживали их напор и делали отчаянные попытки потушить пожар. Огонь охватил уже второй этаж. Батальон оказался в исключительно тяжелом положении. Связи с соседними подразделениями у нас не было. Что с батальонами Давыдова и Самсонова, я не знал. В это время восстановили связь, позвонил командир полка и с тревогой спросил: «Что у тебя делается?.. Я вижу, что через купол и все окна валит густой черный дым». Я ответил, что бушует сильный пожар. Горит все — даже люди... Полковник приказал оставить рейхстаг, а когда кончится пожар, снова атаковать и восстановить положение. Выполняя приказ, я сделал безуспешную попытку мелкими группами вывести людей из здания. Фашисты близко подошли к Кроль-опере и открыли ураганный огонь по парадному подъезду. Батальон оказался в «мешке» — с фронта надвигается пламя пожара, а выход закрыт!

Принимаю твердое решение — лучше сгореть в огне или погибнуть в бою, чем покинуть рейхстаг, который достался такой дорогой ценой. Мне приходилось десятки раз перебегать из одной роты в другую, из одного взвода в другой. Обстановка обязывала быть там, где наиболее угрожающее положение. Мне казалось, что вот-вот упаду. Лицо и руки покрылись ожогами. Но люди смотрели на меня. Я обязан был выстоять!

До позднего вечера 1 мая в горящем рейхстаге шел бой. Только в ночь на 2 мая нам удалось ротой под командованием капитана Ярунова обойти и атаковать фашистов с тыла. Гитлеровцы не выдержали удара и скрылись в подземелье. Но положение наше оставалось тяжелым. Люди были крайне изнурены. На многих болтались обгоревшие лохмотья. У большинства солдат руки и лица покрылись ожогами. Ко всему прочему нас мучила жажда, кончались боеприпасы...

И вдруг противник прекратил огонь. Мы насторожились.

Вскоре из-за угла лестницы, ведущей в подземелье, фашисты высунули белый флаг. Какое-то мгновенье мы смотрели на него, не веря своим глазам.

Я вызвал рядового Прыгунова, знавшего немецкий язык, и сказал ему:

— Пойдешь и выяснишь, что значит этот флаг.

Мучительно долго тянулись минуты. Укрывшись за колоннами и статуями, мы ждали возвращения Прыгунова. Некоторые считали, что он исчез навсегда, другие верили, что вернется.

Прыгунов вернулся. Притом с важным известием: фашисты предлагают начать переговоры. Стрельба прекратилась с обеих сторон. В здании наступила такая тишина, что малейший стук эхом отдавался в дальних углах. Гитлеровцы ставили условие, что станут вести переговоры только с генералом или по меньшей мере с полковником.

Генерал Шатилов, полковник Зинченко... Мог ли я просить их прибыть для этого в рейхстаг, когда каждый метр Ко-

ролевской площади простреливался из района Кроль-оперы...

Я искал выход из положения и кое-что придумал.

— Кузьма, вызови сюда Береста.

Манера свободно, с достоинством держаться и богатырский рост всегда придавали лейтенанту Бересту внушительный вид.

Оглядев еще раз с ног до головы нашего замполита, я подумал, что он вполне сойдет за полковника. Стоит лишь заменить лейтенантские погоны.

— Никогда не приходилось быть дипломатом? — спросил я его.

— На сцене? — задал он встречный вопрос, не понимая, о чем пойдет речь.

— На сей раз придется тебе быть дипломатом в жизни, да к тому же еще стать на время полковником — так сказать, комплекция позволяет.

Алексей Прокопьевич очень удивился. Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая объяснений.

Я открыл ему свой замысел.

— Раз надо, я готов идти,— ответил Берест.

Лейтенант не заставил себя долго ждать. Мигом достал из полевой сумки маленькое зеркальце, приготовил бритву, кисточку, вылил из фляги последние капли воды и через несколько минут доложил, что к переговорам готов.

— Ну как, пойдет? — повернулся он к нам.

Мы с Гусевым критическим взглядом окинули Алексея Прокопьевича.

— Брюки бы надо заменить — рваные, но ничего, война, после заменим,— пошутил Гусев.

— А вот шинель следует поменять сейчас. Фуражку возьмешь у капитана Матвеева,— подсказал я.

Шинель он сбросил, надел трофейную кожаную куртку.

— Теперь, кажется, придраться не к чему,— похлопывая Береста по плечу, заключил я и напомнил, что задача состоит в том, чтобы заставить гитлеровцев безоговорочно сложить оружие.

Наша делегация для переговоров состояла из трех человек: Берест — в роли полковника, я — его адъютант и Прыгунов — переводчик.

Во время боя на мне поверх кителя была надета телогрейка. Она сильно обгорела, из дыр торчали клочья ваты. Но под телогрейкой сохранился почти новый, с капитанскими погонами китель. На груди пять орденов. По внешнему виду я оказался для роли адъютанта вполне подходящим.

Можно было бы свой китель надеть на другого человека и послать его с Берестом. Но это шло уже против моей совести. Люди назовут меня трусом, а это страшно, когда подчиненные не видят в своем командире смелого и решительного человека. Сейчас, через десятки лет, скажу откровенно — идти на переговоры мне было страшно, но другого выхода не было...

Ф. М. Зинченко в книге «Герои штурма рейхстага» пишет: «...Командование гарнизона рейхстага обращается к нам с предложением немедленно начать переговоры... С советской стороны делегацию должен возглавлять офицер только в чине не ниже полковника, поскольку у них в подвале есть генерал... Пригласили лейтенанта Береста, детально проинструктировали, предложили побриться, переодеться в форму полковника...» (Это еще раз подтверждает, что полковника Зинченко в рейхстаге не было, он находился в штабе полка, т. е. в «доме Гиммлера», иначе зачем бы лейтенанта переодевать полковником?)

Когда мы ступили на лестничную площадку, навстречу нам вышел немецкий офицер. Приложив руку к головному убору, он коротко, но вежливо указал, куда следовало идти.

Не проронив ни слова, мы не спеша спустились вниз и попали в слабо освещенную, похожую на каземат комнату. Здесь уже находились два офицера и переводчик — представители командования немецкого гарнизона. За их спинами проходила оборона. На нас были направлены дула пулеметов и автоматов. По спине пробежал мороз. Немцы смотрели на нас враждебно. В помещении установилась мертвая тишина.

Лейтенант Берест, нарушив молчание, решительно заявил:

— Все выходы из подземелья блокированы. Вы окружены. При попытке прорваться наверх каждый из вас будет уничтожен. Чтобы избежать напрасных жертв, предлагаю сложить оружие, при этом гарантирую жизнь всем вашим офицерам и солдатам. Вы будете отправлены в наш тыл.

Встретивший нас офицер на ломаном русском заговорил:

— Немецкое командование не против капитуляции, но при условии, что вы отведете своих солдат с огневых позиций. Они возбуждены боем и могут устроить над нами самосуд. Мы поднимемся наверх, проверим, выполнено ли предъявленное условие, и только после этого гарнизон рейхстага выйдет, чтобы сдаться в плен.

Наш «полковник» категорически отверг предложение фашистов. Он продолжал настаивать на своем.

— У вас нет другого выхода. Если не сложите оружие — все до единого будете уничтожены. Сдадитесь в плен — мы гарантируем вам жизнь,— повторил Берест.

Снова наступило молчание. Первым его нарушил гитлеровец:

— Ваши требования я доложу коменданту. Ответ дадим через двадцать минут.

— Если в указанное время вы не вывесите белый флаг, начнем штурм,— заявил Берест.

И мы покинули подземелье. Легко сказать сейчас: покинули подземелье... А тогда пулеметы и автоматы смотрели в наши спины. Услышишь за спиной какой-то стук, даже шорох, и кажется, что вот-вот прозвучит очередь.

Дорога казалась очень длинной. А ее следовало пройти ровным, спокойным шагом. Нужно отдать должное Алексею Прокопьевичу Бересту. Он шел неторопливо, высоко подняв голову. Мы с Ваней Прыгуновым сопровождали своего «полковника».

Переговоры закончились в 4 часа утра. Берест, я и Прыгунов благополучно вернулись к своим.

Прошло двадцать минут, час, полтора... Белый флаг не вывешивался. Стало ясно, что гитлеровцы затягивают время и все еще надеются на что-то...

Но время работало на тех, кто штурмовал рейхстаг. К центру Берлина непрерывно подтягивались советские войска, подавляя сопротивление последних групп противника. Немецкое командование вынуждено было снять свою артиллерию из парка Тиргартен и перевести в другой район. Уцелевшие фашистские батареи покинули свои позиции, обстрел территории, прилегающей к рейхстагу, почти прекратился. Соседние части снова выбили немцев от Кроль-оперы — сообщение из рейхстага с нашими тылами было восстановлено.

Между тем гитлеровцы все еще не дали ответа на наше предложение, и не чувствовалось, что они готовятся к сдаче в плен. В шестом часу утра 2 мая начали подготовку к атаке подземелья.

В ротах царило всеобщее возбуждение. Кто-то сказал:

— А что если в подземелье сам Гитлер?

— Гитлер? Сейчас пойдем и посмотрим,— шутили в ответ.

Мы понимали, что идут последние часы войны. Всем хотелось дожить до победы. Но каждый знал: впереди бой, и кто-то будет убит...

Уже в последний момент, когда я собирался подать команду: «Вперед!», гитлеровцы выбросили белый флаг.

В седьмом часу утра из подвалов потянулись группы пленных солдат и офицеров, человек сто — сто двадцать. Бледные, с угрюмыми лицами, они медленно шагали, понурив головы. По количеству пленных можно было сделать вывод, что гарнизон рейхстага не имел и тысячи человек. Возможно, часть гитлеровцев вышла через депутатский вход, о котором мы узнали только после боев, и укрылась в развалинах за рейхстагом, но это могли быть только одиночки. Я твердо убежден, что гарнизон рейхстага насчитывал примерно столько же людей, что и мой батальон.

Уточнить численность гарнизона, нумерацию частей и подразделений после боев не удалось. Пленных из рейхстага я отправил через Королевскую площадь в «дом Гиммлера», где находились наши работники контрразведки СМЕРШ. Конвоиров было десять человек во главе с сержантом; к сожалению, его фамилии я не помню. При возвращении он доложил, что пленных в штаб полка не доставил. Перед «домом Гиммлера» вели большую колонну гитлеровских войск, и какой-то незнакомый полковник приказал ему присоединить пленных к его колонне. Таким образом, следы фашистов из рейхстага бесследно затерялись. Только по немецким архивам наши историки могут восстановить истину и точную численность оборонявшихся.

Донесение

За последние десятилетия мне много довелось читать мемуарной литературы, написанной рядовыми участниками войны, офицерами, командующими армиями и фронтами. В беседах с бывшими фронтовиками слышал сотни рассказов об их подвигах.

Бесспорно, победа над гитлеровской Германией историческая, подвиг народа бессмертен!

Но почему-то почти каждый участник войны считает, что он испытал самую жестокую участь, около него больше всех пролетало вражеских пуль, разрывалось снарядов и мин, он шел в атаку впереди... ОН играл самую главную роль.

А командиры и командующие стараются показать свое подразделение или соединение и себя лично лучше других.

С этих позиций генерал Шатилов написал донесение о бое за рейхстаг командиру 79-го стрелкового корпуса генералу Переверткину.

«Командиру 79 стрелкового корпуса. Доношу обстоятельства и краткое описание хода боя 150 СД по овладению рейхстагом.

Бою за овладение рейхстагом предшествовали тяжелые бои по овладению мостом Мольтке через р. Шпрее и ближайшими кварталами на южном берегу р. Шпрее.

В течение 29.04.45 г. 756 стрелковый полк, захватив мост через р. Шпрее, сумел переправиться полностью на южный берег и очистить квартал от противника восточнее дороги, идущей от моста.

В 21.00 29 апреля 1945 года мною было принято решение о вводе в бой 674 сп...

К 9.00 30.04.45 г. здание министерства внутренних дел в тяжелом бою обходом с востока было очищено от противника и части, стремительно продвигаясь в юго-восточном направлении, вышли в район непосредственной близости западного и южного фасадов рейхстага.

Подтянув артиллерию, минометы, танки, самоходные орудия, после короткой массированной артиллерийской обработки атаковали позиции противника у здания рейхстага 1/756 сп — командир батальона капитан Неустроев и 1/674 сп — командир батальона капитан Давыдов. Комендантом рейхстага в 15.00 был назначен капитан Неустроев, а в 1.00 1

мая — полковник Зинченко, который до сих пор выполняет эту должность, находясь в рейхстаге.

Группа смельчаков 756 сп водрузила знамя в первом этаже в юго-восточной части рейхстага в 13.45 30 апреля 1945 года (флаг армии № 5). 674 сп в 14—25 30.04.45 г. в северной части западного фасада (флаг полка).

Очистка рейхстага от противника в основном закончена к 22—00 30.04.45 г.

Вывод:

1. Рейхстаг был взят 1/674 и 1/756 стрелковыми полками и очищен полностью 675 и 756 сп.

2. Трофеи при взятии рейхстага: захвачено в плен 1650 человек, из них 2 генерала и 16 офицеров, захвачено 34 орудия разных калибров, 4 танка, 1400 автоматов и винтовок, 8 складов с различным военным имуществом. Автомашин до 1000 штук. Уничтожено 2500 солдат и офицеров, 6 автомашин, из них 2 груженые фаустпатронами, до 70 пулеметов, 10 орудий разного калибра.

Приложение: боевые донесения 674 и 756 сп.

Командир 150 стрелковой дивизии
генерал-майор ШАТИЛОВ
Начштадив полковник ДЬЯЧКОВ».

Федору Матвеевичу Зинченко об этом донесении было известно еще в мае 1945 г., и он, работая над своей книгой, перед соблазном не устоял, рассудив примерно так: генерал Шатилов написал донесение, которое утвердилось в народе и вошло в историю, издал свои мемуары большими тиражами во многих центральных издательствах, его книги читали многие и многие миллионы советских людей. Шатилов стал популярнейшим писателем, под его выше указанное донесение и под его книги стали подстраиваться журналисты, мемуаристы, даже кое-кто из историков. Моему уважаемому командиру полка, видимо, особенно польстили слова из донесения генерала: «...а в 1—00 1-го мая полковник Зинченко (был назначен комендантом.— С. Н.), который до сих пор выполняет эту должность, находясь в рейхстаге». Трудно было удержаться командиру полка от таких сладких слов, и Федор Матвеевич покривил душой: «...мое место там, в боевых порядках 1-го батальона, ведущего бой в рейхстаге. Здесь в «доме Гиммлера» мне делать уже просто нечего...» И он «переместил» в рейхстаг не только штаб полка, но и в полном составе полковой медицинский пункт во главе со старшим врачом полка капитаном медицинской службы Богдановым и тылы полка с заместителем командира полка по снабжению майором Чапайкиным.

В 1960 году я впервые познакомился с донесением генерала Шатилова и, нужно признаться, к моему стыду, тоже ухватился за почет: «комендантом рейхстага в 15—00 был назначен капитан Неустроев...» И кое-где сам стал писать: «Я — первый комендант рейхстага». Какой позор!

Под старость лет нужно признаться, что я не был комендантом рейхстага — ни первым, ни последним. Я был просто комбатом.

Потери противника и наши трофеи в донесении командира дивизии сильно преувеличены. Маршал Жуков в книге «Воспоминания и размышления» пишет: «... Район рейхстага обороняли отборные эсэсовские части общей численностью около шести тысяч человек...»

На шеститысячную группировку противника, о которой пишет маршал Жуков, наступала не только 150-я дивизия, а в полном составе 79-й стрелковый корпус генерала Переверткина (это 150-я, 171-я, 207-я дивизии). Кроме того, здесь вели боевые действия передовые части 5-й Ударной армии генерал-полковника Н. Э. Берзарина и 8-й Гвардейской армии генерал-полковника В. И. Чуйкова. Именно вышеперечисленные части и соединения нанесли противнику те потери, взяли в плен и захватили трофеи, которые В. М. Шатилов приписывает только своей 150-й дивизии.

Василия Митрофановича Шатилова как бывшего командира 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии я глубоко уважаю. Смел. Талантлив. Горжусь, что мне посчастливилось служить под его началом. Но как «писатель» он вызывает огорчение, скажу более, возмущение. Его донесение и мемуары засорили головы советским читателям.

Коренная переработка глав о штурме рейхстага требуется и в книгах Ф. Лисицына, Я. Макаренко, М. Сбойчакова, М. Мержанова и многих других авторов.

Донесение, о котором идет речь, к сожалению, отразилось даже в книге маршала Жукова.

Мне неизвестно, кто готовил материал о штурме рейхстага для маршала Жукова в книгу «Воспоминания и размышления». Но нужно отметить, что этот работник не разобрался в сути дела, а взял и переписал всевозможные вымыслы.

Например: «... В 14 часов 25 минут батальон старшего лейтенанта К. Я. Самсонова и батальон капитана С. А. Неустроева 171 стрелковой дивизии, батальон майора В. И. Давыдова 150 стрелковой дивизии ворвался в здание рейхстага». Но я в 171-й стрелковой дивизии никогда не служил!

... «18 часов был повторен штурм рейхстага». Невольно напрашивается вопрос: зачем в 18 часов был повторен штурм рейхстага, если в 14 часов 25 минут в рейхстаг ворвалось три батальона?

Я внимательно читал книгу маршала Жукова, особенно страницы, где идет описание последнего берлинского боя. На странице 628 написано: «...гарнизон противника в рейхстаге численностью более 1000 человек не сдавался, шел ожесточенный бой внутри здания». А на странице 629 говорится: «...К концу дня 1 мая гитлеровские части общим числом около 1500 человек, не выдержав борьбы, сдались, только отдельные группы фашистов, засевшие в разных отсеках подвалов рейхстага, продолжали сопротивляться до утра 2-го мая». Как так? Гарнизон противника в рейхстаге более 1000 человек, из них 1500 сдались в плен, да еще отдельные группы засели в подвалах! Где же тут логика?

Отгремели бои. Советские солдаты, поздравляя друг друга с победой, обнимались, целовались, качали своих командиров, у многих на глазах были слезы, слезы великой радости.

Я построил батальон. Сильно поредели его ряды. Многие с повязками, пропитанными кровью. Закопченные, грязные, в порванной одежде. Но в глазах этих людей светилось большое человеческое счастье.

В рейхстаг, как в редкостный музей, непрерывно прибывали представители всех родов войск. Здесь побывало командование нашей дивизии, 79-го корпуса, 3-й Ударной армии, 1-го Белорусского фронта. Приехал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (я первый раз видел его так близко). С ним член Военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Федорович Телегин.

Об этом событии бывший военный корреспондент газеты «Правда» Яков Иванович Макаренко в своей книге «Белые флаги над Берлином», выпущенной издательством Министерства обороны в 1983 году, на стр 226—227 допустил вымысел: «Третьего мая рейхстаг посетил командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Вместе с ним прибыли комендант Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин, член Военного совета фронта К. Ф. Телегин, член Военного совета 5-й Ударной армии Ф. Е. Боков. Встречал в рейхстаге маршала и его спутников капитан Степан Неустроев. Мне посчастливилось быть в этот день в рейхстаге, и я оказался свидетелем этого визита. Г. К. Жуков, широко улыбаясь, внимательно прочитал многие надписи на стенах и колоннах рейхстага и удивился, взглянув на потолок: как только воины ухитрились написать свои фамилии над самым карнизом!

Обратившись к Неустроеву и показав на стены рейхстага, маршал спросил: «Ваш батальон, конечно, в центре?». Капитан Неустроев смутился, но ответил бойко: «Никак нет, товарищ маршал. Не успели. Пока тушили пожар в рейхстаге, сюда забегали из разных частей расписываться. Нам не хватило места!»

Георгий Константинович улыбнулся и сказал: «Ну, это не беда. Свои имена вы и без того вписали в историю на веки вечные!..»

Читать мне приятно, что сам Жуков говорил со мной! Но этого не было. Мы с полковником Зинченко сделали попытку доложить Жукову о взятии рейхстага, но нас до маршала не допустила его личная охрана...

В Москву

После войны, в июне сорок пятого, командование и политотдел 3-й Ударной армии мне, Съянову, Егорову, Кантарии и Самсонову поручили доставить Знамя Победы в Москву.

20 июня 1945 года мы в сопровождении начальника политотдела 150-й дивизии подполковника Артюхова приехали в штаб 79-го стрелкового корпуса, где нас встретил начальник политотдела корпуса полковник Крылов. Проверяя боевую характеристику Знамени Победы, полковник развернул знамя и помрачнел. На чистом до того поле появилась надпись:

«150 стр. ордена
Кутузова II ст.
Идрицк. див.»

Крылов пристальным взглядом, в упор посмотрел на Артюхова и спросил: «Кто вам дал право писать это?» И он ткнул пальцем в цифру 150. Артюхов понял, что самовольные действия командования дивизии надо как-то оправдать, и предложил Крылову не смывать и не стирать надпись, а добавить: «79 стр. корпус, 3 Ударная армия, 1 Белорусский фронт». Но места на знамени осталось мало, поэтому написали сокращенно: «79 ск, 3 уа, 1 Бф». Когда Крылов увидел на знамени цифру 79, он остался доволен. И конфликт был улажен.

В этот же день, 20 июня, нашу группу со Знаменем Победы с Берлинского аэродрома проводил в Москву начальник политотдела 3-й Ударной армии полковник Лисицын.

Я первый раз в жизни летел самолетом, и мне было страшно. Самолет продвигался какими-то рывками, часто проваливаясь в воздушные ямы. Ну, думал я, не убило на фронте, где сотни раз ходил в атаку, а вот здесь, очевидно, пришел конец. Но долетели благополучно.

Самолет немного пробежал и остановился, замолчали двигатели. Кто-то из членов экипажа открыл дверцу, и я увидел, что перед трапом стоит строй войск. Только потом понял, что это почетный караул встречает знамя. Церемония встречи для меня прошла словно в каком-то угаре. Команды. Музыка. Военный марш. Корреспонденты, фоторепортеры. Машины и машины. Я пришел в себя только тогда, когда нашу группу какие-то офицеры и корреспонденты специальным автобусом доставили в Ворошиловские казармы, где уже целый месяц готовились сводные полки всех фронтов к Параду Победы.

Вечером 22 июня нас одели в новую, первую послевоенную парадную форму.

Утро 23 июня. Генеральная репетиция

Парада. Сводные полки фронтов во главе со знаменитыми полководцами стоят в четком строю. Командует парадом маршал Рокоссовский. Принимает — Жуков.

Музыка заиграла военный марш, забили барабаны.. Содрогнулся воздух. Казалось, весь мир, все люди Земли видят непобедимую силу моей Отчизны!

Я шел впереди, высоко неся Знамя Победы. Шел, как мне казалось, четким строевым шагом. Прошел мимо трибун, где было высшее командование во главе с маршалом Жуковым, но бетонная дорожка центрального аэродрома все не кончалась. Где остановиться или повернуть, мне никто не сказал. Иду и чеканю шаг, особенно левой ногой: правая на фронте была перебита, болела, и ею ступал осторожно. Ассистенты — Егоров, Кантария, Съянов — идут за мной (Самсонов в генеральной репетиции не участвовал). Двигаться ли дальше — сомневаюсь, остановиться — боюсь. Руки больше не держат древко — окостенели, ломит поясницу. Ступня левой ноги горит огнем, правая нога не шагает, а волочится по дороге. Решил остановится. Посмотрел назад — и кровь ударила в голову: от Карельского сводного полка слишком далеко оторвался.

Не успел я еще осознать происшедшего, как по боковой дорожке подъезжает ко мне какой-то полковник и передает:

— Маршал Жуков приказал знамя завтра на парад не выставлять. Вам, товарищ капитан, надлежит сейчас же на моей машине отправиться в Музей Вооруженных Сил и передать туда знамя на вечное хранение. Пропуск на Красную площадь получите в Ворошиловских казармах. Парад будете смотреть в качестве гостя...

Конституционные идеи Андрея Сахарова

КОНСТИТУЦИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ЕВРОПЫ И АЗИИ

ПРОЕКТ А. Д. САХАРОВА

Смерть Андрея Дмитриевича Сахарова прервала его работу над проектом Конституции СССР (по его предложению — «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии»). Этот проект был уже многократно опубликован — впрочем, обычно скромными тиражами и в двух заметно разнящихся версиях, без каких-либо пояснений.*

Мы предлагаем читателям часть материалов из этой книги: проект конституции, статью Леонида Михайловича Баткина, воспоминания Елены Георгиевны Боннэр. Очень важно, чтобы сахаровский проект не воспринимался как всего лишь символ, надгробье замечательному человеку, как повод еще раз печально и молча снять шляпу. В высшей степени необходимо развернуть комментирование, обдумывание, дискуссию, практическую работу с текстом А. Д. Сахарова, — добиваясь, чтобы сахаровская Конституция участвовала в борьбе за демократию в нашей стране и стала, если судьба России сложится хорошо, частью этой судьбы, первым наброском ее Основного Закона.

Мы приглашаем читателей высказаться о содержании и реальной значимости проекта Сахарова для подготовки новой советской Конституции, с тем, чтобы опубликовать затем обзор читательской почты по этому поводу.

1. Союз Советских Республик Европы и Азии (сокращенно — Европейско-Азиатский Союз, Советский Союз) — добровольное объединение суверенных республик (государств) Европы и Азии.

2. Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии — счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения.

3. Европейско-Азиатский Союз опирается в своем развитии на нравственные и культурные традиции Европы и Азии и всего человечества, всех рас и народов.

4. Союз в лице его органов власти и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, социального и политического развития во всем мире. Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства.

5. Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан и государства является

* Полностью книга, в которой сахаровская Конституция впервые не только воспроизводится, но и сопровождается приложениями, помогающими понять ее политический, исторический, биографический контекст, главное же — с комментариями, которые открывают серьезное обсуждение политического завещания Сахарова, выходит в издательстве «Московский рабочий».

обеспечение социальных, экономических и гражданских прав личности. Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей, интересам общества в целом. Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами Союза и республик и принципами Всеобщей Декларации прав человека ООН. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН и Конституция Союза, имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик.

6. Конституция Союза гарантирует гражданские права человека — свободу убеждений, свободу слова и информационного обмена, свободу религии, свободу ассоциаций, митингов и демонстраций, свободу эмиграции и возвращения в свою страну, свободу передвижения, выбора места проживания, работы и учебы в пределах страны, неприкосновенность жилища, свободу от произвольного ареста и не обоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации. Никто не может быть подвергнут уголовному или административному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.

Конституция гарантирует отделение церкви от государства и невмешательство государства во внутрицерковную жизнь.

7. В основе политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости.

8. Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению. На территории Союза в мирное время запрещена смертная казнь.

Запрещены медицинские и психологические опыты над людьми без согласия испытуемых.

9. Принцип презумпции невиновности является основополагающим при судебном рассмотрении любых обвинений каждого гражданина. Никто не может быть лишен какого-либо звания и членства в какой-либо организации или публично объявлен виновным в совершении преступления до вступления в законную силу приговора суда.

10. На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах оплаты труда и трудоустройства, поступления в учебные заведения и получения образования по признакам национальности, религиозных и политических убеждений, а также (при отсутствии прямых противопоказаний, оговоренных в законе) по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

На территории Союза запрещена дискриминация в вопросах предоставления жилья, медицинской помощи и других социальных вопросах по признакам пола, национальности, религиозных и политических убеждений, возраста и состояния здоровья, наличия в прошлом судимости.

11. Никто не должен жить в нищете. Пенсии по старости для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсии для инвалидов войны, труда и детства не могут быть ниже прожиточного уровня. Пособия и другие виды социальной помощи должны гарантировать уровень жизни всех членов общества не ниже прожиточного минимума. Медицинское обслуживание граждан и система образования строятся на основе принципов социальной справедливости, доступности минимально-достаточного медицинского обслуживания (бесплатного и платного), отдыха и образования для каждого вне зависимости от имущественного положения, места проживания и работы.

Вместе с тем должны существовать платные системы повышенного типа медицинского обслуживания и конкурсные системы образования.

12. Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и мессианизма. Вооруженные Силы строятся в соответствии с принципом оборонительной достаточности.

13. Союз подтверждает принципиальный отказ от применения первым ядерного оружия. Ядерное оружие любого типа и назначения может быть применено лишь с санкции Главнокомандующего Вооруженными Силами страны при наличии достоверных данных об умышленном применении ядерного оружия противником и при исчерпании иных способов разрешения конфликта. Главнокомандующий имеет право отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке, в частности уничтожить находящиеся в полете запущенные по ошибке межконтинентальные ракеты и другие средства ядерной атаки.

Ядерное оружие является лишь средством предотвращения ядерного нападения противника. Долгосрочной целью политики Союза являются полная ликвидация и запрещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, при условии равновесия в обычных вооружениях, при разрешении региональных конфликтов и при общем смягчении всех факторов, вызывающих недоверие и напряженность.

14. В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная и дезинформационная деятельность запрещается. Государственные службы Союза участвуют в международной борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками.

15. Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение.

16. Вступление республики в Союз Советских Республик Европы и Азии осуществляется на основе Союзного договора в соответствии с волей населения республики по решению высшего законодательного органа республики.

Дополнительные условия вхождения в Союз данной республики оформляются Специальным протоколом в соответствии с волей населения республики. Никаких других национально-территориальных единиц, кроме республик, Конституция Союза не предусматривает, но республика может быть разделена на отдельные административно-экономические районы.

Решение о вхождении республики в Союз принимается на Учредительном Съезде Союза или на Съезде народных депутатов Союза.

17. Республика имеет право выхода из Союза. Решение о выходе республики из Союза должно быть принято высшим законодательным органом республики в соответствии с референдумом на территории республики не ранее, чем через год после вступления республики в Союз.

18. Республика может быть исключена из Союза. Исключение республики из Союза осуществляется решением Съезда народных депутатов Союза большинством не менее $^{2}/_{3}$ голосов, в соответствии с волей населения Союза, не ранее чем через три года после вступления республики в Союз.

19. Входящие в Союз республики принимают Конституцию Союза в качестве Основного закона, действующего на территории республики, наряду с Конституциями республик. Республики передают Центральному Правительству осуществление основных задач внешней политики и обороны страны. На всей территории Союза действует единая денежная система. Республики передают в ведение Центрального Правительства транспорт и связь союзного значения. Кроме перечисленных, общих для всех республик условий вхождения в Союз, отдельные республики могут передать Центральному Правительству другие функции, а также полностью или частично объединять органы управления с другими республиками. Эти дополнительные условия членства в Союзе данной республики должны быть зафиксированы в протоколе к Союзному договору и основываться на референдуме на территории республики.

Наряду с гражданством Союза республика может устанавливать гражданство республики.

20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на Вооруженные Силы, которые формируются на основе Союзного закона. В соответствии со Специальным протоколом республика может иметь республиканские Вооруженные Силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики. Республиканские Вооруженные Силы и подразделения входят в Союзные Вооруженные Силы и подчиняются единому командованию. Все снабжение Вооруженных Сил вооружением, обмундированием и продовольствием осуществляется централизованно на средства союзного бюджета.

21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой. В этом случае республиканские денежные знаки обязательны к приему повсеместно на территории республики. Союзные денежные знаки обязательны во всех учреждениях союзного подчинения и допускаются во всех остальных учреждениях. Только Центральный банк Союза имеет право выпуска и аннулирования союзных и республиканских денежных знаков.

22. Республика, если противное не оговорено в Специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью. Все решения, относящиеся к хозяйственной деятельности и строительству, за исключением деятельности и строительства, имеющих отношение к функциям, переданным Центральному Правительству, принимаются соответствующими органами республики. Никакое строительство союзного значения не может быть предпринято без решения республиканских органов управления. Все налоги и другие денежные поступления от предприятий и населения на территории республики поступают в бюджет республики. Из этого бюджета для поддержания функций, переданных Центральному Правительству, в союзный бюджет вносится сумма, определяемая бюджетным Комитетом Союза на условиях, указанных в специальном протоколе.

Остальная часть денежных поступлений в бюджет находится в полном распоряжении Правительства республики.

Республика обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами. Таможенные правила являются общесоюзными.

23. Республика имеет собственную, не зависимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, министерство внутренних дел, пенитенциарная система, прокуратура, судебная система). Приговоры по уголовным делам могут быть отменены в порядке помилования Президентом Союза. На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения их Верховным законодательным органом республики и республиканские законы.

24. На территории республики государственным является язык национальности, указанной в наименовании республики. Если в наименовании республики указаны две или более национальности, то в республике действуют два или более государственных языка. Во всех республиках Союза официальным языком межреспубликанских отношений яв-

ляется русский язык. Русский язык является равноправным с государственным языком республики во всех учреждениях и предприятиях союзного подчинения. Язык межнационального общения не определяется конституционно. В республике Россия русский язык является одновременно республиканским государственным языком и языком межреспубликанских отношений.

25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики, Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Национально-конституционный процесс начинается с провозглашения независимости всех национально-территориальных структурных частей СССР, образующих суверенные республики (государства). На основе референдума некоторые из этих частей могут объединяться друг с другом. Разделение республики на административно-экономические районы определяется Конституцией республики.

26. Границы между республиками являются незыблемыми первые 10 лет после Учредительного Съезда. В дальнейшем изменение границ между республиками, объединение республик, разделение республик на меньшие части осуществляется в соответствии с волей населения республик и принципом самоопределения наций в ходе мирных переговоров с участием Центрального Правительства.

27. Центральное Правительство Союза располагается в столице (главном городе) Союза. Столица какой-либо республики, в том числе столица России, не может быть одновременно столицей Союза.

28. Центральное Правительство Союза включает:

1) Съезд народных депутатов Союза;
2) Совет Министров Союза;
3) Верховный Суд Союза.

Глава Центрального Правительства Союза — Президент Союза Советских Республик Европы и Азии. Центральное Правительство обладает всей полнотой высшей власти в стране, не разделяя ее с руководящими органами какой-либо партии.

29. Съезд народных депутатов Союза имеет две палаты.

1-я Палата, или Палата Республик (400 депутатов), избирается по территориальному принципу по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей. 2-я Палата, или Палата Национальностей, избирается по национальному признаку. Избиратели каждой национальности, имеющей свой язык, избирают определенное число депутатов, а именно — по одному депутату от 2,0 (полных) миллионов избирателей данной национальности и дополнительно еще два депутата данной национальности. Эта общая квота распределена по укрупненным многомандатным округам. Выборы в обе палаты — всеобщие и прямые на альтернативной основе — сроком на пять лет.

Обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом Съезда, голосуют отдельно. В этом случае для принятия закона или постановления требуется решение обеих палат.

30. Съезд народных депутатов Союза Советских Республик Европы и Азии обладает высшей законодательной властью в стране. Законы Союза, не затрагивающие положений Конституции, принимаются простым большинством голосов от списочного состава каждой из палат и имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения, кроме Конституции.

Законы Союза, затрагивающие положения Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии, а также прочие изменения текста статей Конституции, принимаются при наличии квалифицированного большинства не менее $^{2}/_{3}$ голосов от списочного состава в каждой из палат Съезда. Принятые таким образом решения имеют приоритет по отношению ко всем законодательным актам союзного значения.

31. Съезд обсуждает бюджет и поправки к нему, используя доклад Комитета Съезда по бюджету. Съезд избирает Председателя Совета Министров Союза, министров иностранных дел и обороны и других высших должностных лиц Союза. Съезд назначает Комиссии для выполнения одноразовых поручений, в частности для подготовки законопроектов и рассмотрения конфликтных ситуаций. Съезд назначает постоянные Комитеты для разработки перспективных планов развития страны, для разработки бюджета, для постоянного контроля над работой органов исполнительной власти. Съезд контролирует работу Центрального банка. Только с санкции Съезда возможны несбалансированные эмиссия и изъятие из обращения союзных и республиканских денежных знаков.

32. Съезд избирает из своего состава Президиум. Члены Президиума Съезда председательствуют на Съезде, осуществляют организационные функции по обеспечению работы Съезда, его Комиссий и Комитетов. Члены Президиума не имеют других функций и не занимают никаких руководящих постов в Правительстве Союза и республик и в партиях.

33. Совет Министров Союза включает Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство оборонной промышленности, Министерство финансов, Министерство транспорта союзного значения, Министерство связи союзного значения, а также другие министерства для исполнения функций, переданных Центральному Правительству отдельными республиками в соответствии со Специальными протоколами к

Союзному договору. Совет Министров включает также Комитеты при Совете Министров Союза.

Кандидатуры всех министров, кроме министра иностранных дел и министра обороны, предлагает Председатель Совета Министров и утверждает Съезд. В том же порядке назначаются Председатели Комитетов при Совете Министров.

34. Верховный Суд Союза имеет четыре палаты:

1) Палата по уголовным делам;
2) Палата по гражданским делам;
3) Палата арбитража;
4) Конституционный суд.

Председателей каждой из палат избирает на альтернативной основе Съезд народных депутатов Союза.

В компетенцию Верховного Суда входит рассмотрение проблем и дел союзного и межреспубликанского характера.

35. Президент Союза Советских Республик Европы и Азии избирается сроком на пять лет в ходе прямых всеобщих выборов на альтернативной основе. До выборов каждый кандидат в Президенты называет своего заместителя, который баллотируется одновременно с ним.

Президент не может совмещать свой пост с руководящей должностью в какой-либо партии. Президент может быть отстранен от своей должности в соответствии с референдумом на территории Союза, решение о котором должен принять Съезд народных депутатов Союза большинством не менее 2/3 голосов от списочного состава. Голосование по вопросу о проведении референдума производится по требованию не менее 60 депутатов. В случае смерти Президента, отстранения от должности или невозможности выполнения им обязанностей по болезни и другим причинам его полномочия переходят к заместителю.

36. Президент представляет Союз на международных переговорах и церемониях. Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами Союза. Президент обладает правом законодательной инициативы в отношении союзных законов и правом вето в отношении любых законов и решений Съезда народных депутатов, принятых менее чем 55% от списочного состава депутатов. Съезд может ставить на повторное голосование подвергшийся вето закон, но не более двух раз.

37. Экономическая структура Союза основана на плюралистическом сочетании государственной (республиканской, межреспубликанской и союзной), кооперативной, акционерной и частной (личной) собственности на орудия и средства производства, на все виды промышленной и сельскохозяйственной техники, на производственные помещения, дороги и средства транспорта, на средства связи и информационного обмена, включая средства масс-медиа, и собственности на предметы потребления, включая жилье, а также интеллектуальной собственности, включая авторское и изобретательское право. Государственные предприятия могут быть переданы в срочную или бессрочную аренду коллективам или частным лицам.

38. Земля, ее недра и водные ресурсы являются собственностью республики и проживающих на ее территории наций (народов). Земля может быть непосредственно без посредников передана во владение на неограниченный срок частным лицам, государственным, кооперативным и акционерным организациям с выплатой земельного налога в бюджет республики. Для частных лиц гарантируется право наследования владения землей детьми и близкими родственниками. Находящаяся во владении земля может быть возвращена республике лишь по желанию владельца или при нарушении им правил землепользования, при необходимости использования земли государством по решению законодательного органа республики с выплатой компенсации.

39. Земля может быть продана в собственность частному лицу и трудовому коллективу. Ограничения перепродажи и другие условия пользования землей, являющейся частной собственностью, определяются законом республики.

40. Количество принадлежащей одному лицу частной собственности, изготовленной, приобретенной или унаследованной без нарушения закона, ничем не ограничивается (за исключением земли). Гарантируется неограниченное право наследования являющихся частной собственностью домов и квартир с неограниченным правом поселения в них наследников, а также всех орудий и средств производства, предметов потребления, денежных знаков и акций. Право наследования интеллектуальной собственности определяется законами республики.

41. Каждый имеет право распоряжаться по своему усмотрению своими физическими и интеллектуальными трудовыми способностями.

42. Частные лица, кооперативные, акционерные и государственные предприятия имеют право неограниченного найма работников в соответствии с трудовым законодательством.

43. Использование водных ресурсов, а также других возобновляемых ресурсов государственными, кооперативными, арендными и частными предприятиями и частными лицами облагается налогом в бюджет республики. Использование невозобновляемых ресурсов облагается выплатой в бюджет республики.

44. Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях, пользуются равной и полной самостоятельностью в распределении и использовании своих доходов за вычетом налогов, а также в планировании производства, номенклатуры и сбыта продукции, в снабжении сырьем, заготовками,

полуфабрикатами и комплектующими изделиями, в кадровых вопросах, в тарифных ставках, облагаются едиными налогами, которые не должны превышать в сумме 30 процентов от чистой прибыли, в равной мере несут материальную ответственность за экологические и социальные последствия своей деятельности.

45. Система управления, снабжения и сбыта продукции в промышленности и сельском хозяйстве, за исключением предприятий и учреждений союзного подчинения, строится в интересах непосредственных производителей на основе их органов управления, снабжения и сбыта продукции.

46. Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции. Государственное регулирование экономики осуществляется через экономическую деятельность государственных предприятий и посредством законодательной поддержки принципов рынка, плюралистической конкуренции и социальной справедливости.

Леонид БАТКИН

О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРОЕКТЕ АНДРЕЯ САХАРОВА

В этом проекте поражает — при первом поверхностном знакомстве с ним — уже просто то, что он существует. Не в качестве неких тезисов, соображений по поводу текста будущего документа, но именно в виде самого такого текста: сорок шесть статей Конституции. И это сделал один человек. Вот так понимавший свои обязанности в качестве члена многолюдной комиссии, которая была избрана Первым Съездом народных депутатов СССР для выработки новой советской Конституции. Мы-то успели забыть даже о существовании подобной комиссии...

Действительно, а что же комиссия в целом? Едва ли не наиважнейшая среди всех комитетов и комиссий, созданных Съездом. За полгода она не собралась ни разу. Только после того, как это неслыханно скандальное обстоятельство выплыло на одном из последних заседаний второй сессии Верховного Совета СССР,— Конституционную комиссию тут же поспешно все-таки собрали, и она приняла своеобразное и полезное решение: заняться наконец-то тем делом, для которого предназначена...

Были, впрочем, весьма серьезные причины, по которым наивысшее руководство распорядилось очнуться от конституционного обморока.

Еще на Первом Съезде А. Д. Сахаров настаивал, что строительство дома нельзя начинать с крыши. Немыслимо предаваться законотворческой деятельности наобум, продвигаться шажками от одного закона или постановления к другому, постоянно наталкиваясь на их непроясненную правовую и социальную увязку, взаимозависимость, не установив заранее их систему. Это все равно, что проделывать эксперименты и утверждать что-либо о значении результатов, не располагая какой-либо общей теорией. Физик Сахаров, перенесший в политику свой опыт прагматического соотношения между теорией и практикой, полагал, что необходимо исходить из новой Конституции, из фундаментальной перестройки принципов и норм, касающихся существа нашего общественно-государственного строя. А затем или одновременно, но во всяком случае обладая неким планом целого, принципиальной основой — стремиться к правовой детализации, подкреплению, осуществлению главного, на чем мы договорились бы основать будущую советскую жизнь. Поэтому первое же предложение Сахарова в парламенте было «Декретом о власти»... По его мнению, это главное, что следовало узаконить в первую очередь, ничуть не оказалось бы беспочвенным, надуманным. Ведь главное достаточно проверено мировой и (хотя бы в отрицательном смысле) отечественной историей: всем нашим мучительным, позорным прошлым и настоящим. Подкреплено громадным подъемом после марта 1989 г., тотальным кризисом «реального социализма», назревающей революционой ситуацией.

Официальные оппоненты Сахарова, напротив, считали, что, поскольку жизнь нельзя изменить сразу, «за одну ночь» (с чем, разумеется, соглашался и А. Д.), нужно не исходить из пока невообразимой новой Конституции, а прийти к ней — крайне постепенно и осторожно. Менять законы по частям, по кусочкам, то с одного, то с иного бока. Дабы через серию ограниченных стабилизирующих нововведений выползти из экономической ямы и подготовить население (но пуще всего, конечно, закоснелые правящие партийные верхи, на которые потребна оглядка и оглядка) к будущему конституционному выбору. А уж... какому, собственно, выбору, действительно ли и насколько радикальному,— покажет время. Как-нибудь потом. Сначала пусть улучшится конъюнктура, модернизируется КПСС, укрепится М. С. Горбачев. Неудивительно, что при избранной политической линии (половинчатого реформизма правоцентристского толка) было не до заседаний Конституционной комиссии.

Что ж, время показало! Однако не потом, а сразу же.

Верховный Совет мог воочию убедиться, что принятие любого закона юридически сковывает содержание последующих законов еще до их обсуждения или грозит вступить с ними в противоречие, не говоря уже о том, что всякий важный и желательный для интересов страны разумный закон расходится с негодной от начала до конца конституцией. Депутаты увидели себя в логическом и политическом тупике.

Получилось, что на брежневскую конституцию можно ссылаться, если понадобится: мы-де не должны, приступая к строительству «правового государства», начинать с нарушения пусть мракобесных, но пока ведь не отмененных конституционных положений... И можно — тоже, если это выгодно,— плевать на конституцию, даже на совсем свежие поправки к ней. Например, Верховному Совету предоставлено теперь право принимать и немедленно вводить в действие любые антиконституционные законы, не дожидаясь ближайшего Съезда, где для этого понадобилось бы к тому же 2/3 голосов. А что произойдет, если Съезд разойдется с Верховным Советом, как это уже было? Будут ли люди доверять принятым и действующим, но еще не утвержденным, остающимся под вопросом фундаментальным законам? Сомнительная ситуация: и в правовом, и в политическом плане.

При создании Комитета конституционного надзора с трибуны были даны торжественные заверения, что означенный Комитет постарается никак не оберегать, но всячески способствовать преобразованию ныне действующего Основного Закона. Следовательно, намеревается смотреть сквозь пальцы на его перестроечные нарушения? Или впредь до отмены будет вынужден все же оберегать мертвую, лживую букву? Или станет действовать... по обстоятельствам? Как заявил один из уважаемых депутатов, гарантией правильности действий Комитета по конституционному надзору в конце концов явятся попросту высокие личные достоинства, прогрессивность его членов. Это, что и говорить, замечательная гарантия, но, увы, единственная и не правовая ввиду отсутствия, кроме личного правосознания, чего-либо иного, на что члены Комитета могли бы твердо опереться. Думаю, во всей истории человечества, включая даже послереволюционные суды 1918 г., не было юридической инстанции более загадочной, чем этот Комитет, обязанный надзирать за неприкосновенностью практически несуществующей Конституции: после того, как прежний ее текст признан обветшалым клочком бумаги и прежде чем принят новый текст.

Однако несравненно существенней формальной юридической несуразности попыток изменить отношения собственности, политическую систему и пр., сохраняя пока брежневско-сусловский Основной Закон,— разумеется, куда существенней повлияли всемирно-исторические события последних месяцев. Происшедший с ошеломляющей быстротой крах «соцлагеря», коммунистических партий и режимов Восточной Европы. Возмущение в СССР статьей 6 Конституции, общенародные требования парламентской многопартийности. Необходимость спасения советской экономики. И, наконец, открыто обозначившийся развал национально-государственного устройства, побудивший М. С. Горбачева заявить в Литве, что «мы еще не жили в федерации». А что это значит? Да то, что само название «СССР» — фальшивая этикетка, нет никакого «союза республик», нет республик как «суверенных социалистических государств», как неизвестно, впрочем, содержание слова «социалистические».

Короче говоря, все подтвердило абсолютную необходимость начинать перестройку спустя пять лет заново: с корней системы, с ликвидации партократии, с отделения государства от экономики. Начинать не с крыши, а с фундамента. То есть в политико-правовом плане опять-таки с Конституции.

Вот почему пришлось вдруг уточнить и пообещать, что страна получит новую Конституцию уже в 1990 году. Сахаров, в мае — июне 1989 г. в очередной раз опередивший события, снова оказался прав! Причем прав с точки зрения самой что ни на есть реалистической политики. Разумеется, никто не признал публично, что власти в очередной раз запоздали и ошиблись. Но бог с ним. Дело теперь не в этом.

Дело в том, чтобы при разработке еще одной советской Конституции — на сей раз, будем надеяться, рассчитанной на долгие исторические сроки,— опереться на проект, завещанный Андреем Дмитриевичем. Тщательно его обдумать и посчитаться с ним всерьез.

Припомним кое-какие факты: настолько элементарные, что их легко забыть. Сахаровская концепция нераздельной связи между правами человека и миром на земле, между выживанием человечества и открытостью каждого отдельного общества — в течение 20 лет считалась в СССР в лучшем случае (когда травля Сахарова только начиналась) прекраснодушными, «наивными» рассуждениями, далекими от политических реальностей. Теперь это объявлено у нас государственным курсом и названо «новым мышлением». Сахаровские требования прекращения советской агрессии в Афганистане или, скажем, восстановления государственности крымских татар, или обеспечения свободного выезда граждан и возвращения в СССР и т. д.— не только лет десять, но еще и три-четыре года то-

му назад даже сочувствующими, либерально настроенными людьми воспринимались как трудноосуществимые или вовсе несбыточные. Сейчас эти и многие подобные требования сбылись, или кажутся близкими к осуществлению, или, во всяком случае, что называется, «поставлены в порядок дня самой жизнью». Они рассматриваются правительством, мелькают в газетах, звучат банально.

Так, может быть, и сахаровские конституционные идеи — не отвлеченные фантазии, не благие пожелания, не просто «вдохновляющее знамя», **а базовый рабочий документ**?

Предварительно критически изучив его, а затем имев честь провести с Андреем Дмитриевичем несколько часов в обсуждении статьи за статьей, фразы за фразой, я пришел к убеждению, что дело обстоит именно так. Проект Сахарова ответственен, конструктивен и чрезвычайно практически важен.

Конечно, он не совсем закончен. В нем, возможно, найдутся смысловые или стилистические шероховатости. Вроде того, что Президент назван «главой Центрального правительства», хотя в понятие последнего включены независимые от Президента Союзный Съезд депутатов и Верховный Суд (ст. 28).

Недостает некоторых разделов, например, о порядке проведения выборов, о способе разрешения возможных конфликтов между двумя законодательными палатами, о более конкретном механизме и сроках наложения и преодоления президентского вето (ст. 36), о характере контроля Съезда над Центральным банком и степени независимости последнего, за исключением вопроса об эмиссии денег (ст. 31). Далее: в какие сроки и как проводят сессии Съезда? Может ли Президент и при каких обстоятельствах распустить Съезд и назначить досрочные выборы? Есть ли у двух палат постоянные спикеры (председатели)? Каков состав, численность и способ работы Президиума Съезда, ежели он вообще нужен? (ст. 32). Не предусмотреть ли конституционно условия введения чрезвычайного положения и статус президентского правления в районах стихийных бедствий или конфликтов? Почему квалифицированное большинство для снятия президентского вето — именно 55% (ст. 36)?

Недостаточны разделы об армии. Ничего о местном самоуправлении. Слишком мало о судоустройстве и ничего о судопроизводстве (ст. 9, 23, 34). Не узаконена полная независимость судебной власти. Не раскрыты статус и полномочия Конституционного суда.

Наверно, и другие стороны, формулировки сахаровского проекта вызовут вопросы, предложения, потребность в детализации. А иные подтолкнут к принципиальным возражениям, спорам. Это естественно и неизбежно.

Андрей Дмитриевич продолжал работу над текстом Конституции буквально до последнего часа жизни. Однако незаконченность проекта — относительная и касается, на мой взгляд, лишь сравнительно второстепенных подробностей. Особенно процедурных и протокольных (впрочем, в Конституции и «второстепенное» существенно). Вместе с тем А. Д. Сахаров в основном успел завершить проект и оставил нам тем самым свое представление об оптимальном будущем страны.

В послесловии хотелось бы:

1) Высказать кое-какие соображения по поводу парадоксальности самой задачи составления Конституции для пока не существующего общества, слишком не похожего на нынешнее. Интересны под этим углом зрения некоторые выразительные штрихи сахаровского текста, в котором словно бы совмещены сиюминутные, ближайшие — и бесконечно отдаленные, потенциальные исторические планы. Две реальности: настоящего и будущего.

2) Соответственно учесть, каким образом конституционный проект А. Д. Сахарова связан с совершенно конкретным положением советского и восточноевропейских обществ осенью 1989 г. и в не меньшей степени соразмерен масштабным итогам XX века в целом; сплав специфического местного политического контекста — и контекста всемирно-исторического. Локальность и глобализм.

3) Коротко отметить структуру и сквозные идеи сахаровской Конституции.

4) Дать минимальные текстологические пояснения. Проект публиковался в двух версиях. Надо обосновать, почему данную здесь версию следует считать более зрелой, каковы мотивы изменений, внесенных А. Д. Сахаровым в первоначальный вариант. Для этого мне поневоле придется самому вспоминать и свидетельствовать. В этом есть какая-то неловкость; но, с другой стороны, любые сведения о том, как Андрей Дмитриевич работал над Конституцией, представляют общий интерес, особенно если они способствовали бы лучшему пониманию текста. С последнего начну, касаясь перечисленных пунктов в произвольной последовательности.

За полночь с 21-го на 22 ноября 1989 г., без четверти час, меня поднял с постели звонок Андрея Дмитриевича. Надо сказать, что впервые А. Д. позвонил так поздно. И как всегда без пустых вводных, «вежливых» фраз, сразу начал так: «Здравствуйте! Как вы оцениваете положение в Межрегиональной группе? Состояние страны перед Съездом? Вообще — что сейчас, по-вашему, происходит?» Голос очень свежий, быстрый, пожалуй, даже непривычно приподнятый.

Я опешил. Как, очевидно, и каждый бы на моем месте, застигнутый посреди ночи такими вопросами... Сон мгновенно слетел. Проговорил в ответ несколько минут. Тогда Сахаров сказал: «Я подготовил проект Конституции. Не могли бы вы познакомиться с ним и сделать свои замечания?» Значит, это и была

настоящая причина ночного звонка! «Разумеется, Андрей Дмитриевич. Но насколько срочно? У меня командировка через три дня и еще не готов доклад». Он твердо: «Завтра утром пришлю вам текст с шофером. А встретимся послезавтра». Стало ясно, что Сахаров придавал особую важность скорейшему завершению работы над проектом. Поэтому вышеприведенный разговор кажется заслуживающим упоминания.

Полученный мною на следующее утро текст (на 11 страниц машинописи, 45 статей) был — абсолютно слово в слово! — тем самым, который 22 декабря появится в журнале «Новое время» (№ 52, с. 26—28), набранный посмертно с рукописи. Итак, перепечатав этот начальный текст (назову его вариантом «А»), Сахаров стал знакомить с ним, по-видимому, некий круг лиц и вносить поправки, дорабатывать. 23 ноября мне довелось, явившись к Андрею Дмитриевичу домой ровно к 15.00, пробыть у него до 19.30. Подавляющая часть этой беседы наедине была отдана разбору проекта Конституции.

Припоминаю только два отвлечения в сторону. В одном случае А. Д. с большой живостью заговорил о том, что, собственно, означает понятие «эксплуатации» в «Капитале» Маркса в связи с прибавочной стоимостью и насколько возрастает рациональный смысл этого понятия, если таковой вообще имеется, применительно к советскому государственному экономическому производству. В другом случае я попросил разъяснить, каким образом и при каких условиях — с организационно-технической точки зрения — можно уничтожить находящиеся в полете межконтинентальные ракеты по сигналу с пульта управления. (Между прочим, редакция фразы «Главнокомандующий **имеет право** отменить ядерную атаку, предпринятую по ошибке», явно содержит оговорку. Надо бы: «Главнокомандующий **обязан** отменить» и т. д.; А. Д. Сахаров с этим, само собой, согласился, но прежняя формулировка все-таки сохранилась и в последнем варианте, конечно, по недосмотру.)

Андрей Дмитриевич, лежа на тахте в своей любимой позе, на боку, подперев голову левой рукой, правой делал пометки. Кое-что — главным образом, по части сугубо редакционных уточнений — тут же менял без колебаний и комментариев. Некоторые предложения отклонял столь же определенно, но обычно не вступая в спор, обдумывая про себя и молча явно не соглашаясь (ниже укажу несколько таких моментов, весьма интересных). Наконец, некоторые темы, не нашедшие, с точки зрения А. Д., достаточно убедительного и ясного решения, повисали в воздухе, откладывались для дальнейшего обдумывания. Таких трудных тем оставалось, пожалуй, немало.

В единственной прижизненной и, следовательно, авторизованной публикации проекта («Комсомольская правда», орган ЦК комсомола Литвы, Вильнюс, 12 декабря 1989 г.), затем воспроизведенной в «Горизонте», ленинградских «Смене» и «Звезде», в «Позиции» и др.— с незначительными, мельчайшими разночтениями — присутствуют все поправки, внесенные А. Д. Сахаровым 23 ноября. Хорошо помню мотивы и соображения, лежавшие в основе новых формулировок. В существе проекта эти поправки, впрочем, ничего не затрагивали. Назову этот текст, которому суждено было стать последним и наиболее аутентичным вариантом «Б». За час до смерти Сахаров попросил Елену Георгиевну вписать две поправки, однако именно в вариант «А», который, следовательно, по-прежнему был в работе, под рукой. Одну из этих поправок Елена Георгиевна запомнила: выбросить из ст. 36 фразу «Президиум Съезда обладает правом помилования». Между прочим, об этой фразе упоминалось также в беседе 23 ноября. И в варианте «Б» ее уже нет! Мне неизвестно, существовала ли беловая машинопись «Б» или А. Д. просто передал в Прибалтику с В. Пальмом вариант «А» со вставками. Продолжая возвращаться мысленно к своему проекту даже в горячке заседаний Съезда, работая по памяти урывками, Андрей Дмитриевич, очевидно, использовал ту машинопись, которая оказывалась под рукой; что-то из уже исправленного ранее мог и повторить.

Поскольку мне превосходно памятна логика всей совокупности и каждого из исправлений, которые А. Д. счел нужным внести в вариант «А», не возникает ни малейших сомнений в том, что наиболее подвинутый этап работы выразился в варианте «Б».

Вот разночтения между ними. (Нумерация статей ниже по варианту «Б».)

Ст. 1 — Ранее значилось: «Союз... республик — объединение... республик». Чтобы избежать тавтологии и подчеркнуть уровень суверенности, лучше бы написать, что союз республик есть объединение суверенных государств. А. Д. поэтому вписал слово «государств» в скобках, как альтернативный вариант, не отдав ему окончательного предпочтения.

Ст. 2 — Было: «и его органов власти». Упоминание об «органах власти» опущено, т. к. их «цель» вторична, более специфична, подчинена и несоразмерна «цели народа».

Ст. 6 — Добавлена последняя фраза: об отделении церкви от государства и невмешательстве государства во внутрицерковную жизнь.

Ст. 8 — Добавлен абзац о запрещении медицинских и психологических опытов над людьми «без согласия испытуемых». Может быть, следовало бы продолжить так: «предупрежденных о возможных последствиях таких опытов»? Ведь добровольность, как мы убедились недавно при сеансах телегипноза, бывает следствием невежества, легкомыслия, любопытства.

Ст. 9 — Вместо «публично обвинен в совершении преступления»— «публично

объявлен виновным». Дело в том, что нельзя запретить, скажем, прессе или любым гражданам публично обвинить кого-либо, будь то лицо или организация. (Разумеется, остается правом обвиненного вчинить иск об оскорблении чести и достоинства.) Однако «объявить виновным», то есть вынести решение по предъявленному обвинению, может, разумеется, только суд. Смысл поправки — отличить возведение кем-либо обвинения от законного вердикта. Может быть, лучше было бы вместо «объявлен виновным» — «признан виновным»?

Ст. 10 — Поскольку в ст. 10 и 11 варианта «А» шла речь о запрете тех или иных видов дискриминации граждан в отношении их социальных прав и возможностей, было резонно объединить обе статьи в одну.

Ст. 11 — В последнем абзаце опущены заключительные слова («обеспечивающие...» и т. д.), содержавшие само собой разумеющиеся и тавтологичные утверждения.

Ст. 13 — Добавление относительно факторов, которые в будущем сделали бы возможными «полную ликвидацию и запрещение» всех видов оружия массового поражения.

Ст. 14 — В варианте «А» «запрещалась» «поддержка» терроризма, наркобизнеса, контрабанды «и других незаконных действий», то есть получалось, что запрещены... нарушения закона, притом тягчайшие. Негативная форма, в которой была выражена эта мысль, и явно избыточный (алогичный) запрет на нарушение запретов побудили придать этой части статьи иной, положительный и конструктивный смысл.

Ст. 18 — Ее текст полностью присутствовал и в варианте «А», но был соединен с текстом статьи 17. Ввиду необычности и важности положения о возможности исключения республики из Союза показалось целесообразным обозначить это в отдельной статье.

Ст. 21 — Добавлен последний абзац о возможном установлении, наряду с гражданством Союза, гражданства республики.

Ст. 22 — Добавлена последняя фраза: «Таможенные правила являются общесоюзными». Это логично и необходимо ввиду отсутствия каких-либо межреспубликанских таможен.

Ст. 23 — Из варианта «А» выброшена вторая фраза, т. е. любые решения Верховных судов республик кассации не подлежат. Это последняя инстанция, что более последовательно отвечает государственному суверенитету членов Советского Союза. Что до гуманного права помилования, то оно, согласно варианту «Б», предоставлено на всесоюзном уровне **только** Президенту Союза, избранному всеми народами страны в ходе прямых всеобщих выборов (см. ст. 35), но не Президиуму, который избирается косвенно, Съездом (см. ст. 32).

Ст. 25 — Произведены существенные изменения. Прежде всего опущено все, что касается разделения Республики Россия на четыре «экономических района». Основания были следующие: 1) Экономические районы с необходимостью должны быть административно-экономическими, т. е., по существу, автономными частями республики; 2) Указанное деление на именно четыре района — спорно; на огромной территории России их может быть и больше; 3) Главное же — подобное деление (или отказ от него) должно быть всецело во внутренней компетенции самой России, а не предопределяться союзной Конституцией. Сходные решения могут быть приняты и другими республиками (например, Украиной). С другой стороны, в момент конституирования нового Союза нельзя исключить и, напротив, добровольного (на основе референдумов) объединения тех или иных ныне существующих в момент перезаключения Союзного договора национально-государственных частей Советского Союза. Отсюда — новая, более гибкая формулировка настоящей статьи.

Ст. 29 — Изменены цифры, определяющие количество депутатов в обеих палатах. Первоначально А. Д. Сахаров предполагал 750 — 1000 членов Палаты Республик. Но это все же непомерно большая численность, которая затруднила бы работу слишком громоздкого законодательного собрания; в парламентах других крупнейших демократических стран депутатов существенно меньше; это подтверждает и скромный опыт работы нашего нынешнего Верховного Совета. Поэтому А. Д. исправил 1000 на 400, повысив тем самым не только работоспособность Палаты, но и значимость каждого мандата. Той же цели достигает укрупнение представительства в Палате Национальностей.

Ст. 31 — Если, согласно варианту «А», Съезд лишь **«утверждал»** кандидатуры «Председателя Совета Министров», а также министров иностранных дел и обороны, предложенные Президентом (ср. ст. 36), а остальных министров предлагал Председатель Совета Министров, Съезд же опять-таки их только «утверждал» (см. ст. 31, 33),— то, согласно уточненному варианту «Б», Сахаров предлагает, чтобы Съезд **«избирал»** всех высших должностных лиц страны, начиная с Председателя Совета Министров. Это повышает значение должности премьера, делая его независимым от Президента и упрочивая систему баланса и противовесов при разделении властей. Это одновременно укрепляет прерогативы Съезда. В прежней версии премьер играл бы роль высшего чиновника при Президенте; причем без такого Председателя остальные министры способны были бы, в сущности, превосходно обойтись, поскольку председательствовать в их совете мог бы сам Президент. (Ср. тот способ организации высшей исполнительной власти, который принят в США. При новой же версии использован опыт Франции).

Ст. 32 — Выброшена фраза о праве помилования Президиума Съезда (см. о поправке к ст. 23).

Ст. 33 — Ср. комментарий к изменениям в ст. 31.

Ст. 34— Если республики обладают столь высокой степенью суверенности, а их Верховные суды, в частности, являются последней инстанцией по всем внутриреспубликанским уголовным и гражданским делам (см. комментарий к ст. 23), то какова же в таком случае роль Верховного суда Советского Союза? Эта роль определяется введенным в вариант «Б» последним абзацем настоящей статьи.

Ст. 36— Добавлена последняя фраза, несколько (но, по-моему, недостаточно) уточняющая процедуру снятия президентского вето. Понижен уровень квалифицированного большинства, при котором Президент лишается права накладывать вето на решения Съезда — с $^2/_3$ до (непонятных мне) 55% от списочного состава.

Ст. 37— Вставлено упоминание о «межреспубликанской собственности» помимо всех прочих форм собственности. В конце статьи введен пункт о передаче государственных предприятий в аренду.

Ст. 38— В первой фразе, гласящей, что земля и пр. является собственностью республики и проживающих на ее территории наций, появилось после слова «наций» в скобках «(народов)». Это означает, что под «нациями (народами)» следует понимать всех жителей (граждан) республики? Наверно, так.

Ст. 39— Целиком введена заново. Будучи сторонником допущения частной собственности также и на землю, А. Д. Сахаров согласился с целесообразностью ввести ограничения, которые исключили бы возможность неограниченной перепродажи земли, спекуляции земельными участками или отказа от обработки и т. д. То есть частная собственность на землю должна быть регулируема законами республики.

Ст. 40— Этими же соображениями продиктована вставка в скобках: «(за исключением земли)». Подразумевается установление законами каждой из входящих в Союз республик **максимальных размеров** земли, находящейся в собственности одного лица или круга лиц, связанных близкими родственными (или, может быть, даже клановыми?) отношениями. Таким образом, исключается возникновение крупных частных землевладений (латифундий). И спекуляция землей, и чрезмерная концентрация ее в одних руках могут быть предотвращены при помощи законов: о минимальных сроках, отделяющих акты перепродажи земли, переход ее из одних рук в другие; о налогах на покупку и продажу или дарение земли; или о прогрессивном налоге в зависимости от размеров земельных владений; или прямым ограничением размеров частной земельной собственности.

Ст. 44 — Поправка отражает колебания А. Д. Сахарова в отношении оптимальной нормы налога с фактической прибыли предприятий с любой формой собственности.

Итак, в новом варианте Проекта включены изменения в двадцать три статьи из 45 статей первоначального текста; еще две статьи слиты вместе, а одна — разбита на две; введена новая статья. Всего разночтений двадцать шесть. (Здесь не отмечено лишь одно, чисто редакционное, в ст. 30). Уточнения носят в целом системный характер. Они направлены на усиление суверенитета республик, на придание политической системе большей устойчивости и работоспособности, а экономической системе — большей разносторонности и гибкости.

Почему Андрей Дмитриевич так торопился тогда, в конце ноября, еще раз обсудить, отработать текст документа и потратил на это, в частности, при своей фантастической загруженности, несколько часов 23 ноября,— мне стало понятно до конца лишь недавно, из рассказа Елены Георгиевны. Дело в том, что на 27 ноября было назначено то самое первое заседание Конституционной комиссии под председательством М. С. Горбачева. Хотя и с опозданием почти на полгода. К заседанию подготовился, во всяком случае, один из членов комиссии...

27 ноября 1989 года Андрей Дмитриевич положил перед Горбачевым проект будущей Конституции Советского Союза.

Новая страна должна носить новое имя. Сахаров удачно воспользовался известной формулой Ленина, писавшего о Союзе республик Европы и Азии. Но смысл формулы разительно изменился. Ленин после победы в гражданской войне ждал разворота мировой революции от Европы до Индии и Китая. Советский Союз казался ему — как, впрочем, и всем большевикам — первым отвоеванным у «буржуа́зии» плацдармом такой революции, к которой будут затем присоединяться все новые и новые страны, так что Россия, запалившая мировой пожар, окажется в конце концов довольно скромной частью гигантского сообщества, которое включило бы и самые многочисленные народы Востока, и гораздо более передовые, чем Россия, западноевропейские нации.

Вместо революционаристского пафоса старой ленинской формулы понятие «Европейско-Азиатского Союза» подразумевает, помимо очевидного геополитического факта, идею синтеза «нравственных и культурных традиций Европы и Азии». Сахаров также добавляет: «...и всего человечества, всех рас и народов» (ст. 3)! В ст. 2 целью народа «Союза Советских республик Европы и Азии» провозглашены «благосостояние, мир и безопасность **для всех людей на Земле»** (выделено здесь и далее мной.— Л. Б.). Причем в ст. 12 особо подчеркнуто, что «Союз не имеет никаких целей экспансии, агрессии и **мессианизма».**

Таким образом, наша страна никогда

больше не будет претендовать на некую особую ведущую роль спасительницы и благодетельницы остального мира. Политический или «духовный» (идеологический) мессианизм **любого толка** (большевистского, православно-шовинистического, исламско-фундаменталистского и т. д.) запрещен конституционно. Никто, следовательно, не должен опасаться, что советское государство вновь станет кому-либо навязывать свои идейные представления и образ жизни.

«Земля» с заглавной буквы, «Земля в целом» упоминается в проекте Сахарова и вторично, в ст. 4. «Глобальные цели выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями». Еще ни в одном государстве мира эта мысль не была записана в Конституцию! Конечно, теперь она получила широчайшее международное признание, она едва ли не тривиальна, но вряд ли кто-либо способствовал этому в такой степени, как сам Сахаров. «Приоритет» общечеловеческого А. Д. толковал **позитивно**: как **необходимость во имя выживания — «гармонизации** экономического, социального и политического развития во всем мире». А «гармонизация» могла означать лишь одно — то, что Сахаров еще 20 лет тому назад назвал «конвергенцией», ту идею, которую он сам считал наиважнейшей и самой дорогой для себя...

Признаться, я предложил Андрею Дмитриевичу убрать из текста ст. 4 стоящее в скобках слово «конвергенция», потому что, во-первых, смысл его развернуто описан фразой в целом («встречное плюралистическое сближение социалистической и капиталистической систем»). Во-вторых, иностранный термин звучит чуждо и непонятно для большинства советских граждан; в-третьих, вокруг него накручено слишком много идеологических кривотолков. Наконец, казалось бы, в Конституции незачем упоминать о «капиталистической и социалистической системах». Можно по-разному понимать, что такое «капитализм» и «социализм»; особенно последнее понятие после 72-х лет звучит для большинства людей вряд ли утешительно и уж никак не вразумительно. Скорее, это каббалистический знак или просто жупел. Вообще «общественный строй» — не правовое определение. Над его реальным содержанием изо дня в день трудится крот истории. Его неизбежное, постоянное изменение — не что иное, как естественноисторический процесс. Конституция может и должна фиксировать лишь то, что поддается юридической фиксации: гражданские, государственные, судебные и прочие **формы**, институты, процедуры, которые имеют нормативный характер для всех жителей страны. Безотносительно к «общественному строю», т. е. к подвижному и конкретному экономическому, политическому, культурному наполнению этих форм, что зависит уже от обстоятельств, традиций, исторической борьбы в **рамках конституции**. Закон не сводится к «отражению» интересов тех или иных групп, но сплачивает их в гражданское общество, защищает интересы каждой группы от каждой из других групп. Короче, создает формализованное, нейтральное поле **общежития**, на котором вечно сталкивающиеся живые интересы людей уравновешиваются, приводятся к компромиссу, разумно ограничиваются надличным и надгрупповым законом. С этой точки зрения стоит ли упоминать, скажем, о «социалистической системе»? Конституция должна лишь обеспечивать гражданам ненасильственную **возможность** сделать «систему» такой или иной, устраивать социальные отношения по своему вкусу, как угодно, не нарушая закона.

Однако Андрей Дмитриевич, внимательно слушая, твердо остался при своем. Видимо, он считал, что «встречное плюралистическое сближение» недостаточно выражает сложнейший процесс парадоксального преобразования, отнюдь не гладкого взаимопроникновения отдельных элементов каждой из систем в другую систему, их смешения и слияния «в долгосрочной перспективе». Сахаров был убежден, что, начавшись пусть с самого скромного сотрудничества («сближения»), в конце концов когда-нибудь на Земле возникнет — при всем локальном разнообразии — **одна** наиболее эффективная и безопасная «система»... и ее трудно будет счесть «капиталистической» или «социалистической». Слово «конвергенция» многозначно определяло **весь** этот процесс, долгий и неотложный, включающий и сиюминутные малые политические шаги, и всечеловеческое будущее. «Конвергенция» для А. Д. Сахарова вмещает альфу и омегу, микро- и макроуровни «выживания».

Что до терминов «социалистическая» и т. п., то А. Д. мало интересовался их теоретическим значением. Сахаров был, мне придется подчеркивать это еще и еще раз, реалистом и прагматиком. Что ни говори, две совершенно разные общественные системы и военно-политические блоки впрямь **существуют**. И, очевидно, их глубокое различие еще долго будет накладывать отпечаток на мировое сообщество, тая в себе гибельную угрозу. Поэтому почему бы не воспользоваться общепринятыми этикетками? Ведь все знают, к чему они относятся.

Надо добавить, что сахаровская «конвергенция» противостоит также хрущевско-брежневскому «соревнованию двух систем», пусть даже «мирному». Двух, стало быть, тождественных себе и непроницаемых друг для друга, неизменных и борющихся «лагерей» (правда, благоразумно «сотрудничающих», но по правилам все той же экономической, идеологической, пропагандистской, разве что только не военной борьбы). Конституция А. Д. Сахарова радикально отказывается и, более того, запрещает это привычное, тупое противостояние «капиталистической системе» как угрожающее человечеству... и нашему, нашему собственному выживанию!

А пока эта конституционная и нравственная норма не укоренилась, пока обе «системы» опасаются друг друга и держат наготове ядерное оружие, Сахаров считает обязательным впервые в мировой практике **ввести в Конституцию** не только принцип «оборонительной достаточности» (ст. 12), но и пространную статью 13, где речь идет о принципах и правилах, сводящих к минимуму угрозу применения ядерного оружия.

Итак, статьи 2, 3, 4, заключительные две фразы статьи 5, а также статьи 12, 13 и заключительная фраза статьи 14 с полнейшей определенностью основывают Конституцию Советского Союза на его принадлежности к мирному мировому человеческому сообществу. Это **первая, исходная идея** проекта.

Из сахаровского глобализма, из принципа всечеловечности с необходимостью вытекает **вторая исходная идея** Конституции. Точнее же — идея **двуедина**. «Человечество», «всечеловеческое» в качестве вездесущей и всегдашней реальности, непосредственной правды и жизненного, практического, повседневного наличия, нуждающегося в правовой защите,— это **индивид**, каждый «вот этот» человек. Это два лика единого приоритета. В сахаровской (но, конечно, не им созданной... а лишь всецело воспринятой умом и сердцем) новоевропейской иерархии ценностей — сначала и выше всего **права отдельного человека**. А уж из них вытекают все остальные права — национальные (как не отчуждаемые от индивида), социально-групповые, вообще коллективные, вплоть до «интересов общества в целом» (как принадлежащие индивиду, а следовательно — и разнохарактерным объединениям индивидов).

Любое коллективное право есть, с одной стороны, **одно из прав индивида** как члена этого коллектива; с другой стороны, коллективное право ограничивает права отдельного человека таковыми же правами другого члена этой группы; наконец, согласовывает права индивидов, принадлежащих к разным группам. Все группы (народности, социальные слои, религии, и т. п.) равны, ибо все принадлежащие к ним индивиды рождаются равными. И всякая национальная, вообще групповая принадлежность есть **часть индивида**, одна из пригодных ему или свободно выбранных им характеристик, потребностей, целей.

Последнее хочется повторить.

При всей кажущейся отвлеченности или, напротив, элементарности этой общеизвестной либеральной идеи надо говорить о ней как можно чаще и вдумчивей. Она, увы, еще не может быть признана плоской. Никакая другая идея не остается до сих пор настолько непривычной, неудобной для отечественного политического климата. Слишком трудно приживается у нас. Мы всегда готовы толковать о «народе», «народности», «интересах народа» или об «интересах нации», если не «общества» или даже «державы». Однако демократическая Конституция должна ставить во главу угла интересы отдельного человека. Принято считать, что каждый человек «принадлежит», скажем, определенной национальности и т. д., есть, следовательно, часть неизмеримо большего, чем он сам. Да, конечно... Однако в **современном** мире в отличие от традиционалистских миров это обстоятельство исторически продуктивно, расширяет горизонты человеческой свободы, получает нравственный и культурный смысл только, разумеется, в связи с понятием индивидуальной личности, ее выбора и решения.

Поэтому европейская либеральная установка переворачивает издревле очевидное представление. В наивысшем (не только культурном, но и социально-практическом и правовом) плане не индивид «принадлежит» национальности, а она принадлежит ему... не он ее часть, а она его часть, насколько личность это ощущает и признает внутренне необходимым для своего самодвижения. Стало быть, отдельный человек неизмеримо больше национального или иных моментов своего индивидуального существования, значительней (и реальней) любой конкретной общности людей, соизмерим лишь с человечеством. При всей неоспоримой обусловленности существования отдельного человека эти общественные признаки, определения, условия имеют, в свою очередь, своим условием и основанием вот эту (всякую) человеческую жизнь. Для сохранения ее свободы и уникальности неравные и непохожие (в отношении природных задатков) индивиды должны пользоваться исходно равными и неотчуждаемыми общественными правами — просто по праву рождения. Двести лет это было либеральным идеалом, пожеланием, принципом. Теперь это стало, если угодно, «технологическим» условием продолжения человеческой истории.

Правам человека в Конституции Сахарова полностью посвящены статьи 5—11, 41, косвенно также 2, 14, 37—40, 42. Причем Андрей Дмитриевич скрупулезно перечисляет и личные свободы, выкованные в западном мире; и социально-экономические права индивида, на которые обычно делался акцент в нашей стране; и права, связанные с распоряжением своей рабочей силой («физическими и интеллектуальными трудовыми способностями»); наконец, права частной собственности и наследования. Существенно упоминание «Всеобщей Декларации прав человека ООН» и «Пактов о правах человека», а также других международных соглашений, подписанных СССР, как «имеющих на территории Союза **прямое действие** и приоритет перед законами Союза и республик» (ст. 5).

Третья сквозная идея проекта А. Д. Сахарова состоит в конституционном обеспечении многопартийной парламентской демократии.

Эта идея нигде не сформулирована в лоб. Но прежде всего есть ст. 7: «В основе **политической**, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы плюрализма и терпимости». Оговорены «свобода слова и информационного обмена», а также **«свобода ассоциаций,** митингов и демонстраций» (ст. 6). Запрещается в какой бы то ни было форме деятельность тайной политической полиции (ст. 14). Исключается подмена государственной власти («всей полнотой», которой обладает законно и демократически избранное правительство), вмешательство в отправление этой «высшей власти в стране» «руководящими органами какой-либо партии» (ст. 28). Иными словами, конституционно запрещены властные постановления или распоряжения в отношении страны со стороны Политбюро, ЦК КПСС, партийного съезда этой или любой другой партии. Провозглашена надпартийность функций Президента. Наконец, всеобщие и прямые выборы в обе палаты Съезда и таковые же выборы Президента на альтернативной основе (ст. 29, 35), а также вся система прерогатив и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей — все это (ст. 28—36) соответствует, несомненно, принципам последовательной демократии: с сильным парламентом и сильным Президентом. Не считая нужным изобретать велосипед, Сахаров охотно принимал во внимание мировой, особенно северо-американский опыт.

Но Андрей Дмитриевич вместе с тем отнюдь не переоценивал значения прецедентов, превосходно понимая, насколько наши современные условия отличны от всего, что было и есть в государствах мира. Эта уникальность СССР требует при создании Конституции — и особенно в деле национально-государственного переустройства — знания отечественных реалий, политического воображения, раскованной и выверенной интеллектуальной изобретательности («просто умных людей», как говаривал Сахаров).

Прежде чем перейти к этой наиболее пространной (статьи 15—26, отчасти и статьи 27, 29, 31, 33, 38, 40, 43), а также и наиболее необычной, сложной и, очевидно, наиболее спорной части конституционной программы А. Д. Сахарова, коснусь эпизода, показывающего, насколько личным было отношение А. Д. к сочиняемому проекту. В единственном, насколько я мог заметить, случае непосредственного текстуального заимствования — из американской «Декларации независимости» 1776 г.— Андрей Дмитриевич не подозревал об этом. Слова эти врезались в память, и он использовал их невольно. Это та самая знаменитая фраза: «Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью...» А в проекте Сахарова: «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье». Андрей Дмитриевич сказал, что, как возразил ему один из читателей проекта, выражение «право на счастье» **лишено юридического смысла.** Поскольку каждый человек понимает «счастье» по-своему. Действительно, вне религиозно-риторического контекста великой американской Декларации, основывавшей все права на «законах природы и ее Творца» «с твердой верой в покровительство Божественного Провидения», в совершенно ином стиле сахаровского проекта те же слова насчет «права на счастье» странно выделялись... в отличие от Декларации, где они совершенно сливались с общим стилистическим потоком. Я тоже в тот момент не подумал о перекличке; в **ином** историко-культурном контексте настоящей переклички не получалось... в такой мере, что и слова были тоже словно бы иными.

А тогда, в разговоре, я очень серьезно согласился с отсутствием юридического смысла и даже предложил, поменяв порядок двух последующих фраз, изложить начало статьи 5 в такой редакции: «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье, **как они его понимают.** Осуществление прав личности не должно противоречить правам других людей. Целью и обязанностью государства...» и т. д. Таким образом, «право на счастье» значило бы право каждого жить по-своему, не мешая другим, то есть выражало бы принцип индивидуального самоосуществления.

Андрей Дмитриевич выслушал и помолчал. Я принялся еще раз толковать формулу «как они его понимают» (или «как его понимает каждый»), ссылаться на Вильгельма фон Гумбольдта и пр. Андрей Дмитриевич смущенно улыбнулся и пояснил проще: «Хотелось, чтоб были какие-то высокие слова...»

На том и кончили. А. Д. оставил статью 5 без изменений. «Юридически бессодержательное» понятие счастья дано в проекте даже дважды. Более того, с этого он начинается.

Статья 2: «Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии — счастливая, полная смысла жизнь...» «Высокие слова» нужны были Сахарову в этом тексте не из сентиментальных побуждений. У политической Конституции должна быть надполитическая, всечеловеческая, гуманистическая цель. Если «счастье» — это «полная смысла жизнь», то смысловая полнота каждого индивидуального существования есть не что иное, как **культура**.

Основной замысел национально-государственного устройства (нового Союзного договора, основанного на Конституции) был разработан А. Д. Сахаровым давно и изложен в соавторстве с Г. В. Старовойтовой в программных документах Межрегиональной группы народных

депутатов СССР. Теперь этот замысел получил конкретную юридическую форму.

Какова же **четвертая сквозная идея** проекта?

Во-первых. «Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики, Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических Республик» (ст. 25). Сталинское разделение всех национально-государственных образований в СССР на четыре категории, подчиненные по вертикали высшей из них — союзной республике — как и союзные республики, в свою очередь, подчинены имперскому наднациональному центру,— это неравноправное устройство уничтожается. И новый Союзный договор подписывают все бывшие части СССР в качестве равных республик, независимо от размеров, наличия внешней границы, численности населения. В частности, внутри бывшей РСФСР впервые появляется Республика Россия, отдельно от других бывших автономий бывшей РСФСР.

Никакого «центра» над республиками нет. Но сильные (т. е. суверенные) республики добровольно, по условиям Союзного договора, передают **строго оговоренный минимум** полномочий (компетенции) создаваемому ими Центральному правительству (ст. 23). Весь конституционный процесс преобразования идет снизу вверх. Не центр «расширяет права республик», а они вручают их центру. Передача центру наиболее важных (затрагивающих интересы всех республик) внешнеполитических сношений; организация совместной обороны (армии) и оборонной промышленности; межреспубликанская (всесоюзная) денежная единица и общая часть бюджета, выделяемая республиками из своих бюджетов; транспорт и связь общесоюзного значения. Двухпалатный Съезд, Президент, Совет министров, Верховный суд.

Во-вторых (и тут, пожалуй, изюминка предлагаемой структуры!). Помимо обязательного минимума полномочий, которые республики делегируют избранному и контролируемому ими Центральному правительству, каждая республика также вправе добровольно, по своему усмотрению, дополнительно передать Центру те или иные экономически административные и прочие функции управления.

Республика может заключить Специальный протокол к Союзному договору.

По дополнительному протоколу права республики могут сужаться, но могут и расширяться. Республика, например, **может** располагать и собственными национальными военными формированиями (под общесоюзным командованием), и собственной денежной единицей — но может и не располагать. Дополнительный протокол подписывается каждой вступающей в Союз республикой с Центральным правительством и ратифицируется Съездом) — по существу, он заключается со всеми остальными членами Союза. То есть требуется согласие на дополнительные условия вступления в Союз как вступающей республики, так и Союза.

А это означает, что степень интегрированности той или иной республики в Союз или, если угодно, объем ее **реального** суверенитета неизбежно окажутся **чрезвычайно разнохарактерными,** специфическими. И если связь одних республик с Союзным Целым будет минимальной (например, стран Балтии), то связь других членов Союза с центром практически мало отличалась бы от нынешней. Но любые территориально-экологические, экономические, культурно-языковые интересы каждой республики (например, нынешних национальных округов и малых автономий) были бы надежно оберегаемы дополнительным специальным протоколом, оберегаемы ровно в той мере, в какой сама республика сочла бы это для себя необходимым и посильным.

Ведь государственный суверенитет — не только право, престиж, гордость, символика, но и тяжкая ноша всестороннего самообеспечения, включая финансовые расходы, «свою» бюрократию, квалифицированные кадры и пр. Каждый народ имеет право получить суверенитет в том объеме, который соответствует его действительным возможностям и чаяниям, выявляемым посредством референдума.

Конституция Сахарова предусматривает в этом отношении огромную степень гибкости и многообразия форм включения каждой республики в Союз — и в этом самая сильная сторона проекта. Оговорены и права народностей, не имеющих своих территорий. Будут удовлетворены четыре десятка нынешних автономий, а также те, кто собирается их создать (немцы, крымские татары и др.).

Идет ли речь о федеративном государстве, о «настоящей» федерации (в отличие от мнимой, существующей ныне)? Или Союз, как он обрисован в сахаровской Конституции,— это конфедерация?

Идея сочетания общего Союзного договора и дополнительных специальных протоколов делает этот сакраментальный вопрос излишним.

С одной стороны, будущий Советский Союз может быть лишь конфедерацией! Иначе он распадется, многие республики не пожелают войти в состав такого содружества наций, которое ущемит их государственный суверенитет, так или иначе подчинит Центру, превратит всего лишь в часть пусть и демократизированного федеративного государства. Правомерно пожелают особой и суверенной республики не только балтийские, закавказские народы, Украина или Молдавия, Татария или Карелия, но и, конечно, сами РУССКИЕ. Причем Республика Россия сама решит, не выделить ли ей в своих безмерных пространствах автономные административно-экономические регионы: скажем, Северо-Запад, Централь-

ную Россию, Поволжье, Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток.

С другой стороны, исторически сложившийся общий экономический рынок; реально существующий язык межнационального общения; 60-миллионная миграция между республиками; обилие смешанных браков, абсорбция языков и диалектов (особенно в Белоруссии и на Украине); привычки жизни в какой-никакой, но одной стране без внутренних виз, пошлин и т. п.; отсутствие у многих народов традиций собственной реальной государственности (во всяком случае, иа протяжении последних полутора, трех, а то и пяти и более веков); малочисленность некоторых этносов, нуждающихся не в том, чтобы срочно обзавестись своим министерством иностранных дел или собственной денежной единнцей, но просто в бережном сохранении национально-культурной автономии, традиционного уклада жизни, землепользования или водопользования, чистых экологических ниш и т. д. и т. п.,— все это при непременном условии подлинного самоопределения неизбежно придаст будущему Советскому Союзу много черт действительиой федерации. Даже для крупных суверенных республик в составе Союза «конфедерация», может быть, окажется более тесной (органичной, выгодной), чем обычно подразумевает этот политологический термин.

Гибрид федерации и конфедерации! Ни на что в мире не похожее, беспрецедентное государственное объединение, слишком пестрое по уровням развития, историческим и культурным корням, размерам и слишком единое для такой пестроты... это уж с какой стороны на него посмотреть.

Здесь не место пускаться в более детальное обсуждение соответствующих сторон проекта А. Д. Сахарова, как и его Конституции в целом. Опущу многое, что заслуживало бы быть отмеченным и прокомментированным,— от статьи об исключении из Союза до выгодных для малых народов квот при выборах в Палату национальностей; от предложения осторожно заморозить на 10 лет дальнейшее изменение границ внутри Союза (вообще внести в Конституцию идею о переходном периоде при возникновении Союза) и до неизбежных спорных или неясных пунктов. (Я, например, возражал в беседе с Андреем Дмитриевичем против того, что «обе палаты заседают совместно, но по ряду вопросов, определенных регламентом Съезда, голосуют раздельно» — (ст. 29). Так практикуется теперь. И мне это представляется бессмысленным. Две палаты во всех демократиях мира заседают, как правило, раздельно; у них несколько разных функций и, в частности, одна из палат — верхняя, а другая — нижняя; если палаты разные не только по нормам и порядку избрания, но отчасти по функциям или правам, вот тогда понятно, почему нужно иметь их две. Мне непонятно также, почему, если уж возможна эмиссия особой республиканской валюты, почему ее выпуск и аннулирование находятся в исключительном ведении Центрального банка Союза.) Но все обсуждение проекта А. Д. Сахарова — впереди. А задача настоящего послесловия иосит самый предварительиый, скромный характер.

Не могу лишь умолчать о том, что нынешние насилия и конфликты, особенно в Закавказье, по мнению многих, делают вряд ли осуществимым проект Сахарова, который рассчитан как бы на спокойную, цивилизованную, рациональную эволюцию. Мы много говорили с А. Д. о том, чем могла бы обернуться на деле — вот сейчас, идет ли речь о Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и т. д.— попытка ввести в действие такую Конституцию... Андрей Дмитриевич тяжко задумывался, говорил о тупиковости ситуаций, когда практически убедительного, неуязвимого решения нет и не может пока быть вообще.

Однако именно в такого рода «безнадежных» положениях, убедившись, что любые предложения и планы разбиваются при столкновении с политической реальностью, что разумные компромиссы не проходят, Андрей Дмитриевич находил (именно поэтому!) **наиболее практичным** придерживаться принципа. Ведь принципы, видите ли, это не то, что грезится мечтателям и чудакам. Принципы не сваливаются к нам с небес. Они вызревают и шлифуются в сотнях исторических казусов. Они плод всей эпохи (в данном случае эпохи падения колониальных империй и буйного роста числа независимых государств на земном шаре в XX веке). Плод часто горького, затянувшегося, но верного опыта. Поэтому, когда никакого выхода не видать, мудрей и практичней всего довериться именно принципу.

Поэтому с него и начинается в Конституции изложение основ национальио-государственного преобразования «бывшего СССР».

Это статья 15. «Основополагающим и приоритетным правом каждой нации и республики является право на самоопределение».

Проект Сахарова слишком хорош для нашего мира?.. С ним ничего не получится там-то и потому-то? Польется кровь? Не дай Бог. Попробуйте, однако, предложить нечто более реалнстичное и чтоб кровь ни за что больше не пролилась. Решений, которые устроили бы всех, нет и быть, увы, не может. Проект Сахарова, очевидно, далеко не безупречен. Но других серьезных проектов никто не предлагает.

Безупречным проект Сахарова стал бы при условии, когда качество действительной автономии на всех уровнях в децентрализованной стране — на уровне каждого муниципалитета, района и пр.— было бы столь высоким и объемным, что национальные вопросы в значительной

мере оказались бы сняты, растворены по ходу такой тотальной всепроникающей автономизации: самоуправлением любых человеческих общин в решении дел, касающихся их и только их. Но пока это не предусмотрено даже и в проекте А. Д. Сахарова. Не следует ничего отвергать в нем от порога. Ничего! Сначала взвесим каждое слово.

Что до статей Конституции, регулирующих отношения собственности, то они предусматривают свободное «плюралистическое» соревнование всех видов и форм экономической деятельности, не ограничивая (и не «вводя»!) ни одну из этих форм, включая и частнопредпринимательскую инициативу. Такова **пятая сквозная мысль** проекта Сахарова. «Предприятия с любой формой собственности находятся в равных экономических, социальных и правовых условиях» (ст. 44), «основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции» (ст. 46). Причем государство активно вмешивается и регулирует развитие экономики посредством налоговой, кредитной, инвестиционной политики — ограиичивает продажу, передачу и максимальные размеры земельной собственности, а также препятствует спекуляции и безхозяйственному ведению земледелия — остается (в лице республик и их Советов) высшим (титульным) собственником и распорядителем недр и водных ресурсов. Наконец, осуществляет перераспределение национального дохода в целях обеспечения социальной справедливости, защиты тех, кто не в силах прокормить себя сам, и гарантирует прожиточный минимум для всех членов общества.

Это очень сжатая и удачно сформулированная программа. Программа, могут спросить, чего? Социализма или капитализма? Ответ прост. Конституция Сахарова ничего в этом отношении не регламентирует, не запрещает и не поощряет. Дух конвергенции проникает и в ее экономический раздел. Обеспечивается юридически принцип многоукладности, реального **стартового** равенства всех социально-экономических усилий.

Наша экономика, как известно, вся стоит на наемном труде, причем оплата рабочей силы крайне низка и выбор приложения этой силы для ее владельца ничтожен ввиду предельной монополизации производства. Да и куда ни пойди с предложением своей рабочей силы — условия схожие. Упомянем и о принудительном труде, в огромных масштабах практически не оплачиваемом: обязательный труд на каторге (в лагерях) и в «стройбатах».

И нам с серьезными лицами толкуют о «несовместимости социализма с эксплуатацией человека человеком»... То есть тотальным хозяином-эксплуататором может быть только государство? И о каком же равенстве «частника», «частной собственности» с другими формами собственности, о каком «соревновании» на рынке может идти речь, если фермер, хозяин булочной или мясной лавки, сапожной мастерской или химчистки или акционерные собственники завода, скажем, по изготовлению цемента, керамики или транзисторов не могут нанять работников?

Проект Сахарова отметает это идеологическое лицемерие. Государство регулирует рынок и следит за соблюдением на нем честных правил конкуренции.

Очевидно, возобладают те формы, которые в условиях честной, регулируемой правом конкуренции окажутся более производительными, эффективными, конкурентоспособными. Людям нужны не идеологические «измы», не капитализм и не социализм, а обилие товаров по доступным ценам, достаток для трудящихся, современный высокий уровень жизни, самореализация каждого индивида в процессе труда, чувство социальной защищенности и достоинства, благотворительность для старых, больных, слабых. Независимо от того, какой «изм» будет придуман, чтобы обозначить то, что могло бы привести наше общество к успеху на пороге третьего тысячелетия.

Общество пусть побеспокоится не о социально-экономическом равенстве (оно иевозможно, как и равенство природных способностей), но о равенстве, повторяю, индивидуальных стартовых возможностей (политических, образовательных и т. п.). Частная собственность — главным образом, современного акционерного, кооперативного, вообще смешанного коллективно-частного типа. Наемный труд, **став свободным,** исключит «эксплуатацию человека человеком»... как и эксплуатацию человека государством... Каждого защитят демократические законы, независимые профсоюзы, ассоциированные сограждане, гарантированные условия труда и оплаты, система социального обеспечения.

Что же еще сказать о законотворческой робинзонаде Сахарова?

Опять Андрею Дмитриевичу пришлось совершить одинокий поступок. И опять этот поступок был обдуман, продиктован и ярко помечен столь характерной личной его чертой. Какой же?

Простите, **деловитостью.**

Со всех сторон в траурные дни только и слышалось — о, конечно, от полноты душевной, часто и покаянно, искренне! — о сахаровском «подвижничестве», «совестливости», «нравственной чистоте», мученичестве, нередко и с приглушенными религиозными обертонами. Что ж, все это заслуженные слова, хотя Сахаров был неверующим, совершенно, что называется, мирским человеком. Нынешнее массовое (отчасти и полуофициальное, умильное газетно-телевизионное) идейное поветрие таково, что я не без робости все-таки должен напомнить: за последние несколько веков в Европе, а с XIX века и в России было сколько угодно неверующих людей высочайшей нравственной и культурной пробы...

Первые слова Елены Георгиевны с телевизионного экрана накануне похорон о том, что «Сахаров был счастливым человеком». И снова настойчиво: «Он был счастливым». Кроме того, женщина, которой А. Д. был обязан большой долей этого счастья, заявила: «Я не хотела бы, чтобы из Андрея делали святого». Осмелюсь добавить, что односторонние повторы насчет бесспорной, чисто нравственной цельности и силы лишают возможности оценить феномен Сахарова в его действительной оригинальности, сложности и... исторической эффективности. Не был он ни «святым», ни чудаком, ни юродивым, ни «большим беззащитным ребенком» и т. п. Но — умным, трезвым, жестким нонконформистским деятелем.

У меня были случаи встречаться с Андреем Дмитриевичем в 1969—1979 годах и тесно сотрудничать с ним в 1988—1989 гг. Здесь не место вспоминать впечатления бытового и психологического порядка. Скажу лишь, что в общественном плане Сахаров был рационалистом и интеллектуалом «западного» толка. Не такой уж, пожалуй, редкий в послепетровской, особенно в последекабристской, тем паче в пореформенной Руси, но все же и отнюдь не слишком расхожий человеческий тип. У нас эти свойства ума и воли чаще привычно относили к чужакам, к какому-нибудь немцу Штольцу. Как будто Россия не дала густую поросль европейски просвещенных предпринимателей или великих ученых. Сахаров был русским европейцем, и хотя его внешний облик, манера поведения, застенчивые, угловатые и притом независимые ухватки могли навести случайного и начитавшегося Достоевского наблюдателя на поверхностные ассоциации с князем Мышкиным или Алешей Карамазовым — Сахаров был человеком сдержанным, прежде всего ясно и независимо думающим, полагающимся на факты и логику, взвешивающим возможные результаты... он был **деятелем**.

В 70-е годы А. Д. повторял, что «он не политик», хотя это не помешало ему написать несколько очень четких и пророчески умных текстов политико-социального содержания. Говорят, у него не было политического опыта, но... Он участвовал в совещаниях атомников, где председательствовал Берия, он знал Хрущева, он наблюдал множество государственных деятелей разного ранга, кагэбэшников, диссидентов, журналистов, дипломатов; а потом и М. С. Горбачева, А. Н. Яковлева, множество других сановников, народных депутатов, «неформалов», рабочих, премьер-министров и президентов... В последние полтора года перед кончиной необыкновенно развилась его способность вглядываться в людей и обстоятельства и принимать на основе этих наблюдений важные практические решения.

Совсем не политик, действительно, по психологическому складу своему, Андрей Дмитриевич очень рано обрек себя на то, чтобы играть политическую роль. Он выполнял ее не «профессионально», по-своему; но это и был именно тот новый, демократический, народный, интеллигентный способ быть политиком, который в конце XX века (и у нас, возможно, в особой мере?) стал новым политическим профессионализмом, который востребован историей.

Среди диссидентов были люди, ничуть не уступавшие Андрею Дмитриевичу в душевном величии, самопожертвовании, бестрепетной гражданской честности. Многие вынесли больше гонений и страданий, чем Сахаров. На мой взгляд, однако, ни один русский диссидент не стал политическим деятелем в новой («горбачевской») ситуации; да еще деятелем такой демократической точности, последовательности, масштаба, как Сахаров. К прежней способности быть бескомпромиссным в главном, плыть против течения добавилось умение тактического компромисса, много дипломатического такта. Никто из бывших диссидентов не сумел так энергично войти в уже не «диссидентский», легальный, обращенный ко всей стране этап политической деятельности, как это сумел сделать Сахаров. И дело не просто в том, что никто не обладал авторитетом и возможностями лауреата Нобелевской премии мира, физика, известного всему человечеству. Дело в самом Сахарове, в том, как именно он понимал свои новые гражданские задачи, **что** и **как** он делал ради их выполнения.

Важно помнить, что Сахаров сочинил свой конституционный проект осенью 1989 года. А это был совершенно особый переломный момент. Конкретным историко-политическим фоном его раздумий было исчерпание (чтобы не сказать попросту «крах») официальной политики, лозунгов и форм перестройки. Накануне второго Съезда народных депутатов стало очевидным, что никакие действительно глубинные проблемы на нем не будут не только решены, но даже и поставлены на обсуждение. В течение нескольких недель развалились коммунистические режимы Восточной Европы, и наша страна сразу оказалась в хвосте этого всемирно-исторического процесса (если не оглядываться на Дальний Восток).

Понятие официальной «перестройки» в глазах миллионов граждан скомпрометировано: в результате нараставшей в 1989 году угрозы экономической катастрофы; ввиду плана постепенного латания дыр, предложенного правительством и обреченного на провал; после кровавых событий в Закавказье и Средней Азии; после нескольких реакционных партийных пленумов ЦК, продемонстрировавших полнейшую неспособность косного и бездарного большинства в ЦК и в Политбюро хотя бы **понять**, насколько глубоки и необратимы происходящие в стране процессы; в связи с активизацией «новых правых»; при виде панического

роста эмиграции или паралича железных дорог; в итоге неудач замечательных шахтерских попыток изменить хотя бы частности... не дожидаясь изменения основ политического и экономического строя страны в целом; перед лицом начавшегося фактического распада КПСС, стихийных «свержений» обкомов от Тюмени до Волгограда. И многого, многого другого, что еще успел большей частью увидеть и прочувствовать Андрей Дмитриевич.

В последнем подписанном им (за четыре дня до смерти) программном документе (заявление 94 народных депутатов из Межрегиональной группы «О перестройке сегодня и в обозримом будущем») содержится достаточно развернутый анализ драматического кризиса перестройки. Призыв А. Д. Сахарова к двухчасовой предупредительной забастовке накануне Съезда был своего рода актом отчаяния. Ведь в России не было (и нет до сих пор) мощной массовой организации, которая была бы способна подхватить и реализовать этот призыв. Сахаров, однако, считал в создавшейся ситуации оправданным такой импровизированный призыв, понимая, что нет ни времени, ни политических способов действительно провести массовую, всеобщую забастовку. Призыв был брошен просто в эфир, в гулкое безмерное российское пространство... Но Сахаров полагал, что даже символическое значение призыва пяти депутатов будет велико, привлечет внимание населения к остроте положения и необходимости адекватного ответа, будет способствовать политизации страны. Я был среди тех, кто, не колеблясь, когда Андрей Дмитриевич, позвонив, поинтересовался моим мнением, поддержал политико-психологическую оправданность этого жеста, пусть рассчитанного скорее на будущую, чем на прямую немедленную реакцию. Думаю, что невиданная полумиллионная демонстрация в Москве 4 февраля 1990 г.— лишь первое эхо призыва Сахарова к объединению всех демократических сил, к началу мощных внепарламентских действий по всей стране, к отчетливому оформлению на Съезде парламентской оппозиции.

Сахаров говорил об этом в последнем интервью, подтверждая прежнюю готовность поддержать Горбачева, но на **определенных политических условиях**, поддержать от имени независимой либеральной радикальной оппозиции ради изменения самих основ обанкротившегося режима партократии. И об этом же Андрей Дмитриевич сказал в своей — исключительной по краткости, силе, логичности, яркости — последней речи на заседании Межрегиональной группы. 14 декабря Сахаров убеждал своих коллег и разъяснял, почему они не выполнят демократического долга, если не станут в открытую оппозицию к нынешней политике руководства КПСС и правительства, к рутинному большинству на Съезде.

Примерно через три часа после этого выступления в Кремле Сахарова не стало.

В контексте документов, свидетельствующих о том, чем были заполнены последние дни борьбы Сахарова, получает более емкий и ясный смысл Конституция, над которой он трудился.

Вот его политическое завещание, если угодно.

Сейчас мы снова слышим, что с Конституцией торопиться не следует, что дело это сложное, что не нужно определять какие-то сроки ее выработки и принятия...

«Не нужно торопиться?» Но «торопиться» — это вопрос не о сроках. Аппарат КПСС давным-давно просрочил свои политические векселя, они уже предъявлены народами к взысканию. Это вопрос не о сроках, а о **качестве думания**. Думать можно неторопливо — и скверно. Думать можно быстро, максимально быстро, когда это диктуют обстоятельства, и притом — верно.

Поэтому спросим себя о проекте Сахарова: верен ли он? Если да, торопиться с его доводкой необходимо.

А теперь о другом. В проекте Сахарова нетрудно заметить некие логические ножницы, и это даже поражает.

Если «Президиум» Съезда перенесен в проект почти машинально — экстраполирован из нынешней структуры,— то уж никак не машинально А. Д. внес в Конституцию, скажем, «свободу от произвольного ареста и не обоснованной медицинской необходимостью психиатрической госпитализации» (ст. 6). Следующая фраза не оставляет сомнений, что Сахаров имел при этом в виду политические «психушки», в которых настрадались многие его единомышленники и друзья. Сюда же статья 8: «Никто не может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению», Сахаров знал и на собственном опыте, что такое «жестокое обращение». В статье 14 он подытоживает семидесятилетний советский опыт, оговаривая довольно простое условие, без которого статья 6 или 8, как, впрочем, и многие другие остались бы лживыми декларациями: «В Союзе не допускаются действия каких-либо тайных служб охраны общественного и государственного порядка». Я надеюсь, что после недавних событий в Праге или Берлине количество скептических улыбок в адрес сахаровского «донкихотства» несколько поубавится. Во всяком случае, кое-что он сказал-таки на прощание людям, которые в течение 20 лет заботились об его разговорах, переписке и перемещениях. Ну, хорошо. Это-то все по-домашнему привычно, как любимые стоптанные шлепанцы.

Но ведь Конституция рассчитана... на сто лет? Она описывает общество, настолько благополучное и свободное, что немыслимо представить себе, будто в нем по-прежнему могут сажать инакомыслящих в тюрьмы и психушки. Эти

предусмотрительные статьи, подсказанные вчерашними, а отчасти и нынешними ощущениями, вставлены в ту же самую Конституцию, где мы читаем о том, что Советский Союз стремится к гармонизации всех глобальных проблем, к конвергенции, т. е. «встречному сближению» двух мировых систем.

И... «ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЫРАЖЕНИЕМ ТАКОГО СБЛИЖЕНИЯ ДОЛЖНО СТАТЬ СОЗДАНИЕ В БУДУЩЕМ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»!

Не составит труда для кого-то и улыбнуться по поводу этой фразы. Фантастической фразы?.. Я улыбаться не советовал бы. Как выразился по другому, более мелкому поводу Маяковский: зайдите лет через сто, поговорим.

«Мировое правительство» упоминается у Сахарова в виде вполне логичного заключения из рассуждений о «долгосрочной перспективе» тех процессов, которые **уже** обозначились в истории (например, в пределах европейского региона). Это очень, очень отдаленная цель, в чем Сахаров отдавал себе отчет не хуже других. Но — реальная цель, поскольку вне ее рассыпается цепочка неотвратимой конвергенции, а конвергенция в свой черед, как был убежден А. Д., есть необходимое условие **выживания человечества**...

Не сказал бы, что в проекте Сахарова психологически, политически и юридически плохо стыкуются малопривлекательные подробности насчет недопустимости тайной политической полиции, незаконных арестов и психушек — и ослепительное «мировое правительство».

Напротив! Это проект, составленный советским диссидентом. И это проект, принадлежащий ученому, размышляющему о проблемах будущего человечества.

Мысль Сахарова естественно двигалась между двумя разнозаряженными полюсами.

Права человека **сейчас и здесь**, правовая защищенность индивида в условиях свободной экономики и демократического парламентаризма, которые должны появиться наконец-то и у нас благодаря принудительной силе всечеловеческого научно-технического прогресса. Без этого какое же будущее, какая конвергенция?

С другой стороны, точка схода всех конфликтующих линий мирового развития в отдаленной перспективе; внутренняя (так сказать, технологическая) необходимость конвергенции. Вне этой столь отдаленной, но, по заветному убеждению Сахарова, неминуемой всемирности права человека были бы **не обеспечены будущим**. У них не было бы будущего в глобальном масштабе. Вне конвергенции какие же права человека?

Настороженная оглядка в прошлое, не очень-то отжитое, и смелый теоретический замах в будущее, как всегда достаточно загадочное. Попытка сбалансировать все это, создать Конституцию, исходя из нынешних условий, но преодолевая эти условия, изобретая государство, которого пока еще нет.

Корректная ли это, вообще говоря, задача?

Историк ответит: а разве до законов Солона в Афинах действовали законы Солона? Разве Конституция Соединенных Штатов Америки не детище «отцов-основателей», не вышла из голов ее творцов, как Афина Паллада из головы Зевса? Разве это же не относится к большинству революционных конституций, деклараций, декретов? Наше положение, разумеется, крайне осложняется тем, что придется изобрести не только новый политический строй, но и новое содружество наций и даже новую экономику.

Если вы желаете изменить порядок вещей в стране и с этой целью предлагаете новые законы — а в самой реальности нет еще ничего подобного,— эти законы придется **придумать**. Чем, собственно, теперь занимаются и в Верховном Совете.

Но готова ли почва? Достойны ли мы такой превосходной Конституции, как сахаровская (после, разумеется, ее критического обсуждения и доработки)?

События покажут. Чего мы достойны, то и получим.

Скажу откровенно: мне лично, как, наверно, и многим, слишком трудно (судя по развороту политических обстоятельств) поверить в то, что будущий Основной Закон окажется в главных, принципиальных чертах близок к сахаровским конституционным идеям, что недалек день создания Европейско-Азиатского Союза. Но постоять за это хочется. И тошнит от того, во что слишком легко «поверить».

Осуществить завещание Сахарова будет непросто. А сами смысл и суть его — проще некуда. «Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии — счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения».

Москва, 7 февраля 1990 г.

Е. Г. БОННЭР

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Под текстом «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии» напечатано: «Проект подготовлен А. Д. Сахаровым». Даты нет. Я хочу ее проставить — 14 декабря 1989 года. Спустя, условно говоря, 164 года после той — первой Конституции!

Проект Конституции Сахарова был опубликован в декабре 1989 года в четырех официальных изданиях и перепечатан некоторыми неформальными. Но я не видела ни одной заметки, обсуждающей его. Не упомянало о нем телевидение в частых сейчас диспутах депутатов и кандидатов в депутаты. Думаю, что проблемы конституционного устройства страны волнуют их. Но похоже, что острая общая ситуация, неожиданность некоторых поставленных перед ними вопросов, напряжение, с которым проходят заседания Верховного Совета, затянули их, как водоворот. И работа над Конституцией может не начаться еще долго. Но пока не будет Конституции, мы будем перестраивать наше прошлое, не зная, что собираемся построить. И стоит ли вообще копья ломать и огород городить!

Проект предложен не просто для ознакомления, а чтоб подумать, сравнить с прошлыми нашими конституциями, обсудить. Понять, какой Основной Закон у нас был. Почему наши руководители в одних случаях держат сталинско-брежневскую Конституцию за икону, на которую молятся, а в других — легко, вроде как на бегу, ее перекраивают. Подумать, что перестраиваем и что хотим построить. Вспомнить наконец, для кого создаются конституции и кого призваны защищать — партии, правительства, государство или — народы и людей.

Задачу этой публикации я вижу в том, чтобы она стала приглашением к дискуссии.

Сейчас, а не тогда, когда будет опубликован — «вынесен на всенародное обсуждение» или, как теперь принято говорить, «чтобы посоветоваться с народом» — официальный «Проект Конституции», по-обычному безымянный. И мы всем обществом от народных депутатов до пенсионеров станем торопливо латать его. Мне легче, чем тем, кого публикация приглашает к дискуссии. Я принимаю проект полностью. Это та Конституция, какую я бы хотела для нашей страны.

Я расскажу, что у меня на памяти. Издалека. В 1971 г., в канун открытия XXIV съезда КПСС, я пришла домой с работы в восьмом часу. Встревоженная мама сказала, что звонила Ира Кристи — у Валерия Чалидзе обыск. Не скинув пальто, я вынула из авоськи мясо и еще что-то, требующее холодильника, добавила к хлебу, колбасе и сыру, там уже лежавшим, чай и конфеты и поехала на Сивцев Вражек. У подъезда дома общества «Россия» (всегда всплывала строчка «Вот парадный подъезд...») я столкнулась с академиком Сахаровым. Мы прошли полумарш лестницы до лифта, и, пока вызывали его, Андрей Дмитриевич сказал, что у Буковского тоже обыск, но он решил ехать сюда. Лифт не пришел. Подымаясь на последний пятый этаж (а этажи в этом доме дореволюционные), подумала, что лифт выключен специально для Сахарова,— так медленно он шел. На площадке около двери стояли милиционеры и пришедший, видимо, чуть раньше нас Ефимов. К сожалению, не помню его имени. Я мало его знала. После короткого объяснения нас впустили в квартиру, когда-то барскую, теперь многокомнатную коммуналку, где Валерий занимал одну большую, темноватую, неухоженную комнату, напоминавшую ленинградские послеблокадные. Там, кроме хозяина и нескольких вежливых сотрудников КГБ, были Андрей Твердохлебов, Ира Кристи и Ира Белогородская. На полу высились кипы бумаг и книг, отобранных к изъятию, но по тому, сколько еще книг и ящиков оставались непросмотренными, было ясно, что быть нам тут до утра. Я села на невероятных размеров тахту, Андрей Дмитриевич — рядом, на какой-то табуретке, спиной к стене, лицом во все пространство комнаты, как человек, собирающийся внимательно наблюдать за тем, что происходит. Не наблюдать даже, а как бы изучать. Потом я узнала, что это был первый обыск, на котором он присутствовал. Ефимов сел рядом с Андреем Дмитриевичем. Было видно, что обыск его не интересует. Несколько раз он что-то спрашивал у А. Д., но тот не отвечал — следил за происходящим. Две Иры сидели на тахте с противоположной от меня стороны. Андрей Твердохлебов маялся и часто пересаживался со стула на стул. Невозмутимый Валерий подчеркнуто спокойно прохаживался среди книг, бумаг, мебели и время от времени говорил обыскивающим: «Соблаговолите пройти сюда». Потом он сказал: «Соблаговолите сопроводить меня в уборную» (или, может, он сказал «в туалет»?). Эта просьба, выраженная в столь величественной форме, сняла напряженность присутствующих. Мы стали шутить, переговариваться. Я с двумя Ирами. Ефи-

мов с А. Д. Ефимов что-то долго говорил о Конституции.

Я знала, что он занят этой проблемой, позже я печатала какой-то его проект. Когда заговорил А. Д., мое внимание переключилось на их разговор. Но, пропустив его начало, я не знала, на какие доводы Ефимова А. Д. отвечает. Он сказал, что в сегодняшних реалиях не видит возможности в нашей стране иметь высший закон, который бы ему лично пришелся по душе. Ефимов спросил у А. Д., как он относится к демонстрациям в защиту сталинской Конституции (идея принадлежала Алику Вольпину). А. Д. ответил, что относится хорошо, ведь лозунг демонстрантов — «Уважайте свою Конституцию!», что идея уважения закона ему близка, а Сталин тут ни при чем, да и в Конституции есть неплохие положения, беда в том что они — фикция. Потом А. Д. сказал, что ему с отрочества нравятся «Билль о правах» и «Великая Хартия вольностей».

Помолчал и добавил: «Особенно названия».

Обыск закончился хорошо — увезли горы бумаг и книг, пишмашинки, фотоаппарат, еще что-то. А Валерия оставили дома. От этого все были радостно возбуждены, говорливы. И у всех прорезались дьявольский аппетит и жажда, так что мои припасы, запиваемые горячим чаем, исчезли с молниеносной быстротой. Потом мы с Ирой Кристи на такси доставили А. Д. домой — было принято, что кто-то должен опекать академика. (Позже я отменила эти диссидентские нежности.) Потом я довезла Иру. И в такси, пока ехала предрассветной, пустынной Москвой от Войковской до Чкалова, поняла, что разговор А. Д. с Ефимовым был серьезным.

Пожалуй, это были первые слова о Конституции, которые я услышала от А. Д. А когда мы ходили к памятнику Пушкину каждое 5 декабря, то А. Д. не вспоминал Конституцию, но волновался о том, как пройдет демонстрация. Кто дойдет до площади? Кого заметут по дороге? Кого вообще задержат?

Я не помню, как и когда появилась у нас в доме книга Смита «Конституция и административное право» на английском языке. Временами Андрей читал мне какие-то отрывки оттуда и в 1977-м, когда лежал после операции аппендицита, попросил принести ее в больницу. Я шутя спросила, собирается ли он, как Ефимов, писать Конституцию или, как другие,— наводить критику на проект, который нам только что преподнесли. Так же шутливо он ответил, что подобным делом займется только в том году, который станет 84-м — аллюзия на памфлет Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Это было время горьких шуток над проектом новой Конституции. Но и время, когда многие писали серьезные статьи. Писал и Григоренко. На вопрос Петра Григорьевича, собирается ли он выступить по этому поводу, Андрей Дмитриевич ответил, что не будет, так как не находит «о чем», а главное — «с кем» можно дискутировать. Несколько раньше, читая «Правду» с текстом проекта, Андрей сказал, что не понимает, что нам предлагают — Конституцию или Программу партии (может, он сказал «Устав»). По этим репликам может показаться, что А. Д. не придавал большого значения Конституции. Но только на первый взгляд. Он очень хорошо знал «Всеобщую Декларацию прав человека» и Пакты о правах. При цитировании ему не нужен был текст. И в течение почти четверти века почти во всех общественных выступлениях он в большей или меньшей мере касался вопроса конституционного устройства страны. В Горьком он выписал изданную в 1982 году книгу «Конституции буржуазных государств» и так же, как когда-то читал отрывки из книги Смита, читал мне почему-то чаще всего по утрам за завтраком что-то особенно ему понравившееся.

В новые времена Андрей Дмитриевич был очень обеспокоен теми поправками, которые были внесены в Конституцию перед выборами 1989 года. Он считал опасным, что это делается старым Верховным Советом, выбранным еще при Брежневе, и недопустимым частичное изменение Конституции в угоду моменту, когда поправки носят сиюминутное, прикладное значение. И еще до выборов несколько раз говорил, что перестройку надо начинать с головы, а не с хвоста. Головой в этом контексте он считал Конституцию и новый Союзный Договор. На первом Съезде он высказал ту же мысль в другой форме: «...Мы начали строить наш общий дом с крыши» (кажется, так).

А. Д. несколько раз говорил мне, что хотел бы работать в Комитете Конституционного надзора, который считал чрезвычайно важным, а пост его Председателя,— возможно, самым ответственным в стране и требующим от того, кто его будет занимать, абсолютной внутренней свободы и абсолютной честности. В дни первого Съезда я (как вся страна) сидела перед экраном телевизора. В перерыв бежала к машине, ехала к собору Василия Блаженного за Андреем, чтобы вести его обедать в гостиницу «Россия». Следить за тем, что происходит в Кремле, и готовить обед я не успевала, а без меня Андрей ни разу, кажется, не поел в буфете Дворца Съездов. Когда он стал членом Конституционной комиссии, мне показалось, что он доволен этим избранием. За обедом я спросила, понимает ли он, что большинство Съезда считает Конституцию незначительным фактором нашей жизни и надеется, что и впредь, сколь бы часто ни повторялось слово «перестройка», Конституция так и останется словами, напечатанными на более хорошей бумаге, чем газеты. И потому его выбрали безо всяких трений. Он посмотрел на меня укоризненно, но не возражал. А через минуту сказал

так, как будто он будет это делать уже сейчас, сразу после обеда: «Но я все равно ее напишу». Это-то я знала и без его слов. Еще не было дела, которое он брал бы на себя, а потом не делал.

После окончания Съезда, 15 июня, мы улетали в Европу. Поездка предстояла громоздкая. Меньше чем за месяц — Голландия, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Италия и снова Швейцария. Потом США — три недели в гостях у детей, Стенфорд и Сан-Франциско. Очень много выступлений общественного характера, принятие почетных степеней, выступление на Пагуошской конференции, научные встречи и семинары. Везде давно ждали Сахарова друзья, коллеги, государственные и общественные деятели, люди. Андрей не давал окончательного согласия на поездку, пока не узнал у А. И. Лукьянова, что заседания Конституционной комиссии до сентября не будет. Только после этого разрешил мне отвечать согласием на непрерывные международные телефонные звонки. Но еще долго нервничал, что такое важное дело, как Конституция, откладывается в долгий ящик, что это — преступление перед страной.

Маленькое отступление. Вчера, 27 февраля, на заседании Верховного Совета один из депутатов упрекнул своих коллег за то, что они ездят «по заграницам» за их (других делегатов) счет. Этим замечанием и вызвано мое отступление. Мы много ездили в последний год жизни Андрея Дмитриевича вдвоем, один раз он ездил без меня, дважды — я без него. Но мы на ваш счет не ездили ни разу и даже ни разу не меняли наш легкий рубль на тяжелую валюту. Андрея Дмитриевича в столь многом упрекали товарищи народные депутаты, что я решила предупредить еще один упрек.

За эту поездку Андрей Дмитриевич решил написать книгу о времени после возвращения из Горького до первого Съезда включительно и Конституцию Союза Советских Республик Европы и Азии. И написал. Так он работал. Исповедуя два принципа — «любое задуманное дело должно быть сделано» и «никто никому ничего не должен». Много высоких слов говорилось о Сахарове при жизни — в иные времена шепотом, потом громко, а уж после смерти — не перечесть. Но никто ни разу не сказал слово «работник». Может, самое емкое, вмещающее все другие высокие слова. И я рада, что оно досталось мне — свидетелю того, как он работал. Всегда. Везде.

Стоял жаркий влажный июль. После завтрака Андрей во дворике в тени писал книгу. Стопка чистых листов, которую он выносил с собой из дома и клал справа от себя, постепенно перемещалась налево и росла. За срок чуть больше месяца получилась книга — почти 300 страниц. Мы поздно обедали. Андрей отдыхал час, иногда полтора. Немного гуляли. Поздний вечер и часть ночи были временем Конституции. Такой распорядок нарушился только раз, когда он отдал день Пагуошской конференции, проходившей в Кэмбридже. Наши передвижения ограничивались тем, что мы ежедневно переезжали из дома моей дочери в дом к сыну и обратно — для симметрии, чтобы быть в равной мере гостями обеих семей. В связи с Конституцией Андрей что-то читал, но часто откладывал книгу, ссылаясь на то, что Игорь Евгеньевич Тамм утверждал: юриспруденция и философия не науки. А потом говорил: чтобы написать Конституцию, надо иметь за плечами жизнь, в голове немного здравого смысла, обязательно уважать тех, для кого она пишется, и уважать самого себя. Пару раз он говорил по телефону с известным американским адвокатом — специалистом по конституционному праву. Собирался с ним встретиться, но не получилось по такой славной причине, что у того была свадьба и свадебное путешествие.

Книгу Андрей кончил до нашей поездки в Калифорнию, где мы выступали на конференции по правам человека, а потом Андрей несколько дней общался с физиками в Стенфорде. Там у нас был, несмотря на занятые дни, долгий уик-энд, и вместо работы по ночам мы устраивали прогулки далеко за полночь, так что однажды даже заблудились после посещения ночного ресторанчика в соседнем городке. И пришлось обратиться за помощью к молодой «полис-леди», которая вызвала нам такси.

На пути в Москву мы шесть дней гостили у друзей на юге Франции. У меня был полный отдых, а Андрей говорил, что он отдыхает с Конституцией. Работал по четыре-пять часов за столом в саду. За ужином в канун нашего отлета он сказал, что кончил писать Конституцию. Сказал с грустью. Наступила ночь — темная, южная. И неожиданно у линии горизонта появилась светлая полоса, она росла, высилась, рыжела. Потом тишину пронзил шум машин и пронзительный, какой-то военный вой сирен. Лесной пожар. Мы видели его впервые. Красиво. Но так тревожно, что никакой красоты не надо и бессонная ночь обеспечена. Утром 28 августа Андрей положил в чемодан два своих больших блокнота. Потом передумал и переложил их в сумку, которую мы всегда брали с собой. В кабине самолета он раскрыл один из них, полистал. Убрал на место. И, притулившись ко мне, сказал: «Тебе не кажется странным, что я кончил Конституцию и потом этот пожар — в один день?» Дома, в редкие свободные от московской текучки вечера, он возвращался к работе над Конституцией. Только в двухнедельной поездке по Японии расстался с ней, а по возвращении снова стал что-то править. И называл это доводкой. Он очень волновался, что Конституционная комиссия до ноября не начала работу.

Я не была в Москве десять дней. Андрей встречал меня в Шереметьево 29 ноября и сразу сказал, что 27-го наконец-

то было первое заседание комиссии, что его проект был единственным и он передал его М. С. Горбачеву с просьбой опубликовать и провести обсуждение. Сказал, что в материалах к заседанию комиссии есть много предложений, которые не расходятся с его, но, к сожалению, отсутствует концептуальный взгляд и удручают предложения по преамбуле, в которых преобладает старая терминология, скрывающая еще более старое мышление. Позже, дома, я прочла все эти материалы. Они и сейчас передо мной. В синей папочке вместе с текстами Конституции Сахарова. В этой папке их три, два из них идентичны. Мы не знаем, какой вариант был передан М. С. Горбачеву. Но я согласна с Л. М. Баткиным, что последним является тот, который опубликован в Прибалтике.

В последнем телефонном разговоре — в четверг 14 декабря в восемь часов вечера — Андрей Дмитриевич сказал, что он еще поработает над текстом Конституции в конце недели и отдаст окончательный текст в воскресенье вечером. После этого он сказал мне, что хочет что-то сократить в статье о функциях Президиума и в каком-то другом месте. Но я не запомнила. А через час Андрея Дмитриевича не стало. Это так странно, так не в его характере, чтобы он не закончил какую-то работу. Вот книгу завершил. Еще утром в этот день положил мне на стол листы с последней правкой и вечером, уходя отдохнуть, сказал, чтобы я разбудила его в половине одиннадцатого,— будем работать. А на Конституцию ему не хватило трех дней.

●

Немного о себе: я пенсионер, мне семьдесят лет, по специальности — инженер по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин. Происхожу из крестьян-кулаков Ярославской области, из самого что ни на есть Нечерноземного края, разоренного ныне до крайности.

Раскулачили семью отца в 1929 (или 30-м) году (отец, мать, шесть сыновей, две сестры, жена старшего брата, их ребята). Всю жизнь я носил звание, считавшееся позорным,— «сын кулака-лишенца», и поэтому переносил множество скрытых и явных унижений в школе, в институте, позднее на работе от разного рода начальства, а также комсомола, учителей и бесталанных коллег-инженеров и чиновников, которые при любом случае тыкали мне моим кулацким происхождением. Правда, были и понимающие люди, ценившие мой опыт и труд. Я работал механиком, начальником цеха, директором управления буровых работ, в 1948 г. был принят в члены КПСС. Но при каждом перемещении или назначении унизительно и с упоением муссировался вопрос о моем «неблагополучном» происхождении.

Поэтому мысль о проведении полной и списочной реабилитации раскулаченных и репрессированных крестьянских семей тронула меня, старика, до слез и побудила написать это письмо. Правда, я думаю, что эта реабилитация проведена не будет: кого уж тут реабилитировать? Кому объявлять о реабилитации? Самих раскулаченных в живых почти нет никого, дети их в основном старики, кто умер от лишений, репрессий и старости, кто погиб на войне. Из нашей семьи на войне остались три моих брата, один вернулся инвалидом и позднее умер. Да и многих сел уже вообще не существует. А трудового народа в селах осталось немного, и они больше не верят призывам.

Надо дать желающим землю в собственность, да еще и благодарить их, если возьмут. Но благодарить не на словах, а делом — благоустройством деревень, медициной, дорогами, торговлей, школами, снабжением стройматериалами и т. п. А разного рода реорганизации в «верхах» путем перемещения канцелярских столов и вывесок — это только имитация деятельности административно-командного слоя для оправдания собственного существования, и только!

П. В. Ракин,
г. Киев.

Я участник Великой Отечественной войны, по профессии — учитель. Сорок лет преподавал историю в средней школе. Возраст мой довольно солидный, скоро семьдесят. А родом я из крестьянской семьи. Так что отлично помню жизнь крестьян до коллективизации. Наше сибирское село было большое и богатое. Крестьяне имели свою землю и с удовольствием ее обрабатывали. Жизнь на селе была полнокровная, плодотворная: у крестьянина был стимул к жизни. Помню и то, как многие крестьянские хозяйства, особенно мелкие и средние, добровольно, по своей собственной инициативе, кооперировались для совместной обработки земли, уборки урожая, совместного приобретения сельхозтехники.

И вот наступили страшные времена. Началось так называемое построение социализма в деревне под руководством великого вождя и учителя народов всего мира. Все это также свежо в моей памяти. Отобрали у крестьян землю, стали раскулачивать и насильно загонять крестьян в колхоз. Именно загонять. В нашем официальном лексиконе раньше нельзя было употреблять такого слова, и только теперь пишут и не боясь произносят его, а в те тяжелые времена в народе запросто так и говорили: «Нас загоняют в колхоз».

В это же время происходило и раскулачивание. Причем раскулачивали, громили и разоряли, а потом ссылали на дальний Север фактически не кулаков, а самых трудолюбивых крестьян, потому что настоящие кулаки еще в гражданскую ушли вслед за отступающим Колчаком за кордон, а оставшиеся еще до начала раскулачивания и хозяйство свое распродали, и сами заблаговременно смылись. В нашем сибирском селе, например, больше всего пострадали так называемые «расейские». Это были крестьяне, приехавшие в Сибирь из западных губерний России в годы столыпинской реформы. В Сибири им дали хорошую, плодородную землю, а уж цену ей кто-кто, а они-то знали, потому что там, на западе, они земли или совсем не имели, или имели очень мало. Но вскоре началась первая мировая война, а за нею гражданская, и только при Советской власти у них появилась возможность, засучив рукава, по-настоящему взяться за налаживание своего хозяйства. Из последних сил выбивались, работали до изнеможения. И все с радостью, с песнями.

Упорным трудом переселенцы неплохо наладили свое хозяйство, и, естест-

венно, многие попали в черные списки для раскулачивания. Их разгромы сопровождались страшной жестокостью. Никогда не забуду такой случай. Против нас, немного наискось, жили Бочаровы, приехавшие из Тамбовской губернии. Захар Иванович, глава семьи, был здоровым, крепким, косая сажень в плечах, стариком, выше среднего роста. Кроме него и его жены, в семье еще были женатый сын, сноха, которые имели троих детей. Как они работали, как надрывались — это было уму непостижимо! Они не щадили себя совершенно. Ну и, понятно, стали зажиточными. Когда началось раскулачивание, их стали громить наряду с другими, попавшими в эти зловещие списки, где немало было таких же, как и они, честных тружеников. О, боже! Что творилось при раскулачивании! Дикие крики, рев, стенания... Ужас! Казалось, что напала дикая орда. Все ломают. Окна бьют. Имущество выбрасывают на улицу через окна и тут же растаскивают. Ревет скотина. Заливаются в лае собаки. Скотину куда-то угоняют. Ловят даже кур и тут же им откручивают головы. В амбарах выламывают двери, забирают и вывозят все зерно. Бабы орут дикими голосами, дети визжат. Но что на меня тогда произвело самое страшное впечатление,— это то, что могучий, как дуб, старик Захар Иванович сидел на лавочке у ворот и плакал, как малый ребенок. Потом всю их семью, кто в чем был, погрузили на телеги и повезли в ссылку. Далеко увезли, на дальний Север, в сторону Туруханска. По рассказам очевидцев, это было гиблое место. Сплошь тайга и болото. Ни жилья, ни средств к существованию. Появились эпидемические болезни. Люди пухли от голода и умирали. Медицинской помощи никакой. С наступлением зимы сильные морозы завершили эти ужасные несчастья.

Семья Бочаровых погибла вся, кроме старика Захара Ивановича. Он один только и выжил, но ослеп. Ходил там по деревням, побирался. Нашелся ему и поводырь: мальчик, которому тоже удалось выжить единственному из всей своей семьи. Каким-то чудом добрались они до нашего села. Старика как магнитом потянуло в родные места, на старое пепелище. Препятствовать нищему в этом уже никто не стал. Сначала он все возле церкви стоял с протянутой рукой, просил милостыню, а когда церковь разгромили и закрыли, стал побираться по дворам. Так и ходил по селу несколько лет этот страшный нищий слепец, который являлся как бы живым укором происшедшим жестоким злодеяниям. Бездомный, оборванный, вечно голодный, слепой. Он иногда ночевал под забором, если не находил ночлега, часто где-нибудь в бане. Но люди его жалели. Помогали кто чем мог, хотя и сам-то народ бедствовал ужасно. Но все-таки кто старую рубаху даст, кто рваные штаны, а то, глядишь, в старые валенки обуют. И все по-прежнему называли его уважительно — Захар Иванович.

Говорят, что раскулачиваемые крестьяне кое-где оказывали сопротивление и даже с оружием в руках, но это было не что иное, как ответная реакция. Иначе их выступления не назовешь.

И вот теперь, когда мы слышим голоса тех, кто упорно цепляется и всячески старается сохранить, реанимировать прогнившую и уже давно изжившую себя сталинскую систему в сельском хозяйстве, невольно возникает вопрос: есть ли хоть капля здравого смысла у этих людей?

Сколько можно продолжать требовать от государства капиталовложений для колхозов и совхозов? Ведь это же все равно, что делать мертвому припарки! «Развяжите колхозам и совхозам руки»,— говорят с трибуны съезда эти деятели. А кому им? Вагиным. Для чего? Для того, чтобы они превратились в настоящих удельных князьков. Что же от этого получат крестьяне? Будут ли они от этого свободными и независимыми? Нет. Командно-административная система при этом не только сохранится, но и еще больше укрепится, а органы Советской власти по-прежнему будут у вагиных под башмаком.

А. Г. Нагорняк,
Крымская область, Кировский район, п/о Золотое Поле.

М. ГЕФТЕР

Классика и мы

Памяти Инги БАЛЛОД

Послесловие, перенесенное в начало

Тексту, который ниже, исполнилось больше десяти лет. Нужен ли он сегодня кому-либо, кроме автора? Это всегда щепетильный вопрос. Желаемое «да» теснится многими «нет», среди которых самое необидное — движение времени, обилие перемен, отодвигающих даже сравнительно недавние события за кулисы памяти, чтобы одновременно извлечь оттуда на сценическую площадку ожившие призраки, тени былого. Современная ностальгия по прошлому особенно склонна к таким перемещениям, и эта склонность нередко и все чаще, по умыслу и без оного, подменяется выборочным возвратом назад — со своими полускрытыми табу и скоропалительными прозрениями, которые только по видимости сближают читающих (и смотрящих) с той «незнакомой землей», где обитали их предки. Как бы не угодить невзначай в эту избирательную память.

Но как раз внутреннее отталкивание от нее, от ее выборочности, разорванности и раздерганности и явилось тем решающим мотивом, который побудил меня вернуться к написанному в горячке чувств и мыслей, обгонявших друг друга и оттого придающих этому тексту вид, довольно загадочный ныне даже для меня самого. То ли это бесконечный, с перерывами ночной монолог, то ли односторонний разговор с другими, притом сугубо разными другими, с какими хотелось не только и даже не столько спорить, сколько объясниться, невзирая на то, что у иных из этих разных, вероятно, не было (да и нет) встречного желания. Откровенность без расчета на откровенность — это в недетском возрасте, разумеется, странно. А так как эта странность наверняка затруднит читателя, то я хотел бы ему вкратце рассказать, при каких обстоятельствах моей и общей нашей жизни родились эти разросшиеся заметки на полях давнишней и по нынешним меркам незначительной схватки.

Надо бы изложить все по порядку, но что-то мешает сейчас это сделать. Тут и тоска, и память об уже ушедших — и еще нечто, вызывающее образ детских лет: жюльверновскую бутылку в море, обросшую тиной и ракушками, просолоневшую от дальних странствий. Что там, в этой бутылке? Весть о пропавшем? Последние слова гибнущего, кому, вероятней всего, уже нельзя, уже поздно помочь?.. Однако то, что именуют совестью, а может, также и страсть вмешаться в неумолимое, оспорив его, подталкивают: спеши на выручку! скорей, скорей!

Моя бутылка совсем не вековой давности, но вода времени, просочившаяся внутрь, уже порядком попортила текст. И оттого читается он отдельными фразами, словами, междометиями. Догадываешься, что речь идет о «дискуссии», мелькает таинственное «ЦДЛ», и даже дата сохранилась, наводящая на недобрые ассоциации. Одно за другим возникают: «...Объединение критиков и литературоведов», «Классика и мы», «Председатель — Е. Сидоров», «Вступительное слово — П. Палиевский», а сверху: «21 декабря». Проверки ради смотришь в лупу: нет, действительно так — этот день этого месяца, столь памятный по еще не истлевшим календарям и прочей отечественной атрибутике. Так ли захотелось устроителям либо просто сошлись дата с намерением обсудить «художественные ценности прошлого в современной науке и культуре», так оно или иначе, но из совокупления даты и темы (позволим себе предположить это в иносказательном смысле) и народилась дискуссия, какая в иных местах именуется «творческой», в других — «экспериментальной» («Нам позволили ее провести, так как хотят посмотреть — способны ли мы на такую дискуссию, зрелые ли мы». Кто «хочет» — не прочитывается, а может, там и не требовалось сие, и так было понятно, но имя говорившего — почти всеми буквами: «Ф. Кузн...в»). А дальше, слова, слова, слова, складывающиеся в строчки: «Как бы ни относиться к 30—40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об историческом повороте к русской классике,

который произошел именно тогда. Был, по-видимому, написан самый великий роман XX века «Тихии Дон». Писал Булгаков, да, да, я подчеркиваю — писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься». «...Именно в 30—40-е годы и произошло слияние классической традиции с народной культурой». И еще — об «авангарде»: «Новый метод — умелый захват общественного мнения. Умелое применение к власти, кнут и пряник...» (Расшифровываешь и смекаешь: раз в эти 30—40-е на смену «авангарду» пришла классика, «именно тогда» слившаяся с народной культурой, то, стало быть, ушли за ненадобностью и «захват общественного мнения», и «умелое применение к власти, кнут и пряник...»)

Судя по расположению в тексте, упомянутые мысли принадлежат автору вступительного слова. А дальше — пестрое, но равно «творческое» и «экспериментальное»: «Мне не интересно, какой национальности были Мейерхольд и Татлин... Я не за то не люблю Мейерхольда, что он еврей (Реплика из зала: «Мейерхольд — немец!»)... мне не интересно, какой национальности те режиссеры, которые извращают русскую классику...» «Сидоров: Ты не можешь судить об этом, Вадим. Признайся, ведь ты не ходишь в театры. Кожинов: Я не хожу, но моя жена недавно пришла с постановки Эфроса вся заплаканная от того, что этот режиссер сделал с Чеховым...— а от театра до нашего дома 15 минут ходьбы, у нее вот такие слезы катились...» И после обрыва (то ли кто-то перебивал с места, то ли вода, что в бутылку просочилась, сделала свое дело): «Недавно я рецензировал работу, посвященную испанской литературе XVIII века. Там было написано, что в этот период был разгул реакции, поэтому мало хороших писателей и нет великих произведений. Но, между прочим, в это время в Испании было тихо и спокойно, правил какой-то король. А вот XVII век в Испании как раз и ознаменован страшными насилиями, но в это время были Сервантес, Кальдерон, Лопе де Вега». (Иной читающий сейчас, спустя десять «застойных» и «перестроечных» лет, может, и вскричит: вот они когда начали... А я, разбирая тот отрывочный текст, признаться, даже не озлобился, подумавши: тут-то бы и быть настоящему спору — и о человеческой трагедии вообще, и о том, отчего в ней так часто самое высокое приходится на времена обвалов и падений, и наши собственные «страсти-мордасти», в этом свете рассмотренные, многое бы нам разъяснили.)

Но дальше, строчка за строчкою из уцелевших. Смотришь, не одни ведь ретрограды, захватившие инициативу, в атаку тогда шли, была и «активная оборона». Была, была и оборона, правда, бескровная и ие шибко активная, а уж о «контрнаступлении» и говорить ие приходится, не было его, поелику и плацдарма для него не нашлось... Разбираю, переношу иа лист; «Палиевский — критик талантливый, я люблю его читать. Но мне кажется, что разговор у него был зашифрован... Зашифрованы были прежде всего нападки на Маяковского... Сказал бы честно о желтой кофте. Я был у мамы Маяковского, она мне сказала, что Володе не в чем было выступать и из куска старого занавеса соорудили пресловутую желтую кофту... А в действительности он с юности был истинным большевиком». А вот из другого говорящего: «Мне интересно читать Палиевского, нас объединяет общая страсть к рыбной ловле... А в его сегодняшнем докладе меня поразила робость. Нежелание определиться на площади». Впрочем, не произвол ли так — кусками — цитировать? Но бутылка ведь; к тому же и другие строки у тех же ораторов расшифровке поддаются — и уверенные строки и даже оптимистические. У второго из ораторов, например, концовкою: «Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени (**год 1977-й.— М. Г.**), времени, которое дает разным режиссерам, вне зависимости от состава их крови, право по-своему ставить классику. Времени, когда повернуло на «ясно», когда все хорошо! И в такой момент докладчик, к моему удивлению, бросает в зал некий мрачный литературный SOS». И еще — у первого из тех двух ораторов, что от «зашифрованного» Палиевского открещивались: «Среди левых на Западе распространено представление, будто патриотизм — последнее прибежище негодяев. Против него всегда выступала русская культура». Тут уж, согласимся, вполне хорошо, ие правда ли? Так откуда же тоска, не только тогда меня охватившая, но и ныне, в совсем будто иной год?

Оиа, тоска эта, не от слов и даже не от отдельных зиаков смысла либо бессмыслия, а от склада этих слов, от их звучания, от рекущих уст. Конечно, по былой мерке, той, с которой в жизнь вступил и в ней существовал многие годы, по той мерке все ясно: кто здесь ретроград, кто прогрессист. По той мерке — да. А если и сама мерка сдала, треснула и от нее отваливаются уже не какие-нибудь второстепенные слова, а корневые, заглавные? На чью сторону встать? И может, этот «мрачный литературный SOS» именно тем, что SOS, оказывается ближе мне, хотя и из вовсе не близких уст раздался?

И одно место из того текста особо запомнилось. Оно даже не место, а вопль, и хотя на бумаге вопль от шепота не отличишь, но именно таким оно врезалось в память, отделяясь и от натужных громкоговорящих, и от вслух отмолчавшихся. «...Начиная с первого выступления, меня начало трясти. Второе было продолжением первого. Если эту линию не прервать, то третье будет чудовищным... Ваша воинственность замешена на чем-то дурном... Опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами». Помогли ли ему (и нам) эти молитвы, смахивающие на заклинание, на самовнушение? Сегодня вроде бы и ответить нетрудно. И в ответ войдет судьба молившегося, злокозненная судьба, какую также в одну рубрику не загонишь. Этот человек не знал тогда, что ему осталось жить считанные годы. Имя его уже упоминалось выше, он тот самый режиссер, с постановкн которого жена другого, ныне весьма активно существующего оратора, уходила, не прерывая рыданий в течение тех пятнадцати минут, какие отделяют их дом от театра... И его, того режиссера, речь, речь-стон, звучащая ныне как завещание, она для меня где-то рядом с тем «мрачным литературным SOS», и это уже не он, покойный, а я, еще живущий, спрашиваю: отчего же рядом, а не вместе — стон и SOS?

Понимаю, что никак им вместе не быть, но почему-то вопрос этот не уходит, бередя старое, незаживающее. Оттого бутылка в море — не игра, а всерьез. Как весть о пропавшем, кто не дождался спасения. Как боль за тех, кому грозит гибель заживо... Что остается сказать? Хотя я слегка сократил прежний текст, но изменить его строй, его лексику уже не в силах. Не в снлах очистить его от темных мест, будто закодированных ссылок на события и людей. Доверься, читатель,— не от цензуры спрятаны они. Так писалось. Писалось как раз для внецензурного свободного московского журнала, который назывался «Поиски». И «сей журнальный лист», упоминаемый в начале статьи, это именно поисковский, тогда преследуемый, с уже заведенным на него уголовным делом...

Вероятно, столкнувшись в тексте с «блаженным академиком», читатель без труда опознает в нем Андрея Дмитриевича Сахарова, уже ушедшего от нас, уже потерянного нами, но боюсь, что в «безумном генерале» не все узнают отбывшего также на тот свет замечательного человека наших Шестидесятых — Семидесятых — Петра Григорьевича Грнгоренко. Впрочем, уверен, все станет иа свое место — раньше или позже. И никого не удивят, например, слова о Лобном месте, ставшем «заново — из музейного нсторическнм». Демонстрация 25 августа 1968 года, устроенная там, напротив Спасских ворот, в честь Александра Дубчека и его сподвижников, устроенная несколькими женщинами и мужчинами, будет отмечаться вселюдно как символ неутраченного гражданского достоинства, как один из предвестников нашей общей победы — над страхом и над бессилием. Да оно к тому н идет, мучительно, правда, но идет,— разве не так?

Сегодняшний день подстрекает: нсключи неоправдавшееся, риторические вопросы с мрачным оттенком. Ведь тот «безумный генерал», что не проторил дорогу крымским татарам к домашнему очагу, все-таки достиг этого, хотя и посмертно. А Дело «блаженного академика» дало и всходы, и даже зрелые злаки уже прн жизни его: и «холодная война» (с ядерным запалом!) пошла на убыль, и опустелн лагеря, предназначенные для узников совести. К чему же те строки в тексте, публикуемом спустя годы? Соображение очевидное: вымараешь одно, подчистишь другое, и уже не тот текст. Быть правщиком собственного духовного опыта, каков бы он ни был,— роль незавидная. Но есть и доводы посильнее. Когда к жизнн возвращаются ее права, не дремлет и смерть, обновляясь на свой лад. Я не о естественной смерти, даже если приходит она досрочно, тяжко раня сознание живых. Я о смерти-убийстве, об основоположном грехе. Человек — убийца отроду, но и человек он — в меру того, что превозмогает заложенное в нем. Не единым разом, а эпохами, поколениями, работою духа. Превозмогает, ибо не защищен от возвратов. Ныне в самом разгаре — и новый возврат, и новый труд превозмогания. Везде, и у нас дома также. У нас сегодня в особенности.

И оттого порыв — предать гласности старый текст. С нескромным желанием: может, то, что мучило меня в конце 70-х, найдет отклик не только в согласных со мною, но и в несогласных. Хотя бы в одном из них.

К первоначальному тексту я добавил лишь посвящение — Инге Баллод. Она была мужественным журналистом, неутомимой защитницей гонимых людей. Я убеждеи: проживи она еще немного — полностью раскрылось бы и ее писательское дарование. Была она настоящим другом. Ей нравился этот текст. А так как она была редкостной жизнелюбкой, она убеждала меня в самые тяжкие годы: поверьте, время придет, вас напечатают и поймут. Я не уверен в последнем. Но лучшего способа отметить память Инги, чем посвятить ей эти страницы, у меня нет. Отпущенные же сроки сокращаются.

30 января 1990 г.

Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем... Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается и даже нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться,— он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий.

Ф. Достоевский

> Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете... Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность... Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!
>
> *О. Мандельштам*

> Припоминается, что Россия реалистическая страна.
>
> *П. Палиевский*

Вспыхнул и отшумел спор, который, впрочем, не спор. Спор — значит спорящие налицо, а где они? Нынче — где? То есть вроде бы есть: о двух ногах и с речевым аппаратом без выраженной патологии. Но спорящие ли?

Не узнавши, как продолжить? Однако что, собственно, и узнавать?

И без того известно. Ежели диалог, то две стороны, сторона же — это люди, у каких на лбу не написано: «прав», «не прав». Без инаких, несхожих к чему и сам спор, тот ли, этот ли? Можно и без залы для поисков, и без журнального листа с той же целью. Но это только так, прибаутки вроде: ни залы, ни листа. Поелику без них никак; для спора также пристанище нужно, и для самого спора, и для равенства в споре. Одно дело самому себе доказывать, самого себя спрашивать, и совсем другое — вслух, разные голоса в ответ различая, голоса и доводы, голоса и сомнения. Но как раз тут у нас и неувязка. Зала-то есть, и не одна, но не для разных голосов, и выходит, что чистый мираж она, и даже в таком, самом что ни на есть привилегированном месте, как знаменитый Союз при Литфонде, где допускаются и «экспериментальные дискуссии», и иные эксперименты, спланированные и вовсе бесплановые, почти самозваные,— так и там мираж, именно там-то и мираж.

И оттого сей журнальный лист, пожалуй, единственный немираж, чреватый... и обязывающий. К прямой речи, к открытому забралу. И, к будто противоположному, перо само выписывает — к терпимости.

Но — нет. И не потому, что не наше это дело, не так воспитаны; пора б и подвоспитаться. По совсем иной причине — мало этого. Вчера вроде достаточно бы было, если б было, а сегодня смотришь — недостаточно, и недостаточность эта — капкан из самых скрытых, самых коварных.

Уступить бы рады, но что и ради чего?

Согласиться всем нам, чего бы лучше,— но на чем?

Однако при чем тут все-таки действо, разыгранное на подмостках ЦДЛ? По всему видно, не дискуссия, не диалог, даже не сшибка ответов, а уж о вопросах и говорить неуместно. Не то занятие, не те слова. Развлечение в кругу избранных, маленький светский скандальчик, не первый и не последний дебош «у Грибоедова», неизвестная главка из романа блаженных Тридцатых годов, столь милых сердцу Петра Васильевича Палиевского — разве не так? Разве больше, чем эпизод, на какие особенно щедра наша публичная жизнь? И шум-то из-за чего?

...Классика и мы. Вечная тема. Вечная, а по нужде и дежурная. Неизменные страсти, которые, впрочем, и симуляцией их готовы стать. В самом деле — что более относительное из безоговорочного, чем классика? Назад глядя — в единственном числе сомкнутая в общий ряд (слева направо, справа налево — равняйсь!). Но так ли? Факты вопиют — не так. Чужие факты и свои, свои даже больше: виднее, больней. Пушкин и Тютчев — идиллия? Знаем, что нет. И недоумеваем: что помешало им быть «современниками»? Возможно, в самом вопросе ответ. Пришла пора совпадений во Времени — пора небывалой близости. Потомков с предками. А стало быть, и предков друг с другом...

Так и породнились сегодняшним днем Пушкин с Тютчевым. И разве только они? Школьник не спутает: Достоевский со Щедриным и жили, и писали в одно и то же время. Но чем измерить их родство в противоборстве? Темами, «предметами» или силою сердечной и умственной боли? Взаимными прозрениями или также взаимным бессилием ответить на конечные вопросы, а еще — и всего больше — невозможностью уйти от них, конечных, раздробив на сиюминутные, частные, прикрепленные к своему стану, обособленные «своей» Россией?

Сквозь весь Девятнадцатый к Двадцатому — великие односторонники, каких не знала, вероятно, ни одна из человеческих цивилизаций. Великие односторонники, разбившие душу и ум о непостижимость целого, что лишь значится отечеством в отечественных границах, на деле же и шире и дальше... Но не до безграничности ведь, а если и в самом деле — без границ (вся человеческая вселенная!), то как постигнуть ее, безграничную, чтобы не потерять ее же — в людях: читающих, внимающих, способных внять (не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра); а вместе с ней — не потерять бы ненароком и себя, а с собою... опять-таки ее, все-таки ее — ту Россию, какой несть числа в верстах и людях, великую и страшную, близкую и чуждую, узнаешь ли наперед — кому она ближе, кому чужей?

Размолвки, разрывы, одиночество, секты, вражда... Что породнило Блока и Мандельштама, Маяковского с Есениным — смерть или также последнее слово перед смертью, последние муки слова, и снова неподвластность смысла, и вновь — измены его?

И потому, и вопреки сказанному не классики. Классика. Из этих мук и различий — одна, единственная.

Так ведь и это не вполне так. Совсем недавно как будто на самом деле была она одной-единственной, сегодня же вновь в дележку пошла. Сегодня заново: чья она, классика? Спрашивается — кому принадлежит, а подразумевается — кому принадлежать не вправе.

И потому не случайность, не оплошность, не привычка к расхожим этикеткам: «классика и мы». В самую точку: м ы. И не в том загвоздка — жива ли она (будто может жить и ожить сама по себе), а в том — живые ли мы?

Как ответить, чтоб не соврать, даже наедине с собой (особая ложь, очень облегчающая ту, наружную). Даже наедине — как признать: не живые. Не мертвые и не живые. Посередке; временно ожившие — и середка эта на всю оставшуюся жизнь. Оттого, верно, и с классикой у нас отношения ни на кого не похожие. С одной стороны, любовь и почтение, можно сказать — без удержу. И к собственным, своей эпохи мертвецам отношение сильно улучшилось; даже совсем недавних, досрочно умерших — в классики, и без промежуточных возводящих инстанций. Зато с другой стороны... О, другая сторона эта велика и обильна, со множеством ликов и личик. Тут и сокрытие заговариванием, и забвение посредством телебюстов и юбилейных венков; и, разумеется, охрана. Охрану — к классике! Да понадежней! Анкетой, понятно, в таком деле не ограничишься, старшины сверхсрочной службы тоже не ко времени — огрубят да и сбегут при первой угрозе. Нет, здесь верные нужны, на верность испытанные. Тут... как не вспомнить невянущее: «прогрессивное войско опричников». Метлы в ход!!

Глядишь, и сама классика как-то изнутри сплачивается. Олимп тесен. Рука зудит — чистку бы там. Случайных, не по чину выдвинутых, не оправдавших доверие и просто несвоих — вон! Классике просторнее, и нам сподручней. Мы ей подмогли, она к нам на выручку, при случае и дубинкой сподобится стать. Притом не простой дубиной, опять-таки — не те времена. По нынешним она вроде без сучка и задоринки, всеядная, что ли, едва не универсальная: ею и «обыкновенный марксизм», и самое рядовое мракобесие, и оно же рафинированное, все в арабесках,— и те, и другие, и третьи пользуются, а иной раз и вовсе смыкаются в одну нестройную колонну.

А авангардизм, а модернизм, чем вам не дубинка? А их будто в ход не пускали, а если и не пускали в их настоящую силу, то все еще в нашей власти (коли власть — мы), надо будет — и запустим, самнистировав для того предварительно,— и тоже по темечку, по темечку. Может, и без летального исхода обойдется, но уж одним-то эти дубины и дубинки, классические и неклассические, ГОСТовские и самоделки, всегда наградить готовы: немотой.

Особенной — нашей. Говорим, а немые. Шумим, заглушая иной раз друг друга, а слов — человеческих — не слышно. Онемели на те самые слова, которыми бы к тому самому смыслу пробиться, какой вроде бы и наличный, но нет его. Присутствует отсутствием. Ухватили было, однако удержать ли, коли руки дрожат? А как не дрожать им, когда ум измучен и снова — все вопросы разом. Либо один, остальные в себя втянувший...

Подходит ли: что делать? Пожалуй, нет. Репутация у вопроса неважная. Делать что-то, разумеется, нужно, вот как нужно, но самое деланье под вопросом. Может: как жить? Так и жизнь уточнения требует, и не просто данная, а сама по себе — Жизнь. Скорее: кто мы такие и что же мы такое? Откуда — и зачем? Мы все. Здесь. И ответ будто рядом, совсем рядом с тем, чтобы «просто-запросто пулю в лоб», однако знаем, что не по-человечески это, против естества, и одним маршем к... «трогательной простоте», какой и вопросов этих треклятых не нужно, и слов особенных, на худой случай одними междометиями перебьется. Трогательная, она и есть немая.

Тогда решиться — и заговорить! В споре, спором!!

Спору приоритет, поскольку в спорящих нужда. Им — в «Доме Герцена» тот спор впрок и нам. Спор — переспоривание. Жизнь идет, продолжение следует. Так. Но...

Запах смущает. Чем-то смрадным, дурным потянуло. У обоняния своя память. И она нынче лихорадочно перелистывает календари назад. 1963-й? Эрнст Неизвестный, Манеж и Хрущев? Нет, пожалуй, страница не та, она сама не своим отрыгивает. Еще назад... 1952-й? 1949-й? 1946-й? Да, здесь. Мы на месте. Мимо не пройдешь. Чересчур много примет. Меньше, правда, много меньше крестов и безымянных могил, чем в 30-м, 37-м. Но скованных уст, но раздавленных душ, но сызмальства совращенных — меньше ли?

Последних особенно. Совращенных у порога так называемой сознательной жизни; тех последних, кто у нас сегодня кандидатами в первые, их черед подошел (закон природы!), а что без совести они (именно: не бессовестные, это уже второй очередью, и тут свой ранжир, а без совести — за неприложимостью ее, а раз неприложима, значит, и ненадобна, и это уже поголовное, непременное, селекцию направляющее), то опять-таки не их тому вина, а давнее, проклятое время виною. Оно — и Он. Он, что также был на пороге, своей ли смерти или общей — вселюдной? Впрочем, «46-й», «49-й» — лишь преддверие. Лишь вступление к «52-му», которому также бы быть прологом или уже развязкою?

Анафема Зощенко и Ахматовой, отлучение Василия Гроссмана — это все-таки лишь отработка сценария, репети-

ция главного акта. «Холодная война» — она ведь по самому зачину своему в горячую рвалась. Извне вовнутрь — оно вроде бы заметней (и надо было, чтоб заметней!). А изнутри вовнутрь — тут какова цель? Ждал пополнений Архипелаг. А может, уже и не сам Архипелаг, а особое, в новинку и в устрашение всем заполярное гетто? А может, и это мы говорим лишь потому, что дальше воображение нас не пускает, «экстраполируя» привычное; дело же шло к непривычному (даже для Него), к неподконтрольному — ни для кого в державе, ни для кого на свете.

Началось же, помнится, у нас с этого самого: «Классика и мы». И не на тех ли самых подмостках началось? Или ЦДЛ нынешний еще не отстроен был после безобразия, учиненного Коровьевым с Бегемотом, не оправился? Да нет — самый расцвет. Старые имена снова цвели, новые распускались, самое время препятствия цветущему убрать. И почему б, в самом деле, А. А. Фадееву не порадеть за обижаемый формалистами или даже антиреалистами, едва не масонами, Художественный театр? Гордость наша, наша классика, и если даже охромела, то позволительно ли было, вторя уже небывшему Михоэлсу, поддразнивать чайкой, якобы навсегда улетевшей со старого заслуженного морозовского занавеса? Что же касается способа, к которому прибег Александр Александрович, то тоже изобрел ведь не он, интеллигенты всех толков по сей день пользуются, когда на их мозоль наступят (или когда заветное слово надо произнести): «Москва, Кремль, Имярек». Куда выше? Потому и за последующее в ответе уже тот, кого выше нет, по крайней мере в наших пределах и в данный момент. В защиту же тогдашнего главы Союза писателей заметим, что и он, искушенный, вряд ли знал, чем окончится начатое уже не вполне им и для начала не столь уж незаурядное дельце, не слишком невыносимое для совести. Нет, скромное, частное. Всего лишь безымянная статья в «Правде» и посвящена-то была «одной» (!) группе театральных критиков.

Много ли? Не разбиваться ж в лепешку из-за нескольких, да еще, возможно, не вполне невинных? А дальше... дальше разверзлась инициатива снизу — правда, по спискам, спущенным сверху, но опять-таки не ордера же на арест спускали. То есть — не спускали сразу. Согласно обычаю нашему (а мы бережем обычай), и это действо эшелонировалось. С перерывами, чтобы перевести дух, чтобы гонители и гонимые освоились с новыми ролями. Чтоб и те, и другие вошли в роль!

Да, и гонимые тоже. По мудрому рецепту государственного ума человека, без пяти минут гуманиста и уж, во всяком случае, патриота, без сучка, без задоринки — незабвенного Порфирия Петровича: «Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? За границу поляк убежит, а не *он*, тем паче, что я слежу, да и меры приял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современный-то развитой человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе! Но это все вздор и наружное. Что такое: убежит! это форменное; а главное-то не то; не поэтому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня *психологически* не убежит, хе-хе!»

Вроде бы деталь, заострение стиля и еще — приемчик, дабы преступника расколоть, не вполне обыкновенного преступника, а убийцу без корысти, хотя и не без расчета, а каковой расчет — не сразу поймешь, не поняв же — к признанию не принудишь. А тут все дело-то в том, чтобы к признанию принудить, к раскаянию, какое с УК совпало бы, а если б и не совпало с тем кодексом «уголовным», что есть, то другой, какому еще быть, явило бы, оправдало б собою.

А может, и вовсе не в этом дело, может, в совсем другом оно. Может, и убийства-то не было. Не то чтоб чистая видимость, но и не то, чтоб очевидность. Не то и не другое. Лишь намерение. Наваждение. Фата моргана-с. Вот тут-то и не проморгать. Момент не пропустить. Сей позыв и довести — до собственной его полноты, поскольку преступник-то как раз сам и не доведет, и не то чтоб до исполнения, так и до замысла не доведет. И даже не на замысле споткнется, а на замысле замысла. Оттого и надобен нам с Порфирием Петровичем (и с тем, что упредил, и с теми, кто вслед ему), надобен обратный ход: сначала злодея соорудить и лишь затем, душу его ухватив, до замысла злодейского ее и довести. Ею самой и довести. Исступлением до преступления.

Собственно государственное с этого-то и начинается. Профилактика, профилактика! Иначе нельзя — Россия ведь. И не в том только дело, что велико пространство и людей немало; как усмотреть за всеми, чтоб не отклонялись, чтоб все на одно лицо были — для удобства управлять. Но все же не вся суть в этом, а в том она еще и в том особенно, что развитие есть, и это-то развитие, оно не столько в учреждениях специальных, в них-то его немного или совсем мало, и даже не в книгах оно, хотя без них вроде бы и вовсе его нет, и даже не в слове изустном, хотя им-то прежде всего другого и движется оно, им клокочет, в смятение сердца и умы приводит... Так даже не ими самими развитие это самое на этом самом пространстве себя заявляет да еще к особенности тянется, на исключительности своей настаивает. Но ежели не ими, не ими самими, то чем — сверх? Смешно сказать: человеком. Голеньким. Одна только видимость высокопарная — *субъект*. Посмотришь же, что у него за душой, кроме древними придуманного и отечественным, с позволения сказать, Искандером повторенного: omnia mea mecum porto,— так истинно: только то и носит, что самого себя, только с тем и носится, что с собою. Весь — из гордости с манией реформаторства в придачу. Гордится тем, что лишний. А потому и лишний, что гордый. Потому и не нужен, что всем себя навязывает. Ему, видите ли, мало себя и себе подобных, на всю Россию притязает, на все пространство — людское, наше; лишь отъявши его у тех, кто суть — держава Российская, обещает нелишним стать, на меньшее не согласен. Умствует: Пространство это на Время обменяю. Не может в толк взять, что и то, и другое у нас, как у всех, неотделимо, и если чем от других и отличаемся, то тем только, что, друг от друга не отделимые, они и от власти не отделяются. У кого пара, а у нас тройца: Пространство, Время, Власть.

Сказано ведь: умом Россию не понять. Классикой-то и сказано, и хоть после тысячу раз повторено, но, по всему видно, не всеми освоено. Выучить выучили, а смысл пропустили. Смысл же этот не в России, которую будто не понять, а в уме, какому понять не дано. Вот этому-то, на особность, на исключительность притязающему, как раз и не дано. Рубикон-с. Перешел — и России нет. России нет — ум потерял... А развитие-то, оно в таком случае — чье? Кому принадлежит? Ежели России, то опять глазомер нужен. Такой, чтоб одним разом всю ее охватить, и Тихий океан, и Кушку наперед исчислив, и чтоб Воркута с Магаданом в нужное место и в нужное время вошли. Глазомер этот опять-таки — Власть. Наша, с любой не схожая. И в том именно смысле не схожая, что *недолжному развитию способна должным развитием предел положить*. Им держится, поелику им держит. Отчасти, правда, видимостью его, однако видимость эта и головы и усилия требует, а то и вовсе наоборот: не для показухи оно, должное развитие, а для дела, и опять-таки — державного, всея Руси... И эта-то часть особливо нуждается, и, само собой, не в ухищрениях, не в рефлексиях разных, а в рвении и еще — в таланте служить, в воображении для исполнения; тут бы этого голого человечка и к делу указанному, вицмундиром наготу его прикрыв, так ведь не хочет, в клочья рвет, за насилие принимает и грозится насилием же ответить. С таким каши не сваришь. Совсем иной нужен. Надо б особую породу вывести, а как выведешь, когда матерьяльчика нет, а тот, что есть,— порченый. Отроду порченый. Всякими там преданиями, клятвами на каких-то горах, барской праздностью, тягой неистребимой — к изгойству, к отщепенству, к вселенской панибратчине, что вкупе такой гибрид, какой ни лаской не проймешь, ни силою не урезонишь... «А нервы-то-с.., вы их-то так и забыли-с!» Кто забыл, а Порфирий Петрович помнит. У него все на учете — и предания, и клятвы, и панибратчина эта, и нервы, и желчь от гордости и ненужности. «Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода рудник-с!»

Случая — не ждать! Лучше, надежней того: самому этот случай сотворить. И не раз, и не два. Творить и творить!

Далеко вперед глядел Порфирий Петрович, куда дальше своего времени. Прямо в наше. И в полно-кровные Тридцатые, и в пусковые Пятидесятые. Куда убегать, скажем, ветерану Октября, хотя бы это уже не признание было, а просто звание, и не столько обязывало, сколько позволяло? В этом-то последнем случае и вовсе не к чему убегать, но и в первом, остаточно-чистом, непритворночистом случае — к чему убегать, с чем и зачем?

В глубину отечества, что ли? Так ведь не спрячешься ныне, все как на ладони. Сам себя не свяжешь, другие свяжут. И хотя вроде совсем не та эпоха, но не оттого ли «современному-то развитому человеку» не спрятаться в собственном-то развитом отечестве, что в той же глубине те же люди живут, каким не до Родиона Раскольникова и его, раскольниковского, «дикого и фантастического вопроса», не до спасения униженных и давимых — всех до единого и единым махом!

Впрочем, почему это им не *до*, это еще доказать надо, ибо есть и от противного доказательства, то бишь от истории. Там, правда, Родион Раскольников прямо не фигурирует, он и его вопрос, он и Сонечка Мармеладова, без которой и не тот роман, и не тот вопрос, поколения мучивший... Но ежели пристальней — в историю: ближнюю, нашу, и опять-таки зрачком классическим, платоновским ли, мандельштамовским ли, шаламовским ли, то как раз в этом ближнем пристальном случае снова тот же вопрос, и вновь не прямо, еще подспуднее,— и в том ли тайна, что врозь они стали — Родион Раскольников и Сонечка Мармеладова, а если тайна (тайна!), то что самое тайное в ней, как не помеха к встрече их, как их непересекаемость: судьбами, душами?

Если это поймешь, то считай — в самое сокровенное проник: России и Мира, мира России... расплатившись за это. Не расплатившись, не проникнешь.

Вот он где — смысл. И опять-таки не в метафорическом значении, а в самом непереносном, от какого ход и к хлебу насущному, и к той самой земле, что для мужика всюду Земля, в России же в особенности; смотришь, и проблема проклятая — «в глубину отечества убежит ли?» — каким-то другим боком поворачивается, тем самым, по какому ис-

тория свой маршрут и прокладывала. В нашем отечестве и прокладывала: то заявляя его, глубинного человека, хозяином этой самой земли — Земли, то во имя его же, глубинного, отнимая ее начисто. Или только так грезилось, что «во имя», а на самом деле подмена состоялась, и как состоялась, то уже по иному, не Порфирием ли тем же подброшенному или только в ход пущенному сценарию все пошло, и от раскольниковской «дикой, фантастической» идеи лишь то в этот окончательный сценарий попало, что соседней, кровнородственной — наполеоновской ли, ротшильдовской ли, батыевской ли — идее соответствовало, какая дозволяет ту же кровь, но *ради власти — размахом в Мир*?

Нет, от этого и после этого не убежишь, и как раз в остаточно-чистом, непритворно-чистом случае менее всего убежишь. В отечестве — «социалистическом» — укрытия нет, а вне его тем паче. И впрямь: с чем и к чему *туда*? Чтобы оттуда к прежней чистоте воззвать, ее предъявив Миру как вызов домашнему нечистому? Один-то воззвал, как не вспомнить, да еще один, ныне в память возвращенный, и еще — не столь приметные, но все-таки не в том только суть — сколько их было, *оттуда* воззвавших, а в том, что ответила бы им «глубина отечества», если б даже и дошел их голос?.. Тем же, у кого на *убегать от себя* запрет, какой выбор оставался? Ту самую «пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом»? А если не это, если не успел кто, если не решился, а если места уже нет для «всех вопросов разом» и от былой изначальности осталась лишь «трогательная простота» (простота преданности, простота рвения),— то ею что выберешь или уже не выбор это. Нет его уже, выбора, ни вне тебя, ни в тебе самом. Ни в тебе самом — вот где твой «рудник»...

А другому человеку, кто вроде бы и от раскольниковской и от батыевской идеи на версту, а к этому сценарию причастен лишь по временному увлечению, а больше по нужде, какую, однако, закон той жизни (весь свет включающей и избавляющей) в добродетель переименовал, в добродетель перевернул,— и вот она пошла, пошла добродетелью на разные лады и манеры: тут и гомологической добродетели *до поры до времени* местечко нашлось, и яфетической, и звездоплавательной, а об атомной и говорить нечего, тут уж не до поры до времени, а на веки вечные вместилище, впрочем, как и тем, кто в «инженеры человеческих душ» произведен был и утвержден. Этим, особо произведенным и утвержденным,— куда? Уже обвыкшим, уже незаменимым?

Психологически не убежит, хе-хе!

Не правда ли: превосходная тема для диссертации, лучше бы для докторской (кандидат, пожалуй, не потянет), либо для симпозиума — внутреннего, но попредставительней, а для научно-практической конференции так краше темы и не сыщешь. Одна беда — необозримая она. Не поймешь — где ей начало и быть ли концу?

Для удобства хорошо бы сузить. Сказать себе: пройденный день, поскольку отчасти уже и разрешено убегать, в главном же — «психологическом» разрезе — сами себе разрешили. И никаких больше добродетелей этих, что утопиями именуются. Сыты ими по горло. На этих самообманах и самообманчиках жирную точку поставили. Как раз на том, собственно, и сошлись, точкою этой и соединились ныне. Чем еще?

И ведь не по своекорыстию сошлись, а, если угодно, из сознания долга: перед собой и перед жизнью, перед всем, что хлебом насущным зовется; и хотя понятие это весьма расширительное, и сказано даже: не хлебом единым,— но когда о нас, нынешних, речь, то и буквальный смысл кстати, он-то прежде других. И тут уж не до земли, той, что Земля — одна на всех и для всех. А о той речь, что просто земля, и для того просто человеку дана, чтобы родить ему же — и хлеб, и речь, по которой только и узнаешь, кто ты и откуда. Околица, не околица, но свой предел. Предел — то бишь граница. А ежели кому-то невмоготу, что граница эта с той совпадает, какою предки нас наделили, то прощения просим. Не по пути. Не по пути-с.

Хорошая вещь — ясность. Ради нее и пострадать не грех. Когда бы ясность. Если б не крючок с наживкой, заглотнешь и каюк, поскольку воздуха нехватка. Кому-то Раскольников по ночам с топором окровавленным является, а кому-то Порфирий со сладкой улыбкою и со словами умильно-жалостливыми: «Припадочек у нас был-с!»

Был-с... и весь вышел-с? Точно не скажешь. Про нас, здесь, не скажешь, пока не пробил час. И чему час, не угадаешь, но есть знамения. И хотя больше тех, в последнее время как раз больше тех, что сулят не добро и не милосердие, но ведь и иные знамения есть, какие не то чтобы сулят и даже не то чтобы обещают заслонить от тех, что сулят, однако же...

Сохранило ли Дубчека Лобное место, заново — из музейного — историческое? Не сохранило, не уберегло, да и могло ли? А раз не могло, то стоило ли тому событию быть, что ни в каких календарях нынешних не отмечено? И опять-таки не в шкурном смысле — «стоило ли?», а именно в историческом, поступательном, прогресс сулящем? Вопрос иронией отдает, но в чей адрес она? В тех ли, кто в тот памятный день на том памятном месте «правила уличного движения» нарушил; так об истории ли думали, на сохранение ли Дубчека рассчитывали? Нет ведь. Проще, проще. Совсем просто: по-другому не могли. Не они, конечно, те танки двинули. И против танков опять-таки бессильные, однако же... Ниточка незримая протянулась — от Высочан к Лобному, а от Лобного к... Не вполне ясно: куда, к кому?

Ответишь ли, не испробовав сызнова, не рискнув? И не одними напастями сроком в добрую часть жизни, но и совестью: выдержит ли, когда на начале нить эта и прервется, как уже бывало в истории нашей не раз, не два (и 19 февраля на память, и те судебные уставы, и многое другое, что после, что, начавшись, в обрыв пошло). С другой же стороны... С другой, сдается, лишь на один зубок нам, теперешним, и былой прецедент утраченный, и даже ближняя эта пражская весна. Что-то сверх требуется — неведомое, неназванное, и чтобы опять-таки уместились в этом «сверх» и «исконные» земли, и те, что уже веками в «присоединенных» ходят, и те, кого при нашей жизни в лоно вернули (и еще с прибавкою),— все они, да и нынешние «вольные» Воркута с Магаданом.

Разгадкою всем загадкам нашим это самое *сверх*-отечественное и всесветное: врозь и вкупе...

В знаменитом пушкинском стихе, или притче, или покаянии с присказкою, так там сначала бес-одиночка, и не очень страшненький, так — забулдыга, дебошир, пересмешник, любитель розыгрышей. Сначала один — и лишь затем во множестве, считать не пересчитать, и уж иного свойства они. «Бесконечны, безобразны / В мутной месяца игре / Закружились бесы разны / Будто листья в ноябре». Бесы разны — какое из слов в курсив просится? Кто-то «бесы» тремя чертами подчеркнет и пальцем укажет... Мы же — *разны*. А как иначе? Как иначе, когда «Все дороги занесло». Бесы-то, они все-таки производное. Истоком же, причиной причинам — все дороги занесло.

Это не признавши, выйти ль на большак? А может, не нужно — большака? Может, иначе: разными тропами... И каждый сам по себе. Сам себе хозяин, распорядитель судеб. Так нет ведь; и не потому только, что из распоряжения выйти значит у нас — вовсе вон! Есть загвоздка и посильнее, покруче. Хоть и разными тропами, но — куда? И сойдутся ли тропы или так и останутся, и уже не разными, а одинокими, и от одинокости безнадежными? Внутрь себя уйти, но и туда, памятуя былое, войдешь ли сам по себе? Без других, без «чужих», войдешь ли, не запнувшись, не ушибившись — об них?! И не то чтобы горесть или сладость от этих ушибов, а опять-таки просто: без этого ты не ты... А тем, кто после нас, им что оставим: душу ли, ничем не запятнанную, или ту, что вся в ушибах? А они, кто вслед, от чего свой счет поведут — от нашего ли чистого беснаследия или от спотыканий наших, каким счет потерян?

От того ли безумного генерала, который, как ни бился, не проторил-таки дорогу крымским татарам к дому-родине? От того ли блаженного академика, что ни мыслями своими, ни страданиями не остановил-таки ни ядерный марафон, ни лагерный?

Старый русский спор: одна простота против другой простоты. Сколько «эпох» между пушкинским ясным восходом и рассветом во тьме Федора Достоевского? Нашей Минервы сова вылетает безумной, блаженною...

Спасти ли, заслонить ли одного, одну, оставив неспасенными, незащищенными остальных — без единого упущения? Сомнение в этом. И взлеты, и падения от этого же. И раньше, и позже — ненависть, «раскольниковская», задыхающаяся ненависть к Петру Петровичу Лужину, к прекраснодушному попечителю, к рыцарю избирательного спасения, что всегда не без выгоды, и главною выгодою — сама избирательность; согласись, руку протяни, слопает, улыбаясь, по головке поглаживая, сердечным союзом награждая. «А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть...» Впрочем, не в Лужине одном напасть. Лужины — нуль без Дунечки. «Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст..; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина». Чем же берет Лужин-то? Жертвенностью Дунечкиной, для какой, однако, иметь нужно, чем поступиться. Последним остатком комфорта, обиходом человеческим — мало ли?

Ответом, да не ответом вовсе, а ударом — в душу и в мозг: Сонечка Мармеладова. Вечная, «пока мир стоит». Пока стоит Мир. Пока Мир стоит... Чтобы ее сохранить — не те слова нужны и даже не те дела. Слово. Дело. Единственное, до какого не добраться ни единому Петру Петровичу Лужину... Нет этих пресловутых золотых середин — и благо, что нет! Одни полюсы на свете — и благо, что одни! Сдвинуть их! Сдвинуть ими! И вот уже в отставке стоячий Мир расписанных обстоятельств и ролей. Отныне быть всеобщему броунову движению: исканий и воль, рвущихся к абсолютной — между людьми — гармонии. В каждый данный момент! В каждый, ибо иначе всякий «момент» — ложь и любая истина — ложь, поскольку за чей-то счет.

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» Это Мармеладов, пропащий человек, вопрошает, настаивает: «Надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Куда-нибудь... Русское, российское Здесь. Место, которого нет, если не в пути все. Но еще и время, которого нет: замерло, омертвело — в тех, кому некуда идти. У-топос. У-хронос. Простор безвременья.

Какими ж силами перевести *без в между*? Кто — поводырем к обездоленным дорогою?

Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине.
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

С юности множество раз читанное, а вдруг ударило. Третьим, последним «бло-ком» и ударило. Неожиданной переменою, хотя как будто не из чего б ей и взяться. То же небо мутное, те же ночь, и бездорожица, и бесы, что едва не отняли у путника рассудок. В самый бы раз им торжествовать, празднуя победу над человеком. Так нет же, все иначе. Уже не на снежной равнине они, а в полете. Стенающие, скорбящие...

Кто же даровал им эту вышину беспредельную? И Слово пушкинское отчего и их участью мучимо?

Загадка. Искать ли ключ к ней в окрестных стихах, в житейских напастях и тревогах? «Перелом в существовании» — словами лучшего из биографов Пушкина. Позади вольная жизнь, впереди — семейная и государственная. Добровольная несвобода... «Отец мой, ради бога оставь меня!.. Спаси тебя господь!». От «Бесов» до «Пира во время чумы» — два месяца и два дня, а от Болдина до Черной речки — неполных семь лет. И еще полтора столетия, вопрошающих, уясняющих: кто ж погубил Поэта, кто и чем? Вроде бы уже докопались — кто. А чем не уходит, втягивая в себя и новые имена и свежие строки. И заново возвращая к одной, к его судьбе: не добровольною ли несвободой погублен, и той именно «николаевской», своей, без какой не быть бы и вершинному Пушкину, а стало быть, и всему на Руси, что после?! ...От тех Бесов к бесовщине — так ли? Корень общий, а смысл? Сказано некогда и во все прописи вошло: две культуры. И впрямь две, только не те, что в «цитате». Ибо — культуры. Одна — дворянская, другая — разночинская. Различие же не сословное только (дворян и в разночинской не счесть). Не это в глубине. Там иная смена — облика речи, строя поступка, стиля жизни. Не шлагбаум, но пограничье. От декабристского равелина, от каторжанской общины «падших» — к Мертвому дому, к той России, какая вся пре-ступающая... Вот откуда она — бесовщина. Не отменою нравственности, это вторично, это затем. А первичное: абсолют ее! И вериги, и диктат. Диктат и диктующие — себе и другим. Всем. Всем в собственном Доме, и оттого он уже не просто Дом, а домашняя Вселенная, непременное русское человечество.

Дерзость ли помыслить — Пушкин против Достоевского? Мера против безмерности?! Не кончилась первая с первым, все пережившн, что было у нас и с нами; но вторая не отступает, приступ за приступом, в неразъемной схватке чудища добра и зла, для Других, сдается, тут и места нет. И хотя не поймешь — века ли прошли или вчерашний день напрямую ломится в завтрашний, но спор этот, встреча и схватка — меры с безмерностью (и добровольной несвободы с земным чистилищем?) — сквозь все, что культура и что много больше, чем она: жизненный обиход, наш человеческий нрав...

А нынешние мы на каком перегоне у этого спора, либо сам спор уже устарел? Либо по-другому: застряли. От безмерности — былой — откачнулись, а к мере — собственной — не пришли, ибо неясно, что она нынче, в чем и в ком? Не исключишь, что передвижка произошла. И меру, ее как раз ищи в безумных, в блаженных, а бесовщина, она к тем перебралась, в тех вошла, кто ею (и даже не на публичном сборище — с проклинаниями, с отмежовками, а в дружеском теплом застолье) инаких судит, с них наперед взыскивая, чтоб не смели ни колебнуться, ни оступиться — не обязательно, правда, к Мертвому дому вышагивая, но и не уклоняясь от него...

Да ведь и соблазн велик — снова преступить. В новую безмерность впасть, душу в нее вложить и заложить.

А на всесветных прилавках — муляжи мучеников и пастырей. Сличай с собою, примеряй! Вещай, пиши, учи!.. Но где место тому, кто тщится свести нечистую совесть (а если чистая, то к чему она — совесть?), свести ее с предвечными словами, свести в поступке, который из чистоплотности не соглашается передоверить никому?

Друг мой, давно неживой, неизвестно где захороненный друг, повстречайся мы, с чего бы начали — после долгого мужского поцелуя и долгих мужских слез?

Ты бы выспрашивал: как мы и что мы, а я б в ответ — тебе о тебе. О нас, здешних, сложно, можешь и не понять, да и стыдно. О тебе нестыдно, и не о том ведь речь, что было — жизнь тому назад, а о том, что будет... из того, что было. Как познакомились в 36-м, как шли по Горького, и ты рядом, своей милой припрыжкой. Помню угол и помню поразивший меня вопрос — даже не сам вопрос, а интонацию, серьезную, мучительную. «Как правильней — подавать нищему или нет?» Ты видел настоящую нищету — раньше, в голодные Тридцатые в Иванове, и теперь, на Шепелюгинской (что в двух шагах от шоссе Энтузиастов),— в развалюхе, куда выписал маму, где спасал соседскую девочку от дебошей, от непросыхающего мата, от оскорбительной бедности. Зачем же спрашивал? Хотел быть правильным — не напоказ, не для собрания, не для карьеры; ты и карьера — смешно подумать, и, знаешь, настолько смешно, что я даже представить не могу тебя на службе, а ведь у нас нет занятий, какие не служба, где не служат...

Ты был веселым и даже беззаботным, и только самые близкие могли догадываться, какие кошки с детства скребли твою душу. Мы говорили обо всем на свете, но многое я узнал лишь после: из

старых писем, из дневниковых записей по случаю... Прекрасный, когда был слегка навеселе, когда ты уходил из-под власти неверия в себя и в свой особый талант быть человеком, талант не ко времени, если он вообще бывает ко времени, кого ты напоминаешь сегодня, в день нашей встречи? Без всякой натяжки, без малейшего намека на нимб и даже с этой дурацкой песенкой, которую я ненавидел («У меня есть тоже патефончик»), ну кто же ты, как не булгаковский Иешуа, недоступно слабый, необъяснимо сильный. Готов поклясться: ближе нет к этому, чем ты...

Не сердись, мы просто долго не виделись, и ты многого, к счастью, не знаешь из жизни «добрых людей»: что с ними делали, что с ними сделалось. Не поручусь, что если б был ты где-то один, без нас, в 52-м, то не накинул бы на себя петлю, как Нина Разумовская. Нет, нет, ты этого б не сделал, ты чересчур любил жизнь и близких... Давай лучше вспомним, как расстались в 1941-м, на рассвете 14 октября, за несколько минут до того, как немцы начали бомбить Малоярославец, прежде чем войти в него. Я боялся думать, что тебя нет. А когда, спустя год, в госпитале меня догнала твоя похоронка, я сразу понял, еще не открывши, и сразу поверил. Мы же привыкли потешаться над тобою — в студенческой бане, когда ты снимал диоптрии и ничегошеньки не видел вокруг. Изрядно же ты надоел райвоенкому весной 42-го, пока не угодил в автоматчики. «Ваш товарищ Валентин Вайсман пал смертью храбрых с оружием в руках». Тот лейтенант не был стилистом, но он прибавил — сверх привычной формулы: «Вы можете гордиться своим товарищем». Они и сегодня, эти слова,— как упрек... Я любил его, я привык к его верности, но гордиться стал позже. Я опоздал. Я обделил его этим при жизни. Впрочем, не все ли мы, тогдашние, отучились либо вовсе не выучились — гордиться?

«Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?» Знаешь, я часто думаю: была ли наша юность гордой? Непреклонной — да. Терпеливой — да. Но гордой?! А может, это удел немногих? Может, с этого и начинается особое — классика? Может, без этого не было б ее, а без нее и не-гордых нас?.. Тогда в 41-м, когда топали от Десны, ты всё спрашивал дорогу, а я сердился (и поплатился за это). Меня, вероятно, одолевала дурацкая уверенность, что все неудачи (наши!!) временны, как же иначе, и потому надо держать голову выше, поверх голодухи и вшей. Но когда за Калугой мы увидели первый наш ястребок, слезы были на твоих глазах.

...Не подумай, что, вспоминая тебя — вслух, я хочу тобою что-то кому-то доказать. Я знаю, ты был бы против, ты просто возмутился бы. Так зачем же — о тебе сегодня, здесь?

Изволь. Я хочу тобою спастись от мрачной метафизики, от слов-призраков. Давай, как некогда, пустимся в бесконечное плавание общежитейского разговора. Давай обсудим: вероятно, раньше, чем всеобщий предок наш открыл жизнь, он открыл смерть. А свободу (смысл, цель, воздух) человек открыл рабством. С каких-то древних времен рядом то и другое. Смертию смерть поправ — это ведь не только звучно. Это серьезно. Был Рим — Мир. Невыносимая жизнь, жизнь-рабство, которой вызовом смерть-жизнь: единственный свободный — тот на Голгофе. А за ним «сораспявшиеся»... Образ, знак, катакомбы, гибель в муках — и лишь затем уже втесненная вера. Она — и ереси. Ереси — и инквизиция. Для учебников, по коим учились и учили, большего и не требовалось. А что еще — большее?

Ты не дожил до Победы, когда не только верилось, но и виделось: всё на свете начинается сызнова. После Голгофы Двадцатого века снова — смертию смерть поправ... Не получилось. Не вышло. Жизнь стала совсем другой, а люди? Где они, где поправшие смертию-жизнью жизнь-несвободу?

До жути открытый вопрос. И закрываемый — страхом, расчетом. И неведением, и цинизмом. Союзом их, сделкой их, их симбиозом. Что же — в противовес? Ты молчишь. Ты подавлен, милый друг мой. Я отвечаю. Мой противовес — ты.

Самый родной из тех родных, с кем прожили пять истфаковских лет — на Моховой и Стромынке, под Ельней и Москвой; из тех, кто убежден был, что если и погибнет, то не зря... Самый родной из них, кого потомок, не злобствуя, а с состраданием назовет — слепые. Из них, про кого потомок, преклонив голову, скажет — чистые.

Слепые и чистые: первые ли, последние ли? Смею утверждать, что в летописи Гомо на самых достойных страницах — они. На самых достойных, но на самых ли понятных, способных быть понятыми в нашем веке, веке-последыше или веке-зачатии?

Да вот еще: стал думать о тебе, и вдруг само выскочило нелепое, смешное. То ли в последний, то ли в предпоследний наш университетский год забавлялись тем, что писали на доске: «О себе скажи!» В адрес чванных, болтливых, скучных, да и просто в шутку. Страшное, что навязывалось, без расчета переделали в смешное — от себя. А теперь вроде в самый раз. Каждому — жалующемуся, ждущему манны небесной: о себе скажи!..

А что сказать о себе? Что годы идут, не уменьшая метаний, сомнений. Что растут груды черновиков — и на любой строке вопросительный знак. Что нет сил отречься от наших Воробьевых гор, которые даже клятвы не требовали, лишь звука горна, лишь заветной строчки: «Без Россий, без Латвий». Отречься от

Мира, равного человечеству, от человечества, какое ие меньше, чем Мир,— нет сил отречься, даже когда догадываешься: не быть ему, единому, себе равному человечеству.

С каждым годом и днем — ближе оно и дальше. И в каждом ближе — дальше. От нас, здешних, так пошло. Нами «придумано», мы сотворили это «ближе — дальше». А может, только такому человечеству не быть, которое выучили иазубок?.. «Теория не вексель, который можно в любой момент предъявить действительности ко взысканию». Недурно сказано, а? А кем, страшно вслух произнести, в молодости нашей не было чудища страхолюдней, чем этот апостол мировой революции, которого ледорубом по черепу, чтоб навсегда умолк. Он ли оказался прав либо и он банкрот?

Ни «в одной стране» — ни во всех...

Одно одинаковое, одинаковостью единое — н и г д е. И разное, непохожее, иеединое: то ли? То ли, о котором мечтали, ради которого гибли, мучили близких и истязали себя?

Туман, туман, а время не ждет, и твое собственное раньше другого. От времени не убежишь ведь. Или сегодня иначе, или сегодня иаоборот: не убегая убегаем?!

Припадочек у нас был-с!

Однако в 46-м, когда только иачалось *, и даже в 49-м, когда стало разворачиваться, не те все-таки сны снились. Не Раскольников с топором, не Порфирий со сладко-жалостливой улыбкой. Не преступление, не наказание. Не тем вроде жили. Не к тому вроде бы и наяву шло... Всего-навсего очередная идеологическая приструнка. Просто: дискуссия широких кругов общественности с литературными отщепенцами, а затем — их же, широких кругов, полемика с кучкой безродных космополитов (и хотя пополнение списков допускалось, но лишь до определенного предела, иначе — ие кучка). Не попал в список — живи, рождай, дерзай!

Да и кому, кроме испытавших страшное и угадавших неискоренимость его, пришло бы на ум, что возобновление — за дверью. «Если верить пифагорцам...» Хотелось не верить; даже тем, кто догадывался, хотелось не верить; что уж говорить об остальных — среди оставшихся жить, среди вернувшихся в жизнь. Кто из них, едва снявших шинель либо только отпоровших с нее погоны,— кто, и в какое зеркальце глядя, мог узреть себя ж, одним махом превращенного из сильного, уверенного, блаженно счастливого, безмятежио-открытого (всем, всем!) в постыдно-слабого, в мучимого и в мучителя, и без всякой ворожбы, безо всякого колдовства, даже без особого понуждения.

Один только списочек к началу... Тайна, тайна из тайн, и, пока не разгадали,— глухие, даже, когда говорим, и слепые, когда разглядываем: кто-то, к примеру, с трибуны ЦДЛовской — сидящих в зале, а сидящие — трибунов, рифмотворцев ли или тех, у кого звучное имя «критики»; и кажется, раздайся виовь свисток... А может, он и раздался уже, но не расслышали, может, есть такой, ультразвуком, слышимый лишь посвященным?

Нет, как ни толкуй о беге времени, что ни говори о разительности всесветных перемен, существует вчерашний человек: один на другого не похожий, как все мы, теперешние, не похожи на того послевоенного (и прическа, и штаны, и меню, и прочая семиотика вовсе другая), а колупни, а случись, а замаячь не то чтобы даже беда, а маленькая беденка, смотришь: вот он — вчерашний.

Но впрямь ли он? Он или все-таки лучше того: памятливей, совестливее? Или хуже, но иначе: изворотливей, выучейней, самодовольнее? А тот — кто ж он был? Позволивший себя, победителя, в грязь втаптывать, позволивший себе, победителю, топтать — победителей же?

Во всем этом, конечно, был свой иеблизкий, ио и не очень далекий прицел. И не то чтобы смысл, совестно как-то о смысле говорить, памятуя и то, что было, и то, что быть могло. Не смысл, ио и не бессмыслица — очевидная, банальная. Либо именно банальная: банальностью зловещая и иепонятная. Сзади той экспериментальной дискуссии, тогдашней «Классика и мы», смысл — оборотень. За слегка высунувшейся верхушкой — толща айсберга с обманчиво прозрачными краями. Погибнешь ли от толчка или захлебнешься в ледяной воде — конец один, ио от чьих рук? Рук нет. То есть, конечно, есть они — руки. И те, что подтолкнут, и другие, что разомкнутся в этот самый момент. Но чьи руки? Как опознать — по мозолистости либо, напротив, по ухоженности? Не тот теперь признак, устарел, как и соответствующая графа в анкете; ведь не нос они и даже ие уши, самое главное-то у рук не узнаешь. Руки — это тоже «форменное», такой же вздор, как и «убежит». Не руки чьи-то — стихия. Своя кровинка, родиая речь, по которой себя узнаем и от других отличаем — и всё остальное, без чего не больше мы, чем беспачпортные бродяги в человечестве (и кем сказано — умри, Виссарион, лучше не напишешь! а если что иное писал, то теперь — не к месту, к тому ж блуждал, разиым Западом соблазняемый, совращаемый).

Оно, конечно, все это — вчерашнее и даже позавчерашнее, нетрудно бы списать его, благо есть на кого, и объяснить вроде бы несложно, благо есть объяснители.

Объясняющие есть, ио вот объяснение не дается. И если бы еще только тем, кто жил тогда, жил, а зиачит, видел, слышал и... молчал. И не то чтобы вовсе лишенный чувств и не то чтобы вне сознания, но с какой-то особенной, самозащитной бесчувственностью и с каким-то специальным устройством ума, наперед готового объяснить, а объясиивши, успокоиться — на том, что объясиимо, и, стало быть, не поперек закоиов истории, а если не поперек, значит так и надо. И ведь не только тем концы с концами связать не дается, кто тогда жил и повязан тем, что жил и выжил, но и следующим за следующими; и факты вроде почти все налицо, главиая тайна, оиа уже не в тайных архивах и даже ие в спецхранах (хотя и там, конечно), но — тайна ли?

Кто-то в ужасе отшатнется, когда услышит: не менее всемирен 1930-й, чем 17-й. Не менее всемирен 1937-й, чем 21-й, а 1939-й, чем 45-й. Не менее всемирен 1968-й, чем 56-й. Кто-то отшатнется в ужасе, а кто с ухмылкой, с презрением: а разве могло быть иначе? Чего добивались, то и получили. По заслугам. По заслугам-с.

Крючок с наживкой. Сорваться с крючка многим ли лучше, чем заглотнуть? И что опасней — иа месте стоять либо решиться на самый трудный, на самый рискованный шаг: опознать и принять прижитого совместно уродца с генетическими задатками Голиафа... Чем свирепей бьет — неудачами, потерями, дурными приметами — окрестная жизнь, то самое бытие, что не обойдешь, не обскачешь, тем сильнее гвоздит сознание безумная мысль: отечественная иаша беда — и беда, и дар. Ею, быть может, мы не беднее, не исключишь, что и богаче других. Не зарыть бы, не погубить это странное, это страшное богатство, не затоптать, не заплевать бы его суесловием (обычным и навыворот), экстравагантностью — навынос, перстом указующим для наперед согласиой паствы.

Не погубить, а отстоять: спором, делом.

Пока не поздно. Не разучившиеся жить по сценарию не попали бы в новый...

Спокойней, спокойней. Поучимся этому, например, у автора со столь благополучной судьбой, как Михаил Афанасьевич Булгаков. Писал в собственный стол, умер в собственной постели от собственной, отчасти даже по наследству доставшейся болезни. А сейчас читаем, обсуждаем, даже цитируем. Классик — без лишних слов. И главный труд его не только не опоздал, а, можно сказать, в самую пору пришелся, раньше б и не нужно.

Оно, конечно, жалко, что автора нет, что умер досрочно. Но возлагать вину на «кого-то», тем более на время, на эпоху, не мелковато ли? Теперь как раз эпоха его именем, в ряду, разумеется, других имен, будет именоваться. Она, скажем, и булгаковская, и шолоховская, и... а этих двух разве мало? Не числом ведь, а умением, как исстари повелось. Примеров — достаточно. Опять-таки николаевщина, уже упомянутая, сколько в себя вместила — от Пушкина и Гоголя до нечаяниой смертью прерваниого Лермоитова, до недорасстреляиного Достоевского, не считая Белинского и прочая, и прочая; каждое из коих имен — не прочее, а величина, самобытность, прорыв иародности в самые верхние этажи художественного узиавания и освоения. Те 30-е, те 40-е — и наши, восьмерку на девятку поменявшие, разве ие схожи?.. Кто-то морщится, а кто-то даже с места рвется, восклицая: вот именно схожи — себе и нам на пагубу! Что ж, есть кому среди нас принять этот вызов, поелику бояться совпадений (история ведь) — заиятие, простите, для кисейных барышень. Да и классика сама ие иа том ли выросла, себя закалила, что от собственного прошлого ие отворачивалась, вообще в раж ие впадала, зная, что раз Россия жива и вопреки всему живой осталась, зиачит, и впредь живой будет, а раз она, то и мы — те, кто она...

Булгаков как раз это и знал. И нам поведал. Того ради и знаменитый роман свой написал. Сомневаетесь? Напрасно. Зрите, внимайте...

«Он весел, беспечен и мил во всех описаниях шайки, за которой следит чуть ли ие с репортерским удовольствием. Его тон спокоен и насмешлив. Отчего это? Первая мысль, естественно приходящая в голову,— от отчаяния. Ударил себя в лоб, как пушкинский Евгений, и «захохотал». Но, кажется, здесь никакой истерии не слышно. Речь быстрая, но ровная и четкая. От равнодушия? Может быть, это уже безучастный смех над тщетой человеческих усилий, с астральной высоты, откуда и Россия-то — «тлен и суета»? Тоже как будто не так (...) Отчего же тогда?»

Эти весьма заиимательные строки принадлежат примасу новой «экспериментальной дискуссии» Петру Васильевичу Палиевскому *. Статья его — «Последняя книга М. Булгакова» — помечена 1969 годом: первым после памятного предшественника. Однако долой намеки! Дата как дата. Написалась статья — и слава богу. Наше же право — предположить лишь, что нынешняя позиция автора находится хотя бы в некотором логическом отношении к его былым высказываниям. Поэтому нас не может не заинтересовать ответ, который он дает на им же поставленный вопрос. Булгаков, читаем мы, совершил странный поворот, странный «для серьезной литературы XX века», которая привыкла уважать дьявола. А автор «Мастера и Маргариты» уважением

* Начало-то это, конечно, не изначальное, у него своя предыстория, в которую если не столетия входят, то по меньшей мере десятилетие — от рубежа 1920—1930 с их первыми заявками на коммунистическую «Россию для русских», к каковой уже придатком (коминтерновским, антифашистским) полагался «остальной» Мир; поставив перед каждым из коммунистических прилагательные «квази» и «псевдо», мы, конечно, облегчили б себе душу, оставив нетронутой суть.

* Цитируем тут и ниже программный сборник «Пути реализма. Литература и теория», вышедший в издательстве «Современник» в 1974 году.

к нему, к дьяволу этому, не страдал. «Он (Булгаков.— **М. Г.**) смеется над силами разложения вполне невинно, но чрезвычайно для них опасно, потому что мимоходом разгадывает их принцип». Принцип же этот весьма несложен, каким только и мог быть у шайки — спаянной, хорошо вытренированной, но все же не больше, чем шайки. Этот принцип — подражательство. Воланд со свитой вторят, утрируют, влезают в чужие роли, квартиры, одежды; им невтерпеж — у всякой такой гастроли есть свой срок, и потому они нагромождают одно похождение на другое, одно наглей другого, набивая себе цену в растленном воображении обывателя. На деле же их сфера предельно узка. «Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь Тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает». Итак, нечистой силе, как бы ни изгалялась она, не ухватить у «подлинного» его начал. И, значит, всем своим коварством только чистит, выжигает его слабость. «Безжалостное исправление того, что не пожелало само себя исправить. Собственное же положение ее остается незавидным; как говорит эпиграф к книге: «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Все разоренное ею восстанавливается, обожженные побеги всходят вновь, прерванная традиция оживает и т. д.»

Ну, разумеется, так. Именно и только так, как объяснил нам критик. Оно, конечно, под «прерванной традицией» до́лжно разуметь здесь нечто весьма положительное, тем паче что «обожженные побеги всходят вновь». Не вполне ясен только источник вышеприведенной сентенции: вытекает ли она из «недосоставленной книги», как именует булгаковский роман автор вышеназванной статьи, либо это его собственное дополнение к этой книге, хоть отчасти восполняющее ее обидную «недосоставленность» (восхитительное же «и т. д.» лишь вносит еще штришок в ставший отныне полным и разъясненным смысл романа). Читатель, однако, в недоумении. По своему простодушию или благодаря собственной «недосоставленности» иное вычитал и за педагогически-гигиенический комикс никак не хочет принять прочитанное. Уперся этот влюбленный читатель, зачитавший до дыр журнальные номера (нет хода в «Березку» иль недоступен тебе черный рынок, на книгу не рассчитывай), уперся и даже позволил себе рассердиться на именитого критика. И по той же простодушной склонности к вопросам, так и сыплет ими!.. Куда ж девался у вас сам Иешуа, он и его дотошный верный Левий, где прыткий изменник и нетерпеливый любовник Иуда, где всадник Понтий Пилат и опекаемый им Ершалаим, великий город, который накрыла тьма, пришедшая со Средиземного моря («Пропал Ершалаим (...), как будто не существовал на свете»)? Где это все — то, без чего, как полагает читатель, и романа нет, а есть лишь некий огрызок его, осевший то ли в архиве известного литературоведа, ныне покойного Латунского, то ли в какой-то редакционной россыпи, то ли просто один из фрагментов, с феноменальной протокольной точностью воспроизведенный (по памяти) менее известным и как будто еще не покойным Алоизием Могарычем. И уж, конечно, это кто-то из них (либо уже дело рук цензуры?) выщипал из экземпляра, доставшегося П. В. Палиевскому, страницы, какие одни могли бы сделать бессмертным булгаковский роман,— страницы о любви, о единственной спасительнице гонимого и травимого, заживо убиваемого художника.

Прошедший школу Шестидесятых годов читатель наш может прямо-таки обрушиться на ни в чем не повинного критика: отчего о гонителях он ни слова, почему к убийцам внимания нет? Где ж, завопит этот оттепелью подмоченный читатель, в каком именно месте, уважаемый и даже многоуважаемый Петр Васильевич, происходит восстановление разоренного и оживление прерванной традиции, как изволите выражаться, имея в виду (из текста вашего следует!) свидания Мастера с Иваном? Образцовую психушку профессора Стравинского за Литинститут принимаете либо даже за заповедник, где воскрешение особое производится — из бездомных нелюдей в человеки, у коих почва под ногами, твердь на веки вечные? Не дурно ли: психушкою — к тверди, психушкою — к вечному?!

И даже за шайку готов заступиться этот чрезмерно буквальный читатель. Чем-то она ему люба, своими ли набегами на Торгсин и «Грибоедова», своей ли неуловимостью, завидной неуничтожимостью в схватках, каких и быть бы не должно по нашим нравам и обстоятельствам,— а может, не уходят из памяти поэтические строки финала, в свете которых и слово «шайка» как-то произносить неловко, да и покрупнее слова в этом ряду, вроде как мафия, клан кем-то избранных, чем-то отмеченных, имеющих вход «наверх» и выход отдельный,— так даже эти слова на языке застревают, чем ближе к развязке («На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом (...) Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны...»).

Видно, в том все-таки раздор между этим нашим читателем и этим нашим критиком, что неспокоен читатель и автору полюбившегося романа готов отка-

зать в том самом спокойствии, которое столь обрадовало и прямо-таки воодушевило критика. Не замечает этого самого спокойствия, упрямствует читатель и заново — к книге, бередя и врачуя ею себя. Всей — от начала до конца и от конца к началу, в конце ища не столько разгадку, сколько надежду. За Начало (за собственно человеческое начало) беря булгаковский исход, булгаковскую коду — с ее тревожной непонятностью, с ее нарастающей от такта к такту серьезной торжественностью, с ее окончательными расправами и последними прощениями, обоснованность которых не столько подтверждается, сколько перечеркивается прощанием навсегда.

Прощанием с жизнью, какая она есть, в чем-то самом главном неисправимая — и неповторимая. Прощанием со словом и даже со звуком («Слушай беззвучие (...), слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни,— тишиной»). Прощанием с Городом, со вторым ли Ершалаимом, с третьим ли Римом: с городом, «который ушел в землю и оставил после себя только туман»...

Не раздражайся, читатель. Тревожься, совестись, за счет погасшей души художника оживляй собственную, но не сердись. Критик ведь тоже человек. А раз человек, то, значит, вправе иметь свои привязанности и свои неприязни, любимые и, наоборот, нелюбимые страницы. Свое поле зрения. И хоть не классик он, но все-таки тогда лишь читаем и уважаем нами, когда мы замечаем в его «поле» то, что в наше не попало; не исключено, что и попасть не смогло б, если бы сначала не замечено было бы им. Вот мы с тобой, к примеру, наслаждаясь романом и переходя не раз, не два от смеха к раздумью, удивились бы тому, что переходим — так легко и без всякой задержки, без внутреннего сопротивления от этого раздумья к этому смеху («над чем смеетесь, над кем смеетесь?..»). А критик остановил нас, привлек внимание, разъяснил, уверил: потому именно нам так легко, что не о нас речь. Мудрость — великая — в том и состоит, что смеемся не над собой, а лишь над тем в себе, что не-наше, постороннее, извне внесенное, и смехом же освобождаемся от этой застрявшей в нас «слабости», укрепляясь в подлинном, разложению не подлежащем «начале» («Классический русский смех»,— разъясняет наш критик). Странно, правда, замечает читатель, что выправляется Коровьевским или Бегемотьим нагличаньем то, что «не пожелало само себя исправить»? С чего бы это не пожелало, если подлинное? И почему это Воландовой шайке, эпигонам этим, этим шутам гороховым, плагиаторам, перевертышам, дано то, что нам — с нашей подлинностью — не дано? (Впрочем, еще Макс Волошин, коктебельский кудесник, внушал молодой Цветаевой, чтоб никогда не произносила: «подлинное». «Почему? Потому, что оно похоже на подлое?» — «Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подли́нное, подли́нная правда, та правда, которая под линьками, а линьки — те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подли́нная правда — правда застенка».)

Оно сомнительно, конечно, чтоб П. В. Палиевский из этого исходил. Подлинное у него именно и только по́длинное. То есть действительное, то есть истинное, другого он (критик) не знает и знать не желает. Как человек сведущий (не один год русской словесностью занимается), о линьках, разумеется, слыхал и вовсе не за линьки стоит, а уж чтоб из собственной его кожи вырезали, то наперед, осмелимся предположить, исключает, не для того она ему отпущена — кожа... Не за линьки стоит, а за народ. За неискоренимый, единственный. Здесь — единственный. А «там», за кордоном, свои единственные. И каждый раньше ли, позже ли, но линьки и иные напасти, из коих линьки еще не самые страшные, одолевает, отодвигает; однако не все сам, не всегда сам, и тут особая роль у тех, кто вчера линьками распоряжался, сегодня же, историей выученный, действует по возможности более цивилизованно. Ими-то, собственноручно ими или по заданию, по команде ихней, наши слабости и выжигаются! Больно, но для здоровья — народного — полезно. И на месте выжженного — цветение заново. По закону природы, как говорил все тот же неумирающий и неутомимый Порфирий Петрович...

В согласии, видно, они, Петр Васильевич с Порфирием Петровичем. А почему б и нет? Кто запрет на это согласие наложил? А может, в согласии этом и заложено то самое начало, которое и по́длинное и истинное, тем, собственно, и отделяясь от разных интеллигентских забав и смут, от этого мельтешения зряшного, бросков из крайности в крайность — от чванства (мы-де готовы «построить все иначе, без «народных» иллюзий») к амикошонству самому что ни на есть вульгарному, в обнимку с любым бродягой... Историю же то отличает (и согласие упомянутое как раз на этом и держится), что она, история, не мельтешит, не чванится, не бродяжничает и даже когда раздирается надвое, полюсами сшибаясь, то не к пресловутой серединке идет, тоже гомункулюсами придуманной, исподтишка навязываемой, а к «центру» — устойчивому, непоколебимому. Слушай, читатель, хоть и из другой статьи, но того же автора излюбленные мысли, слушай и на ус мотай: «Эта «середина», которую никак нельзя путать с межеумочной,— основа. Она не середина, а ц е н т р а л ь н о е: и это центральное в шолоховском мире есть. Мощный ствол, соединяющий в целое, казалось бы, безнадежно распавшееся, восстанавливающий с помощью пробившегося вперед передового общий рост».

А ты, читатель, неужто не за общий рост? Или сомневаешься, что именно так история шла — от будто безнадежно распавшегося (подставляй, если хочешь: революцию, войну гражданскую, подставляй, но знай — ответственность на тебе...), от этого, казалось, навсегда разделившегося на станы, классы,— к возрождению: и не просто там единства, о котором каждый в любой газете напишет и прочтет, а к возрождению мощного ствола?! Мощный ствол сам себя восстановил, правда, опять-таки не вполне сам, а «с помощью» передового, какое как пробилось вперед, так с тех пор впереди и находится, вперед себя ставя тех, кто еще родней стволу (и этим выгодно отличается от изначальных передовых). Закон природы-с. Этим-то мир и держится, любой — человеческий. Булгаковский и шолоховский. Шолоховский и фолкнеровский *. Да и как иначе, не против же естества им, всем трем, идти, не против того, что вечное. Вечное, но не неподвижное. С непременным строгим движением, где компасом безотказным — народный характер. «Эта безмолвная сила, неуклонно разворачивающая свой план, производит самое странное и в то же время очень реальное впечатление. В каждом характере, изображенном им (Фолкнером.— М. Г.), она доказывает — как он выразился об одной из своих героинь — «безразличие природы к колоссальным ошибкам людей».

Вот он, вот он — ключ, разом и к истории, и к классике. Вместе с П. В. Палиевским мы на пороге разгадки: не частной, а всеобщей и оттого применимой к каждому отдельному казусу. Еще шаг — и булгаковская веселость, булгаковская беспечность, его «репортерское удовольствие» станут нам до конца понятными; да и он сам со своим едва ли не единственным героем, с Иваном Николаевичем, сбросившим в психушке клоунский наряд Бездомного и вернувшимся в человеческий, народный облик Понырева («нового Ивана»!), займут подобающее им место во всемирном классическом ряду. И тут уже не родство даже (Булгакова с Шолоховым, с Фолкнером), а полное единство, едва ли не тождество. Уместна поэтому еще одна выдержка из Петра Васильевича, из статьи его «Мировое значение М. Шолохова» (написанной спустя четыре года после отклика на булгаковский роман): «Все мертвое горит, выгорает до пепла, и языки этого пламени задевают, корежат живое. Но как будто для его же пользы; в исправление того, что оно не могло или не пожелало само в себе исправить...» (Разрядка моя.— М. Г.). Не правда ли, слово в слово? Что о Булгакове, что о Шолохове... Может, кто-то заподозрит нашего критика в бедности лексикона. Напрасно. Писать он умеет и очень складно, и если на дословность сбился, то оттого лишь, что идею свою хочет покрепче в читательское сознание внедрить, дабы иные, пустяшные или вовсе ложные идеи это сознание не соблазнили, не заполонили.

...Поставь, читатель, здесь дату — 1941, отступи от нее к поздней осени 29-го, а потом отсчитай еще пять лет — до декабря 34-го и еще без малого пять до дня, когда «ненападением» назван был вход в Войну,— и неужто не станет у тебя все на место и в делах, и в поступках, и не в последнем счете — в настрое? Спокойствие придет, вера в завтрашний день и в то, что если не дай Бог вновь «критический момент» возникнет, то с честью выйдем и с поднятой головой, и если даже не сразу с честью и не непременно с уцелевшей головой, то в последнем счете только так. Неужто во имя одного этого не перетерпеть, что «языки... пламени задевают, корежат живое»?!

Тут бы и кончить, но читатель недоволен. Чем-то ему не удружил критик. Мало сказать: не удружил, крепко насолил. Не только к спокойствию не привел, но окончательно из равновесия вывел. Чем же? Тем, что в один ряд Шолохова с Фолкнером поставил? Либо тем, что о каждом из них написал как-то избирательно: в Америке Фолкнера, в фолкнеровском космосе Юга, опустил негритянскую тему (разрушающую «белую» душу и возвышающую ее же встречей с «черной» душой, встречей, про которую не скажешь, в последнем счете как раз не скажешь — состоялась ли или еще призвана состояться: полной-равной); а в оде Шолохову упустил финал «Тихого Дона», вносящий, что ни говори, резкую диссонирующую ноту в столь крепко выстроенную критиком концепцию благодетельного центра, торжествующего народно-государственного «ствола»?! Однако все же не только это вывело из равновесия нашего читателя, хоть и не прошел мимо, отметил авторскую избирательность, даже собрался написать о ней, в эпиграф вынеся из Фолкнера же: только проблемы борющейся души рождают достойную литературу. Даже первую строку написал: критика — тоже литература и также требует человеческой души, сражающейся с собою за себя... Написал и запнулся, бросил. То ли брезгливость одолела, когда вспомнил о смерти «в виде нянечки» («...смерть у Шолохова — это какая-то метла в жизненном доме. Так и представляешь ее не с косой, как сколько раз рисовали, а в виде нянечки или уборщицы»), то ли побоялся на фельетон сбиться, выясняя с критиком нашим, как при наших-то обстоятельствах ее, досрочную смерть, лучше изобразить: «нянечкой» либо уборщицей без всяких сантиментов, которой и метла, выметающая жизни, больше подходит; да и как «жизненный дом» наш представить, чтобы был он и дом и «ствол».

* Каждому из этих писателей посвящены статьи в названном сборнике П. В. Палиевского.

Не исключено, что и по другой причине запнулся читатель. Озноб его одолел, когда о «прерванной традиции» задумался, и реализм всеобъемлющий П. В. Палиевского как-то иначе глядеться стал. И реализм — и народолюбие, которое тем большее любие, чем больше «центрального» в названном доме-стволе.

«Революционный сдвиг создал аппарат, рассчитанный, подобно клеткам человеческого мозга, на долгое заполнение вперед». Сколько тут восклицательных знаков ни ставь, а вроде недостаточно. Об отмирании «аппарата» впору говорить сейчас лишь в шутку, а если всерьез, то не в психушке ли, и уж, вероятно, не в такой, как у профессора Стравинского: пожестче, построже, голоднее, больнее... «Аппарат» этот, правда, не со вчерашнего дня, но со вчерашнего в самом расцвете: и материя он, и сознание, и этика и вся прочая гуманитария. Наш космос. Без границ — в границах. И ежели веру в народ блюдешь, как святыню, то путь один: в «аппарат», в тот самый, что подобен «клеткам человеческого мозга». А порукой, что всему этому прочность и даже вечность обеспечена, она — Россия: «реалистическая страна»!

Как не понять (ведь так хорошо Петр Васильевич растолковал нам), что и писатели — пóдлинные — сплошь реалисты и именно в упомянутом смысле, только в нем, строго в нем. И автор «Мастера и Маргариты» лишь в этом самом смысле — пóдлинный, пóдлинно русский. «...Булгаков никогда не думал, что мы гибнем». «От превращения Бездомных в Поныревых слишком многое зависит, чтобы автор мог отнестись к этому несерьезно...». «А трудности своей судьбы он умел преодолевать»... Взъярился в этом самом месте читатель, вспомнив из биографии М. А. Булгакова те «трудности судьбы», про которые принято говорить, что вопиют; сообразил даже под Фагота реплику: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши»,— но тут же скис, снова в озноб ударился. Галлюцинации одолели. Себя вспомнил — в незабываемые Шестидесятые. И как открыл впервые Булгакова, и как захлебнулся им. Как с Иешуа породнился, Иуду задним числом проклял, как влюбился в Маргариту и Мастера оплакал. Как повторял убежденно, уверенно: рукописи не горят, не горят!! И уж, конечно, отлучил презренного Пилата. Оно ведь и понятно: такими уж убежденными, в себе уверенными были те наши Шестидесятые; миловать ли им было Пилата, кто в иную эпоху — Людовик XIV, а если поближе, то Дантес, как пояснил тогда в самом читаемом журнале самый прогрессивный критик. Ясно без лишних слов: какая там Голгофа после XX съезда...

И еще вспомнилось читателю (как льдинки друг на друга — полуявь, полусон): детская надпись в посетительской книге на Мойке: «Жаль, что Пушкин не дожил до наших дней». Вот бы славно! Но нереально. А Михаил Афанасьевич — по законам природы — вполне смог бы. И после XX-го — в президиум «у Грибоедова», кандидатом на Госпремию, а то и полным лауреатом, а в конце, если бы конец на эти годы пришелся,— бюст в том самом ряду, что начинается позолоченным Никитой на черно-белом постаменте, а кончается Твардовским. Славно бы, да нет. Загрустил читатель: и это, ближнее, нереальным представилось ему. Подумал: и без Черной речки загубили бы. Либо собственной борющейся душой замучился бы, как тот — последний в том новодевичьем ряду.

«Помоги, Господи, кончить роман. 1931 г.». Думал написать Евангелие от Мастера, а выросло, а выписалось Евангелие от Пилата... Читатель наш даже во сне от удивления воскликнул: о Пилате-то молчок (на критике зациклился, статья его из читательской головы не выходит). И впрямь — молчок. Но вроде бы и не обязывался о всем, о всех. Вроде бы и не к чему Пилат. Вот если бы какую роль мог сыграть он в обновлении, в перерождении Бездомных в Поныревых, вот если бы появлению «нового Ивана» посодействовал. Так нет, проходная фигура, почти что лишняя в «недосоставленной книге». Что ж, а ведь по-своему прав он, Петр Васильевич, в логике ему не откажешь. Истинно: в «реалистической стране», где у Порфириев Петровичей хлопотам ни конца, ни края,— там не до Пилатов. «Ведь этот мир ни секунды не колебнется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, но если надо, свободно перешагивает». (Признаюсь, и тут разрядка моя, не выдержал!) Вот он — реализм, и не на подножном корму. Вот она — мудрость, превзошедшая пустопорожнюю, к делу не приложимую совестливость. Личность не отвергаем, так сказать, с порога. И даже чтим (что мы, хуже других?!). Но чтобы колебнуться «перед таким понятием», это уж слишком. А если эта самая личность «ствол» задумает оспорить, на «аппарат» покуситься? А если и того опасней, недопустимее — сам «аппарат», рассчитанный «на долгое заполнение», начнет заполняться такими, которым невмочь свободно перешагивать? Беда! Смута! Тогда уж и аппарат не аппарат, и ствол не ствол, и таким манером не заметишь даже, как Россию растеряем... Не оттого ли этот самый Рим погиб, что запнулся о личность, дрогнул, увидев ее воочию, Пилатом-то и обмяк? Прав был великий инквизитор: сначала цари единые, тогда уже помыслим о счастии людей.

Но, по всему видно, Михаил Афанасьевич на тогда не соглашался. Деления этого не ведал. Конкретный вроде был человек, знал, казалось, цену всему земному, а искал нечто — земное же; всю жизнь подряд искал его и терял. Нечто приходило Образом и уходило Образом, чтобы вернуться и не уйти — до последнего вздоха... Сквозь всю жизнь — мост. Обыкновенный мост, а на мосту трое.

Один в кровавом хмелю изничтожает другого потому, что не-свой, и еще оттого, что безропотный, жалкий. Но есть третий. Он видит. Видит, чтобы не забыть: тех двух — и себя. Не забыть кровь и безропотность. Не забыть собственный страх. Сквозь всю жизнь они — мост и страх. Память о них. И искупление словом. Но дано ли избыть словом страх — страх перед человеком и за человека?.. «Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что теперь он в безопасности,— осужденных он видеть уже не мог». «Мы теперь будем всегда вместе,— говорил ему во сне оборванный философ — бродяга (...) — Раз один — то, значит, тут же и другой!» «Кто это сделал? (...) Это сделал я (...) Этого, конечно, маловато, сделанного, но это сделал я».

Так почему же не продолжить это, почему бы не продолжиться этим?! Мысль — надежда (пушкинская, булгаковская): о власти добра над властью. Глядел кругом, содрогался — и надеялся: на то, что кровь взойдет добром — изнутри, внутри. Взойдет человеком власти. Никто не безнадежен, даже мертвые. «Михаил Александрович,— негромко обратился Воланд к голове,— и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза». Даже к мертвому Берлиозу возвращается — вместе с мыслью — и способность страдать. Неужто не дано сие живым? Крупица человечности у того, чья власть безмерна, может сотворить чудо. Как же не подвигнуть его — словом и близостью? Слово открывает дверь, близость к тому, кто всевластен, делает его человечней и... Мольер многому научил Мастера. Но есть еще свой, родной кудесник. И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход — не по отдельности ведь, не врозь. Узнаешь ли наперед, что в этом Мире, в мире России, что тут самый верхний верх, а что — самый низкий низ?

Не исключить, что создатель Евангелия от Пилата, всматриваясь в Сталина, вспоминал веру предка во «второго Петра». Не удавшееся тогда не удастся ли теперь? Ради этого стоило жить и творить, творить — и расплатиться жизнью. Измучивший себя Мастер не выдержал этой пытки, пытки надеждою, да и проницательная критика (были ведь и в Тридцатые проницательные критики) недаром травила его пилатчиной...

Придется поминать того, кто полный сил
И светлых вымыслов и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Не время ли возвратиться к спору, который не спор, к схватке, какая не столько на сцене, сколько за кулисами ее? К аукциону особому, где в распродаже наследство?

Вперед — на плечах предшественников! Вперед — по трупам их! А в конце — мир между оставшимися в живых. Равнодействующая. Загробное единство. Так было — так будет? Либо уже так нельзя? Либо начинать нужно, уже сегодня начинать с равнодействующей: равной и действующей?!

Начинать ею — с себя. Не в особой чести ныне письмо, с каким чембарский разночинец, ставший столичным критиком, обратился к вчерашнему своему кумиру. Может, и прав был, но форма, форма... «Кто поверит, что, когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный и потерявший веру в пользу литературных ошибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации»,— свидетельствует П. В. Анненков, наблюдавший внутренний перелом в критике, который судорожно и страстно искал «новую правду»: истину общественного долга, долга ничем не стесненного слова, свободного и от произвола и от всякой узости, профетической нетерпимости, менторского очернения «чужого». «А что же делать? — сказал он (Белинский Анненкову — первому слушателю знаменитого письма).— Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер».

Тяжко читать, а надо. Но не для мелкого сплетничанья, не для дешевого осуждения. Читать, двигаясь вперед и назад. От 1848-го к 1840-му, например. От письма Белинского Гоголю к письму, которое, хоть и адресовалось другу Боткину, но писалось-то себе. И не самиздат николаевский, бери с полки том в тисненом переплете, читай.

«В прошедшем меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упускал их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусною действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею искренностию, со всем фанатизмом дикого убеждения! Более всего печалит меня теперь выходка против Мицкевича, в гадкой статье о Менцеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего в мире и в вечности,— его родины, его отечества, и проклинать палачей его, и каких же палачей? — казаков и калмыков, которые изобретали адские мучения, чтобы выпытывать у жертв своих деньги (били гусиными перьями по<...>, раскладывали на малом огне благородных девушек в глазах отцов их — это факты *европейской* войны нашей с Польшею, факты, о которых я слышал от очевидцев). И этого-то благородного и великого поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлет! После этого всего тяжелее мне вспоминать о «Горе от ума», которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее гуманистическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего онанистического светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр. О других грехах: конечно, наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени — фай — неужели я говорил *это*?.. Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото,— а если этого нельзя было писать, то долг *чести* требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую я изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества au drapeau tricolore — проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусною расейскою действительностию, этим китайским царством материальной животной жизни, чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности,— где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена до того, что фраза в повести Панаева — «измайловский офицер, пропахнувший Жуковым», даже такая невинная фраза кажется либеральною (от нее взволновался весь Питер, Измайловский полк жаловался формально великому князю за оскорбление, и распространился слух, что Панаев посажен в крепость), где Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою, помощию *доносов*, и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это,— и если мой отсохнет — жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне для меня *либерал и человек* — одно и то же; абсолютист и кнутобой — одно и то же. Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сходил на землю и страдал на кресте за *личного человека*».

А теперь немного вперед — от 1840-го, от 1848-го к 1855-му. Герцен в Лондоне впервые печатает в «Полярной звезде» переписку Гоголя с Белинским. Заметьте: переписку, все три письма (два гоголевских, одно — Белинского). К публикации — примечание, стоящее того, чтобы воспроизвести его слово в слово:

«Обстоятельства, давшие повод к этой переписке, известны нашим читателям. В 1847 году Н. Гоголь, бывши за границей, напечатал в России свою «Переписку с друзьями». Книга эта удивила всех. Дух ее был совершенно противоположен его прежним творениям, которые так сильно потрясли всю читающую Россию. Была ли это внутренняя психическая переработка, один из тех болезненных возрастов развития, которыми человек достигает окончательного совершеннолетия; было ли это следствие физического недуга, негодования, долгой жизни за границей или просто кружение ума? Во всяком случае, обнародование такой книги великим талантом должно было вызвать сильную полемику.

Почитатели Гоголя, принимавшие за правду мнения, ярко просвечивавшиеся в его сочинениях, были оскорблены его отречением, его защитой существующего, его *принижением* — по выражению неославян; они подняли перчатку, брошенную им, и на первом плане, разумеется, явился боец, достойный его,— Белинский».

Отсюда переписка. Давая новую гласность этим письмам, мы далеки от осуждения и порицания. Пора нам смотреть на гласность глазами возмужалого. Гласность — чистилище, из которого память умерших переходит в историю, в единственную жизнь за гробом.

«Ничего не надобно скрывать, в гласности — покаяние, страшный суд и непременное примирение,— если примирение есть. Сверх того, и нельзя ничего скрывать; забывается, пропадает без вести одно безразличное, пустое.

Вопрос весь в том: Гоголь и Белинский принадлежат ли нам как общественные деятели на поприще русской мысли?»

Не худо бы поучиться. Ведь — классика и мы. Неужто не сподобимся, как они? Неужто не способны?

Ради России, какая одна на свете. Такая ли или сякая, но одна. Но и свет этот, именуемый Земля, тоже один. Такой ли или сякой, но один.

Не согласуются? Вот он — предмет спора. Спора признающих наперед спора — равенство в споре. Сознающих, что если этому равенству не быть, то не быть не только спору.

Не быть и спорящим...

1978

Л. АННИНСКИЙ

Вариант спасения?

Это литературное поколение так и не получило в критике внятного имени. Ни «социальные наблюдатели», ни «коллекционеры характеров», ни «аналитики середины» — ничто не удержалось. В конце 70-х годов, когда молодые писатели, пришедшие после схватки «городских интеллектуалов» с «деревенщиками», домучились, наконец, до своих первых книг и не замечать их стало невозможно,— им приклеили пустое, ни о чем не говорящее определение «сорокалетних», так что теперь они, стало быть, поколение «пятидесятилетних», к 2000 году дорастут до «шестидесятилетних» и т. д. В описании их пути чаще всего фигурируют подробности организационно-издательские, именно то, что попали они в литературу не через бурный слив журнальной полемики, а через тихий отстойник книгоиздательства,— не столько, стало быть, прорвавшись в борьбе (как их городские и деревенские предшественники), сколько дождавшись в очереди.

Однако это чисто формальное обстоятельство (в конце концов не все ли равно, как человек *напечатал* свои произведения, важно, как он их *написал*) теперь, «с вершины лет», все более кажется мне существенным. Оно не только определилось ситуацией творчества, но во многом и определило ситуацию творчества — и у Киреева, и у Маканина, другого признанного лидера тогдашних «сорокалетних», и у Анатолия Макарова, и у других, иногда менее известных, но не менее последовательных писателей этого толка.

Вытесненные за пределы непосредственной литературной борьбы, они не должны были заботиться ни о боевой определенности своих доктрин, ни о взвешенности каждого слова; на тихом пространстве издательских «лакун» они могли спокойно накапливать наблюдения, выстраивая — эпизод к эпизоду, книга к книге — целые мегаполисы и даже миры, неслышно живущие в тени исторического процесса. Их тяга к панорамированию реальности есть следствие издательских условий, но эти условия сами есть следствие жизненных причин, породивших писателей такой экстенсивной направленности. Их мир много шире тех эмблематических знаков и эпизодов, по которым их помнит публика. Маканин в сознании читателей прежде всего автор «Предтечи», создатель скандальной фигуры знахаря, просигналивший в 1986 году (как и многие другие писатели) о наступлении новых времен в литературе,— за пределами этой вспышки часто остаются широкие маканинские жизнеописания, от уральских послевоенных бараков до подмосковных композиторских дач и от интеллектуального юродства либеральных студентов до темной, подземной мудрости слепых народных провидцев.

Руслан Киреев — писатель такого же стайерского дыхания. Он автор не просто серии повестей и романов, но как бы целого *горизонта* реальности, поднятого в словесность. Он воспроизвел под именем Светополя своеобразную микровселенную послевоенной южной России, с целыми системами типов и характеров, с семейными гнездовьями, с профессиональными «клубами» вроде пивного павильона, или автобусной станции, или фотографического ателье. Разумеется, зная биографию Киреева, нетрудно расшифровать псевдонимы (Светополь — Симферополь, Витта — Евпатория), но делать этого как раз не следует, потому что по внутренней задаче Киреев вовсе не биограф Крыма и пишет он отнюдь не портрет «края» и даже не «общечеловеческий сюжет» на фоне «конкретной земли» (как когда-то Павленко в «Счастье») — Киреев пишет портрет земли вообще, он выстраивает модель человеческого существования. Ни в «крымском», ни в «послевоенном», ни в «бытописательском», ни в «публицистическом» прицеле эта проза, строго говоря, не уместится. Тут другой прицел.

Впрочем, и в биографии писателя Киреева был момент, когда его вкрутило-таки в литературную борьбу. Когда роман «Победитель», летом 1979 года явившийся публике со страниц «Нового мира», попал в самое пекло тогдашних споров о *деловом* человеке и его перспективах в российской реальности. Года два критики трепали имя Киреева; в конце концов он удостоился пары подзатыльников от самого Игоря Дедкова в знаменитой статье «Когда рассеялся лирический туман».

Точнее, тех подзатыльников удостоился я (именно за то, что пытался в «По-

бедителе» разглядеть долгожданного делового героя сквозь лирический туман), но в литературной полемике прекрасно распознаются знаковые адреса и расшифровываются подзатыльники по перечислению. Публику не обманешь: «сорокалетние» *не дали героя*; они не удержались в центре полемики. Как не вписались бы они в драку «интеллектуалов» с «деревенщиками» в 60-е годы, так и в 80-е не втянулись по-настоящему в новое ожесточение «радикалов» разного толка: их отнесло, отбило — все туда же, за «горизонт», туда, «где сходится небо с холмами», в тихий Светополь, в жизнь «как таковую».

Я вспоминаю эпизоды десятилетней давности вовсе не с целью выяснять, кто тогда был прав, ибо, как сказала Марина Новикова, «нынешним читателям», живущим «в грозовом гуле сшибающихся мнений вокруг «культа» и «застоя», в ливневом шуме нового периода, в обвале злободневных нелитературных дискуссий», вряд ли есть дело до «прежних литературных споров по поводу Киреева». Но мне есть дело до того, *почему* им нет дела; я хочу понять, почему те споры прошли без особого следа, *что́* было в них мнимого. Все-таки десятилетие, прошедшее со времени тех споров, многое прояснило и в умах, и в реальности. Хотя и не всегда обрадовало этой ясностью.

Яснее всего — с деловым человеком. Можно было даже не ждать, пока Киреев (в «Литературной газете») скажет с необычной для себя категоричностью, итожа спор: *не люблю победителей как человеческий тип*. Это можно было предположить сразу, еще в 1980 году. Не хотелось. Хотелось другого: из любого текста «вычитать» делового человека, поймать в воздухе литературы его присутствие, собрать его из строк. Извлек я его из пьесы И. Дворецкого в начале 70-х, извлек и из повестей Р. Киреева в конце 70-х. 80-е годы и ответили на этот вопрос, не «текстами» — реалиями жизни. Поджогами фермерских хозяйств «за околицей села», стеной народной ненависти вокруг кооператоров, попытавшихся в пору перестройки оживить летаргическую экономику, бессилием интеллигенции, отчаявшейся растолкать это оцепенение, «раскричать» ситуацию. 80-е годы, суматошная пора, особенно вторая половина десятилетия, полная яростного и бессильного крика, показали предел недолгой одиссеи делового человека и безбрежности нашей благодати. Не вышло из киреевского героя «железного прагматика», не состоялась *апология победителя*. Да и не могла состояться. Мне, чтобы окончательно смириться с этим, понадобилось десятилетие реального опыта. Дедков понял сразу.

Конечно, я несколько огрубляю и упрощаю сейчас тогдашнее прочтение. Конечно, уже и тогда можно было почувствовать осложненность и даже двойственность отношения Киреева к его героям. И к железному Рябову, и к нежелезному Мальгинову. И к их преемникам Свечкину и Карманову, составившим соответствующую пару в «Подготовительной тетради». Но ведь и об этом, третьем романе трилогии критик Сергей Чупринин спросил: «Так что же все-таки хотел сказать писатель Руслан Киреев?» Тут сама постановка вопроса знаменательна. Стало быть, кроме того, что сказано самим фактом текста, должно быть сказано еще нечто, для чего текст — только носитель? О, русская душа... Научите же меня жить! Скажите мне, кто передо мной: деловой человек? лишний человек? Заодно скажите, почему деловой у нас — «лишний».

Киреев ускользает из этих клеточек. «Вибрирует», двоится, тушуется (в точном смысле слова, Достоевским введенном в русскую литературную речь: размывает контуры). Напускает туману. Как с этим примириться? Слишком уж хочется ясности, да и «расчерченная конструкция» налицо. Потому и загнал я тогда все неясное в угол картины. «Каморка неточности»,— так, кажется, говорят физики? Странная, не от мира сего фигура «в уголке картины» — знак таинственности, символ бесконечности, эмблема бездны. Это ведь тоже (с моей стороны) было насильственное истолкование, только с обратным знаком. Не «деловой», значит, «таинственный»; не «от Рахметова», так «от Карамазова»: таинственность становится *проблемой*, загоняется в особый угол и там берется на предметное стекло. «Русская загадочность» как таковая. Пьяница Шатун да блаженный Тимоша — вот и обозначена безбрежность. В нашей российской традиции, где непременно «взаимоупираются» две доктрины, такой подход не менее законен, чем поиск «ясного урока». То есть Руслана Кирева столько же можно сцепить с характерной для 70-х годов линией «делового человека», сколько и с линией его оппонентов из лагеря «душевных деревенщиков». Точно так же в 80-е годы его можно сопрячь и с «либералами», мечтающими пустить на эту землю предприимчивого хозяина, и с «консерваторами», созерцающими эту землю как неприкосновенную святыню. Сопрячь можно, да прочно не привяжешь. Не прирастает — другое!

Так, может быть, Руслан Киреев не подходит не просто под тот или иной вариант, а под самый принцип взаимочленения? А если тут испытывается *другой принцип* жизни? И у Киреева, и у Маканина, и у всей прозы «сорокалетних», за целое десятилетие так и не обретших твердого проблемного имени, но удержавшей же внимание читателей и выстроившей же некоторую «обитаемую реальность» посреди громовой перестройки 80-х?

А что если смысл тут — вообще вне наших привычных доктрин?

Это мне раньше казалось, что, сов-

павши отрочеством и юностью с эпохой шестидесятников, они освободились от ложных идей ради быстрого «прагматического дела», а совпали-то они — с разгромом шестидесятников, с крахом их иллюзий (то есть наших иллюзий). И молодая их работа пришлась не на пору «стабильности» и «скрытого накопления», как вблизи виделись начавшиеся 70-е, а, по-теперешнему говоря, на эпоху «застоя» — на безвременье. То есть и скрытое накопление сил было, и стабильность издательских возможностей для неспешного строительства Светополей в литературе. Да только окончательное определение эпохи, породившей этих методичных строителей, зависит от того, что подхватывает следующая эпоха: если строит дальше — так мы имеем одно (фундамент, базис, «накопление сил»), а если напрочь перестраивает, демонтирует, рушит и взрывает (даешь общий передел! доведем все до ручки и начнем снова!), так мы имеем совсем другое. Тогда ведь и подземный ход, который у Маканина роют под речкой и выводят «в никуда»,— совсем другой смысл приобретает! Тогда и Светополь, возведенный Киреевым с убежденностью иллюзиониста, дающего вам ощупать каждую ступеньку,— тоже не такая уж бесспорность.

Ступенька к ступеньке, стенка к стенке, улица к улице — город. Огромное население, причем не масса, а именно отдельные люди, но — множество. Знают друг друга, помнят, состоят в родстве, в свойстве, дружестве. Модель «народа», но не мистическое целое, а именно это вот движущееся множество, коловращение человеков. Типология тяготеет к «середине», не к «краям». Не выше местного университета, но и не ниже местного пивного павильона, с подробными заходами в бильярдную, на голубятню и на рынок. Если говорить о профессиональном составе, то перед нами, наверное, та самая полусуществившаяся среднероссийская демократия, о которой применительно к Чехову говорил в «Жизни и судьбе» Гроссман. Средние люди. В этом-то смысле Киреев и соприкается с Чеховым по-настоящему, а не в пластике (у Киреева скорее рисунок, чем акварель, хотя чеховский пуантилизм есть) и не в музыке фразы (тут другая музыка, хотя переклички бывают). Впрочем, после того, как Киреев в 1988 году опубликовал в «Звезде» повесть «Путешествие к Таганрогу», а затем в «Правде» статью «От своего имени»,— его верность Чехову засвидетельствована документально. И объяснена недвусмысленно: Пушкин — далеко, а Чехов — близко, Пушкин — высоко, а Чехов — рядом. Среди нас. Такой, как все мы.

Раньше это называлось: интерес к обыкновенному человеку. К «рядовому» (выбирали слова, чтобы не обидеть). Теперь церемонятся меньше: едва мелькнуло у Киреева (в «Пире») словцо: «скучный человек»,— критика тотчас сунула туда скальпель: «Этот невыразительный, занудливый, всегда равный самому себе человек...»[1] Еще хорошо, без обывателя обошлось, без мещанина. Но если уж придерживаться киреевской тональности, надо вообще отступить к «нейтралу», то есть к тому чеховскому, взвешенному, деликатному пониманию человека, когда лучше всего сказать: «просто человек», коим и осеняет себя Киреев, давая вслед за Чеховым жизнь «как таковую», жизнь, которой живем «все мы».

Кто «все»?

Диспетчер таксопарка, пляжный фотограф, репортер местной газеты, бухгалтер, гладильщик, мясник, кастелянша, курьерша, кондукторша, кассирша, библиотекарша, провинциальный артист, провинциальный художник, директор трикотажной фабрики, адвокат (это я уже иду по верхней кромке), но и шалава из шалмана, и шлюха из подворотни, и местный юродивый (нижняя кромка), и ветфельдшер, падший до скотника, и рыночный попрошайка...

И вот что интересно: при всем социальном и профессиональном разбросе, вычерченном весьма точными штрихами, Киреев типологией и профессиональными делами своих героев занят очень мало. То есть он и этого касается, конечно, но не это главный стержень, вокруг которого собраны у него люди. Он может внедриться и в производственный вопрос (например, когда дядя Паша Сомов требует у директора таксопарка отчета, почему новые машины дают новичкам, а не ветеранам), но это не более чем эпизод, к тому же несколько спорный (я вернусь к нему позже), суть же киреевского интереса к человеку коренится не в социально-типологической его «приписке», а в чем-то другом. В чем? В общей причастности этого человека кругу жизни Светополя.

Вот этот «круг жизни» и есть внутренний посыл киреевской прозы, почва его многолюдья. Дядя Митя — грузчик; его жилистые руки упоминаются как-то попутно, «само собой», а вот магазинный обруч, оставленный в кепке, которую дядя Митя так с картонкой внутри и носит, рассмотрен куда подробнее: из этого картонного обруча Киреев извлекает нечто куда более важное, чем профессия героя: тут запах жизни, вкус ее, неповторимый аромат, ускользающий, живой цвет.

Живут люди, мыкаются, мучаются, сходятся, расходятся, но есть подо всем этим какая-то сила, которая их сводит или разводит, и все их расчеты ничто перед этой силой, силой вещей, силой жизни.

Может, потому Киреев и не любит людей удачливых, победоносных, что их победоносность, в сущности, профанирована, и рано или поздно жизнь им это докажет. Суетится, дергается какой-ни-

[1] Александр Агеев. Испуг беллетриста К-ова. «Литературное обозрение». 1989. № 12. с. 52.

будь активист, корячится на брусьях, мускулы полирует. Он уверен: либо ты свой талант прячешь, либо ты его предъявляешь, то есть либо ты изгнанник, либо избранник. но Киреев-то знает другое: все это тщета; его герой наверняка не избранник, но и в изгнанники не хочет, а сидит тихо и хранит-лелеет свою странность, свою душевность, свою заветность, не очень, впрочем, зная, к чему ее приспособить.

Кто из них «прав», спрашивать бессмысленно, прав может оказаться и первый: тот карьерист, который корячится на брусьях. То есть это мне, читателю (критику), важно, «прав» или «не прав» Станислав Рябов, а Руслану Кирееву важно другое, и, только отбиваясь от нас, от нашего многолетнего «долбежа», он объясняет наконец, что Рябова не любит, что победитель «плох», а ведь по сути он ни «плох», ни «хорош» для Киреева, он важен в другом сюжете, на другом уровне.

И точно так же смысл «Лестницы» не в том, хороша или дурна девочка Рая, таскающаяся с мальчиками на чердак, и не в том, хороша или плоха вульгарная толстуха, в которую превратилась эта девочка много лет спустя,— смысл в том, что Киреев все время совмещает оба образа — девочки и толстухи, переживая и их контраст, и их таинственное единство.

Таинственное единство жизни — вот сердцевина киреевского многофигурного мира. Это не «галерея типов», это именно «общая жизнь»... как, впрочем, и у Маканина, при всей четкости его «социальной картотеки» и при всей эмблематичности врезаемых им в наше сознание «типов» вроде «гражданина убегающего» или «антилидера». Эти писатели не типологи по основной задаче, они не аналитики в основе своей; типологи и аналитики они лишь в частных эпизодах, при решении конкретных задач, а по глубинной задаче они, конечно, «философы жизни», в свете чего и видно, наконец, что внесло в нашу духовную реальность безымянное поколение «застоя»...

Да, но ведь и среди их предшественников сильнейшие писатели стремились к тому же! И у Шукшина сквозь пестроту ситуаций и типов чувствуется шукшинская жизнь. И у Трифонова чувствуется: та жизнь, другая жизнь...

Так. Но ведь не удержали же! «Жизнь» не дала им удержать это ощущение. Растащила, разволокла в разные стороны, одного — в защитники уязвленного крестьянства, другого — в защитники уязвленной интеллигенции.

Этих, «сорокалетних», еще не растащила. Держатся.

Поставьте вопрос так: Киреев, Маканин — писатели какого «слоя»? «Деревенщики»? Нет. Но и не оппоненты «деревенщиков». «Интеллектуалы»? Нет. Но и не оппоненты «интеллектуалов». Не та логика. Не деревня и не город.

А что? Середина?

Да. «Середина» жизни — вот то место, вокруг которого они ходят. Сердцевина жизни — вот то, что они ищут. Тот самый центр, который вроде бы заполнен, забит, затоптан людьми... И ведь именно затоптан: прохожими, бегущими, пробегающими. В центре жизни — полость, вакуум, проходной двор. Вот почему не «производственная деятельность» героев важна этим писателям, а «что-то другое»: именно то, что делает «производственную деятельность» героев эфемерной подробностью в их сомнамбулическом дрейфе по жизни.

Ну, хорошо, у Маканина это, положим, видно: у него в центре — человек «из барака», сезонник, «гражданин убегающий». А Киреев? Разве он не строит, разве не возводит стен, не соединяет лестницами уровни жилья, разве то, что он созидает,— не дом? Комнатка к комнатке, улица к улице, из Светополя в Витту, из Витты в Алмазово, из Алмазова в Гульган...

Кочевье. Переезды, переселения. Вечное ожидание переселения, вечная готовность сняться с места. Стены — из ракушечника: звукопроницаемы, призрачны. Лестницы скользки и опасны. Крыши сооружены из чего попало: куски резины и клеенки, прижатые ведрами и тазами, все хлябает, гремит, дребезжит — до первого хорошего шквала. Жилье временное, жильцы временные: не живут, а как будто снимают жилье. Уборная — во дворе, надо стоять в очереди. Укрома нет. Интим немыслим, независимость эфемерна, могут войти, вломиться, ворваться, с радостью либо с бедой, могут украсть, могут увести отца, могут все... Страх безотцовщины, готовность к сиротству — лейтмотив Руслана Киреева. Даже в грезах, от «маленьких домиков» родного Светополя отлетая,— отлетает в скитанье, в ситуацию той же неприкаянности, правда, она выведена в возвышенно-классический, «ненашенский» круг, в романо-германский: к Шамиссо, к немцам, к французам... Но и в классическом элизиуме автор «Питера Шлемиля» у Киреева скитается, он вечный странник, немец среди французов и француз среди немцев..

Ну, а когда от «романцев и германцев» возвращаешься в родимые палестины? Тут «Трофимовна и Гусиха», у одной зуба нет, у другой — глаза, но языки у обеих на месте. Гомеры завалинки! Поэтика двора. Двор сильнее дома. Двор бурлит, дом заваливается. На месте клумбы — сорняки... ржавое, без дна, ведро... на дверях замок...

«Внешне дом не изменился — те же серые стены, те же сбитые ступеньки, ведущие в сводчатый подвал, где некогда обитала наша живность...» Нет, это не дом. Это — пристанище. Место проживания.

В последних повестях Киреева возникает мотив песка, медленно засыпающего города: «Песчаная акация», «Пир в одиночку»... Критики, уловив, подхватывают мотив, придавая ему оттенок эколо-

гического катастрофизма,— вполне в духе начавшихся 90-х годов. Но Киреев не стремится быть на уровне «текущих дискуссий», у него песчаный фронт, надвинувшийся на шеренгу бетонных коробок,— вовсе не знак «времени», не отклик на поветрия «эпохи гласности». Тут все идет из глубины, и в самом нашествии бетонных башен, вытеснивших «маленькие домики моего детства»,— не меньше катастрофизма, чем в песчаных ветрах, освистывающих башни. Она, катастрофа, заложена в самих этих домиках... впрочем, не «катастрофа», конечно, тут я несколько форсирую тон, прочитывая киреевские тексты из нервической ситуации эпохи буксующей перестройки. А Киреев рожден эпохой «застоя», ее безвременьем. Нужно очень точно понять его тональность. Бездомье не крушение дома, а тихое оскудение: привычное, приватное, даже прелестное. Это какая-то удивительная смесь счастья и тревоги, спокойствия и беспокойства, жилья и миража.

Я (когда-то) почувствовал совмещение полюсов: *вибрацию* меж ними. За десять лет словцо в критике устоялось, обросло синонимами: «амбивалентность», «полифонизм» и проч.[1]. В глазах критики «безоценочно-объективное изображение действительности» чуть ли не главная черта Киреева как представителя «сорокалетних». Допустим, что так. Я согласен. Я только хочу понять, откуда это. Понять *источник вибрации*.

Что прежде всего характерно для художественной реальности Руслана Киреева, что составляет воздух его мира, магию его повествования?

Ритм повторов?

Ветеринар, опустившийся до скотника, время от времени, хлюпая, поет песенку об умирающем лебеде. В повторе этой детали нет приращения информации и не слишком много вариативности, обогащающей образ, но в повторе есть нечто, более важное для Киреева: иллюзия стабильности. Мы ждем повтора, рефрена, возврата, в нем сконцентрирована надежда на возобновляемость бытия. Бытие хрупко и неверно; оно напоминает себе, что оно есть; мы все время ждем нового подтверждения, и оно каждый раз является: в песенке ли об умирающем лебеде или в том, как Рая Шептунова преодолевает ступени на чердак, где потеряет невинность, или в том, как бабушки садятся пить чай. В сущности, мы все это уже знаем: и как Рая дойдет, и как бабушки будут пить чай,— мы не это, то есть не сам факт воспринимаем в каждом новом такте киреевской музыки, мы переживаем ожидание такта, ожидание факта.. Тут сложный контрапункт доверия к реальности и недоверия к ней: Киреев словно ощупывает ее, каждый раз убеждаясь, что она есть. Ритм повторов — ритм познания. Еще характерная черта его прозы — короткая резкость приступа. «Света нет, в окнах — второй час ночи. Прекрасно! Ведь ты не из тех мужей, о чьей нравственности...» (Начало «Победителя».) Вас сдергивают с места без раскачки, сразу в клинч, во внутренний монолог, в «нутро бытия». Врасплох. Без объяснений. Мотивировок нет — мгновенные снимки действий. Но этот конспект действий дан изнутри сознания как бы давно знакомого человека, который не должен вам ничего объяснять: он просто действует как считает нужным.

Каждый действует по-своему, и каждый прав по-своему. Так создается в прозе Киреева своеобразный калейдоскоп реальности с перемешиванием элементов, хаотичность которых при поворотах «трубки» тонко сопрягается с четким ритмом и весьма рациональным перемещением самой «трубки»: это непрерывное взаимодействие хаотичности и рациональности, вернее, это непрестанное опровержение хаоса жизни мелочным расчетом людей и непрестанное же опровержение их расчетов хаотичностью «макромира», равнодушно стирающего их планы.

Проза Киреева похожа на кружево с регулярным «встречным» узором. Писатель старательно вычерчивает отрицательный контур из положительных штрихов. Или положительный — из отрицательных. Пример первого — «победитель» Рябов. Пример второго — дядя Паша Сомов. Я воспользуюсь сейчас одним из приемов Киреева: выводя свой узор к очередному повтору-рефрену, он иногда вплетает в повествование как бы воспоминание о прошлом повествовании. Так, например, в повести «И тут мы расстаемся с ними...» сжато изложен сюжет повести «Посещение», и это избавляет меня от необходимости извлекать из нее квинтэссенцию, как я ее понимаю: я прямо возьму то, что извлек из нее Киреев, то есть то, что он сам и заложил в нее: «Дядя Паша... пил, курил, приударял за женщинами и лихо удрал из больницы, чтобы сыграть партию в бильярд или выпить с приятелями кружку пива в известном всему Светополю «Ветерке»...» Чувствуете? Все действия по отдельности стилизованы как «отрицательные», а итог — положительный.

Тут, кстати, я кое-что добавлю про дядю Пашу, как и обещал. А именно: что он не только сражается в бильярд и пьет пиво во время своего побега из больницы, он еще борется за социальную справедливость: делает выговор директору родимого таксопарка за то, что тот отдает новые машины не заслуженным ветеранам, а тем молодым шоферам, у которых хватка покрепче. Я чуть задержусь на этом эпизоде, потому что он позволяет оценить отношение Киреева к некоторым реалиям нашей жизни, приобретшим в эпоху перестройки некоторую самостоятельную важность. Так все-таки: кому должны принадлежать лучшие машины, если мы хотим, чтобы

[1] Карен Степанян. Свет истинный и мнимый. В книге: Р. Киреев. Светлячок. М., 1987, с. 292.

водители лучше возили людей? Они должны принадлежать лучшим водителям, так вроде по Малинину и Буренину? И Киреев с объективностью точного реалиста свидетельствует, что шоферюга, у которого дядя Паша засек новую машину,— действительно профессионал высочайшего класса. Почему же надо пересаживать его на драндулет, и каким образом мы наведем «социальную справедливость», если на хороших машинах будут посредственно ездить посредственные шоферы,— в этот вопрос мы здесь, конечно, углубляться не будем, оставим его А. Никишину и другим публицистам, анализирующим современный извоз. Отметим лишь то, что помогает нам понять прозу Киреева.

Первое: неспроста не углубляется он в профессиональные заботы своих героев, потому что там, где он углубляется, возникают проблемы совершенно другого, некиреевского круга, другого прицела, другой тональности.

Второе: там, где он пытается втянуть дядю Пашу в «положительное» действие,— возникает фальшь.

Третье: там, где дядя Паша втянут в действия «отрицательные», то есть: «пьет, курит, удирает из больницы» и даже поглаживает по круглому заду медсестру, делающую ему укол,— там-то он, дядя Паша, как раз и предстает человеком совершенно замечательным... я бы сказал, «положительным»,— если бы это определение (как и «отрицательный») изначально не било бы в прозе Киреева мимо адреса. Проза его как раз и ориентирована на ту жизнь, которая течет, гнездится и реализуется *помимо* определений и доктрин, наискосок им, где-то в полостях, лакунах, где-то в «мертвых зонах» доктрин, вопреки ожиданиям.

Собственно, ведь музыка повторов, рефренов и возвратов у Киреева есть не что иное, как игра с «ожидаемостью», все время искусно провоцируемой и все время искусно нарушаемой. Вы заранее знаете, что дядя Паша умрет, вы все время ждете его смерти... а он не умирает. Нет, он умирает все-таки — в последнее мгновенье повести, где-то даже за обрывом последней фразы... именно в то мгновенье, когда вы допускаете: вдруг не умрет? То есть жизнь реализуется не так, как вы ждете, а так, как надо ей, жизни, если же она реализуется именно так, как вы ждете, то ваше ожидание (ваше «доктринерское» ожидание) все равно посрамлено, потому что вы ждали «подтверждения», а жизнь как бы прошла сквозь него, не обернувшись.

Киреев — мастер «предсказуемых» положений, которые он опровергает либо... подтверждает, в зависимости от сверхзадачи. Форсаж «демонизма» в художнике Рябчуке идет как бы в опровержение страха бесследности, незаметности, безликости, но, едва мы привыкаем к раблезианской непредсказуемости громоподобного озорника,— он оборачивается беспомощным младенцем, и вместо варварского напора мы получаем интеллигентную деликатность. Сверхзадача? Жизнь «как таковая», стоящая вне предсказаний, ожиданий и предуказаний, вне догадок и доктрин.

Иногда кажется, что Киреев пишет без грунта, или, скажем так, ткет без основы, вышивает без канвы — в «воздухе». Ритм жизни сам себя держит. В этом текучем безвременье-бездомье возникает некий механизм жизнеудержания, для Киреева невероятно важный: *ритуал*.

«Моя бабушка считалась знатоком чая. Даже в самые трудные времена она заваривала его столько раз, сколько садилась пить чай. Или чай пить. Разница была колоссальной. Мне так и не удалось до конца уяснить, в чем, собственно, заключалась она, но, если не ошибаюсь, «пить чай»... означало пить от жажды, когда пить хочется, и потому *с чем* роли не играло, а вот «чай пить» приятно со вкусными вещами. Иными словами, лакомиться».

Образец киреевской прозы: непреложность от обратного («мне так и не удалось выяснить».., «если не ошибаюсь...»), кружево, висящее в воздухе, реализуемая тень, таинство ожидаемости, необыкновенность обыкновенности.

Вообще эта повесть о старушках — лучшая, как я думаю, писательская работа Киреева. По виртуозности пластического рисунка. По точности выхода на сверхзадачу. По органичности тона. Четыре старых человека путешествуют из Светополя в Калинов и обратно: две бабушки плюс еще дедушка, не считая Александры Петровны, соседки. Немножко Джерома, немножко Додэ, немножко того же Чехова... И смешно, и трогательно, и грустно, и в конце концов, оглядываясь на это героическое путешествие, сотканное из мелких недоразумений, не понимаешь, что же так поразило и потрясло тебя, а ведь поразило и потрясло!

Шарм предсказуемости. Задумано — сделано. Задумали ветхие светопольские старушки совершить путешествие на далекую свою родину, в среднерусский городок Калинов — и совершили. Ничто не помешало: ни отсутствие билетов, ни светопреставление, ни непредвиденные житейские мелочи, ни непредвиденные исторические катастрофы. Поехали-таки! И доехали. И даже в купе поезда, как и планировалось, пили чай... простите, чай пили.

Шарм непредсказуемости. Рассчитывали, по давней памяти, в Москве остановиться в гостинице «Савой»,— вместо этого пришлось переночевать в какой-то дыре около ВДНХ,— ничего, переночевали, даже спасибо сказали.

Шарм старомодного достоинства, не замечающего под ногами, что почва давно не та и даже, так сказать, почвы давно нет... Ничего. Достоинство держится и без опоры, как бы само из себя, и совершенно неважно, чем оно прикроет се-

бя на этот раз: скромным, строгим воротничком Валентины Потаповны, или кокетливой матерчатой розочкой на доПотопном вечернем платье Вероники Потаповны, или картонным кругом, заправленным в кепку Дмитрия Филипповича, или его же моднющим провинциальным беретом. И совершенно неважно, что эти старички, прослезившиеся на Красной площади при звуке курантов, кажутся смешными, наивными; их жизнь — это их жизнь, это реальность, которая (как позднее прокомментировал Руслан Киреев), «хотим мы этого или нет, такова», и «разве могла быть иной?» При той жизни, которая им досталась,— нет. Значит, она достойна уважения. Грустно и хорошо от этой мысли, больно и светло. Болью и светом веет от прощального паломничества светопольских горожан к истокам, и только в самое последнее мгновенье повести, когда «мы расстаемся с ними»,— вдруг падает какая-то тень... Городок Калинов, из которого вышли когда-то две девочки,— неузнаваемо заброшен; деревенька, до которой они с таким трудом добрались,— вообще исчезла. И от этого ощущения пустоты и бесцельности возникает в сознании старушек смертельная мысль о том, что жизнь прожита как-то «не так»: и у Валентины Потаповны, с ее когдатошными женсоветами и культпросветами, и у Вероники Потаповны, со всеми ее розочками и даже «вальдшнепами на вертеле», съеденными в ресторане гостиницы «Савой» в 1932 году. В сложном взаимодействии ожидаемости и неожиданности, на котором строит Руслан Киреев узор своей лучшей повести, обнаруживается какой-то потайной глобальный вопрос, которого вы не ожидали: да, все произошло так, как должно, но все это... выдумано. Оно должно было состояться, это путешествие стариков, оно — реальность, оно дороже всяких доктрин и принципов, и потому его пришлось выдумать.

Вы вспоминаете, что мотив ирреальности вообще нередко возникает в мягкосолнечной, светло-графичной прозе Киреева. Что-то дориано-греевское, что-то с портретом, который убивает человека. Что-то от потерянной тени, от Шамиссо, от темных романтиков. И все время — тайная тревога, необъяснимая, не сходящаяся с принятием жизни как она есть.

Не с этим ли связано возникающее применительно к светлому, скромно-достойному герою Киреева в последней его повести, в «Пире в одиночку», отчаянное определение: «Скучный человек?» Не с этим ли — другое слово: «бессудебье» — странное, как потерянная тень? А вдруг общая судьба, о которой столько думано,— все равно, что отсутствие таковой? (А критика уже подхватывает: признал! Мужественный человек! Мужественный писатель! Мужественное бессудебье[1].)

[1] Вл. Бондаренко. Мужественное бессудебье «Москва», 1989 № 12

Объяснения тут требует и то, и другое. И ощущение судьбы. И ощущение бессудебья.

Судьба поколения, нашедшего себя в застойный миг истории, в межвременье, в безвременье. Я бы сказал еще так: в междоктринье. Люди, родившиеся меж тридцатыми и пятидесятыми,— что они получили в качестве исторического опыта? Торжество непримиримости над соглашательством? Торжество «революционных демократов» над «либералами» в XIX веке,— именно над либералами, потому что ненависть к мягкотелым, к интеллигентам, была в этом пакете идей куда актуальнее, чем ненависть к охранителям или реакционерам, каковая как бы подразумевалась сама собой. Но как могли «дети застоя», получившие все это в виде закостенелой догмы, воспринять ее? Только с глубочайшим скепсисом. Они в отличие от старших братьев-романтиков, успевших поверить в коммунизм, не успели ни во что поверить, и им в отличие от старших братьев-романтиков не пришлось корежить себе душу в эпоху XX съезда партии. Им не надо было мучиться, распознавая в современных консерваторах наследников того самого радикализма столетней давности, который когда-то лег в основу доктрины: они вообще не успели в доктрину поверить. Противостояние «либералов» и «консерваторов» в эпоху хрущевской оттепели должно было только подтвердить в их глазах то, что жизнь профанируется любой доктриной, и правой, и левой. Слишком явственно было банкротство, и слишком схож был язык у разного толка идеологов, веривших, что жизнь можно объять, исчерпать и наполнить некоей угаданной Великой Идеей. Достаточно оказалось «застойного» двадцатилетия, в которое им довелось обрести себя, чтобы выработать иммунитет против любой доктрины. В эпоху гласности, когда перегруппировавшиеся вероучители начали сталкиваться под новыми лозунгами, когда на знаменах радикалов появились либеральные лозунги, на знаменах вчерашних атеистов — распятия, а на знаменах бывших интернационалистов ортодоксов — лозунги сугубо национальные,— «сыны застоя» вошли с трезвым пониманием того, что все лозунги, призывы, зовы, великие идеи и неуступаемые принципы скорее перейдут в собственную противоположность, чем оставят в покое жизнь как таковую. Скорее обанкротятся, чем ее признают как таковую.

В этом контексте понятна та философия жизни, которую предложило нам поколение, не удостоившееся имени: «сорокалетние», ставшие «пятидесятилетними». Их и впрямь трудновато определить; их мироконцепция как раз и исходит из того, что жизнь неопределима. Жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов. Такая как есть; другой не дано. Вот эта, ускользающая, убегающая, утекающая, не оставляющая тени. Разглаживающаяся бесследно, как малый водоворотец в омуте тихой русской реки: едва закрутилось — и уже нету... только-только полюбилась — и уже надо расставаться. Прелесть и глубь, свет и грусть существования как такового — вот что предложили нам философы жизни. При всей внешней «кротости» этой программы, при всей кажущейся «недемонстративности» ее — она, в сущности, бросает весьма дерзкий вызов тем доктринам, от которых отказывается, она весьма демонстративна в настоящей литературной ситуации.

И литературная ситуация устами критики, не колеблясь, отвечает Кирееву и его героям:

— В вас нет ощущения крови — только временные вывихи души. В вас нет знания гибели — только тихая естественная смерть. В вас нет чувства долга: должности, ответственности, даже чисто профессиональной определенности,— только соседство жителей. В вас нет понятия нации — лишь временные землячества. В вас нет сопричастности народу — только сознание «человека вообще», человека «как такового», представителя «рода человеческого»...

Читатель, наверное, понял, кто автор этой филиппики: я цитирую статью Марины Новиковой, несомненно, ярчайшую на сегодняшний день из всего, что написано в критике о Кирееве,— статья эта памятна по публикации в «Новом мире» и теперь доработана для отдельного издания киреевской трилогии, где «Подготовительная тетрадь», «Победитель» и «Апология» объединены под автодорожным титлом «Автомобили и дилижансы». Но статья!

— По прозе «сорокалетних» бродит амбивалентный герой. Эдакий умеренно, непоследовательно, вынужденно плохой человек. Вернее, человек попеременный. В одном кармане у него крошечный Мефистофель, в другом — еще меньший архангел Гавриил... (Пожалуй, по ходу врастания церкви в истеблишмент эпохи Перестройки Марина Новикова могла бы поменять местами атрибуты: Мефистофель теперь поменее Гавриила.— Л. А.). Он думает: если он плохой, то и все плохие, все виноваты, всех на суд... то есть никого. Трюизм эпохи застоя. Заветная мечта киреевских героев — слиться. Бытом заслоняются от бытия: от неготовности к Бытию. О, глухомань духовная, о, провинция. Ни корней, ни почвы — песок! Что положит такой человек на последнюю чашу весов, чем подытожит свою жизнь? Ни чувства истории у него, ни желания осмыслить реальность под углом зрения таких больших, древних, как мир, великих понятий, как жизнь, смерть, бессмертие. Без них, вне их — «мышья беготня»: жизнь, в которой нет судьбы...[1]

Тяжкая длань. Ни с одним определением не спорю: все так. Но до чего же быстро поднимается над жизнью «как таковой» кнут идеи! Или древко знамени. Или перст судьбы... Учуял ли Киреев давление этих новых ожиданий, когда обронил в своей последней повести то странное, «диковатое», «несуществующее» (в координатах М. Новиковой) словцо: «бессудебье»? А может, всем ходом этой жизни, накоплением скрытой тревоги вывело его к этому слову, которым он поставил под вопрос всю свою мироконцепцию — свою и своего поколения?

Что же ждет эту литературу в будущем?

Если вновь поднимет себя Россия к великим задачам, если хватит у нее сил и отчаянности поставить судьбу свою на кон больших, всемирных задач (неважно, бичами каких слов поднимет она себя на этот раз: «мировой справедливостью» или «божиим промыслом», «научным предвиденьем» или «расцветом демократии», «национальным возрождением» или «единством во что бы то ни стало»),— то вся попытка «сорокалетних» защитить «жизнь как таковую» останется в памяти литературы как незначащая передышка, как никчемная пауза, как миг переведенного дыхания.

Если же от сознания того, что обманом, насилием и банкротством оборачиваются все доктрины, суждено нам лечь в долгий спасительный дрейф сохранения жизни, как ложились и иные народы, десятками мирных поколений храня и восстанавливая существование после «исторической вспышки»; если суждена нам эта пауза, эта ниша истории, где потребуется «просто жить», не оправдываясь ежемгновенно перед заветами, принципами, учениями и другими «большими вещами»,— тогда иной смысл обретут и книги нынешних философов жизни. Тогда, можно сказать, они предлагают нам не что иное, как вариант спасения.

А примем ли мы этот вариант и вообще: чем обернется, какой судьбой ляжет нам это бессудебье,— не берусь предсказывать. Мы непредсказуемы.

[1] Марина Новикова. Песок, почва и судьба. В книге: Руслан Киреев. Автомобили и дилижансы. М., 1989.

Формула противостояния

•

Олег Волков. Погружение во тьму. М., «Молодая гвардия», 1989. **Век надежд и крушений.** М., «Советский писатель», 1989.

•

Читая очередное документальное свидетельство о пореволюционном насилии, о каннибальстве системы, вновь и вновь ужасаясь и сострадая нечеловеческим мукам, выпавшим на долю народа, невольно ищешь в каждом таком автобиографическом повествовании (а к ним принадлежит и книга Олега Волкова «Погружение во тьму») не подробностей ужаса, а что-то иное.

В самом деле, кажется, ну что еще нового можно узнать о лагерном аде после «Архипелага ГУЛАГа» А. Солженицына, «Колымских рассказов» В. Шаламова, «Крутого маршрута» Е. Гинзбург и многих других публикаций, выплеснувшихся на страницы периодики в последнее время?

Но — всякий раз нов и уникален опыт души, прошедшей через эту преисподнюю. Опыт ее противостояния расчеловечению. Опыт самосохранения в условиях, где, может быть, лучшим самосохранением была гибель.

Смерть стирает различия. К подобному же тотальному нивелированию, к уравниванию и обезличке была устремлена система, суть которой ярче всего и выявилась за колючей проволокой, за тюремной стеной.

«Ты — ничто, и звать тебя — никак...»

Формула же противостояния, как и формула любой человеческой жизни, всегда индивидуальна, личностна. За ней — Лицо. Дух. Потому, наверно, и ищешь именно в ней разгадку человеческой сущности, простота которой, казалось бы, так катастрофически приоткрылась в лагерях уничтожения. В ней как бы мерцает надежда, что последняя правда о человеке все-таки еще не узиана. Что она при всех величайших упованиях и разочарованиях двадцатого столетия нам еще только предстоит.

О. Волков подводит итоги: «За плечами почти двадцать восемь лет тюрем, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве. Это по-разному сформулированные справки трибуналов, судов и «особых совещаний» о прекращении дела по обвинению имярек в том-то, по статье такой-то, ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ».

Вдумаемся: двадцать восемь лет!..

Впрочем, что может сказать сухая цифра, хотя за ней — почти половина жизни, где каждый день неволи, страданий, лишений, страха и унижения один за... Не возьмусь сравнивать. Нет критериев, как нет и не может быть оправдания этому возведенному в закон зверству.

Но что удивительно — в книге О. Волкова нет ни шаламовской ожесточенности, невольно прорывающейся в жесткой, холодной ясности колымских рассказов, ни сжимающей душу трагедийности солженицынского «Архипелага», за которой подобно лаве бурлит праведный неистощимый гнев. В ней — тонкое, подчас нескрываемо лирическое приятие жизни — вопреки судьбе! Прощение ей.

Прощение жизни — не парадокс ли?

Какой же парадокс, если человек именно с ней чаще всего и сводит счеты («дар напрасный, дар случайный»), если она — тягота, мука, несчастье, недоля... И уж тем более если врезается в изломанное тело ржавыми остриями колючей проволоки, рвет внутренности голодом, топчет новыми сапогами изуверов-следователей, надзирателей, конвойных, зловеще издевается, возводя немыслимую напраслину и изощряясь в обвинительных небылицах, если она попирает достоинство, принуждает к рабскому непосильному труду, склоняет к подлости и предательству... Какой там дар? Какое благо?

Бремя невыносимое! Ноша, которую бы скинуть, побыстрее «отволочь», если воспользоваться лагерным арго, как нестерпимо долго тянущийся срок. И кто посмеет сказать человеку, изведавшему в полной или неполной мере, что он не прав? Что он ошибается и все совсем не так мрачно и безнадежно, как кажется?

Но если сам человек прощает, то его трудно заподозрить в фарисействе. Зато в его прощении жизнь действительно как бы получает оправдание, в нее возвращается утраченный смысл, в отчаянии появляется луч надежды.

Господи, да кому нужно это прощение? Разве что-нибудь изменится: мертвые восстанут, замученные забудут о своих страданиях, раздавленные обретут достоинство?.. Ведь не будет этого, а если бы и было — не легче!

И все-таки, все-таки... «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». Любой нравственный поступок всегда больше себя самого, в нем — свет, рассеивающий окружающую тьму, как бы густа она ни была. Таково и прощение, в котором чудится побеждающая духовность.

О. Волков не случайно сомневается, «не окрашен ли кошмар тех лет розоватыми отсветами субъективных удач», не смягчит ли впечатление о лагерной мясорубке рассказ о почти чудесных избавлениях и счастливых стечениях обстоятельств, помогавших автору выжить?

Действительно, такая смягченность в повествовании О. Волкова есть, но только откуда она, в чем ее истоки? — вот вопрос.

Автор «Погружения во тьму» полностью солидарен с выводом В. Шаламова, что лагерь — абсолютно отрицательный опыт, он, цитирую самого Волкова, «по природе своей не способен вместить начал добра и счастья».

Столь же определенен и приговор писателя системе в целом. Власть, избравшая главным инструментом насилие, расчеловечивает человека, отторгает его от вековых нравственных устоев, кровавыми расправами погружает народ в страх и немоту, разрушает в нем сами понятия добра и зла. «Отсюда — неизбежное одичание, бездуховность, утверждение вседозволенности, превращение людей в эгоистических, утративших совестливость, неразборчивых в средствах искателей легкой жизни, не стесненных этическими и моральными нормами». На ней, на самой системе, лежит «мертвящее тавро лагеря».

Публицистические размышления, которыми пронизана книга О. Волкова, столь же горьки и беспощадны, как и нарисованные им сцены издевательств над заключенными на Соловках, гибели на улицах Архангельска высланных крестьян и многое другое, виденное и пережитое.

Вместе с тем зло, показанное в книге со всей резкостью и очевидностью, не прикрашенное ни на йоту ни в одном факте, становится как бы общим фоном, словно отодвигается на второй план. Господствовавшее в реальной действительности, в книге о жизни оно «не тянет» на заглавную роль — даже при всем желании писателя расквитаться с ним, вывести на всеобщее обозрение.

Зло, как бы омерзительно оно ни было, в каких бы разнообразных формах ни проявлялось, всегда одномерно, плоско, тупо. Оно может раздражать, ужасать, возмущать, но оно не дает пищи душе, в которой та обретает свою истинную теплоту — для жизни, для ее поддержания и сохранения.

Ни лагерь, ни тюремный застенок не могут вместить в себя начал добра. Но их несут в себе люди, безвинно заключенные сюда, из последних сил пытающиеся сберечь в себе эти начала как квинтэссенцию человеческого. Их несет в себе природа, на красоту которой деятельно откликается душа, восстанавливаясь после перенесенных ударов.

«Каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор. Сквозь деревья опушки — всплески солнечного света на пенистых волнах. И протяжные голоса надлетающих птиц, и свежесть морского ветра, и в яркой хвое — рыжие быстрые белки. И древний, смолистый дух бора в заветриях...

Равнодушная ли? Ее, Природу-Утешительницу, я глубже всего постиг сквозь частокол зоны в щели щита, загораживающего обрешеченное окно. Когда был погребен заживо».

Можно, конечно, пройти мимо этих сердечных строк признания, расценить их как обычную сентиментальность, понятную, но мало что объясняющую. Однако именно в них свидетельство глубинного чувства жизни, неутраченной душевной способности видеть красоту в самые тяжкие и безнадежные минуты, способности бескорыстно радоваться ей.

А это значит, что ж и в а душа, не захлебнулась в той «помойной яме», в какую превратились, по словам О. Волкова, советские застенки.

Люди, Природа и Культура — вот три главных живительных источника, из которых черпаются сила и стойкость, смысл и надежда. Ад лишь подтверждает, обнажает непреходящее значение их для жизни вообще, заставляет глубже постичь их великую ценность.

Рассказывая о первом заключении в Соловецком лагере, где писатель столкнулся с еще только начинающей набирать мощь репрессивной системой и самоутверждающимся произволом, О. Волков то и дело обращается мыслью к дореволюционному прошлому Соловков, крупнейшего центра русской православной религиозной культуры.

Даже тогда, когда «место смирных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепые чекисты», когда «уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа, — душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и испытаний».

Писатель убежден, что духовная, нравственная энергия присутствует и в естественном, органичном ходе исторической жизни, в преемственности поколений, в нерасторжимой связи с бытием, с культурой отцов и дедов, то есть с прежней Россией, «откуда почерпнуты ощущения мира и исконные привязанности».

Двадцать восемь лет, безжалостно и беззаконно вырванных из жизни, теперь наконец полностью вписаны в его биографию. О. Волков как бы восстанавливает ту биографическую меру опыта, о гибели которой писал в 1922 году О. Мандельштам в статье «Конец романа».

А начало биографии — в дореволюционной России, в образованной дворянской среде; отец писателя, как и большая часть старой русской интеллигенции, превыше всего ценил человеческое достоинство и право каждого свободно мыслить, отвергал любое ущемление этого права и насилие над личностью. В основу воспитания молодого человека, таким образом, закладывались демократические семейные традиции, добротный российский либерализм, вера в «пользу просвещения земских учреждений и спасительность постепенного преобразования жизни».

Крах иллюзий и упований на то, что все еще образуется, а в конечном счете и крушение самой семьи, одной из многих дворянских семей, связанных с глубинной, крестьянской Россией, оказавшихся либо уничтоженными, либо рассеянными по миру,— тоже одна из граней общенародной трагедии.

Вместе с этими семьями стирался и тот важнейший культуроносный слой, из которого фактически вышла русская классическая литература, разрушались культура и нравственная традиция, противостоявшие и обуздывавшие темную стихию в человеке. Стихию, которая была развязана социальным экспериментаторством.

Эта стихия выплескивалась не только на вершинах власти, но и в подневольном существовании заключенных. Подобно другим летописцам ГУЛАГа О. Волков на себе испытал его растлевающее воздействие. «Лагерная обстановка диктовала: чтобы уцелеть и выжить, сделайся людоедом, умей столкнуть слабого, подкупить сильного, подладиться к блатному миру. Но как быть, если все существо твое противится? Восстает против матерщины, цинизма отношений, подлости и насилия?»

Вопросом «как быть» задавались, вероятно, многие, кто и в тех чудовищных условиях не растерял веру — в Бога ли, в Человека или в Добро. Память автора «Погружения во тьму» открыта именно таким людям, любым проявлениям их доброты, великодушия, будь то просто участливое слово или реальная помощь и поддержка.

Много теплых строк посвящает О. Волков сосланному на Соловки духовенству, пытавшемуся и здесь не дать угаснуть разбитому и оскверненному очагу веры. «Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни,— пишет О. Волков о депутате Государственной Думы священнике Михаиле Митроцком.— Эта расположенность — видеть ее доброе начало — передавалась и его собеседникам: возле него жизнь казалась светлее. Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние — умным ли словом, шуткой ли».

Эту невытравленную человечность писатель встречал на своем крестном пути в самых разных по убеждениям людях, будь то бывший кадровый офицер, монархист Георгий Осоргин, азербайджанец-мусаватист Махмуд, врачи Фельдман и Ефремов, не раз выручавший О. Волкова в почти безвыходных ситуациях Юра Борман...

Собственно, не «отсвет субъективных удач» смягчает повествование О. Волкова, а — отсвет порядочности, душевности, бескорыстия, встреченных им и там, где тьма готова была вот-вот сомкнуться над головой. Его собственное умение оценить их, возрадоваться им.

Чаще всего эти качества писатель находил в людях глубокой внутренней культуры, обладавших той самой неотделимой от совестливости, уважения к людям и их мнениям, от отвращения к насилию интеллигентностью, которую всячески старались дискредитировать паханы у власти. Интеллигентностью, которой постоянно тыкали самого О. Волкова разные лагерные церберы.

Ну, а взамен, что могли предложить взамен они, послушные винтики кровавой истребляющей машины, кроме разнузданности диких инстинктов и пещерной озлобленности, даже не прикрытых приевшимися лозунгами?

Отрицательный опыт, безусловно, должен быть осмыслен, и публицистическая критика в книге О. Волкова, честная и бескомпромиссная, имеет большое значение, является важнейшей ее частью. Но ответом на актуальнейший сегодня вопрос: «Что же нужно России?», мне кажется, все-таки скорее могут послужить, пусть предварительно, именно «отсветы» человечности, порядочности и культуры, запечатленные в «Погружении во тьму». В них — формула противостояния, воистину выстраданная одним из старейших наших писателей Олегом Волковым на путях его нелегкой жизни, формула, в которой слились предостережение и надежда.

Евг. ШКЛОВСКИЙ

Последний перевал

•

Давид Самойлов. Горсть. Стихи. М., «Советский писатель», 1989. **Избранные произведения в 2-х томах.** М., «Художественная литература». 1989.

•

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ.

Закончен мой алтарь,
В нем злато и янтарь,
И ангелы, и черти,
И даже образ смерти.

Давид Самойлов умер, не дожив три месяца до своего семидесятилетия, и эта незаконченность еще больше — по закону контраста,— подчеркивает завершенность того, что он сделал в поэзии задолго до своей смерти.

Он принадлежал к поколению поэтов — название условное, но прочное. Казалось бы, что общего у него с Винокуровым, у Слуцкого с Межировым, у Гудзенко с Орловым? И тем не менее, несмотря на все различия, что-то общее все-таки было: впервые применительно к собственному творчеству об этом упомянул ушедший раньше всех — из выживших на войне — Семен Гудзенко, но его стихотворную формулу 1947 года можно распространить и на его товарищей по поэтическому цеху, или, как говорил Герцен, «сопластников»:

У каждого поэта есть провинция,
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.
И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная одна
суровая моя и откровенная
далекая провинция — Война...

Первая книга Самойлова «Ближние страны» /1958/ чуть ли не целиком была посвящена «эпохе солдата». Война в его стихах дана как воспоминание — «Долго пахнут порохом слова»,— но воспоминание это для поэта так существенно и так мучительно, что надолго вперед определило не только его сюжеты, но и параметры и координаты его существования, а заодно и точку зрения на мир — в том числе мирный.

Вообще стихи Самойлова о войне — это словно бы взгляд на фотографию далеких лет, причем на мирную фотографию, еще довоенную, какой-нибудь групповой снимок, где никто из сфотографированных даже не подозревает о судьбе, которая выпадет на их долю. Да и не только на войне, но и в так называемой мирной жизни — пусть с меньшей очевидностью, но тем бóльшая в этом заслуга поэта — человек воспринимается Самойловым как существо историческое. В третьей его книге «Дни» есть замечательное стихотворение с безликим редакторским названием «Фотограф-любитель», которое я помню еще по «новомировской» публикации с куда более точным заголовком — «Набросок портрета». В стихотворении говорится о желании человека сняться на фоне Царь-пушки, башни, колоннады, грота, фонтана, на фоне запечатленной в бронзе и камне истории: «Он пишет, бедный человек, свою историю простую, без замысла, почти впустую он запечатлевает век. А сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне слов, на фоне страхов, на фоне снов, на фоне ахов! Ах! — миг один,— и нет его. Запечатлел, потом — истлел тот самый, что неприхотливо посредством линз и негатива познать бессмертье захотел. А он ведь жил на фоне звезд. И сам был маленькой вселенной, Божественной и совершенной! Одно беда — был слишком прост! И стал он капелькой дождя... Кто научил его томиться, к бессмертью громкому стремиться, в бессмертье скромное входя?»

Я привожу это стихотворение в строчку, чтобы показать, что настоящая поэзия не теряет даже в прозаической графике.

Для Самойлова историчен сам человек — в бóльшей мере, чем башни и колоннады либо никогда не стрелявшая Царь-пушка.

В этом противопоставлении не только определенная концепция — в те времена заостренная и полемическая,— но и своеобразная эстетическая программа. Если поэзии Самойлова суждено бессмертье или хотя бы долголетие, то эпитет «скромное» к нему тоже подходит. Самойлов редко повышает в стихах голос, о войне он пишет со скромной уверенностью солдата, прошагавшего через войну и теперь повторяющего этот маршрут по памяти в стихах. Даже его знаменитые «Сороковые...» и «Перебирая наши даты» построены на простых, конкретных и достоверных фактах: в первом стихотворении упомянута вырезанная из банки неуставная звездочка, а во втором — реальные имена друзей-поэтов, погибших на войне:

Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом,
А гуманизм не просто термин,
К тому же, говорят, абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и невозвратны.
Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.

Зависимость живых от мертвых — это еще и ответственность перед теми, кто пал на войне. Самойлов ушел на фронт студентом ИФЛИ, его представления о жизни и поэзии были сформированы войной. Как и Борис Слуцкий, Самойлов пришел в поэзию лишь спустя десятилетие после войны — воспоминания о войне были для обоих своеобразным поэтическим дипломом; ибо «рукоположения в поэты мы не знали. И старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой...» Более надрывно и патетически это же чувство выражено в «Сороковых...»:

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Николай Ушаков как-то обмолвился, что поэты спорят друг с другом — часто через столетия. Случаются поэтические споры более близко соотнесенные — ска-

жем, знаменитый спор об «угле» и «овале» Н. Коржавина с П. Коганом. Есть споры менее известные — к ним относится и тот, в котором участвовало три поэта, включая Самойлова.

В 1943 году Михаил Светлов написал романтическое стихотворение «Итальянец» — с обращением советского солдата к убитому им итальянскому солдату:

...Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

Полтора десятилетия спустя под тем же названием «Итальянец» появилось стихотворение Слуцкого. В нем сюжет уже иной: израненного и обмороженного итальянца советские солдаты «из сердобольности душевной кормили кашею трехразовою», но кончается стихотворение публицистическим обращением, пафос которого оправдан своим временем, как пафос Светлова — предыдущим:

Мы требуем немного — памяти.
Пускай запомнят итальянцы
И чтоб французы не забыли,
Как умирали новобранцы,
Как ветеранов хоронили,
Пока по танковому следу
Они пришли в свою победу.

У Слуцкого со Светловым совпадение в стиховом выводе, полемика — в посыле: контрастному романтическому трагизму противопоставлен реальный драматизм военной ситуации.

Насколько иначе решает тему «итальянца» Давид Самойлов в «Ближних странах»! Биография его «итальянца» начисто опущена, важнее любых биографий для Самойлова судьба человека — не анкетные данные, а исторические ориентиры положения человека в мире. Впрочем, «анкетный» вопрос Самойловым предусмотрен, и ответ на него дан полемически — с некоторым даже вызовом — во всяком случае, задором:

...— Кто такой?
— Да никто. Человек.—
Щекотнул папиросный дымок.
Итальянец и сам бы не мог
Дать ответ на вопрос сокровенный.
Он — никто: ни военный, ни пленный,
Ни гражданский. Нездешний. Никто.

К сожалению, у Слуцкого не было привычки ставить под своими стихами даты их написания — время он мыслил более крупными, чем годы, отрезками. Поэтому мне неизвестно, чей «итальянец» был написан раньше — Слуцкого или Самойлова, хотя оба, несомненно, написались в полемике с военной романтикой Светлова. В любом, однако, случае перед нами классическая триада, где стихи Светлова и Слуцкого — это теза и антитеза, а у Самойлова, с его склонностью к гармонии и сглаживанию («снятию») противоречий,— синтез:

Человечек сидит у обочины.
Настороженный, робкий, всклокоченный.
Дремлет. Ежится. Думает. Ждет.
Скоро ль кончится эта Вторая
Мировая война?
Не сгорая.
Над Берлином бушует закат.
Канонада то громче, то глуше...
— Матерь Божья, спаси наши души.
Матерь Божья, помилуй солдат.

Кажется, это первый случай в советской поэзии о второй мировой войне — молитва за солдата, не за советского, а за любого, за солдата вообще, врага, друга: за человека. Думаю, что публикацию этих строчек в 1958 году можно объяснить только оплошностью цензуры.

Кстати, трудно представить себе поэтов более противоположных, чем Слуцкий и Самойлов. Слуцкий, к примеру, пишет, что во время войны пейзажи солдат заслонил, а Самойлов, споря с ним, настаивает на противоположном: «Рассветало. Обычное утро, независимое от войны». Судя по всему, именно к Самойлову относятся шутливые строчки Слуцкого «Широко известен в узких кругах...», а мне Слуцкий сказал однажды в Коктебеле: «Зачем нам ваш Скушнер, когда у нас уже есть Самойлов». Что касается Самойлова, то он с интересом относился и к Кушнеру, и к Слуцкому, и к Бродскому — он вообще любопытствовал к чужому стиху, в чем я имел возможность однажды убедиться, проживя с ним несколько дней в одном номере вильнюсской гостиницы.

Все составные части поэзии Самойлова — быт и бытие, история и биография, чувство и мысль — приведены в состояние гармонии: «Стих небогатый, суховатый, как будто посох суковатый»,— пишет Самойлов, причем скромным своим стихом он явно гордится. Это сознательная позиция — говорить обо всем с предельной простотой, искренностью, непринужденностью и человечностью:

Люблю пейзаж без диких крепостей.
Без сумасшедшей крутизны Кавказа.
Где ясно все, где есть простор для глаза,—
Подобье верных чувств к сдержанных страстей.

В период, когда поэзия углубляла свою разведку в поисках новых ритмов, нового синтаксиса, новых структур, Самойлов демонстрировал свою верность классическому стиху, знакомым и испытанным словам, простым человеческим чувствам:

И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений.
Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений.
И ветер необыкновенный,
Когда он ветер, а не ветр.
Люблю обычные слова.
Как неизведанные страны,
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

Есть у Самойлова стихотворение «С эстрады». Если сравнить его с аналогичными по теме стихами Евгения Евтушенко («Граждане, послушайте меня...», «Долгие крики» и др.), то контраст окажется разительным. Для Самойлова «опасный край эстрады... непереходим». Он знает, чего от него ждет определенным образом настроенный слушатель

(так и тянет сказать — зритель: зритель поэзии), но нет в Самойлове ни уверенности, ни самомнения, ни потребности быть учителем или пророком.

Задача поэзии — иная, вовсе не учительская: на собственном примере рассказать читателям о них самих: «А я перед вами гол как сокол. И нет у меня ни ключа, ни отмычки. И нету рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке». Такая спокойная и достойная позиция на поверку оказалась более смелой и неожиданной, потребовала от поэта большего мужества, чем широко распространенный в советской поэзии дидактический стих и повелительный жест к читателю. В стихотворении «Шуберт Франц» есть строфа, которая становится понятной именно по совпадению с современными стихами Самойлова: «Знает Франц, что он кургузый и развязности лишен, и, наверно, рядом с музой он немножечко смешон». Здесь снова сознательное снижение высокого и в результате — его очеловечивание и опрощение.

Русская критика обращала внимание на различие восприятий, необходимых для разных поэтов. Киреевский писал: «Чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух и больше внимания, нежели для других поэтов». Современный читатель избалован заигрыванием с ним поэтов, трибунными и эстрадными к нему обращениями, ошеломляющей новизной стихотворной техники — скромный, без ухищрений, стих Самойлова даже не заслонен, а словно бы и не воспринят, не замечен—так человеческое ухо безразлично к ультразвуку. И не только ухо, но и глаз, если говорить о более чем скромной цветовой палитре Самойлова. Ведь у каждого поэта свой излюбленный цвет, наиболее часто встречающийся в его стихах. У Самойлова определяющий цвет — серый: «Дни становятся все сероватей...», «На белый цвет и черный цвет зимы сухой и спелой — тот день апрельский был одет одной лишь краской — серой» и т. д. Поэтому и в его пейзажной лирике время действия — не то или иное время года, взятое в апогее, а неопределенное, переходное состояние между осенью и зимой, между зимой и весной. Даже месяцы взяты на стыке друг с другом: «О март — апрель, какие слезы. О чем ты плачешь? Что с тобой?»

По контрасту с современной поэзией, в которой лирический герой выдвинут на первый план, в стихах Самойлова происходит почти полное исчезновение лирического героя, замещение его воспринимающим субъектом. Так, кстати, не раз случалось в истории литературы. Фет, к примеру, призывал к тому, чтобы «строгий резец художника перерезал всякую, так сказать, внешнюю связь их (творений) с ним самим и воссоздатель собственных чувств совладал с ними, как предметами, вне его находящимися». Даже не поэт, а автор — так можно было бы сказать про Самойлова. И стих при этом словно бы и не имеет связи с поэтом, его написавшим; стих автономен, самостоятелен, независим по отношению к автору. Поэтому автор и не резюмирует, не вмешивается в течение стиха; отношения между поэтом и поэзией можно определить как слишком деликатные.

Самойлов однажды написал: «Слава Богу! Слава Богу, что я знал беду и тревогу! Слава Богу, слава Богу — было круто, а не отлого! Слава Богу! Ведь все, что было, все, что было,—было со мною». А одна из его книг открывается стихотворением, которое продолжает эту мысль: «О, как я поздно понял, зачем я существую! Зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься!.. И что нельзя беречься, и что нельзя беречься...» Здесь не только верность судьбе, выпавшей поколению Самойлова, здесь еще чувство счастья, чувство жизни, которое включает в себя и горе, и страдание. Без этого не были бы понятны стихи Самойлова о зрелости, о старости, о смерти:

Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
И не допита чаша сия.
Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас,
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,
Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит,
И тычет в нас перстом пророка
И хриплым голосом кричит.

Я миную сейчас экспериментальные стихи Давида Самойлова от его исторических поэм до обэриутских «Цыгановых», его книги и статьи по теории и практике поэзии. Это предмет для особого разговора. В лучших его стихах — сочетание душевной тонкости и духовной глубины. Приближаясь к своей кончине, он все чаще писал о смерти, и естественно потому вспомнить одно из таких стихотворений, хотя написано оно двадцать лет назад и называется «Апрельский лес»:

О, этот странный час обратного движенья
Из старости!.. Куда?.. Куда — не все ль равно!
Как будто корешок волшебного женьшеня
Подмешан был вчера в холодное вино.
Апрельский лес спешит из отрочества в детство.
И воды вспять текут по талому ручью.
И птицы вспять летят... Мы из того же теста —
К начальному, назад, спешим небытию...

Вл. СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

Отраженный свет

Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Редактор-составитель, автор предисловия и комментариев Вадим Крейд.— «Третья волна» (Париж — Нью-Йорк) — «Голубой всадник» (Дюссельдорф). 1989.

...Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты...

Георгий ИВАНОВ

Этот сборник готовился к печати, когда уже минуло 100 лет со дня рождения поэта и 66 лет со дня его трагической гибели. Редактор-составитель сборника, автор предисловия и комментариев к нему — живущий в США литературный критик и поэт Вадим Крейд. В 1988 году в издательстве «Antiquary» вышла другая его работа о поэте — «Гумилев (Библиография)».

Внимание к новой книге закономерно: это первый сборник воспоминаний о лишь недавно вышедшем из-под официального запрета поэте, читательская любовь к которому никогда не угасала. Расположенные по хронологическому принципу очерки принадлежат перу известных писателей, поэтов, лично знавших Гумилева, таких, как Владислав Ходасевич, Андрей Белый, Сергей Маковский, Георгий Адамович, Максимилиан Волошин и Алексей Толстой, и менее известных авторов, среди которых Вера Неведомская, Анна Гумилева, Иоганнес фон Гюнтер и другие. В обширных комментариях к сборнику цитируются, в частности, высказывания, статьи и книги Александра Блока, Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Михаила Кузмина, Корнея Чуковского и Ирины Одоевцевой. Цель этой книги, подчеркивает составитель во вступлении, «показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и ежедневной деятельности...»

Когда заходит речь о воспоминаниях, неизбежно встает пресловутый вопрос об их «правде». Нередко возникает перебранка между мемуаристами, каждый из которых претендует на абсолютную непогрешимость нарисованного им портрета. Сколько копий было сломано в погоне за недостижимой и, по непреложному порядку вещей, неосуществимой буквальности, протокольности, неоспоримости. Но забыто, что «лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстояньи», и также то, что создаваемый в воспоминаниях образ — в той же степени портрет портретирующих, в какой — портретируемых.

Вот, например, в сборнике поданная с двух диаметрально противоположных точек зрения история знаменитой дуэли Гумилева и Волошина, состоявшейся на почве невинного литературного фарса Черубины де Габриак. В первом случае о ней говорит Алексей Толстой, во втором — сам Волошин. Достаточно сказать, что описания сцены пощечины и вызова на дуэль в Мариинском театре, самого поединка у Черной речки противоречат друг другу в каждой детали. Перед нашим взором предстают презрительный и оледеневший в своей ненависти, неотразимо рыцарственный Гумилев и растерянный, трясущийся Волошин. У Волошина столь же убедительно — залгавшийся фанфарон Гумилев и великодушный, невозмутимый, заранее всем все простивший великан — сам Волошин.

Приведу лишь эпизод со вторым выстрелом, после того как Гумилев промахнулся. У Толстого: «В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела»,— упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали». У Волошина этот момент: «Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась».

Все, что остается читателю (и это все, что мы вправе ждать от мемуаров),— ощутить своеобразие, неповторимость событий и как отраженный свет прошлого — образы самих мемуаристов. Поэтому представляется столь наивной в этих зарослях субъективности охоть за неизменно ускользающей «правдивостью»: здесь это, мол, больше Гумилев, а здесь меньше. Подобными «охотниками» был в свое время принят в штыки один из самых волнующих документов эпохи — «Петербургские зимы» Георгия Иванова.

Так получилось, что одна из центральных тем книги — не существующее сегодня в читательском сознании противопоставление Гумилева Блоку, иначе говоря — акмеизма символизму, настойчиво проводимое некоторыми авторами и сочувственно комментируемое составителем. Возникает странного рода ощущение состязания не во всем духовного порядка. И если следовать логике некоторых статей, то акмеизм не явился закономерной реакцией на символизм (в свою очередь, закономерно пришедший на смену поэтическому прозаизму второй половины прошлого века), а победил его, выиграл, разоблачил.

Между тем, даже оперируя этими столь условными, относительными и растяжимыми «измами», нельзя не заметить постоянного присутствия символистских элементов во многих стихах Гумилева, равно как атрибутируемой акмеизму ясности и договоренности в поздних стихах Блока. Разница порой столь же неопределима, как между поэтами условно классическими и романтическими.

Знал и сам Гумилев, с кем имеет дело, когда на замечание Вс. Рождественского о том, что беседовал с Блоком необычайно почтительно и ничего не мог ему возразить, ответил: «А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?»

А что до личных отношений, то какое касательство имеют сегодня к их литературному наследию все споры, ссоры и личные неприязни Толстого и Достоевского, Достоевского и Тургенева, Тургенева и Толстого, Толстого и Фета или из недавних — Цветаевой и Георгия Иванова, Георгия Иванова и Ходасевича и т. д.? В искусстве непозволительно и искусству губительно смешивать уровни художественный и личный, ибо отношения эти представляют интерес исключительно человеческий (т. е. локальный и прикладной), а отнюдь не художественный (т. е. глобальный и безотносительный). Сегодня существенно лишь то, чем эти художники, каждый в своей неповторимости, духовно обогатили человечество, а не то, чем они отталкивали или привлекали друг друга при жизни.

К сожалению, элемент водевильности присутствует почти везде, где мемуаристы говорят об Ахматовой и Гумилеве. Вот хотя бы «аналитическая» фраза из Н. Оцупа: «Когда же, после долгих лет распутной жизни, он возвращается к Мадонне и та его упрекает, что он изменил обету, «Он», то есть Гумилев, отвечает...» и т. д. Надо сказать, что отдельные комментарии Н. Оцупа вступают иногда в противоречие с гумилевскими стихами и грешат некоторым голословием. Тем не менее именно ему отдает предпочтение составитель перед лучшим литературным критиком эмиграции Георгием Адамовичем.

Возвращаясь к «правде» воспоминаний, обратимся к внешнему облику поэта — к его «суммарному» портрету. Перед нами несколько косивший и немного шепелявивший, подчеркнуто манерный молодой человек «с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила». Вот он появляется как «что-то неопределенное. Ни одной черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура... Солнечный поэт, и ничего в нем от солнца...»; «блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом». Выясняется, что «Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха». А вот более обобщенно: «В нем чувствовалось всегда ровное напряжение большой воли, создающей красоту, а сквозь маску педанта с коническим черепом виден был юношеский пыл души, цельной, без щербинки и во многом ребячески-простой. У этого профессора поэзии была душа мальчика...» И «как всякий ребенок, он больше всего любил быть взрослым. Подражая порокам взрослых, он оставался собою».

От детали к детали, от свидетельства к свидетельству складывается образ физически слабого, вялого, внешне непривлекательного юноши, к тому же со скромными способностями. Человеческим и духовным подвигом Гумилева стала его победа над самим собой, жизнь, творчество и смерть вопреки себе. Самопреодоление и самоосуществление позволили ему создать образ поэта-рыцаря, конквистадора и противоположную мистическим туманностям и несказанностям поэзию мужественной ясности и витражно чистых цветов.

Сергей Маковский, автор одного из самых содержательных в сборнике очерков, неожиданно замечает, как «еще раз убедился, что настоящий Гумилев — вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т. е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до «октября» заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, какая она есть...» Следовало бы благодарить автора, что воздержался от объяснения, какая она все-таки есть. Но тут же он впадает в обывательский позитивизм: «...мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о нем самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был, а чем быть хотел. О поэте надо судить по его глубине, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе...»

Но, во-первых, он стал, чем быть хотел. Во-вторых, в его литературной позе, в творческой маске и сказались глубина и внутренняя его суть. «Гумилев любил жест и позу»,— пишет В. Ходасевич. Однако то, что было позой у начинающего поэта, стало второй натурой, когда он вырос в творца, когда создал свой заветный мир, разряженный воздух которого так благодатен и целителен по сей день.

Возможно, то, что Гумилев выбрал последними книгами своей жизни Евангелие и Гомера, было жестом. Но этот жест был его глубинной сутью. И эта суть стоила ему жизни.

Словом, мне кажется, о жизни и быте художника можно судить по его творениям, которые этой жизнью порождены и стали ее венцом, но о самих творениях нельзя судить с точки зрения быта и жизни, не разрушая ценностной шкалы и иерархической лестницы духа.

«Людей бездна, — пишет Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге»,— а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько... А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им

кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остается последнее». Характерно, что маски поэта, героя, путешественника, сердцееда совершенно срослись с его лицом, а маска мэтра подходила ему гораздо меньше. «Ум его, догматический и упрямый,— пишет А. Левинсон, — не ведал никакой двойственности». Поэтому в своем «поэтическом профессорстве» был он близорук и ограничен цеховой установкой и то и дело впадал в то, что Блок считал «чистейшей схоластикой». И. В. Одоевцева рассказывала мне, что однажды, например, Гумилев попросил слушателей определить, какое место в животном мире мог бы занять каждый из русских поэтов. Пушкин был у него львом, Лермонтов тигром и т. д. Известно и об его упорных попытках создать «таблицы образов».

По-прежнему актуальна статья Л. Левинсона о «заграничных праведниках» — единственная толкующая о неприменимости и неоправданности огульной политизации. Навешивание ярлыков партийной принадлежности чревато трагикомическим фарсом. В газетном варианте его «Некрополя» еще обобщеннее и глубже сказал о том же Владислав Ходасевич, считавший, что «Гумилев пал не жертвою политической борьбы, но «в порядке» чистого, отвлеченного героизма, ради того, чтоб «не дрогнуть глазом», не выказать страх и слабость перед теми, кого он гораздо более презирал, нежели ненавидел. Политическим борцом он не был. От этого его героизм и жертва, им принесенная, не меньше, а больше».

«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Невозможно точнее выразить впечатление от этого сборника, чем высокой пушкинской формулой отношений поэта с «действительностью» и ее «правдой». И пусть от воспоминаний о художнике читатель обратится к созданиям его духа, из которых встает образ великого романтика русской поэзии, настоящего Гумилева, завещанного нам им самим.

Александр РАДАШКЕВИЧ

Париж

Отклик

В ПЕРВОЙ КНИЖКЕ «НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА» ЗА ЭТОТ ГОД ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ А. В. ГУЛЫГИ «РУССКИЙ ВОПРОС». В ней, в частности, вновь объявляются «русофобскими» размышления Василия Гроссмана о русской истории в повести «Все течет». На сей раз подобные суждения высказываются человеком ученым, и именно поэтому особенно досадно выглядит некорректность аргументации. Процитировав слова Гроссмана о роли несвободы в русской истории, А. В. Гулыга приглашает читателя поразмыслить о том, что такое свобода и действительно ли ее не было на Руси. Автор указывает на существование в русской культуре Пушкина, Достоевского, Вл. Соловьева и Бердяева как выразителей «свободолюбивого пафоса» русской литературы и религиозной философии. Но ведь здесь явно смешиваются разные понятия: свобода человека как носителя духа (начала сверхприродного, сверхсоциального) и свобода человека общественного. И когда Гроссман говорит, что «подобно тысячелетнему спиртовому раствору кипело в русской душе крепостное, рабское начало», у серьезного читателя не может быть никаких оснований сомневаться, что речь идет именно об этих, обусловленных спецификой российского общества чертах русской ментальности. Только об этом и ни о чем больше! Когда же А. В. Гулыга аргументирует свою критику Гроссмана ссылками на Пушкина и т. д., он оперирует совсем иной категорией «свобода» — философской, метафизической, которая по своему содержанию принципиально отличается от социологической (т. е. свободы социальной и политической) и, напротив, соразмерна духовному началу.

Если согласиться со всем сказанным, то мысль Гроссмана о несвободе как отличительной черте русской истории (эта мысль, кстати, высказывалась задолго до написания «Все течет» самими русскими религиозными философами, например, Г. Федотовым в его известном эссе «Россия и свобода». Обвиним и его в русофобии?) совсем не будет выглядеть оскорбительной для России и русского народа. Ведь то, что в России вплоть до реформ Александра II не было политической свободы, а также то, что русское крестьянство оставалось до начала нашего века общинным и, следовательно, неэмансипированным в социальном отношении (я имею в виду неполную вычлененность индивида из общности, коллектива), общеизвестно. Понятно, все эти тонкие материи изложены Гроссманом с научной точки зрения не вполне строго. Но стоило ли и ждать этого от писателя? И уж, во всяком случае, правомерно ли, опираясь только на это, обвинять в русофобии, т. е. в ненависти к русским, автора «Жизни и судьбы» — произведения, полного такой боли за Россию и русских, какая могла мучить только человека, искренне и горячо любящего свою страну и ее народ? На мой взгляд, такие обвинения необоснованны и несправедливы по отношению к писателю, книги которого будут «жечь глаголом» сердца многих будущих поколений.

Г. КИСЕЛЕВ,
кандидат исторических наук

ЕЖЕГОДНИК «ХРОНОГРАФ-89» (СОСТАВИТЕЛЬ С. А. МИТРОХИНА) НЕДАВНО ВЫШЕЛ В «МОСКОВСКОМ РАБОЧЕМ». «В переводе с греческого «хронограф» означает описание времени...» — предваряют издатели первый сборник, объединяющий прозу и поэзию, публицистику и мемуары, эссе и документы, исследования и интервью. Интересен последовательно проведенный во всем ежегоднике принцип «стереоскопичности» подачи материалов: трагически-лукавую прозу «Пиров Валтасара» дополняет беседа с автором Фазилем Искандером; повествование Л. Лиходеева «Съезд победителей» находит продолжение в остром диалоге автора с публицистом С. Юшенковым; беседа М. Шатрова с историком Ю. Аксютиным органично переходит в «круглый стол»; исследование Натана Эйдельмана о декабристе Раевском — в одно из последних интервью писателя-историка; слово дочери Артема Веселого предваряет яркую прозу «Нургальи»; переписка Николая Гумилева и Ларисы Рейснер получает свое осмысление в публикации А. Алексеевой; и, наконец, Э. Радзинский, В. Корнилов, В. Кондратьев, Д. Урнов и Д. Лиханов предстают в «Хронографе» новыми гранями своего дарования и общественного темперамента... Другая черта «Хронографа-89» — это смелое соединение под одной обложкой и в единой структуре имен «молодых», новых с уже упомянутыми известными... Впереди «Хронограф-90,91...». Удачно начатое дело требует продолжения «по восходящей», что и будет гарантией подлинного читательского успеха.

Владимир ЗУЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА» ВЫПУСТИЛО В 1989 ГОДУ «ИЗБРАННОЕ» ФРАНЦА КАФКИ (в серии «Мастера современной прозы»). Сборник наиболее значительных произведений великого модерниста вышел в свет тиражом 100 000 экземпляров. Последнее обстоятельство немаловажно: до недавнего времени, хотя имя и творчество Кафки было, казалось бы, введено наконец в литературный обиход, книги его были доступны лишь немногим. Издание 1965 года, в которое вошли роман «Процесс», новеллы и притчи, давно уже стало библиографической редкостью.

Новый сборник дополнен романом «Замок» (в блестящем переводе Р. Райт-Ковалевой), «Письмом отцу» и страницами из дневников писателя. Кроме того, составитель Е. Кацева публикует в качестве приложения отрывки из книги «Разговоры с Кафкой» Густава Яноуха.

Читатель знакомится, к сожалению, с меньшей хотя и интереснейшей частью творческого наследия Ф. Кафки, состоящего, как замечает в предисловии Д. Затонский, «из десяти объемистых томов». Хотелось бы верить, что другие произведения писателя будут идти к нам менее чем четверть века: ждут своих переводчиков и издателей роман «Америка», рассказы, притчи, наброски...

Франц Кафка — пожалуй, наиболее странная и в то же время наиболее выразительная и характерная фигура художественного процесса XX века. Неудивителен поэтому устойчивый интерес к творчеству писателя со стороны зарубежной и отечественной науки о литературе. Отрадно, что книги одного из создателей «эстетической вселенной» нашего времени становятся сегодня достоянием широкой читательской аудитории.

А. ГОМАРНИК

г. Казань

Сдано в набор 05.04.90. Подписано к печати 24.04.90. А 03398. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 335 000 экз. Заказ № 2103. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 241-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.